

**НОВЫЙ
МИР**

7

1934

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ь

М О С К В А
1 . 9 . 3 . 4

Уполн. Главл. В — 82935. Об'ем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Техн. ред. В. Белокопъ. Зак. 1271.

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИИ ССРС и ВЦИК». Москва.
Отатформат В% 176 × 250.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. НИК. АДУЕВ. — Как ее зовут? <i>Музыкальная комедия в стихах</i>	5
2. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, <i>роман, продолжение</i> . . .	57
3. ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ. — И так, бумаге терпеть невмочь, <i>стихи</i>	86
4. МАКС ЗИНГЕР. — Ледяная тропа, <i>повесть</i>	88
5. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ. — Магистраль, <i>роман, продолжение</i> . . .	115
6. Л. НИКУЛИН. — Стамбул, Анкара, Измир	155

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

7. И. ГРОНСКИЙ. — Великая эпопея	185
8. Н. ИЗГОЕВ. — Кабарда	192

ЗА РУБЕЖОМ:

9. Л. КАЙТ. — Марка Геринга	212
10. Л. ВАРШАВСКИЙ. — Германские большевики в подполье . . .	222

ИЗ ПРОШЛОГО:

11. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ. — Обыск у Ленина	235
---	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

12. Н. ПИКСАНОВ. — Отрочество Горького	241
23. Н. ИВАНОВ. — Жан Жионо	264

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Н. ЗАМОШКИН. — И. Соколов-Микитов. «Ленкорань»	268
Ю. КОРХОВ. — Талейран. «Мемуары»	269
Ю. ДОБРАНОВ. — «Жизнь замечательных людей»	271

Как ее зовут?

Музыкальная комедия в стихах

НИК. АДУЕВ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

РЕНЕ ПАРДЕССУ — молодой французский художник-архитектор.

ИРИНА НОРК.

ЖЕНЯ ПЕТРОВА. — Окончила архитектурный вуз. Практикантка Курстроя.

СМЕЛОЙ — бывший политкаторжанин, ныне крупный работник Наркомздрава.

МЕТЯ
ПИША
КАПЛАН
НИНА
КСАНА
КИРА
ВЕРА

практиканты Курстроя

ДАРИЙ СЕМЕНОВИЧ СВЕРХСМЕТКИН — управделами Курстроя.

ФИЛОНОВ — зав фотоотделом Курстроя

ВАРЯ ЧЕРКАСС — секретарь директора

КАЛЕРИЯ КИПЯТКЕВИЧ — бывшая дама

ТАТОЧКА — ее дочь.

КАПУСТИН — мастер литейного цеха.

СОТРУДНИЦА

КУРЬЕР.

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

ВОДОПРОВОДЧИК

ЛОХМАТЫЙ — нетрезвый гражданин на вок-

зале и в парке

Сотрудники треста, комсомольцы, рабочие, курортники, репортеры, носильщики.

Интермедия первая —
у занавеса.

Хор носильщиков и пассажиров
ПАССАЖИРЫ.

Носильщики, носильщики,
носильщики, носильщики!

НОСИЛЬЩИКИ.

Идем, идем, идем, идем, идем,
идем!

Мы за багаж коллективно в ответе,
Дружной артелью вступаем мы

в строй.

Вот вам двенадцатый, вот двадцать
третий,

Сорок четвертый и тридцать второй.
Первый, двадцатый, пятнадцать,

десятка!

Выбор велик, номера на груди.

Будьте спокойны, — еще не посадка,

Времени целый вагон впереди!

НОМЕР 20-й (лирично).

А вы посидите в буфете.

Там муха живет на конфете,

Маршрут незавидный дала ей
природа:

От этой конфеты и до бутерброда.
Ей, собственно, дальше лететь

не резон.

Для вас же открыт горизонт!
ПАССАЖИРЫ.

Лишь колеса застучат, как

Перед нами целый мир!

На Ташкент и на Камчатку,

На Рязань и на Памир!

И до Ставрополя, и на

Золотую Украину,

На Батум и на Читу, —

Каждый город на счету!

НОСИЛЬЩИКИ И ПАССАЖИРЫ.

Каждый город

Мил и дорог,

Не теряет зря часов.

Грохот стройки,

Гул моторов,

Скрип лебедек и лесов.

Эй, подвинься,

Глушь провинций,
Спрячься в чеховских томах,
Что ни город —
Тот же норов:
Деловитость и размах!

НОСИЛЬЩИКИ.

Мы за багаж коллективно в ответе.
Дружной артелью вступаем мы
в строй.
Вот вам двенадцатый, вот двадцать
трегий,
Сорок четвертый и тридцать второй.
Первый, двадцатый, пятнадцать,
десятка.

Выбор велик, номера на груди!
Граждане, будьте добры на посадку!
Что бы ни ждало вас там впереди, —
(вместе)

Труд или отдых, покой или штормы,
Рокот турбин или визг поросят, —
РАДИОРУПОРА.

Поезд отходит...
... с третьей платформы,

ВСЕ.

Ровно в тринадцать часов
пятьдесят!

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Вокзал. Видна часть перрона, кусочек
зала ожидания и касса пригородных и
перронных билетов. Около кассы оче-
редь. Первым в очереди Лохматый, муж-
чина навеселе. При открытии занавеса,
после интермедии носильщиков, к концу
очереди подлетает «мадам» Калерия Ки-
пяткевич с дочерью Таточкой.

КИПЯТКЕВИЧ.

Кто последний? Я за вами.

ТАТОЧКА.

Ну зачем вы меня сюда зазвали?
Честное слово, я не пойму,
Зачем я должна в хвосте этом
маяться!

КИПЯТКЕВИЧ.

Фи! Хвост!.. Неприлично!

ТАТОЧКА.

Но почему?

КИПЯТКЕВИЧ (зловещим шопотом).

Дитя! Да откуда хвост
начинается!?

ЛОХМАТЫЙ.

Хвост начинается от меня.
А вы можете, его удлиня,

Прицепиться в конец. Вот так,
отлично!

ТАТОЧКА.

Ну вот. Он прав. А что
неприлично?

КИПЯТКЕВИЧ.

Ребенок! Всегда мила и игрива!
Говорить надо: не «в хвост»...

ЛОХМАТЫЙ.

А в гриву!

КИПЯТКЕВИЧ.

Нахал! Повторяю: не в хвост, а
в очередь!

Ах, эти дети!.. Особенно дочери.

ЛОХМАТЫЙ.

Ничего особенного в вашей дочери
нет!

(Кассиру.)

Один перронный за тридцать монет!
(Отходит.)

ТАТОЧКА.

Но я не понимаю! Но мне не ясно!

КИПЯТКЕВИЧ.

Ты, Таточка, и понимать
не обязана.

За тебя обязана понимать
Твоя тебя в муках родившая мать!

ТАТОЧКА.

Но зачем нам здесь торчать чуть не
до ночи?

КИПЯТКЕВИЧ.

Детка! Помнишь Сверхсметкина,
Дария Семеныча?

ТАТОЧКА.

Папин друг? Фи! Обезьяна старая!
И имя какое-то бабское — Д а р ь я!

КИПЯТКЕВИЧ.

Стыдись! Когда не был папа
разорен,

Мы держали пять лет гувернантку-
немку!

Д а р и й был где-то когда-то
царем

И воевал зачем-то и с кем-то!

ТАТОЧКА.

Хорошо, но этот Сверхсметкин —
не царь, и

Причем тут вокзал и причем тут
Дарий?

КИПЯТКЕВИЧ (кассиру).

Два! Я двугривенный и даю!
Почему это рубль? Покажите
статью!

Не швыряться? Подумаешь! Фу,
какой строгий!
(Отходя.)

Грабеж на большой Белорусской
дороге!

(Широким жестом толкает следующего.)

Одним словом, в двух словах:
Я... Я женщина, и я слаба!

ГРАЖДАНИН.

Ах!

КИПЯТКЕВИЧ.

Так вам и надо, не вертитесь под
боком.

А Сверхсметкин меня уважает
глубоко!

Он обещал! Он сказал: «Вот вам
крест,

Я вас устрою в наш трест!»

ТАТОЧКА.

Но кем?

КИПЯТКЕВИЧ.

Это тайна!

ТАТОЧКА.

Но если мне хочется!

Ну, скажите.

КИПЯТКЕВИЧ.

Но только тссс!..

Переводчицей!

Мы сегодня условились здесь

сойтись.

ТАТОЧКА.

Но ведь... вы же...

КИПЯТКЕВИЧ.

Тссс!.. Говорю тебе, тссс!

А там он меня продвинет выше!

Теперь понимаешь?

ТАТОЧКА.

Да, но ведь вы же...

КИПЯТКЕВИЧ.

И мы вырвемся из большевистских
тисков!

ТАТОЧКА.

Но ведь вы же не знаете
языков?!

КИПЯТКЕВИЧ.

Тссс! Ты меня погубишь, Таточка!
Для «этих» я знаю совершенно
достаточно

И переводу на любой язык.

Что им нужно? — «Ле Совнарком,
ле ВЦИК,

Ди лампа, дас билет, дер стул!»

ТАТОЧКА:

Но у вас же псковской прононс
за версту!

КИПЯТКЕВИЧ.

Да тссс же! А кто меня обличит?
Дитя, ты вне времени

и пространства.

Иностранец из вежливости смолчит,
А свои ничего не поймут

из хамства!

(Появляется Сверхсметкин с бумагой.)

Ну что ты стоишь с открытым
ртом?

Ничего опасного! Подумаешь,
страсти!

СВЕРХСМЕТКИН (читает вслух).

«Дано Кипяткевич Калерии в том,
Что она состоит переводчицей».

Здрасьте!

КИПЯТКЕВИЧ.

Дарий Семеныч! Как ангел, слетя,
Вы нас спасаете.

ФИЛОНОВ (вслед за Сверхсметкиным
с фотоаппаратом, застыл при виде Та-
точки).

Вот красота-то!..

КИПЯТКЕВИЧ.

Дарий Семенович! Это дитя —
Дочка покойника нашего, Тата.

СВЕРХСМЕТКИН.

А, помню! Малюткой я вас

на коленях

Качал равномерно во всех

направленьях!

КИПЯТКЕВИЧ.

Она выросла под материнской
охраной

Чудом по кротости и уму!

СВЕРХСМЕТКИН.

О да! Если выразить вас

диаграммой,

Вы к себе же относитесь, как пять
к одному!

КИПЯТКЕВИЧ.

Всегда остроумен! Bravo! Bravo!

ФИЛОНОВ.

Вот красота-то!..

ТАТОЧКА (кокетливо).

Но он мне дерзит!

ФИЛОНОВ.

Одну минутку! Головку направо,
Подбородок выше! Готово, мерси!
(Щелкает аппаратом.)

ТАТОЧКА.

Ах!

СВЕРХСМЕТКИН.

Знакомьтесь. Петр Петрович
Филонов!

Артист с архитектурным уклоном!

Сын «Филонова с сыном. Байка и шерсть».

Пол мужеский. Возраст двадцать
шесть.

Один из деятелей активных
Содружества «Пленка и штатив».

Художник... Но в силу причин
об'ективных...

Сменил палитру на об'ектив!

ФИЛОНОВ.

Дело в том, мадмуазель, что мои
картины,

Так сказать, глубоко беспартийны.

На ватман, на полотно, на кардон
Я бросаю краски, мадам, чтоб

звучали!!!

А все эти Магнитострой, пардон,

Нас писать, слава богу, не обучали!

Согласись я конечно на партбилет,

Предлагаемый мне уже много лет,

Мне б открылась карьера

Рембрандта и Гойя!

Но искусство с в а б о д н о.

Я выбрал друго-йя:

Отказался вступить в ВКП

наотрез...

СВЕРХСМЕТКИН.

И вступил завфотоотделом в наш
трест!

ФИЛОНОВ.

Нда-с! Теперь я не сын Аполлона,
а пасынок.

Но еще посмотрим — кто кого!

ТАТОЧКА.

Вы—герой! А скажите... Снимать...
опасно?

ФИЛОНОВ (удивленно).

Тойсь?... (Спохватился.) А как же!
Опасно! Не без того.

(Вступает музыка.)

Я например с пятилетним стажем,

И все же работа не легка!

При фотос'емке местности, скажем,

Корова может поднять на рога,

Или в группе начальство выйдет
неясно —

И всыпет по первое число!

Опасно, опасно, очень опасно,

Крайне опасное ремесло!

Однако поймите, что

Главное — выдержка.

Сюжет увидевши,

Я говорю:

«Одну минуточку!

Направо чуточку,

Повыше руч-чку...

Бла-го-да-рю!»

Часто бывает немало браку.

Страдает общественный интерес.

Возьмешь например посмелее

ракурс, —

И вышло, что криво построил трест.

РКИ беспокоится понапрасну,

А там — к ответу меня, и пошло!

Опасно, опасно, очень опасно,

Крайне опасное ремесло!

Как из бани выйдешь, но

Главное — выдержка.

Сюжет увидевши,

Я говорю:

«Одну минуточку!

Направо чуточку!

Повыше руч-чку!

Бла-го-да-рю!»

Но всего страшней опасность такая,

От которой нет защиты, увы!

Я, боже избави, не намекаю,

Но кто же меня поймет, как не в вы?

Снимешь девушку нежную, словно

астра,

И миг до основ тебя потрясло!

Опасно, опасно, очень опасно,

Крайне опасное ремесло!

Это не шуточка,

Не прибауточка,

Моя малюточка,

Я весь горю!

Одну минуточку,

Поближе чуточку,

Позвольте руч-чку! (Целует.)

Благодарю!

СВЕРХСМЕТКИН (продолжая разгово-
вор с Кипяткевич).

И вот, понимаете... В результате

Его приглашают в Советский Союз!
КИПЯТКЕВИЧ.

Простите... Что он там шепчет

Тате?

Ребенок! Я так за нее боюсь...
(Зовет.)

Душечка!
ТАТОЧКА.
Мамочка!
КИПЯТКЕВИЧ.
Таточка, детка!
Ко мне на минуточку!
ФИЛОНОВ.
Ведьмочка, чорт!
КИПЯТКЕВИЧ.
Ты знаешь, кто едет сюда?
Архитектор!
Строить новый гигантский курорт!
Понимаешь? Трест пригласил
для альянса
Не то француза, не то итальянца,
Не то англичанина,—не разберешь!
Через четверть часа он здесь будет!
ТАТОЧКА (обрадованно).
Врешь?!

КИПЯТКЕВИЧ.
Фи, детка! Я буду с тобой
браниться!
Он влюбится вмиг! Он будет наш!
Пойми, ты поедешь с ним
за границу!
Ну, взбей же прическу и губки
подмажь!

ТАТОЧКА.
Скажите тоже! Тежевской помадой?
Сразу видно, что ей цена — пятак!
Я знаю, как мне держаться надо!
Не подмажу! Влюблю и поеду и
так!

КИПЯТКЕВИЧ.
Поедешь?
ТАТОЧКА.
Поеду!

КИПЯТКЕВИЧ.
Ребенок, ты бредишь!
А я говорю: не подмажешь,
не поедешь!
И вообще мы стоим и считаем ворон!
Я все расскажу. Пойдем на перрон.

ФИЛОНОВ.
Ах! Не выразить ни палитрой,
ни рифмой
Глаза эти, цвета морской синевы!

СВЕРХСМЕТКИН.
Стоп! По положенью и сетке
тарифной
Ухаживать буду я, а не вы!

ФИЛОНОВ.
Но я куда моложе!
СВЕРХСМЕТКИН.
Довольно, гражданин!
ФИЛОНОВ.
Но я желаю тоже!
СВЕРХСМЕТКИН.
Вас много, я один!
ФИЛОНОВ.
О ней мечтал я в детстве!
СВЕРХСМЕТКИН.
Оставить без последствий!
ФИЛОНОВ.
Но я же, так сказать,
влюбился!!
СВЕРХСМЕТКИН.

От-к-а-з-а-т-ь!

(Четкая, звонкая женская команда за кулисами: раз, два, три, четыре, пять! Группа трестовского молодняка, построенная в колонну, выходит для встречи иностранного гостя. Впереди Женя, окончившая архитектурный вуз, практикантка. В первых рядах Метя и Пиша—бригадиры-неразлучки.)

М а р ш (разбивается на исполнителей).

ЖЕНЯ.
Полным ходом, дружным маршем
Труд и отдых вскладчину!
Нам по двадцать, самым старшим,
И шестнадцать — младшему!
Любишь спорт?

ХОР.
Ого, еще бы!
Бег, прыжки да плаванье.

ЖЕНЯ.
Но работа и учеба, —
Вот задача главная!

ХОР (перекличкой голосов).
Не сдавать!
За станки!
За учебник, за тетрадки!
От доски
До доски
Все сработай, все прочти!
Нам зевать
Не с руки!
Темпы быстры, сроки кратки!
Берите барьеры,
Шахтеры, инженеры,
Поэты, трактористы и врачи!!!
Выдох! Вдох!

ЖЕНЯ.

На воде, на стадионе
Мы в хвосте не тащимся.
Все готовы к обороне
Родины трудящихся.
Лишь страна сигнал подаст, и
Мы, простившись с играми,
Загорелы и вихрасты,
Загоримся, взвихрены!

ХОР (переключкой голосов).

На авто!

На коней!

На стальные наши птицы!

Мы — стрелки!

Нас в полки

Красной армии включи!

Вместе с ней,

Все грозней

Вырастайте на границе

Железным барьером,

Шахтеры, инженеры,

Поэты, трактористы и врачи!

Выдох! Вдох!

ЖЕНЯ.

Не робеть и не сдаваться!

Делай, что назначено!

ВСЕ.

Мне шестнадцать!

Нам по двадцать!

Труд и отдых вкладчину!

ЖЕНЯ.

Не уступим братьям старшим, —

Нам они образчики.

Полным ходом, бурным маршем,

Молодость звенящая!

ХОР.

Полным ходом, бурным маршем,

Молодость звенящая!

(Смех. Рассыпались.)

ЖЕНЯ.

Ну, марш разучен! С трудом

и насилиу!

ПИША.

А сама-то! Не пела, а голосила!

МЕТЯ.

Пиша! Да от тебя ли слышу?!

ПИША.

Я тебе, Метя, не Пиша, а Миша!

МЕТЯ.

А я тебе, Пиша, не Метя, а Петя!

ДЕВУШКА.

А вот мы пропустим приезд

европейца!

КАПЛАН.

Стоп! До поезда восемь минут

в наличности,

В каковые сведем с концами концы.

Петя и Миша! Слились ваши

личности,

И хотя вы ссоритесь

до неприличности,

Но для нас вы — siamoские

близнецы.

Рассуждая здраво о сем предмете,

Вы были и будете П и ш а и М е т я.

И каждый пусть кличкой своей

дорожит!

ЖЕНЯ.

Приговор окончательный!

ВСЕ.

И обжалованью не подлежит!

СВЕРХСМЕТКИН.

Товарищ Петрова! Прошу вас

сюды!

Предлагаю: товарищеские суды

Не выносить за предел учреждения,

На вокзал, каковой — полоса

отчуждения!

ЖЕНЯ.

Товарищ Сверхсметкин. Прошу вас

сюда!

Мы — практиканты. Не правда ли?

СВЕРХСМЕТКИН.

Да!

ЖЕНЯ.

А таки-каки вы — лишь управдел,

То ваш сверхавторитетный предел

Не выходит за предел учреждения,

А тем паче сюда, в полосу

отчуждения!

ГОЛОСА.

Обработан!

Прикончен!

Готов!

Лежит!

ЖЕНЯ.

Приговор окончательный!

ХОР.

И обжалованью не подлежит!

СМЕЛОЙ (мешковатый, но очень аккуратный русачок, лет 46, стремительно и несколько рассеянно входит и обращается к группе).

Ну вот, значит, и Белорусский

вокзал?..

Ребята! А я не опоздал?

КАПЛАН.

Смотря на что...

СМЕЛОЙ (*сосредоточенно*).

Нет, это не то...

Я здесь именно, несмотря
ни на что!

ЖЕНЯ.

Изяснитесь!

СМЕЛОЙ (*вынимает блокнот. Его окружает молодежь, инстинктивно угадав в нем «своего»*).

А вот: смотрите, братва,
Заседаний сегодня два?

ХОР (*сочувственно*).

Два!

СМЕЛОЙ.

Обследование одно?

ХОР.

Одно!

СМЕЛОЙ.

Комиссии три?

ХОР.

Три!

СМЕЛОЙ.

Но...

ХОР.

Но?

СМЕЛОЙ.

Но сегодня в Москву приезжает
некто

Рене Пардессу!

ЖЕНЯ (*спокойно*).

Угу! Архитектор.

СМЕЛОЙ (*машинально*).

Угу. Архитектор. (*Испуганно*.)

Тойсь, как так — «угу»?

Откуда вы можете знать?

ЖЕНЯ.

Могу.

МЕТЯ и ПИША.

И мы тоже можем!

СМЕЛОЙ.

Можете?

ХОР.

Можем!

Рене Пардессу!

СМЕЛОЙ.

Из Лимо...

ХОР.

Из Лиможа!

СМЕЛОЙ.

Для строи...

ХОР.

Для строительства!

ЖЕНЯ.

Маску долой!

Признавайтесь, вы — товарищ
Смелой!?

СМЕЛОЙ.

Тово-этого, именно... В самую
точку.

А откуда ты меня знаешь, дочка?
ЖЕНЯ.

А если вам нужно инкогнито, тятя,
Запретите свои портреты в печати!

СМЕЛОЙ.

Ну язычок! Только жаль —
не пришит!

ХОР.

Приговор окончательный
и обжалованию не подлежит!

СМЕЛОЙ.

Так вот: поскольку директор треста
Тово-этого... в состоянии ареста,
По причине легких в санатории
КСУ,

Я его обязанности несю.

Ведь наш наркомат — основной
заказчик...

СВЕРСМЕТКИН (*давно желавший
представиться*).

Управделами Сверхсметкин!

СМЕЛОЙ (*здоровясь*).

Рад.

ЖЕНЯ.

Словом, ясно! По линии восходящей
Иностранца послал вас встречать
наркомат.

СВЕРХСМЕТКИН.

Я еще в августе честь имел...

СМЕЛОЙ.

Спасибо! Напомнил. (*Вписывает.*)
6—30. «ИМЭЛ»...

СВЕРХСМЕТКИН.

ИМЭЛ?

КАПЛАН (*пояняя*).

Институт Маркса—Энгельса—
Ленина!

СВЕРХСМЕТКИН.

ИМЭЛ?

КАПЛАН.

ИМЭЛ!!!

СВЕРХСМЕТКИН.

Не имел представления!

РУПОР.

Алло! Внимание! Скорый номер
четырнадцать маршрутом Париж—
Берлин — Кенигсберг — Варша-

ва — Столбы — Москва прибы-
вает в двенадцать часов сорок пять
минут с четвертой платформы. Пока
идет без опозданий.

СВЕРХСМЕТКИН.

Время без двадцати тринадцать.
Приготовиться к встрече! Товарищ
Каплан!

Прошу соблюдать субординацию
И не вылезать на передний план.

КАПЛАН.

Но..

СВЕРХСМЕТКИН.

Прошу не мешать!

КАПЛАН.

Ого! Ультиматум!

СВЕРХСМЕТКИН (*расставляя встре-
чающих*).

Здесь вокзал, а не цыганский
шатер.

Впереди — наркомат. За
наркоматом —
Переводчица и фоторепортер.

Практиканты служат безмолвным
фоном!

ЖЕНЯ.

Ах так! Ну так я совсем не пойду!
(*Отходит в сторону.*)

СМЕЛОЙ (*громким шопотом*).

Ничего... Мы обманем... Дойдем
до вагона,

И того... перестроимся на-ходу...

НОСИЛЬЩИКИ.

Носильщики, носильщики,
носильщики, носильщики,
Идем, идем, идем, идем, идем, идем,
идем!

Мы за багаж коллективно
в ответе,

Дружной артелью вступаем мы
в строй.

Вот вам двенадцатый, вот
двадцать третий,

Сорок четвертый и тридцать
второй!

С муфточкой заячьей,

Вам не пора еще!

Выпьете чай еще,

Шляпка с пером!

Вы уезжающий?

Вы провожающий?

Вы — о ж и д а ю щ и й?

Вам — на перрон!

Вы на вокзале, не
в МО-ЭС-ПЕ-ЭС'ах,
Тут не театр, а работа всерьез!
Рельсы гудят посильнее, чем
в пьесах,

К красной столице летит
паровоз!

Крой, кочегар! Поднажмите,
путьцы!

Не задержитесь в пути ни
на пядь!

Поезд прибывает,

ХОР.

Будем надеяться,

Ровно в двенадцать часов
сорок пять!

КАПЛАН.

Идет! Идет! Идет!

ПИША.

Не ори!

КИПЯТКЕВИЧ.

Деточка, дай-ка мои словари!

СВЕРХСМЕТКИН.

Прошу соблюдать полнейший
порядок!

ТАТОЧКА.

Ой, шлепнетесь!

КИПЯТКЕВИЧ' (*забубенно*).

Ну, так я не Радек!

ТАТОЧКА.

Да вы хоть газету сегодня читали?
Откуда он?

КИПЯТКЕВИЧ.

Кажется, из Италии.

Найди: «на меня возложена
честь»!..

СВЕРХСМЕТКИН.

Международный вагон, номер
шесть!

Купе второе, место четыре.

ФИЛОНОВ.

Пошире, пошире, еще пошире!

(*Из вагона выходят пассажиры. Сверх-
сметкин находит нужное окно, из кото-
рого выглядывает элегантно одетый
иностранец.*)

СВЕРХСМЕТКИН.

Вот он!

СМЕЛОЙ.

Прошу вас, скажите: мы рады,
Что, смело преодолев преграды

Клеветнических слухов, газет-
ной лжи,

Он приехал работать!

ТАТОЧКА (кокетничая с иностран-
цем).

Ну, мама! Скажи!

КИПЯТКЕВИЧ.

Сеньор!
СВЕРХСМЕТКИН.

Превосходно!

КИПЯТКЕВИЧ.

Нос мольто радио!

Вос преодолевайо преградно,

Эль клеветуччио дель газетто

И по этто случайно гекоммен

Советто!

СМЕЛОЙ.

По-каковски она?

ПИЩА.

По-моему, толково!

КАПЛАН.

Сыплет, не закрывая рта!

МЕТЯ.

Я лично понял каждое слово!

СМЕЛОЙ.

А я, тово-этово, — ни черта!

Приветствуйте именем

Наркомэдрава!

СВЕРХСМЕТКИН.

И Курстройтреста!

КАПЛАН.

И молодняка!

ФИЛОНОВ.

Одну минутку! Головку направо.

Подбородок выше! Готово. Пока!

СМЕЛОЙ.

Не переводчица, а горе!

СВЕРХСМЕТКИН.

Товарищ, что вы! Первый сорт!

Спросите, на каком на море

Он мыслит строить наш курорт?

КИПЯТКЕВИЧ.

Сеньор! парлатто вотре плано!

Кель марэ?

ИНОСТРАНЕЦ.

Стоп! Италиано?

КИПЯТКЕВИЧ.

Италиано!

ИНОСТРАНЕЦ.

Нон каписко!

КИПЯТКЕВИЧ.

Ну вот. Слыхали? На Каспийском!
(Иностранца окружают, ведут. Женя
стоит в стороне. К ней подходит моло-

дой человек в гольфах и берете и
вежливо спрашивает.)

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Простите, мадмуазель!

ЖЕНЯ.

Вы мне?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Mais oui. Absolument и вполне.

(Вступает музыка.)

Скажите, мадмуазель, что здесь
происходило?

ЖЕНЯ.

Встречают иностранца!

ХОР.

Привет! Привет!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Скажите, мадмуазель, кто этот
крокодил? (Указывает на Сверх-
сметкина.)

ЖЕНЯ.

Подобие начканца!

ХОР.

Привет! Привет!

ЖЕНЯ.

Вы совершенно правы!

Он глупый, злой, гнусавый...

ХОР.

Маэстро, bravo! bravo!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Я мимо проходил,

Один услышать фразу

И почувствовал сразу...

ХОР.

Вы здесь найдете базу!

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Что это крокодил?

ЖЕНЯ.

Но вы говорите по-русски

прекрасно!

Вы были в Союзе?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Нет, не был ни раз, но

Не надо на это совсем удивиться:

Мой мать был один петербургский
певница,

Я многое помнить. Но много забыть.

(Грустно.)

Он умер, когда мне одиннадцать
быль!

ЖЕНЯ.

А сами вы — артист?

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

А самый я — артист!

ЖЕНЯ.

А почему вы к нам попали?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Мне захотелось к вам пройтись!
ЖЕНЯ.

Пешком?!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

О, нет. Через машин на паре
(подражает поезду).

Я сказать вам без прелюдии:
Я всегда узнать хотела
Новый жизнь и новый люди,
Новый воздух, новый дель!
В мой страна для сердца тесно:
Каждый день вперед известный.

С зевком вставай!

С зевком ложись!

Я задыхаться в этот жизнь!

Припев:

Всегда и непременно
Мне надо перемена!
Весь мир большой арена, —
Его беру я вскачь!
По скалам и по тропам
Лететь лихой галопом,
Пока седло не лопнул!

ЖЕНЯ.

Ах, значит, вы — циркач!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Mais oui!

В мой страна тому свобода,
Кто в валюта до зубов:
Деньги делают погода,
Деньги делают любов!
Деньги строиться в шеренги,
Чтоб из деньги делать деньги.

Один монет

К другой ложись!

Я задыхаться в этот жизнь!

Припев:

Всегда и непременно
Будь в деньги по колено!
Но бойся перемена,
Но бойся неудач!
Весь мир тобою обнят,
Но сила этот дрогнет,
Как только банк твой лопнет!

ЖЕНЯ.

Ах, значит, вы — богач!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Mais oui!

В мой страна, мадмуазели
За мужчина рвутся в бой
С грациозностью газели,

С психология ковбой:

Ты поймай на лассо мужа,
Затяни петля потуже

И за нее

Сама держись!

Я задыхаться в этот жизнь!

Припев:

Всегда и непременно
Мне надо перемена.
Манон, Марго, Мадлена,
Свиданье мне назначь!
И если нежный слов нет,
Без слов целуй, любовник,
Пока губа не лопнет!

ЖЕНЯ.

Ах, значит, вы — трепач!
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК.

Mais oui!

(Женя, возмущенная, отходит от него.
Врываются Пиша и Метя. За ними
идет вся группа с иностранцем во главе.)

ПИША.

В чем дело? С кем это ты застряла?
ЖЕНЯ.

Где приезжий?
МЕТЯ.

Подле вагон-ресторана.

ЖЕНЯ.

Ну, как переводчица?
ПИША.

Во! На ять!

Но... они друг друга не могут
понять!

ТАТОЧКА.

Да спроси, что он хочет?
КИПЯТКЕВИЧ.

Не егози!

Ке вуле ву?

ТАТОЧКА.

Вас воллен зи?
КИПЯТКЕВИЧ.

Да не мешай ты мне, боже ты мой!
ИНОСТРАНЕЦ.

Же вуле... Их воль... Я хочу
домой!

ХОР.

Ой! (Ребята падают один на
другого.)

КАПУСТИН (иностранец).

Только даром время теряешь с вами
В этой самой идиотской из встреч!

СВЕРХСМЕТКИН.

Виноват, гражданин! На каком
основаньи

Вы себе присвояете русскую речь?!

КАПУСТИН.

А на том, что не кончил
иностранного вуза.

И дайте мне наконец покой!

СВЕРХСМЕТКИН.

Вы—француз! Так держитесь, как
должно французам!

КАПУСТИН.

Я — француз?

СВЕРХСМЕТКИН.

Обязательно.

КАПУСТИН.

Сам такой!

Я—старший мастер литейного цеха,
Иван Никанорыч Капустин!

КАПЛАН.

Потеха!

СВЕРХСМЕТКИН.

Как вы сказали?

КАПУСТИН.

Иван Капустин.

СВЕРХСМЕТКИН.

Капустин?.. Мы этого не допустим!
Мне наплевать, кто вы такой есть!
И не помогут никакие протесты!
Международный вагон номер
шесть? (Тот кивает.)

Купе второе? Четвертое место?

КАПУСТИН.

Ну да!

СВЕРХСМЕТКИН.

Значит, в а с мы и будем
встречать!

КАПУСТИН.

Но, позвольте!

СВЕРХСМЕТКИН.

Вопрос проработан. (Молодняку.)
Качать!

КАПУСТИН.

Что? Да я тебя, бюрократа
отпетого!.. (Лезет в драку.)

СМЕЛОЙ.

Нет. Ты уж постой-ка, тово-этово!

СВЕРХСМЕТКИН.

Ай-ай! У него, может быть, наган!

СМЕЛОЙ (Сверхсметкину).

Прекратить немедленно балаган!
(Капустину.)

Расскажи-ка толком.

КАПУСТИН.

Изволь, расскажу.

Подходит в Столбцах заграничный
буржуй:

«Хочу посидеть в вашем третьем
классе!

Согласны на международный?» —
«Согласен».

Поменялся и сел... На погибель
свою.

Но ежели я его встречу, убью!
(Видит молодого человека.)

А! Вот он. Держись!

СМЕЛОЙ.

Воздержись! Не сердись!

Мосье Пардессу?

ПАРДЕССУ.

A votre service!

СМЕЛОЙ.

Мон салю!

ПАРДЕССУ.

Я по-русски могу понимать!

СМЕЛОЙ (радостно).

Да ну! Каким образом?

ПАРДЕССУ.

Видите... Мать...

ФИЛОНОВ.

Эх! Даром на переводчицу

тратили!!

Все знает. Так прямо и начал

с матери!

(Смелой и Пардессу успели в сторонке
тихо поговорить.)

ПАРДЕССУ.

Мерси! Я хотел бы, как говорится,
Пойтиться, пройтиться умыться,
побриться!

(К Тате.)

Вы меня извиняйте, мадмуазель!

СМЕЛОЙ.

Так в отель!

ПАРДЕССУ.

В отель!

КИПЯТКЕВИЧ (с внезапной идеей).

Никуда не в отель!

Все готово в уютной и светлой
комнате,

О которой я вам говорила,

вы помните?

(Наступает на ногу Сверхсметкину.)

Он у нас заживет, как в родной
семье!

Детка, проси!

ТАТОЧКА.

Же ву при!!!
ПАРДЕССУ (*радостно*).

Волонтье!

ФИЛОНОВ (*ревниво*).

Прошу повернуться! Глядите
прямо!
Нет, не туда! На нее! На маму!
(*Шелкает.*)

Бла-адарю!

ПАРДЕССУ.

О! Не за что!

СВЕРХСМЕТКИН.

Сверхсметкин. Управ. Попрошу вас
в авто!

ПАРДЕССУ (*Смелому*).

Адье, мосье... Пардон! То-ва-рищ!

СМЕЛОЙ (*жмет руки*).

Так умыться-побриться, говоришь?
(*Смех.*)

ПАРДЕССУ (*смех*).

Mais oui.

СМЕЛОЙ.

Ну, увидимся, тово-этово.

В наркомате назавтра вроде
банкета...

(*Жмет руки.*)

Ого, ну и мускулы!

ПАРДЕССУ.

Вien?

СМЕЛОЙ.

Как сталь!

ПАРДЕССУ (*Жене, небрежно*).

Адье, мадмуазель! Ми так мило
болтали! (*Уходит.*)

СМЕЛОЙ.

Ну-с! И мне пора! Живите, ребята!

ПИША.

Постойте! Оставайтесь!

СМЕЛОЙ.

Кто?

МЕТЯ.

Вы-то!

СМЕЛОЙ.

Я-то?

Да что мне здесь дальше делать,
детки?

ПИША.

Да не на вокзале!

СМЕЛОЙ.

А где ж?

МЕТЯ.

В оперетке!

СМЕЛОЙ.

Оперетта с ответственным
большевиком?!

Обалдели! Что скажет репертком!
Он рухнет, ребята. От этого факта...
Мы в оперетте тово... не в чести...
Я заехать могу... к концу третьего
акта...

Ну... уклон обнаружить... мораль
подвести...
Да и то не к чему! Без морали
лучше!

ВСЕ.

Ну, оставайтесь!

СМЕЛОЙ (*полусдаваясь*).

Я петь не умею

ПИША.

Научим!

Оставайтесь. Вы милый и в доску
свой!

И нос у вас подходящий! Смешной!

СМЕЛОЙ.

Смешной?

ВСЕ (*убежденно*).

Смешной!

МЕТЯ.

А насчет реперткома

Мы уладим! У нас там один
знакомый!

ВСЕ.

С нами весело!

СМЕЛОЙ.

Весело! В том и беда!

ВСЕ.

Так оставайтесь!

СМЕЛОЙ.

Что с вами делать?!

ВСЕ.

Ну? Да?

СМЕЛОЙ.

Но помните... Так как я
ответственный,

То снимаю ответственность
за последствия.

А пока—окончательно—мне пора!

ВСЕ.

Н о-в о-м у п е р-с о-н а-ж у ура!
(*Его провожают. Вступила музыка.*)

КАПЛАН.

Ребята! Брось языки чесать.
Слушайте и не разоряйтесь всеу.
Архитекторша наша полчаса
Говорила с этим Рене Пардесуем!
Она его знает насквозь-поперек!

ВСЕ.

Ну-ну! Что же это за паренек?
Чего ж ты молчишь? Мы ждем
ответа!

Ну, говори! Да что ж она?!

ЖЕНЯ (с горькой иронией пародирует).

Бродил три раза кругом света!

ХОР (в тон).

Что это значит?

ЖЕНЯ (доканчивает музыкальную
фразу-цитату).
Грош цена!

Трепло и через неделю—сбежит!

(Протяжный свист Каплана.)

ХОР (мрачно).

При-го-вор окон-чатель-ный

И обжалованью не под-ле-жит!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Курстрой. Здание в разрезе. В центре—
управление делами. Стол Сверхсметкина
пуст. Напротив—стол его заместителя.
Это Филонов, недавно самовольно про-
изведенный Сверхсметкиным в замы.

Снизу вбегает курьер.

КУРЬЕР.

Управделами явился?

ФИЛОНОВ.

Нет!

КУРЬЕР.

Пакет, пакет и еще пакет.

Три извещенья, одна повестка.

ФИЛОНОВ.

Подождите.

КУРЬЕР.

Зачем? Я ему не невеста.

Мне не свиданье! Давай расписку.
ФИЛОНОВ.

Не могу взять на себя риска.

(Курьер плюет в плевательницу и
садится.)

СОТРУДНИЦА.

Дарий Семеныч пришел?

ФИЛОНОВ.

Нет!

СОТРУДНИЦА.

Передайте — двести двенадцать
анкет. (Филонов не шевелится.)

Что ж, так мне вот тут и стоять,
как прижатой?

ФИЛОНОВ.

Передайте сами, а мне рискованно.

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Управделами пришел?

ФИЛОНОВ.

Нет!

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Иск на четыреста двадцать монет.

Подписать к пред'явлению!

ФИЛОНОВ.

Что?

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Иск!

ФИЛОНОВ.

Подождете.

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Уже согласовано.

ФИЛОНОВ.

Риск!

ВОДОПРОВОДЧИК.

Дарий Семеныч пришедши?

ФИЛОНОВ.

Нет!

ВОДОПРОВОДЧИК.

Так когда же насчет уборных ответ?

Ремонтировать—женскую или

мужскую?

ФИЛОНОВ.

Спросите сами. Я не рискую!

РЕНЕ (порывисто входит).

Мосье Сверхсметкин приходиль?

ФИЛОНОВ.

Нон!

РЕНЕ.

Сакр дью! Как ему домой телефон?

ФИЛОНОВ.

Не могу. Не имею инструкций.

РЕНЕ.

Куа?

ФИЛОНОВ.

Не могу. Же не пе. Же не па

рискуа!

РЕНЕ.

Сакр дью! Ваш проклятый
советский нравы!

ФИЛОНОВ.

Не кричите. Я непричем. Я зам.

РЕНЕ.

Где мой помочник, чертежник,

прорабы?

Я хотеть их видать со своим глазам?

Я приехал из Франс не играть

в прятки

И не просидель в канцеляр

свой штаны!

(Присаживается на край стола.)

СВЕРХСМЕТКИН (входя).

Предлагаю в административном
порядке
Прекратить нарушение общественной
тишины!

РЕНЕ.

А! Ви пришел?

СВЕРХСМЕТКИН.

В стенах отдела

Я вам безобразничать не дам!

РЕНЕ.

А я не желает сидеть без дела,
Чорт вас всех возьми! (Вежливо
к сотруднице.)
Исключая мадам!

СВЕРХСМЕТКИН (достает конфетку
и сосет).

(Филонову.)

Ах так! Зафиксируйте оскорбление
власти

И доложите текущие дела.

(Рене.)

Слазьте!

РЕНЕ (сидя на столе, раздраженно и
рассеянно).

Мерси. Я не кушать сласти!

СВЕРХСМЕТКИН (орет).

Слазьте, прошу, с моего стола!

КУРЬЕР.

Примите почту!

СВЕРХСМЕТКИН.

Внести во входящие.

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Иск Главбетону.

СВЕРХСМЕТКИН.

Печать! (Прихлопывает.)

Вчинить!

СОТРУДНИЦА.

Анкеты.

СВЕРХСМЕТКИН.

Направо, в верхний ящик!

ВОДОПРОВОДЧИК.

Насчет уборных?

СВЕРХСМЕТКИН.

Мужскую чинить!

РЕНЕ (срываясь).

Где директор?!

СВЕРХСМЕТКИН.

Так я вам его и родил!

Прошу не мешать, согласно плаката!

РЕНЕ.

Я говорил—ви есть крокодил!

Я ошибаться. Ви — аллигатор!

(Хлопает дверью.)

СВЕРХСМЕТКИН.

Видали?

ФИЛОНОВ.

Номер!

СВЕРХСМЕТКИН.

Идиот!

Валюта ему идет?

ФИЛОНОВ.

Идет!

СВЕРХСМЕТКИН.

Книжка Инснаба выдана?

ФИЛОНОВ.

Выдана.

СВЕРХСМЕТКИН.

А он шебаршит! Ведь вот что
обидно!

ФИЛОНОВ.

Мне этот тип глубоко отвратителен!

СВЕРХСМЕТКИН.

И — помяните мои слова...

ФИЛОНОВ.

Ну-ну?

СВЕРХСМЕТКИН.

Он окажется вре-ди-те-лем!

ФИЛОНОВ.

Возможно. (Задумывается.)

СВЕРХСМЕТКИН.

Наверно! Торнтон номер два!

ФИЛОНОВ.

Он флиртует с Татой!

СВЕРХСМЕТКИН (как ужаленный).

Что вы сказали?!

ФИЛОНОВ.

Он вчера с ней обедал в отеле
«Савой»!

СВЕРХСМЕТКИН.

Да известно ли вам, что еще
на вокзале

Я! Ее! Забронировал! За собой!

ФИЛОНОВ.

Вам первое слово, как центру
и главку.

Но прошу расчленить вопрос
пополам.

Ведь и я в свою очередь сделал
заявку!

СВЕРХСМЕТКИН.

С опозданием! Не включается
в план!

Так-с. Мы примем меры!

ФИЛОНОВ.

Какне?

СВЕРХСМЕТКИН.

Секрет!

ФИЛОНОВ.

Лично я — разобью ему портрет!
СВЕРХСМЕТКИН.

А потом в нарсуд попадете, как водится,

И отсидите!

ФИЛОНОВ.

И только всего!

СВЕРХСМЕТКИН.

Да поймите, что под параграф кодекса

Мы должны подвести не себя, а его!

(Шум. Вбегает Рене, за ним сотрудники разных отделов, Женья, Метя, Пиша и другие.)

РЕНЕ.

Тысяч диавль! Вхожу в производственный сектор,

Там сидят и свистят, свои ногти грызят!

«Дайте план галлерей!» — «Нельзя без директор!»

«Но это мой план!» — «Без директор нельзя!»

СВЕРХСМЕТКИН.

Вы получаете валюту?

РЕНЕ.

Mais oui.

СВЕРХСМЕТКИН.

Ах, вуй! Так куда ж вам спешить?

РЕНЕ.

Мне директор нужен сею минуту!

СВЕРХСМЕТКИН.

На какой предмет?

РЕНЕ *(вне себя)*.

Чтоб ему задушить!

Я думать—ваш революций глубок,
Я слышать, — как черти, работает все вы!

Нет! Ви спать при царизм на правый бок,

А при большевизм — повернуться на левый!

ЖЕНЯ *(резко)*.

Гражданин Пардессу! Положенье простое.

Мы сами возмущены простое!

Мы подали в наркомат заявленье...

СВЕРХСМЕТКИН.

Помимо меня?

МОЛОДНЯК *(хором)*.

И против вас!

ЖЕНЯ.

Но порочить наши достижения
Вам молодняк не даст!

ПИША.

Директор поправился. Ждем
ежечасно!

МЕТЯ.

А вы потерпите до этик пор!

РЕНЕ.

О, мадмуазель, мне прекрасно ясно:
Какой подчиненный—такой

директор!

Я представляет, на что он похожа!

Дайте бумага! Дайте перо! *(Выхватывает у Сверхсметкина большой лист и прикрепляет на гвоздях плаката, рисует.)*

Глупый, круглый, несмысленный рожа,

Очки—как окно в вагоне метро!

Глаза заплыли жир и поухли,

Нос, как один картофель сирой,
(общий смех нарастает)

Губы ленивий, как стоптанний туфли...

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС.

Боже, кто это?!

РЕНЕ.

Директор Курстрой! *(Смех смолкает.)*

ИРИНА *(выйдя из толпы)*.

Какой красавец! Это с природы?

РЕНЕ.

Нет, мадмуазель, из голова!

Но клянусь, что от карикатуры

Оригинал отличаться едва!

Я ему извинений свой принесу,

Если он не дохож на этот героя!

ИРИНА.

Ладно! Будем знакомы!

РЕНЕ.

Рене Пардессу!

ИРИНА.

Ирина Норк. Директор Курстройка!

(Дальнейшая сцена на вступившей музыке вплоть до сольного выступления Ирины.)

РЕНЕ.

Директор?!

ИРИНА.

Да!

РЕНЕ.

Курстройка?!

ИРИНА.

Да!

(Рене бросается к карикатуре, чтоб порвать.)

Нет, будьте любезны, дайте сюда!

РЕНЕ.

Для зачем?

ИРИНА.

Я в рамку вставлю его!

РЕНЕ.

О, мадам!

ИРИНА.

Я пришла к концу перебранки,
Не поняв ничего, кроме одного
(грозный взгляд на Сверхсметкина):
Здесь многое надо вставить
в рамки!

РЕНЕ.

Мадам, я в отчаяний!

ИРИНА.

Речь не о вас.

Рассмотрим вопрос ан фас!

СВЕРХСМЕТКИН (медленно встает).
Я-с?

ИРИНА.

Да-с!

(Музыка переходит в соло Ирины.)

Дарий Семеныч! Что это значит?
Трест две недели зря потерял!
Подбор рабочей силы не начат,
На места не послан стройматериал,
Молодняк без работы буквально
бёсится,

Чертежи маринуют!

РЕНЕ (в восхищеньи).

Браво, мадам!

ИРИНА.

Мосье Пардессу здесь почти
полмесяца

И скован по рукам и ногам!

Лень и небрежность!

Затор на заторе,

Сотня загвоздок

И заковык.

Мы, к вашему сведенью, —

не санаторий,

А трест для постройки таковых!

Где наша четкость?

Где наши темпы?

Сроки проходят!

Время горит!

РЕНЕ.

О, этот голос!

О, эти тембры!

Прямо поет,

А не говорит!

ИРИНА (молодняку).

Ну, а вы чего глядели?

На носу—сезон весны!

Вас мотают две недели,

Вы—молчок, и хоть бы хны!

Заявленье написали

И уперли ручки в бок!

Ну, а где вы были сами,

Разрази вас бывший бог!

Мы вам внимание! Мы вам доверие!

Мы вам совет и пример подаем!

Легкая, можно сказать, кавалерия,

А до чего тяжела на под'ем!

ЖЕНЯ (вступает в мелодию).

Но, любезная тетя Ариш!

Ты не думаешь, что говоришь!

Ты и не знаешь, какая здесь мука
нам!

МОЛОДНЯК (хором).

Мука нам, мука нам с этаким

пугалом!

ЖЕНЯ.

Ты порядок такой завела:

Чуть уедешь—и встанут дела!

Яма тобою самою и вырыта.

МОЛОДНЯК.

Вырыта с помощью этого ирода!

(Сверхсметкин медленно опускается за
столом, как бы желая спрятаться.)

ЖЕНЯ.

Ты ручалась своей головой,

Что он сух, зато деловой!

Ты нас сама на с'едение выдала.

МОЛОДНЯК.

Выдала, выдала этому идолу!

(От Сверхсметкина видна лишь лысая
макушка с пучком волос.)

ЖЕНЯ.

Ты посадила нам сей... ананас,

Так вини же себя, а не нас!

МОЛОДНЯК.

Себя, а не нас!

Себя, а не нас!

А не нас,

А не нас,

А не нас!

ИРИНА (в полтона).

Тише, ребята!

Вы рановато

Трубите сбор частей!
Мы разберемся, в чем я виновата,
Без иностранных гостей!

На производственном
И на ячейке

Можете крыть меня властью!
Но пусть он поймет:

Волокиту в щепки
Разносит рабочая власть!

А что я ошиблась и ще доглядела,
Не его ума это дело!

(Громко.)

Варвара Петровна!

ФИЛОНОВ.

Товарищ Черкасс!

(Входит секретарша Ирины.)

ИРИНА.

Здравствуйте!

СЕКРЕТАРША (радно).

Ирина!

ИРИНА.

Прошу вас—приказ!

(Варя садится за машинку. Ирина диктует.)

Сначала конечно номер опуса,
Дата и прочие детали.

(В музыке торжественность и фанфары.)

Сего числа, возвратясь из отпуска,
Я приступила... Ну, и так далее!

(Последняя музыкальная фраза иронически срывает торжественность.)

ИРИНА (продолжая диктовать).

Товарищ Сверхсметкин...

МЕТЯ.

Честь и место...

(Варя быстро стучит.)

ИРИНА.

Не спешите, Варечка, мы обождем...

(Музыка смолкает)

(Дробь машинки сопровождается дробью барабана на последующих словах, как при «смертельном номере» в цирке.)

... От управленья делами треста

С сего же числа...

о с в о б о ж д е н!

(Удар барабана и литавр совпадает с радостной точкой, которую аффективно ставит Варя.)

Абзац. Назначить Сверхсметкина
Дария

На должность начальника

канцелярии,

Одновременно поручив

Его же веденью архив!

ЖЕНЯ (с досадой).

Курилка жив!

ИРИНА.

Вывесить к опубликованию.

МЕТЯ.

При всенародном ликовании!

РЕНЕ.

Мадам! Я прошу принимать

мой восторг!

ИРИНА.

Директор треста—Ирина

Норк!

(Конец музыки.)

РЕНЕ (мечтательно).

Ирина... Норк...

(Шум. Все обсуждают положение.)

ИРИНА (у телефона, вполголоса.)

Три-тринадцать. Да. Кабинет

Смелого?

Смелой? Это я. Нет, честное слово!

Не болтайте вздора. Время —

в обрез!

Да. Не из дома. Да, прямо в трест.

(Смеется.)

Соблюдайте солидность в стенах

кабинета.

Ни за что. Запрещаю. Меня

как бы нету!

Я по делу. Мне нужен управдел.

Где хотите, хоть у себя в бороде,

Но чтобы был через три дня найден.

Да, ультиматум. Да. Так и

знайте!

Да... На три кило. Скучала?

Отчасти...

Впрочем в здравницах этих всегда

тоска.

Нет. Работаю. Нет! Будь вы

трижды начальство,

Курьер вас не впустит... Ну то-то...

Пока!

(Громко ко всем.)

Товарищи! Как говорят в театре:

«Мы начинаем! Все на места!»

Мы дня за четыре, а то и за три

Две недели должны наверстать.

ЖЕНЯ.

За три дня?... Но изволь учесть...

ИРИНА.

Тс! Сказано — за три, — сделают

в шесть.

(Филонovu.)

Вы почему не в отделе фото?

ФИЛОНОВ.

Дарий Семеныч... Того... меня...

ИРИНА (сочувственно).

Ах, бедный! Вам скучно здесь
до зевоты...

Но вы уезжаете через три дня...

Не протестуете?

ФИЛОНОВ.

Что вы!

ИРИНА.

Так вот что...

ФИЛОНОВ.

Помилуйте, я давно уж искал...

ИРИНА.

Ну конечно! И шлите нам спешной
почтой

Снимки участков, взморья и скал!
Будьте здоровы! (Филонов быстро
исчезает.)

Прошу бухгалтерию

Объявить штурм финансовых смет!

Орготделу возглавить борьбу

с потерю

Времени. Не протестуете?

Нет!

(Орготдел и бухгалтерия исчезают.)

Производственный! Вы чертежи
задержали.

Ребята били копытом и ржали,

А вы их морили. Это—загиб!

Немедленно сдать в работу!

МОЛОДНЯК.

Гип-гип!

(Уходят с производственным.)

ИРИНА.

Машинистки, привет! Вы не знаете
лени,

Каждый удар ваш—удар в капитал!

«Ходу, машинное отделение!!!» —

Как говорил один капитан!

(Машинистки весело уходят.)

Дарий Семеныч. Вы явно спешите

Поддержать в канцелярии своей

престиж.

Не задерживаю. Только вот...

Подпишите...

СВЕРХСМЕТКИН (подписывая копию
своей отставки).

С... подлинным... верно...

(В сторону Рене.)

Ну, погоди ж!

ИРИНА (курьеру).

Василий Лукич! (Рукопожатие.)

Там одежду не стыряют?

(Курьер бросается к выходу.)

Вот-вот! И поправьте в передней
ковер. (Курьер исчезает.)

Мосье Пардессу! Завтра, ровно
в четыре,

У меня в кабинете. Большой
разговор.

(Трясет руку и уходит.)

РЕНЕ (остается один. Заглядывает направо в производственный. Там идет молчаливая раздача чертежей молодняку. В бухгалтерию — спины согнуты, счета шелкают. К машинисткам — бешеный темп работы. Нагибается через перила, курьер усердно метет пол. Все в движении. Музыка.)

Завтра в четыре... Завтра
в четыре...

О нежный голос... (Вспоминает,
очень лирично.)

«Одежду не стыряют?»

«Ходу, машинное...»

«Это загиб...»

Рене Пардессу!

Поздравляй! Ти погиб!

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Кабинет Ирины. Широкое окно. Подле стола окошечко к секретарю. Вечер.

ИРИНА.

Ну-с так! Значит, завтра,
в четверть второго,

Я со штурмом к вам в ателье
ворвусь!

Да! Ваш главный помощник,
Женни Петрова,

Окончила архитектурный вуз.

Будьте с ней дружны. Не
держитесь, как ментор.

Вы — француз и артист. Так быка
за рога, —

Не шепчите ей на ушко
комплиментов,

Она насчет этого ух как строга!

Ну, вот и все, что относится
к прозе.

А теперь интимно: ваш план
грандиозен.

Вы — огромный талант, горячий
и чуткий.

Ваша сфера — искусство, а не
ремесло! (*Жмет руку.*)

РЕНЕ.

Мадам. Я прошу у вас две минутки
Для несколько очень лишний слов.

ИРИНА.

Лишних?

РЕНЕ.

Абсолютно и вполне.

Касается лишни до вас и до мне.

(*Из окошечка голова Вари.*)

ВАРЯ.

Запрос из Сухума. Запрос
из Хосты.
Счета на кирпич. На бетон.
На гвозди.

(*Ирина подписывает и возвращает.*)

РЕНЕ.

Мадам. Ви хвалить мой план.
Мадам! Ви сказать — я талан!
Значит, я надежд потерял
не совсем!

Мадам! Я любить вас!

ИРИНА.

Мосье! (*Встает.*)

РЕНЕ.

Же ву зем!

Вы спешил меня только-что
предотвратисть
Против нежность к моей молодой
коллеге.

Ви сказать, мадам, я — француз
и артист!

Что ж, я пользоваться этот двойной
привилегий!

Как артист, я бросает ненужный
балласт:

Офисальный слов и формальный
корректность!

Как француз, я скажу: я увидеть
вас

И решить: Пардессу! Ты брать этот
крестость!

Ви явился — меня, как огонь,
ослепила.

Ви ушель — я шататься, как
пьяный матрос!

Сердце начал работать с такая
сила...

ВАРЯ (*в окошечко*).

Насчет рабочей силы запрос!

(*Подпись. Исчезновение.*)

РЕНЕ.

Мадам, мой поспешность вам
кажется странной.
Но клянусь, и мой клятва будет
святя!

Я путешествовать разные страны,
Видеть женщин всех наций и все
цвета!

Но в первый раз я такая вижу,
Который выше меня, а не ниже,
У которой красота, ля ботэ,
Лишь добавок к внутренней
красоте.

Я найти здесь то, то искал напрасно
В Калькутта, в Нью-Йорк и даже
в Париж!

Я увидеть весь мир в другая
окраска!

ВАРЯ (*в окошечко*).

Ялта хочет другую окраску для
крыш! (*Та же игра.*)

РЕНЕ (*подходит к окошечку и э-
крывает его толстой папкой*).

С первой минуты спрятать в душе я
Ваш голос, ваш ум, вашей блузки
кретон,

Ваши глаза, ваши ноздри и шея,
Ваш смелость и ваш повелительный
тон!

(*Торжественно.*)

Я почетный член академии
Ворчестра.

Я иметь первый премий на виставка
в Рим!

У вас есть труд! У меня есть
творчество,

Мы каждый дело свое горим!
Je n'suis pas un gamin — я уже не
мальшишка,

Mais encore молодой, еще un jeune
homme...

Я путаться, я взволноваться
слишком...

(*Решительно.*)

Будьте моим женом!

ИРИНА (*тихо*).

Ирина, спокойствие... Надо учесть
Их обычай и... интересы дела...

(*Вслух.*)

Мосье... Прежде всего —
благодарность за честь...

(*Церемонные поклоны.*)

Быть достойной ее я бы очень
хотела...

Простите, я к прозе опять
возвращусь...
Я виновна, что сразу не прикрыла
оконца,
Но в Союзе к т а к и м из'явлениям
чувств
Не привыкли на первый же день
знакомства.
Я их ожидать никак не могла.
Поймите меня без обиды и зла!..

РЕНЕ.

О, мадам, я понять как нельзя
лучше:
Ви смеется над мой волнение и
клять!
Но разве Октябрьский революций
Отменил любов через первый
взгляд?
Отменил?.. Тогда, если он не
секрет,
Покажите на стол мне этот декрет!

ИРИНА.

О! Я не смеюсь. Я признаюсь
должна,
Что взволнована силой вашего
гимна!
Любовь с первого взгляда не
отменена,
Но, чтоб быть плодотворной,
должна быть в з а и м н а ..

РЕНЕ.

Мадам, я понять вас!

ИРИНА.

Мне очень жаль!..

РЕНЕ.

Мадам, прощайте! Я уезжал!

ИРИНА (испуганно).

Куда?

РЕНЕ.

В Африк! В Тибет! В Китай
на война!
К чорту, к дьявол, но прочь
из этот страна!
Прочь из страна, где не могут
услышать
Верного сердца страданье и стон!
Где женщины красить не губы,
а крыши,
И любить не мужчин, а цемент и
бетон!

Прощайте!

ИРИНА.

Но ваш план! Ваша стройка!
Наш контракт!

РЕНЕ.

Контракт? Я платить
неустойка!

ИРИНА.

Ах так? Ваш честный порыв
забыт?!
Ваша идейность в болото тащится?
Вы мстите из-за личных обид
Делу здоровья миллионов
трудящихся?
Всю Европу восхищает ваш план,
Вам предлагали богатство, однако
Проект убежденно вы отдали нам,
А не Остенде и не Монако!

РЕНЕ.

Уважаемый мадам директор...
Я от вас не отнимать проекта!
Я его не продать капиталу, врагу,
Но стройте, как знает, а я не могу,
Раз моя мечта разлетаться в дим!

ИРИНА.

Но надзор ваш буквально
необходим!
Поймите: вы к нам пришли как
участник
Величайшей стройки всех веков!

РЕНЕ (горячо).

Сосьялизм человеку нужен для
счастье!
А высший счастье — это любов!
Без нему никакая радость нету,
Без нему мы жить, как в тюремной
дворе.

Во Франс есть ипе песенка,
ипе chansonette,
Ее поют во все кабаре,
Простой мелодий с простые стихами,
Но такие долше других живут!

ИРИНА.

Как ее зовут?

РЕНЕ.

Ах, ви тоже слышали?
Да! Заглавий для песьн: «Как
ее зовут?»
Минуточка... Тон... Минуточка...
такт...

Уже. Вспоминаю... так:

(Музыка.)

Si l'aiguille d'un tailleur — когда
у портного
Ходит быстрее игла,
Si les vers d'un poète — когда стих
его новый
Глубже морей и прозрачной стекла,

И когда дровосек рубит весело роща
И смеется в сильный мороз, —
Вы можете прямо и просто
К ним подходить с вопрос:

Припев:

Скажи нам просто и прямо,
Скорей, мы ждем, —
Кто этот прекрасная дама,
Которой твой труд посвящен?
Мы слышим — твой сердце
запело
На самый польный звук,
О, счастливый! Comment elle
s'appelle?

Как...

ее...

зовут?..

Si chez un cordonnier — когда
un сапожник

Сделать кривой каблук,
Si un peintre — когда выходить
у художник

Вместо заката яшница с лук,
Et si un matelot — когда узел
у троса

Развязать не в силах матрос, —
Вы можете прямо и просто
К ним подходить с вопрос:

Припев:

Скажи нам просто и прямо
Ответ нам дай,
Кто этот жестокая дама,
Который тебя покидала,
Который изменой успела
Проклятым сделать твой труд!
О мой бедный! Comment elle
s'appelle?

Как...

ее...

зовут?..

(Музыка. Ирина заслушалась. В широком окне — луна. Рене тихо целует ей руку. Она несколько секунд не отнимает. Потом решительно встает, подходит к окну. Пауза.)

ИРИНА (тихо).

Уф! Наваждение. Песня... Луна...
Чуть-чуть не размякла и бабой
не стала.

Ну-с, товарищ директор, задача
одна:

Удержать во что бы то ни стало...
А там он остынет и будет вполне

Милым и дельным... (Громко.)
Мосье.. Рене!
(Рене очень взволнован. Молчит.)
(Положила руки ему на плечи.)
Ну, успокойтесь. Ну... выпейте

чаю...

Он совсем холодный... Вот так бы
давно...

(Рене машинально пьет.)

Я... ничего вам не обещаю...

РЕНЕ (восторженно).

О, Ирен! После этого следует
«и о...»!

ИРИНА (смеясь).

Вы правы!

РЕНЕ.

Я с вами до край света...

ИРИНА.

Зачем же такой избитый
маршрут?..

Ну так вот... Никогда...
не влюблюсь... в человека...

Который бросает начатый труд!
Постройте!
(Рене бросается к ней.)

Нет, нет, повторяю опять я —
Не надейтесь напрасно...

РЕНЕ.

О как ви жесток!

ИРИНА.

Не надейтесь, что я упаду вам
в о'бьятья,

Как только на вашем
Здравкомбинате

Останется флагом украсить
флагшток!

Но в работе я вас до мельчайших
капризов

Изучу, узнаю... и... все может
быть...

РЕНЕ.

Ирина Норк! Принимаю ваш
вызов!

Я построить — и вы меня
полюбить!

(Бурно уходит.)

ИРИНА (одна).

Dis-moi, comment elle s'appelle?

Как...

ее...

зовут?..

Что я наделала?! Ай! Фу!!
Этот Рене — самум, тайфун,
Циклон и землетрясение вместе...

Он поймет и повесится... Назло...
 Из мести!
 Впрочем вздор... Ну, а если? Что
 тогда?
 Сердце стучит... Голова затрещала...
 (Мечется по кабинету. Подбегает к ра-
 ме. Зрителю.)

Товарищи... Вы подтвердите? Да?
 Я ему у ничего не обещаю!
 (Музыка с силой повторяет мотив пе-
 сенки Рене.)

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Прошло восемь месяцев. Стройка курор-
 та на юге. Общежитие девчат. Женя
 сидит за столом, опершись головой на
 руки. Кира собирает чертежные принад-
 лежности и напевает.

КИРА.
 «У него глаза — золотистые искры,
 На его висках — серебристая пыль»
 (Оборвала.)

Вчера у Филонова на вечеринке
 Собрался кой-какой танцовальный
 актив...

И ко мне с загармоничной пластинки
 Прицепился этот треклятый мотив...
 (Продолжает напевать.)

«Его лоб высок, смело волосы
 вьются,
 Словно бархат, бровь, а ресницы,
 как шелк...»
 (Оборвала.)

Где рейсфедер?

ЖЕНЯ. Что?

КИРА. Рейсфедер!

ЖЕНЯ. Ты мне?

КИРА. Да!

ЖЕНЯ. Что?

КИРА (орет). Где рейсфедер?

ЖЕНЯ. На окне.

КИРА. А резинка?

ЖЕНЯ (про себя). —
 Позор!

КИРА (орет). Резинка?!

ЖЕНЯ. Кто?

КИРА. Резинка, резинка!

ЖЕНЯ. В кармане пальто!
 (Тихо.)

Какой-то фашист с крокодильской
 картинкой!
 Чулки! Лакированные ботинки!
 На башке с пороссячьим хвостом
 берет!

КИРА. А циркуль?

ЖЕНЯ (тихо). А галстук! Какой-то бред!

КИРА. Скорее! Где циркуль? Мне его
 надо!

ЖЕНЯ (забывшись, громко). В пузырчатых брюках, с мешком
 вместо зада!

КИРА. В каких это брюках? Какой зад?

ЖЕНЯ. А девчонки волнуются, хорошеют
 И, должно быть...

КИРА. Да где они висят?

ЖЕНЯ. И, должно быть, висят у него
 на шее!

КИРА. На шее? Ты обалдела, или...

ЖЕНЯ. Ах!

КИРА. Что с тобой? Тебя подменили!
 Бормочешь вздор, пуглива,
 как заяц,

И рвешь, и мечешь, на всех
 огрызаясь!

Ты что, захворала? Попала в беду?

ЖЕНЯ. Нет!

КИРА. Так идем на участок!

ЖЕНЯ. Не пойду!

КИРА. Не пойдет на участок? И кто? Она?
 Ну, крышка! Все ясно! Влюблена!

Женька! Железная натура —
И вдруг влюбилась! Смех и грех!
Вот все говорят, между прочим,
я — дура!

А заметила все-таки раньше всех!
Женечка!

ЖЕНЯ.

Ну?

КИРА.

Если это Пишка,

Так не стоит: во-первых, он дрянь-
мальчишка,

Во-вторых, по механике сел зимой...

А в-третьих... он нравится мне
самой!

ЖЕНЯ.

И целуйся с ним!

КИРА.

Если это Метя,

То уж кто-то есть у него на примете!
Не свистит за работой, рожа

унылая,

И кажется — это Нина Вартян!

ЖЕНЯ.

Кирушка, дорогая, милая,

Прошу, умоляю, иди ты к чертям!

КИРА.

Это грубость и свинство!

Слышишь?

ЖЕНЯ (машинально).

Слышу!

КИРА. Раз я дура, так все, по-твоему,
стерплю?

(Пауза.)

Ты страдаешь? (С порывом.) Бери!
Уступаю Пишу!

ЖЕНЯ (яростно).

Брысь!

КИРА.

Ах, вот как? Ну, выкуси! Не
у с т у п л ю! (Убегает.)

(Вступает музыка.)

ЖЕНЯ (одна).

Дура! «Железная натура»...

А глупость хлещет через края.

Дура! Дура! Десять раз дура!

Дура!

Только не Кира... а я!

Комсомольский билет, пролетарские
предки,

И влюбиться сразу, в один момент,
С первого взгляда!

Как в оперетке!

В классово-чуждый элемент!

Дура! Дура! Ничтожество,
тряпка!

Все для меня значит трин-трава!

И моя восьмидесятилетняя бабка

На сто процентов была права,

Когда, заплетая мне косу, бывало,

Она напева-а-ла:

«Запомни, свет моих очей,

Когда любить захочется,

Не спросишь, кто, не спросишь,

чей,

Ни имени ни отчества!

Где правда, ложь, не разберешь,

А будешь, словно шалая,

Руками шею обовьешь,

Прильнешь губами алыми...»

Ах! (Машинально повторяет
фокс Кирь.)

«У него глаза...

Золотистые искры...

На его висках

Серебристая пыль...»

Подошел ко мне

И спросил меня быстро:

«О, мадмуазель, что здесь
происходило?»

(Та же игра.)

«Его лоб высок,

Смело волосы вьются...

Словно бархат, бровь,

А ресницы, как шелк...»

Улыбнется он —

Даже зубы смеются!

Ах, зачем, зачем он ко мне

подошел?!

Женя, Женя! Отчего

Твою выдержку украли,

Не оставив ничего,

Кроме бабкиной морали?!

Сердце, что ль, ему отдашь,

Как фокспротная девшца?

Он чужой! Он не наш!

Он приехал пожить!?

Ловелас и пустозвон!

Не успев уйти с вокзала,

На девчонку эту он,

Словно кот, глядел, на сало!

(Топает ногами.)

Что со мной стало? Не пойму!

Я ревную!

Кого? К кому?

Ах!

«Запомни, свет моих очей,

Когда любить захочется,

Не спросишь, кто, не спросишь,
чей,

Ни имени, ни отчества!
Где правда, ложь, не
разберешь,

А будешь, словно шалай,
Руками шею обовьешь,
Прильнешь губами алыми...»

Нет! Полно кудахтать курочкой-
рябушкой!
Мы разберемся, где правда,
где ложь!

Кончено! К чортовой бабушке
бабушку!

С песней ее далеко не уйдешь!
Кончено! Тактика будет иная,
Глупую блажь раздавлю!

(Очень лирично.)

Люблю ли его, я не знаю,
Но, чорт подери, разлюблю!

КАРТИНА ПЯТАЯ

Место стройки. Коглован фундамента. Кирпичи, бревна, бочки с цементом. Справа в осеннем золоте — дерево. Задний план — весь в строевом лесу. Там сооружаются здания будущей здравницы-комбината. За лесами ослепительная полоса моря. Перед поднятием занавеса продолжительный гудок. Из-за штабеля кирпичей появляются Сверхсметкин, Филонов и Таточка.

ФИЛОНОВ.

Сюда! Все ушли. Перерыв на обед.
Позвольте руку. Вот здесь пройдите.

СВЕРХСМЕТКИН.

Продолжаю. Итак, мы дали обет
Доказать всему миру, что он —
вредитель.

И тогда я вернусь опять на свой
пост,

А коту настанет великий пост!

ТАТА.

Негодяй! Он в течение двух
недель

Склонял меня к связи.

ФИЛОНОВ.

Как? Прямо?

ТАТА.

Окольно.

Дарил духи и возил
в Гранд-Отель.

Пять раз в такси и два раза
в «линкольне»!

Мы с мамой его уничтожим!
ФИЛОНОВ.

Мы тоже!

СВЕРХСМЕТКИН.

Конечно, он должен быть
уничтожен!

Но план наш реальнее, чем у дам.
Взгляните, прошу вас, на сей
чемодан!

ТАТА.

Что в нем?

СВЕРХСМЕТКИН.

То, что его доведет до Нарыма,

Или, по крайности, в Соловки!

ТАТА.

Ай! Что же?

СВЕРХСМЕТКИН.

Костюмы, накладки, прим и

Усы, бородки и парики!

ТАТА.

Зачем?

СВЕРХСМЕТКИН.

Чтоб ему развязать язык.

Он со дня приезда весьма
непочтительно

Крыл соввласть до Совнаркома
включительно,

А однажды облаял даже ВЦИК.

Словом, я в фашиста переоденусь,
Чтоб вызвать его на откровенность.

Через двадцать минут он будет тут,
Перед тем, как снова работу

начнут.

Бегите в свидетели звать молодняк,

И, клянусь, мы его подведем на-днях

Под пятьдесят восьмую статью.

Понятно?

ФИЛОНОВ.

Вы гений! Бегу! (Тате.) Адью!

ТАТА (глядя ему вслед).

Какой расторопный!

СВЕРХСМЕТКИН.

Он служит пешкой-с,

На побегушках. Не больше того.

Ну-с, я за работу. И если

замешкаюсь,

Будьте добры, задержите его.

Буду вам очень и очень обязан...

Я, знаете, видел вчера вас во сне...

Ваш корпус... весьма с головой

увязан

И согласован с ногами вполне.

Я к вам тяготею... Душою и телом...
«Любовь к природе»... Как в
книжке у Бельше.
Ах! Дайте мне снова стать
управделом —

Я знаю, кто будет моей
управдальшей! (Уходит.).

ТАТА.

Чучело! Пугало! Кукиш в конверте!
(Смотрит за кулисы.)

Рене!.. Я должна быть бледнее
смерти! (Пудрится.)

РЕНЕ (напевает).

Comment elle s'appelle?
Как... ее... зовут?

(Тата кашляет.)

О! Ви здесь, мой северный роза?

ТАТА.

Да. Я здесь. Вы подлец.

РЕНЕ.

Какая проза!

ТАТА (нежно придвигаясь).

Ах, вы, значит, соскучились
по поэзии?

РЕНЕ (отодвигаясь).

Да. Но проза, кажется, будет
полезнее.
Как мадам ваша мать? Всегда
горяча?

В такой боевой, кирасирский стиле?

ТАТА.

Мамаша истаяла, как свеча,
С тех пор, как вы дочь ее
обольстили.

РЕНЕ (косясь на зрителя, заминает
разговор).

Вы здесь один или с подругами?

ТАТА.

Моя жизнь разбита, а честь
поругана!

РЕНЕ (так же).

Как вам понравится этот места?
Мы построим такая красота,
Что заткнем за... галстук... Ментона
и Ницца!

ТАТА.

Негодяй! Вы должны на мне
жениться!

РЕНЕ.

Мадмуазель, позвольте давать вам
совет:

Я знает людей и знает свет,
(Отечески.)

Не губите жизнь своя молодая,
Не идите замуж за негодя!

ТАТА.

Бросьте шутки! Вы с хищностью
сатира

Меня обнимали!

РЕНЕ (косясь на зрителя).

Танцую фокстрот!

ТАТА (грубо).

Вы со мной жили!

РЕНЕ (продолжая отвиливать).

В одна квартир!

ТАТА.

Нет! Лично со мной!

РЕНЕ (с отчаянным жестом на зри-
теля).

Мадмуазель! Здесь народ!

ТАТА.

Садитесь!

РЕНЕ.

Здесь тесно!

ТАТА.

Я подвинусь.

И знайте: закон защищает
невинность!

РЕНЕ (его взорвало, но он очень мя-
гок).

Мадмуазель. Давайте факты

учесть...

Я был сам не из камня и не
из жести,

Но... другой имел честь... иметь
ваша честь,

И я его знать... не имеет чести!

ТАТА.

Да! Но бросить меня через две
недели...

РЕНЕ.

Это — да! Я виновный в таком
поведении!

ТАТА.

Ворваться в моей души уголок,
Пронестись над жизнью моей

И отделаться дюжиной пар чулок,
Одним патефоном и одним

Лориганом?

РЕНЕ.

О! Я не намекает на эти вещи, но...

ТАТА.

Хватит! Довольно! Все это буза!
(Плакливо.)

И потом — на одной пластинке
трещина!

РЕНЕ (*оправдываясь*).

Но зато — это «Черные глыза»!

ТАТА (*ближе к нему*).

Ах, вы будете счастливы со мною,
Я буду вам маленькой верной

женою!

РЕНЕ.

О, не надо ни пропаганд, ни агит:
Вот вам мой слов. Последний,

железный:

Мадмуазель, я жениться на вас

не может,

Но желает вам быть, чем возможно,
полезный!

Вам что-нибудь надо? Вы что-то
хотеть?

Скажите, — все, что могу! Я
согласен!

ТАТА.

Я на крыльях любви к вам спешила
лететь

На последние деньги,
в третьем классе...

Я так тосковала... Та к и е
р а с х о д ы!

Я жить не могу от вас вдалеке.

Мои туфли давно уже вышли
из моды.

Теперь носят на венском каблук!

РЕНЕ (*обрадованно*).

О, вот это я понимаю, мой Биби,
Сложите скорей свои крылья любви,

Забудьте меня, это очень легко.

И мы сговоримся в момент, мой
Коко!

Зачем вам здесь жить в пыли
и в грязи?

Езжайте назад в Москва, мой Зизи,
Я моментально возможность найду

Ехать вам в мягкий вагон,
мой Дуду,

Без модной туфли жить тяжело,

Мы это исправить, мой Лоло.

Словом, я вас принять от меня
прошу

Деньзнаки моей любви, мой Шушу!

(*Передает несколько ассигнаций.*)

ТАТА.

Как? Все это мне?

РЕНЕ.

Абсолюман и вполне!

(*Вступила музыка.*)

ТАТА.

О, боже! Да это доллары!

Куплю себе все, что хочу!

Берет, как у Щукиной Клары,

И джемпр, как у Кати Лешук!

Лиса мою шубку украсит!

Смотреть будет больно глазам!

Костюм, как у Розы Карасик,

Манто, как у Женни Сазан!

В мехах, в шелках...

И в пух, и в прах

Теперь смогу я нарядиться!

Ах, наконец у меня ты в руках,

Счастье! Торгсиняя птица!

Мужчины слетятся, как галки,

Послушны движенью руки!

Товарищи Елкин и Палкин

У ног моих сложат пайки!

Кукушкин от спячки очнется,

Сверхсметкину крикну я: «Брысь!»

Примчится Треплов — и начнется
Великосоветская жизнь.

В мехах, в шелках...

На кой же прах

На исходящих мне коптиться?

Ах, наконец у меня ты в руках,

Счастье, торгсиняя птица!

(*Чмокает Рене в щеку. Танцевальный уход.*)

РЕНЕ.

Вуаля! Этот номер вышел в тираж!

Хорошо, что я не робкий десятка!

Подумать: один неудачный

вираж, —

И была б принудительный посадка!

Но я сделать привычный

классический крен

И пролетать над пропастью мимо.

(*Задумался.*)

О, как на нее не похожа Ирэн!

Нет! по-русски лучше красиво:

И р и н а!

Смелость мысли, ритмичность

движений,

Точность в работа, гляделке вдаль!

Я еще это видеть — только у Жени...

(*Вспоминает.*)

И у Нины Вартян... И у Ксаны

Коваль,

И у... О, эти женщины не

для фокстрота

И не для флирт между чашка чай!

(*Удивленно.*)

Сакр дью! Какой-то новый порода!
Я только сейчас начинать замечай!
Ирины и Нины, и Ксаны, и Жени,
И весь — как они говорят? —

«актив».

Осторожно, Рене Пардессу!
Неужели
Ты влюбился не в данный женщин,
а в тип?

(Задумался.)

Нет! Это с сердцем непримиримо!
Будь их или пятьдесят, или сто...

(Вошел Смелой.)

Ирина, Ирина, Ирина, Ирина,
Ирина Норк! И больше никто!
СМЕЛОЙ (тихо).

Так. Вроде сюрприза, тово-этово!
Однако что же? О чем же
сетовать?

Узнать ее и не полюбить?
Да это колодою надо быть!

(Громко.)

Алло! Пардессу! Как жизнь?
Как дела?

РЕНЕ (радостно).

Товарищ! Смелой! Виват! О-ла-ла!
Эх! Начальство! Как вы говорите—
нач!

(Трясет руку.)

Вас сюда не заманишь через калач!
СМЕЛОЙ.

Я ж три раза!..

РЕНЕ.

За восемь месяц с полтиной?
Пардон, с половиной! Это бу з а!
А я уже справиться с плотиной,
А я уже рыть фундамент курзал!
А что делать Москва? Нишего
ровно!

Я сейчас показать!

СМЕЛОЙ.

А ну, покажь!

РЕНЕ.

Это что? Это тросточка или
бревна?

А это? Цемент или манный каш?

А этот кирпич? Откуда он?

С разрушенный башня Бабилоня?

И потом, мы просить двенадцать
миллион!

А вы нам прислать четыре
миллиона!

Хорошо, что мадам директор
клопочет,

А не то строительство шах и мат!
СМЕЛОЙ (тихо).

Ой, умна! Сокращает его, как
хочет,

И вдобавок валит на наркомат!

Вот меня привезла, чего уж хитрее,
Чтоб я урезал ему галерею.

(Громко.)

Она здесь была раз шесть?

РЕНЕ.

О! Сем!

Без нее мы пропадать совсем!
Я считать каждый день и час, и
минута.

Когда мадам Норк бывает здесь.

Я весь переродиться как будто!

Я становиться лучше весь!

Товарищ Смелой! Вы понять мои
мысли!

Вы открыть мне глаза на страна
большевик,

Вы отгрызть мой плач от сто
двадцать комиссий.

У меня для вас нету тайный язык!

Я любить этот женщин с самый
начало!

Я сказал ей об этом!

СМЕЛОЙ (после паузы).

И что же она?

РЕНЕ.

Сперва отказала, потом... обещала
И велела работать!

СМЕЛОЙ (тихо и растерянно).

Вот тебе на!

РЕНЕ.

Я стал строить! О, с вами каша
сваришь!

Я попал, как новый родной семья!
Ваш начальник строительства мне,
как товарищ!

Все русские инженер — как друзья!
Мой помощник — Женни! Платье

из ситца,
Но шелковый мозг, а в работе —

клад!

Только очень сухой, как-то странно
косится

И имеет всегда подозрительный
взгляд!

А как у нее с молодежь влиянье,
То ко мне комсомол очень вежливо,
но злой!

Но я не нуждаюсь, я не требовать,
я не... (Оборвал.)

Вы меня не слушать, товарищ
Смелой!

СМЕЛОЙ.

Нет! Слушаю, слушаю, извините!

РЕНЕ.

Я с ними тоже вежлив, но крут!

Я — вдохновитель! Они —
исполнитель!
Я — давать творчество! Они —
только труд!

СМЕЛОЙ.

Это неверно!

РЕНЕ.

Оставим дискуссий!

Ваш молодежь не в моем вкусе!
Взгляните лучше на панорам!

(По мере того, как Рене говорит, леса на постройках заднего плана тают, и задник как бы реализует слова Рене, показывая будущее величие курорта. Рене — спиной к заднику, то-есть не указывает на объекты, о которых упоминает. Он их видит, как строитель.)

Я даю бой волнам и горам!
У взморья — курзал! Пять кино,
два театра!
На четыре эстрад оркестр гремит!
Там висячий сады, как у Клеопатра,
Виноват, ошибаться, — у Семирамид!
Дальше, словно из-под палка
волшебниц,

Вырастает гигантский
водолешбниц:

Грязи, Сера, Нарзан, Боржом!
Я сам растерян, я сам поражен!
Четыре га под площадки спорта —
Всякого рода, вида и сорта!
Гаражи! Авиабаза своя!
Пристань! И все это строить — я!
(Задник снова реален.)

СМЕЛОЙ.

Все ты! А у нас — шальные
затраты:
Миллионы летят под хвосты псам!
Тридцать тысяч строителей
получают зарплату,
Чтоб сидеть и смотреть, как ты
все строишь сам!

РЕНЕ.

О! Они исполнять моя идея!

Но слушайте дальше! Мой главный
цель!

Мой главный гордость — галерея,
Идущая через двенадцать отель!
Соединить двенадцать гостиниц
На высоте четвертый этаж!

СМЕЛОЙ (тихо).

Ну, как поднести ему этот
гостинец?
Смелой! Смелее! На абордаж!
(Вслух.)

Вот насчет галереи...

РЕНЕ.

Слушайте дальше!

Гигантский овал!

СМЕЛОЙ (тихо).

Ох, будет скандальчик!

РЕНЕ.

Мы весь мир удивить!

СМЕЛОЙ (тихо).

Он сойдет с ума!

РЕНЕ.

Это будет гордость курорта!

СМЕЛОЙ.

Парень прав! Галерею жалко
до чорта!
Нет, я струсил. Пускай говорит
сама!
Вот что, друг. Я ведь знаю всю
эту программу,
А мы искушаем в терпении даму!
Нас давно уж на пятом участке
ждут!

РЕНЕ.

Кто?

СМЕЛОЙ.

Ирина Норк!

РЕНЕ.

Приехала? Тут?

И вы молчает! Какое счастье!
(Прыгает, как мальчик.)

На пятый участок. На пятый
участок!

СМЕЛОЙ.

Тише, тише, поменьше огня!

РЕНЕ.

Бегу! Вы будить меня догонял!
(Убегает.)

(Пауза. Тихо вступает музыка.)

СМЕЛОЙ.

Так! Догоняй! А вдруг не
догоним?

Вдруг уже нету силы былой?
Значит, конечно? Значит, агония?

Значит, тебя не любят, Смелой?
 Молод! Красив... Но и я не
 мочала!
 Сорок седьмой, а еще молодец...
 Сперва отказала... Потом —
 о б е щ а л а ?
 А жет? Не похоже... Так... Значит,
 конец?!

Где тебе гнаться за юностью
 бурной?
 Время—основывать клуб стариков!
 Молодость сглазили ссылки
 да тюрьмы,

Пуля в плече... Перекоп.
 Пара ль ты ей, молодой
 и красивой?
 Любят не ради гражданских
 заслуг!

Значит, за прошлое скажем
 спасибо
 И разомкнем этот круг!
 Вздор! Морщины чуть-чуть
 покрыли резьбою,
 И ты уже хочешь сдаваться
 без бою!

Кисель! Ликвидатор! Оппортунист!
 Нет! Будем бороться! Смелой!
 Подтянись!

ИРИНА (входит с Рене).
 Ха-ха-ха-ха! Цеха, а не цехи!
 Спина, а не спина! Товар, а не
 тварь!

Впрочем, вот вам в подарок за
 ваши успехи
 Франко-русский и
 русско-французский словарь.
 (Рене радостно прижимает книгу
 к сердцу.)

Научитесь справляться с падежами!
 (Смелому тихо.)

Ну?
 СМЕЛОЙ (отрицательно качает
 головой).

Дайте мне вашу храбрость
 в заем!

ИРИНА.
 Так и знала! И тут не поддержали!
 Тогда — марш! Оставляйте нас
 вдвоем!
 (Смелой тихо уходит.)

Ну! Что вы вперили в меня свои
 взоры?
 У меня, быть может, на лбу
 узоры?

РЕНЕ.
 О, вы хорошесть еще и еще!

ИРИНА (тихо).
 Так! Ну, куй железо, пока
 горячо!
 (Трагично.)

Рене! Я к вам с очень плохими
 вестями!

РЕНЕ.
 Что случилось?

ИРИНА.
 Ах, догадайтесь сами!

РЕНЕ.
 Что сейчас будет сказать она?
 Неужели я свой приговор услышу?

ИРИНА.
 Клянусь вам! Не я... Не моя вина!
 Так случилось. Я не ждала! Это
 свыше!

Так неожиданно как-то... Сразу!
 Мне стыдно самой! Я не знаю, как
 быть!

РЕНЕ.
 Кончайте же ваша проклятая
 фраза:

Вы успели кого-нибудь полюбить?!

ИРИНА.
 Вздор! Я не об этом!

РЕНЕ (со счастливым вздохом).
 О! В такой случай
 Я ничто не боюсь! Говорите!

ИРИНА.
 Тем лучше!

Смета сокращена в обрез!
 Директива — построить возможно
 быстрее.

Словом, в силу сжатия темпов
 и средств
 Снят один из объектов...

РЕНЕ (равнодушно).
 Какой?

ИРИНА (почти вскользя).
 Галерея!

РЕНЕ (подскочив).
 Что? Галерея? Галерея?
 Который гордо в воздухе рея?

ИРИНА.
 Не придется!

РЕНЕ.
 Что не придется?

ИРИНА.
 «Реть!»
 Сроков и денег меньше на треть!

РЕНЕ (*орет*).

Это варварство! Мы весь план
искалечим!

ИРИНА.

Я подожду, чтоб гнев ваш утих!

РЕНЕ (*лихорадочно перелистывает словарь*).

Минуточка... Кто из нас двоих?..

Минутка... Нашел... Кто из нас
(*читает*) сумасшедший?

Ну? Чего вы молчите? Ага, вы
сдались?

Что? Нет? Вы упорствовать в свой
вандализм?

(*Ирина молчит.*)

Ну, что вы сидите в поза сфинкса?

Это... (*перелистывает*) минутка...
нашел...

Это (*читает*) сви н ст в о!

Кто это придумал? Кто первая
скрипка?

Покажите мне этих (*перелистывает*)... минутка (*читает*)... о с л о в!

ИРИНА (*ледяным тоном*).

Простите! Я, кажется, вам
по ошибке

Купила словарь ругательных
слов?

(*Рене бросает словарь.*)

Так вот. Из'ясняюсь возможно
короче:

Ответственность в этом деле—моя!

Мне предоставлены полномочия,

И галлерей снимаю — я!

РЕНЕ.

Быстро управился!

ИРИНА (*с вызовом*).

Как сумела!

РЕНЕ (*к зрителю*).

Как вам нравится этот Наполеон?!!

ИРИНА.

Это талантливо, это смело,

Но это стоит лишний миллион!

РЕНЕ.

Ах так! Ну, все понимаем
теперь мы!

Это подлый удар из-за угла!
Так вот почему нет железной

фермы

И недосланы сорок платформ
стекла!

Но я тоже не тряпка и не дурак!

Я вам не комсомоль, дорогая
метресса!

Я швырять вашей власти в лицо
контракт

И шуметь через международная
пресса!

ИРИНА.

Ну, пустим последнее средство
в ход!

Ах, неприятно!.. Ой, неохота!..
(*Подходит к нему вплотную.*)

(*Тихо*)

Завоевать меня трудно и в год,
Но потерять меня можно в два
счета!

(*Вступает бурная музыка.*)

РЕНЕ.

Ирина Норк! Остановись!

Меня толкать на страшный
шаг ты!

ИРИНА.

Поймите, здесь не мой каприз,

А цифры, логика и факты!

Что вам дороже — я или план?

РЕНЕ.

Без вас мне холодно и пусто,

Но сердце рвется пополам

Между любовью и искусством...

ИРИНА.

Так решайте!

РЕНЕ.

Ирин!

ИРИНА.

Так решайте сейчас!

И поймите, что я вам не лгу!

РЕНЕ.

Я отдам своя жизнь, своя кожа
за вас,

Но отдать галлерей не могу!

ИРИНА.

Ах, я вижу, цена вашим клятвам—
пятак!

РЕНЕ.

Ви разбить мой идей вдребезг!

ИРИНА.

Если так...

РЕНЕ.

Если так?

ИРИНА.

Если так!

РЕНЕ.

Если так?

ИРИНА.

Мы — враги!

РЕНЕ.

Мы — враги!

ИРИНА.

Мы — враги!
(Музыкальная пауза.)

ИРИНА (подходит к Рене).

Не будьте злым, мосье Рене!

РЕНЕ.

Нет, я не злой, но я
нечастный!

ИРИНА.

Оставим споры в стороне!

РЕНЕ (в сторону).

Она сдаваться! Это ясно!
(Ирине.)

Я помирился рад давно!

ИРИНА (в сторону).

Он уступает! Очень мило!

(Они протягивают друг другу руки.)

ВМЕСТЕ.

Так значит — точка! Решено!

РЕНЕ.

Я победил!

ИРИНА.

Я победила!

РЕНЕ.

То-есть, кто победил?

ИРИНА.

Полагаю, что я!

РЕНЕ.

Но, мадам!

ИРИНА.

Но, мосье!

РЕНЕ.

Но, мадам!

ИРИНА.

Руководство — мое!

РЕНЕ.

Галлерея — моя!

Я свой план искалечить не дам!

ИРИНА.

Но ведь строите вы для меня же,
чужаки!

РЕНЕ.

Нет, ищите другого слуги!

Если так...

ИРИНА.

Если так?

РЕНЕ.

Если так!

ИРИНА.

Если так?

РЕНЕ.

Мы — враги!

ИРИНА.

Мы — враги!

ВМЕСТЕ.

Мы — враги!

(Ирина стремительно уходит.)

РЕНЕ.

Ушла! Что за муха меня

укусила?

Теперь конец! Не беги, не лови!

Но как ее зовут, этот сила,

Который сильнее сила любви?

От которой весь мой кровь

закипела

И разрушила счастье в полминут?

О, мой глупий! Comment

elle s'appelle?

Как... ее... зовут?..

СВЕРХСМЕТКИН (выползает из-за штабелей бревен. Он одет в коричневую куртку, колоссальные круги, загримирован примерно Синей бородой или Алибабой из дешевых феерий. В руке у него коричневая повязка, на которой белый круг с черной свастикой. Рене опустил голову на руки, сначала не замечает его, потом смотрит с удивлением только-что проснувшегося человека).

Здрасьте! Ага, посмотрите,

растерян как!

Ну, что же, оно и не удивительно:

Ну, чтоб ему совсем было

ясно,

Наденем еще вот эту

повязку!

(Надевает повязку, но в спешке — сзади наперед, так что свастика видна не Рене, а подоспевшим Мете, Пише, рабочим и работницам, которые притаились в котловане фундамента за бревнами, кирпичами и бочками, изредка высывая головы.)

Здравствуйте! Здравствуйте!

Здравствуйте!

МЕТЯ (тихо).

Здрасьте-ка!

Ребята, фашист!

ПИША.

Безусловная свастика!

МЕТЯ.

Какая наглость! Среди белого

дня!

ПИША.

Тссс! Пусть говорит!

МЕТЯ (*протягивая за спиной свои руки*).

Так держите меня!
(*Его держат.*)

РЕНЕ (*раздраженно*).

Что угодно?

СВЕРХСМЕТКИН (*тихо*).

Смелей! Моя должность на карте.
(*Вслух.*)

Я к вам, кха! Направленья, так
сказать,
(*Зловещим шопотом.*)

Имею секретное от нашей партии!

РЕНЕ (*тихо*).

Ага! Большевик! Я ему показать!
Я ему... минутка... нашел... (*читает*)
о т б р е ю!

СВЕРХСМЕТКИН.

На вас вся надежда в текущий
момент!

РЕНЕ (*зрителю*).

Они мне сначала срывать
галерею,
А потом утешать с пустой
комплимент!

СВЕРХСМЕТКИН.

Ведь вы нам сочувствуете? Вуй?

РЕНЕ.

Это было недавно!

МЕТЯ.

Ах, ты, буржуй!

ПИЩА.

Капиталистическая отрыжка!

РЕНЕ.

Это было, но сплыло!.. минуточка
(*читает*)... к р ы ш к а!

Вы весь мир обмануть!

РАБОТНИЦА.

Смотрите, как кроет!

СВЕРХСМЕТКИН.

Но позвольте! За что? Как
холодный ушат!

РЕНЕ.

Вы на слова собирается строить!

ПИЩА.

Молодец!

РЕНЕ.

А на дело — вы разрушат!

МЕТЯ.

Правильно!

СВЕРХСМЕТКИН.

Но у меня директива!

Вы считаетесь в первых рядах
актива!

РЕНЕ.

О, я был такой!

СВЕРХСМЕТКИН (*тихо*).

Так! Уже держим за хвост!

МЕТЯ.

Все-таки был!

СВЕРХСМЕТКИН (*тихо*).

Теперь петлю потуже!
(*Вслух.*)

Мы вам предлагаем выскокий
пост!

С одним условием — стройте
похуже.

РЕНЕ (*вскипел*).

О! Я слышал сегодня уже эта
песнь,

Но это не будет, пока я здесь!

В о н!!!

СВЕРХСМЕТКИН.

В каком это смысле?

РЕНЕ (*наступая на него*).

В самый противный!

Я тебе борода засуну в рот!

(*Сверхсметкин спасается, залезая на кирпичи.*)

Никогда не думал, что среди
партийный

Может быть такой... минутка...
(*читает*) у р о д!

СВЕРХСМЕТКИН (*медленно сползая*).

Что ж сказать мне в центре
в таком случае?

РЕНЕ (*бешено*).

Скажите и центре, и всем, всем,
всем:

Или я строить не хуже, а лучше,

Или я строить не буду совсем!

Понял? И к чорту вас и ваш
партий! (*Ушел.*)

МЕТЯ.

Свой в доску!

ПИЩА.

Ура! Ну, ребята, шпарьте!!!

(*Набрасываются на Сверхсметкина. Драка. Прибегают Каплан, Филонов, Смелой.*)

ГОЛОСА.

Бей! Навались!

КАПЛАН.

Отставить!

СВЕРХСМЕТКИН.

Ой!

КАПЛАН.

Вы что, обалдели?
ФИЛОНОВ.

Спасите!

СМЕЛОЙ (сильно).

Стой!

Вы кто? Молодняк сознательный
нынче,

Или Ку-Клук-Клан и законы
Линча?

(Круг расступается, и сильно помятый
Сверхсметкин обращается к Смелому.)

СВЕРХСМЕТКИН.

И это вместо вниманья, почета-с!

Специально вызван сюда из
Москвы:

«Засядьте, Дарий Семенч,
за отчетность!»

А что между прочим сделали вы?

Устроили (плачет), сволочи,
засаду,

И я в результате в ключьях весь!
(С отчаяньем.)

Да как я теперь за отчетность
засяду,

Когда мне буквально нечем
засесть?!

Я подам жалобу Наркомздраву!

РЕБЯТА.

Да это Сверхсметкин!

СВЕРХСМЕТКИН.

И Це-Ка-Ка!

ФИЛОНОВ.

Одну минутку! Головку направо!

Подбородок выше! Готово! Пока!

Не мог, виноват, не увековечить!

СМЕЛОЙ.

Вы что же затеяли, человече?

СВЕРХСМЕТКИН (указывая на Фи-
лонова).

Да разве он вас не предупредил?

МЕТЯ.

Нет! Кричит: «Бегите со всех
сил!»

Мы побежали!

ФИЛОНОВ.

А мы отстали!

СВЕРХСМЕТКИН.

Это был мой метод испытанья!

СМЕЛОЙ.

Да кто вас просил применять этот

Идиотский, провокационный
метод?

СВЕРХСМЕТКИН.

А кто их просил меня рвать
на куски?

ПИША.

Архивная крыса!

СВЕРХСМЕТКИН (в раже).

Сопляки!

ФИЛОНОВ.

Идем! Мы одни против целого
фронта...

СВЕРХСМЕТКИН.

А я докажу, что французишка —
контра!

ФИЛОНОВ.

Идем!

СВЕРХСМЕТКИН (рвется из его
рук).

И акула!

ФИЛОНОВ.

Идем же!

СВЕРХСМЕТКИН (та же игра).

И гидра!

СМЕЛОЙ (его терпение дошло до
предела).

Ступайте отсюда, вы, старая

выдра!

(Сверхсметкин вспоминает, кто такой
Смелой, с'еживается и уходит.)

МЕТЯ.

Ребята! А наш француз-то — во!

А мы за буржуя считали его!

РАБОЧИЙ.

Десятники! Эй! Не пора ль

становиться?

(На штабелях расположились готовые
к работе строители.)

ФИЛОНОВ (в восторге).

Ай группа!

ПИША (бежит на места с товари-
щами).

Позор! Не слышали гудка!

ФИЛОНОВ (страшным голосом).

Стой! (Все остановились и засты-
ли.) Спокойно! Сделайте ударные
лица!

РАБОЧИЙ (запустил в него арбузной
коркой).

Иди ты в болото!

ФИЛОНОВ.

Спасибо! Пока! (Ушел.)

МЕТЯ.

Запевай!

ПИША.

«Барьеры!»

РАБОЧИЙ.

Надоело! Чорт с ней!
Лучше — «Раньше — поздней».
ВСЕ.
Даешь — «Р а н ь ш е —
п о з д н е й!»!

ПИША (*запевает*).

На-ле-гай!
Взвали на плечи дело!
Отдавай
Себя работе весь!

ХОР.

Чтоб земля
Далеко загудела,
Разнось
О стройке нашей весть!

МЕТЯ.

Чтоб летел
Через моря и страны
Наш девиз:
На двадцать скоростей!

ПИША.

Все равно победа будет поздно или
рано,
Так лучше раньше, чем поздней!

(На всех трех об'ектах — работа, спор-
ная, дружная, ритмичная.)

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Огромный зал в центральном здании комбината. Он почти достроен. Направо стеклянные двери, ведущие на балкон. В глубине — приспособление «под сцену», — сегодня в этом зале актив празднует годовщину начала стройки. В момент открытия занавеса девчата сидят, кто на полу, кто на самодельной эстраде, и пришивают кольца к занавесу для «сцены». Над ними лозунг: «Да здравствует первая годовщина строительства!» Девчата нарочито заувывными, «пародийными» голосами поют «Маруся отравилась» в нижеследующем варианте:

ЗАПЕВАЛО (КИРА).

Но через две недели
Он говорит ей так:
«Напрасно в самом деле
Рассчитываете на брак!»

(Хор повторяет каждый раз последние две строчки куплета.)

КИРА.

«Тогда прощай, мой милый!
Мне жить — всего хуже!» —
И в грудь себе всадила
Двенадцать столовых ножей!

Мотор колеса крутит,
Кипит под ним Москва!
Маруся в институте
Ах, Скли-ифас-со-овскава!

На стол Марусю ложат
Двенадцать штук врачей,
И каждый врач ей ножик
Вытягивает из груди!

(Страдальчески.)

«Не цапайте руками,
Довольна я вполне!
Последний нож на память
Пушай остается во мне!»

Марусю — в крематорий
И прямо в печь кладут.
И уж в тоске и в горе
Красавец тут как тут.

«Я сам ей жисть испортил,
И виноват я сам!
(Бьет себя кулаком в сердце.)
На память пе-плу в по-ртфель
Отсыпьте четыреста грамм!»

ХОР (*рыдает*).

На память пе-плу в по-ртфель
Отсыпьте четыреста грамм.
(Смех и визг. Он прекращается под
уничтожающим взглядом появившейся
Жени.)

ЖЕНЯ.

Так и знала! Конечно Кира!
И охота бубнить эти пустяки?

КИРА.

Что же петь за шитьем?
«Отречемся от мира»

И «К ружьям привинтим штывки»?
ВАЛЯ.

Пусть поэты такие слова
напишут,
Чтоб их пели и швейники,
и текстиль!

НИНА.

И вообще это — сатира Пиши
На душераздирающий стиль!

ЖЕНЯ.
Ладно! Хватит! Работы край
непечатый!
Что это? Трибуна?

КИРА.
Нет, аналой!

ЖЕНЯ.
Да бросьте вы огрызаться,
девчата!
Есть сюрприз — через полчаса
здесь Смелой!
(Шум, радость.)

КИРА.
Не верьте ей, она просто дразнит!

ЖЕНЯ.
Не верьте, но факты таковы:
(Вынимает телеграмму.)

«Второго курьерским выезжаю
на праздник
Годовщины строительства
из Москвы».

ДЕВЧАТА.
Ура!

ЖЕНЯ.
А что я вам говорила?

НИНА.
Смелой! Это значит — шарады,
пикник!

КИРА.
Это минимум по три конфеты
на рыло
И полсотни новых журналов
и книг!

КИРА.
Он к нашему празднику, вроде,
как премия!

ЖЕНЯ.
Скажи, — как закваска! Будет
верней!
Он так молодеет за последнее
время,
Что кроет буквально всех наших
парней!

НИНА.
Готово! Кольца пришиты?

КИРА.
Уже!

ЖЕНЯ.
Где Ирина?

ВЕРА.
Внизу, во втором этаже,
Репетиция!

ЖЕНЯ.
Марш! Известите о госте,
А я тут прибью покамест гвозди!
(Музыкальная пауза. Женя стучит молотком и напевает без слов мелодию бабушки из арии. За сценой голос Ирины.)

ИРИНА.
Женя!

ЖЕНЯ.
Ау!

ИРИНА.
Да где ты?

ЖЕНЯ.
Ау-у!

ИРИНА (входит).
Тебя не сыскать и через
Геопу!

ЖЕНЯ (стоя на табуретке, с напускным равнодушием).
Что случилось?
Смелой будет здесь — восемь
тридцать!

ИРИНА.
Не может быть!
(Заволновалась.)

ЖЕНЯ.
Пожалуйста бриться!

ИРИНА.
Ты уверена?

ЖЕНЯ.
«Абсолюман и вполне!»

ИРИНА (удивлена).
Вот телеграмма!

ЖЕНЯ (спокойно).
Кому?

ИРИНА.
Мне.

ЖЕНЯ.
Ты шутишь?!

ИРИНА.
Извольте взглянуть
на адрес!

ЖЕНЯ.
Что это значит?

ИРИНА.
Не стой на кольце.
Это значит, что он уважает
кадры-с!

ЖЕНЯ.
И персонально в твоём лице?

ИРИНА (едко).
(Тихо.)

ЖЕНЯ.
Я не понимаю этой игры.

ИРИНА.
(Вслух.)

И вы давно в переписке друг
с другом?

ЖЕНЯ.

Товарищ директор! Будьте добры
Передать мне верхний правый угол.
Верхний! Изнанку, а не фасад!
(Принимает от Ирины занавес.)

Да! Мы в переписке!

ИРИНА.

Вот как?

ЖЕНЯ.

Готово!

ИРИНА (тихо).

Но в Москве еще две недели назад
Он не сказал о приезде ни слова!

ЖЕНЯ.

Взгляни-ка, не виден ли потолок?

ИРИНА.

Виден.

ЖЕНЯ.

Эх, значит, веревка провисла!

ИРИНА.

Да! Он в прошлый приезд
заклучил с тобой блок

Против меня и здравого смысла!

ЖЕНЯ.

А теперь не видно?

ИРИНА.

Теперь не видно!

Он сам прежде был против.

ЖЕНЯ (поддразнивает).

А стал — «за»!

ИРИНА.

Его убедили очевидно

Твои убедительные глаза?

ЖЕНЯ.

Неостроумно по меньшей мере!

ИРИНА.

Я шучу конечно. Но ваш контакт...

ЖЕНЯ.

Смелой нас понял, Смелой нам
поверил!

ИРИНА.

Невероятно!

ЖЕНЯ.

Но факт!

А теперь он уже убедился воочью!

Он мне пишет... (Ищет письмо.)

ИРИНА (тихо).

Нет, этого я не снесу!

(Вслух.)

А Смелому известно, что ты той
ночью

Пошла одна к Рене Пардессу!?

ЖЕНЯ.

Ирина!

ИРИНА.

Не бойся, я — могила!

Но твой поступок необъясним...

Ну-с, потом, наутро, я встретилась
с ним

И его остаться уговорила.

(Женя делает резкое движение.)

Ты что-то там оборвала. Приладь.

И наступила бы тишь да гладь!

И вдруг вы начинаете собрание:

Зовете Смелого, зовете меня

И, не предупредив заранее,

Подымаете шум среди бела дня:

«Мы протестуем! За нами истина!

Мы скомбинируем, удешевим!»

ЖЕНЯ.

Ирина! Ты хочешь нас видеть

статистами,

Или активом живым?

ИРИНА.

Ах, Женюра! Это был нож

в спину!

ЖЕНЯ.

Нет, Ариша! Это был честный

спор!

И настолько соблюдена дисциплина,

Что Рене не знает и до сих пор!

(С беспокойством.)

Помни! Ты обещала снять это

вето,

Если центр снизойдет со своих

высот!

ИРИНА.

Но ты видишь: центр не дает

ответа.

ЖЕНЯ (многозначительно).

А вдруг да Смелой его везет?

(Спрыгнула с табурета.)

Я за гвоздями! (Исчезла.)

ИРИНА.

Она непричем.

Но ясно, как день, — Смелой

увлечен!

Переписка... Поддержка ее проекта...

Со мной официально корректен

и сух...

Ну ладно! На стройке имеется

некто,

Кто научит его быть любезным

за двух!

МЕТЯ и ПИЩА (вместе).

Тетья Ариша, извольте катиться!

ИРИНА.

Что за тон?

ПИША.

Не тон, а репетиция.

Варя Черкасс уже за роялью
И лупит по клавишам так реально,
Как будто это — ее ундервуд!

МЕТЯ.

Одним словом, пожалуйста!

«Вам зовут»!

(Ирина уходит. Шум за сценой.)

ПИША.

Что там? «Ура» или «долой»?

МНОГО ГОЛОСОВ ЗА СЦЕНОЙ.

Да здравствует товарищ
Смелой!

(Врывается толпа активистов с гирляндами, флажками, фонариками, увлекая за собой Смелого.)

СМЕЛОЙ.

Ребята! Пустите! Девчата, буде!

Не висите на мне, как сережки
на Будде!

ХОР.

Ура!!!

СМЕЛОЙ.

Да у вас же распухнут
гланды!

КИРА.

Увенчать его срочно!

МЕТЯ.

Даешь гирлянды!

(Смелого обматывают гирляндами.)

СМЕЛОЙ.

Баста! Я вам не фонарь и не
арка!

ХОР.

Ура!!!

СМЕЛОЙ (жалобно).

Размотайте меня, мне жарко!

КАПЛАН.

Хватит! Вешайте все по местам!

Гирлянды здесь! Фонарики там!

(Молодежь украшает зал.)

ЖЕНЯ (тихим от волнения голосом).

Товарищ Смелой!

СМЕЛОЙ.

Товарищ Петрова!

Ну, здорово! Отчего так сурова?

ЖЕНЯ.

Оттого, что есть ответработники,
Которые девушек мучать охотники
И их бедные нервы теребят!

СМЕЛОЙ.

Ну, ладно... Зовите тихонько

ребят!

ЖЕНЯ (быстро отрывая от работы над
украшением зала названных.)

Метя! Пиша! Нина! Ксана!

СМЕЛОЙ.

Так-так! А ну-ка, прошу подойти!

Вы — главные составители плана?

РЕБЯТА.

Да! Но с нами еще большой

коллектив:

Инженеры, конструкторы и конечно

БРИЗ

СМЕЛОЙ.

Ну!.. Что даете за сюрприз?

РЕБЯТА (после паузы).

Ах! (Бросаются к Смелому, тот
передает им огромный свернутый
в трубку план.)

СМЕЛОЙ.

Утверждено! Не всей оравой!

ЖЕНЯ.

Утвержден! (Сзади Филонов уже
целится из кодака.)

Смелой! Где ваша щека?

(Звонкий поцелуй. Вошла Ирина и
остановилась.)

ФИЛОНОВ.

Одну минуточку! Головку направо!

Подбородочек выше! Готово! Пока!

СМЕЛОЙ (увидал Ирину, встал).

Ирина Андревна!

(Ребята отходят в сторону, разворачи-
вая план.)

ИРИНА.

Я вам не помеха ли?

СМЕЛОЙ.

Ах, что вы!

ИРИНА (многозначительно).

Ну-ну! Поздравляю! Приехали!

СМЕЛОЙ.

Тово-этово, да! Вот, приехал!

ИРИНА.

Я вижу!

Я вас оторвала?

СМЕЛОЙ.

Что вы, ничуть!

ЖЕНЯ.

Зовите скорее тетю Аришу!

ПИША.

Теть Ариша!

ИРИНА.

Простите, лечу!

*(Уходит с молодежью. Сцена пустеет.)*СМЕЛОЙ *(один)*.

Да, значит, вот какое дело...

Осунулась очень... Похудела...

Со мной официально корректна,

суха.

Ревнует? Какая чепуха!

Не может быть! *(Радостно)* Ведь

в таком случае...

Проверим. Это самое лучшее.

Танцую с Женей первый же вальс!

ФИЛОНОВ *(он чуть пьян)*.

Товарищ Смелой! К-куда вы

девальс?

Вас просят!

СМЕЛОЙ.

Иду! *(Уходит.)*ФИЛОНОВ *(вынул бутылку)*.

Ну вот годовщина!

Прекрасно. *(Зрителю)* Желаете?!

Угостю!

М-могу же я выпить, раз я

мужчина,

(грустно)

И раз моя Тата та-та, то-сь

тю-тю!

(Вошел Рене. Он по случаю годовщины и бала надел фрак.)

ФИЛОНОВ.

Мне теперь море по колено!

(Увидал Рене.)

А! Актеры! Милости прошу!

Вы кого играете? Чемберлена?

А где же моноколь? Пардон!

Пардесю!

Традиции? Правиль-на!

Молодчина! *(Уходит.)*РЕНЕ *(читает лозунг)*.

Да здравствует первая годовщина!

Год! Целый год ты здесь, Рене.

И один... Абсолюман и вполне.

Ирина! Нет! Я встречается редко!

Боюсь! Боюсь, что опять увлекусь!

Она так реальна и так конкретна,

Что любовь к ней... имеет

металлический вкус.

С молодежь я в прекрасных

теперь отношенья!

Но он и мне чужой по культур,

по лета!

С кем говорить? Только с ней...

Только с Женей.

(Зрителю.)

Но поймите: у ней нехватать

теплота!

За политик мы ссоримся чуть не

до драки,

И она мне недавно сказала:

треп-ло.

(Женя входит и в недоумении останавливается у противоположной кулисы, не замеченная Рене.)

Теплота мне нужна!

ЖЕНЯ *(с ужасом)*.Боже! Во фраке!!! *(Крестится.)*

РЕНЕ.

Теплота... *(Вступила музыка.)*

А во Франс уж наверно

тепло!..

Здесь шум неутришный, здесь труд

неустанный,

Здесь мало цветы, и комфорт,

и уют.

А в Лионе уже зацветают

каштаны,

А В Париже фиалки уже продают!

Здесь музыка мало, здесь легкости

нету,

Работа до ночи, работа с утра.

А в Париже на улицах смех

мидинеток,

И играет в саду Тюильри детвора!

(Слегка вальсирует.)

На бульварах твоих

Закружился бы в радостном

танце я,

Не найти мне нигде

Этой свежести и красоты!

Ты — как песня, как стих,

Дорогая, прекрасная Франция!

Ты всегда в моей мечте,

Ты — влюбленность и смех,

и цветы...

*(Он довальсировал до Жени вплотную.**Увидел и остановился, смущенный.)*ЖЕНЯ *(пародируя его мелодию)*.

Вы правы, Рене! Мы — народ

голоштаный.

Цветов маловато, гудки, толкотня...

А в lyonских конторах давно уж

каштаны

Добывают чужою рукой из огня!

В садах Тюильри разодетые детки,

У ям выгребных—детвора нищеты,

А в Париже уже продают
мидинетки,
 Чтобы не сдохнуть, фиалку
своей чистоты!
 Есть другая, прекрасная
Франция!
 С нею наши мечты,
 Ей наш нежный привет
и любовь!

Мы летим на парах,
 И тогда только скажем мы:
«Станция!»,
 Когда смех и цветы
 Не отравят ни голод, ни кровь!

РЕНЕ.

Ну что ж! Спасибо за резкость
и прямота,
 С какой вы дает мне урок
политграмота.
 Вы прав, но я буду кричать:
Алло,
 Где смех, где цветы, красота
и тепло?

ЖЕНЯ.

Ну, продолжайте. Тра-та-та-та:
 Мы — дикая и некультурная
Азия.
 Вот, по-вашему, этот фрак —
красота,
 А по-нашему, чистое безобразие!

РЕНЕ.

Нет! Это — одежда для праздник
всякая.
 Она нарядна, строга, легка.
 А, по-вашему, лучше эта, как ее...
 Достоевка или гоголевка?
(Женя смеется.)

Это первое.

ЖЕНЯ.

Ну, а второе?

РЕНЕ (обиженным ребенком).

Чем мой фрак перед Октябрь
виноват?
 Почему нельзя сосыализм строить
 В белый манжет и белый крават?
 Вы — молодежь трудовой
и бесстрашный,
 Но слишком серьезный для свое
года.

Вы потеряли вкус к изящный,
 А быть может, его не иметь
никогда.

ЖЕНЯ.

Ах так!

РЕНЕ.

Я вам это сказать не боюсь.
 Ведь я полюбить Советский
Союз.
 В тот ночь роковой, после крах
галерея,
 Когда я бежать собрался прочь.
 В тот ночь, когда вы пришли,
точно фея...

ЖЕНЯ.

Оставим в покое эту ночь!

РЕНЕ.

Мы сделали так, что я остаюсь.
(Медленно подносит руку к губам, чтобы поцеловать, и останавливает ее на весу.)

Что это за запах? Цветов? Полей?

ЖЕНЯ.

Почти-что. Это — столярный клей.
 Я сейчас подмазывала декорации.
(Решительно отнимает руку.)

РЕНЕ (встал, прохаживается, уговаривает сам себя.)

Нет, мой сердце в обморок и не
очнется.

(Пауза.)

(Задумчиво.)

Здесь четвертый этаж. Из этих
дверей
 Должен был начаться мой
галлерея.

ЖЕНЯ (спокойно).

Из этих дверей она и начнется.

РЕНЕ (резко).

Что?! (Печально.) Вы шутить
жестоко, неудачно,
 Вы смеяться над мой величайший
беда.

ЖЕНЯ (передразнивая).

«Мы потеряли вкус к изящный,
 А быть может, ему не иметь
никогда?»

Но четыре месяца мы, как черти,
 Чертили чортовы чертежи.
 Ребята стали, словно жерди,
 И сопели, и фыркали, как моржи.
 Консультанты не спали по двое
суток,

У меня от расчетов нервная дрожь.
Вот наш план! Отвечайте, кроме шуток,

Плох он или хорош?

(Разворачивает план.)

РЕНЕ.

Мой галерея! Но что это с ней?
Она стала легче, шире, длинней.

Это что? Понимаю. Четыре
лестница!

По сто двадцать ступень?
Минутка... Уместится.

Через водолешбниц и через
курзал?

Кто вам этот чудный мысль
подсказал?

Но только эти перила на крыше —
Они элегантны, но излишни.

ЖЕНЯ.

Излишни? *(Торжественно.)* Так
знайте, Рене Пардессу,

Они-то вам галерею спасут.
Слушайте.

Когда был ваш план
уничтожен

И вы рухнули с высоты,
Нам, «неизящной молодежи».

Стало жаль этой стройной красоты.
Но мы рассуждали спокойно

и здраво:

Чтоб галерея была спасена,
Чтоб стать реальной, она должна

Иметь на это право!
Окиньте проект ваш мысленным

взором:

Чем галерея была? Коридором.
Из гостиницы в гостиницу ход,

И ее красота — накладной расход.
Но благодаря напряженным

стараньям

Инженеров, конструкторов и нас,
ребят,

Она стала воздушной
магистралью,

Объединяющей весь комбинат.
В курзал — галерея!

В лечебницу — тоже!

На взморье — ступеньки, и вот
вам волна!

РЕНЕ.

Но она стал длинней и, значит,
дороже?!

ЖЕНЯ *(сильно)*.

Нет, дешевле, ибо она нужна.

Плюс еще: измененье высотных
пропорций,

Красоты, как видите, не попортив,
Дало триста семьдесят... — скажем

круглей —

Свободных четыреста тысяч рублей.
А теперь, дорогой мой мэтр

и художник,

Садитесь в ба-альшой деревянный
«сабо»:

Галлерей вы обезвредили
дождик,

(Дразнит.)

А солнце использовать было слабо?
Солярий бы нас по карману ударил.

И расходов бы в десять лет
не покрыв.

А мы сэкономили тресту солярий, —
Он на крыше.

РЕНЕ.

Так вот почему перил!

ЖЕНЯ.

Проект утвержден уже три недели.
Стекла высланы, ждем их с часу

на час.

РЕНЕ.

Когда вы узнать об этом?

ЖЕНЯ.

Сейчас.

РЕНЕ.

Но когда вы работать?

ЖЕНЯ.

Вы про-гля-де-ли!

Что с вами?

РЕНЕ *(бледный, шатается)*.

О! я просыпаться от сна...

(Бурная радость, прыгает.)

Галлерей спасена! Галлерей

спасена!

О, вы не знает, кем вы мне стали!..

Вив большевизм, э Ленин,

э Сталин!

Да здравствует ВЦИК и

Совнарком!

Простите, я должен ходить

кувырком!

(Делает кюльбит.)

(В залу врывается, держась за руки, хоровод активистов: молодежь, пожилые рабочие, инженеры и т. п.)

ХОР.

Ура! Поздравляем! Живее!
Быстрее!

Даешь галерею! Даешь галерею!
РЕНЕ.

Они рады, рады вместе со мной?!.
ЖЕНЯ.

Еще бы! Мы шли шеренгой одной.
(Женя и Рене на авансцене. В то время, как хоровод развивает все более бешеный темп, она тихо указывает на отдельных товарищей.)

Вот товарищи Крымов и
Бибилосвили,

Они скрепленые удешевили.

ХОР (радуясь чему-то по-своему).

Ура-а!

ЖЕНЯ.

Вот Леша Коган и Нюра Абрам,—
Бамбук вместо металлических рам!

ХОР.

Ура-а!

ЖЕНЯ.

Катенин — лестницы. Метя и
Пиша —
Сэкономили двадцать процентов
литья.

РЕНЕ.

А чья идея солярий на крыша?..
Вы улыбается!? Ваша?

ЖЕНЯ (интимно, почти как призна-
ние).

Моя.

ХОР (наконец увидели Рене и Женю).

Качать архитектора!

РЕНЕ.

Стой! Молчать!

Я будет говорить, а вы слышать!

(Все замолкают.)

Это я. Это я должен всех вас
качать.

Но я один, а вас тридцать тысяч.
Я считать мой план за вершин

прогресса,

Но я был... Минутка... (Смотрит
в словарь.)

Корова. Une vache.

Я кричать через международная
пресса,

Что мой план, слава богу, не мой,
а наш!

(Шум. Рене подхватывают на руки. Ка-
чают.)

ИРИНА.

Товарищи, видно, и мой черед
Бросить камешек в свой огород.
У меня были веские мотивы,
Надо мной висела смета. Но все ж
Мой план был бездушен
и примитивен.

Спасибо за... корректив, молодежь!
И спасибо Смелому!

МОЛОДЕЖЬ (восторженно).

Ура-а!

СМЕЛОЙ (отбиваясь).

Да чего там!

МОЛОДЕЖЬ (хором, раздельно).

При-вет от ши-ро-ких стро-итель-
ских масс!

ЖЕНЯ (Рене).

Он ее любит четыре года,
А боролся против нее и за нас.

РЕНЕ.

Он ее любит?.. Вот так история!
А я ему там признаваться у моря.
А он...

Что за люди тут живут?
Что за сила и как ее зовут?

(Музыка. Вальс.)

ИРИНА (на пенин).

Мосье Пардессу, забудем былое!

Я виновата, но я уж не та.

Вы не против тура вальса со мною?

РЕНЕ (невольнo оглядываясь на Женю,
галантно).

О, это была моя мечта!

СМЕЛОЙ (Жене).

Ну, героиня, чего вы стоите,

(на пенин)

Словно казанская сирота?

Вы на вальс меня разве

не пригласите?

ЖЕНЯ (рассеянно, оглядываясь на
Рене).

О, это была моя мечта!

(Танцы. На эстраде появляется Метя.)
МЕТЯ.

Вниманье! Спектакль начинается!
Тише!

«Хор врагов», гротеск, сочинение
Пиши.

У рояля... одна педаль погнута.

За роялью — Черкасс.

(Открывается занавес. На сцене — вы-
строенные в комическом хоре легуны,
прогульщики, пьяницы, Чемберлены, по-

пы, словом, весь ассортимент самодея-
тельной агитации. Когда уже рты откры-
ты и первый аккорд взят, на сцену вы-
ходит человек в кожаной куртке.)

КОЖАНКА.

Одну минуту!

Товарищи! Кончай кабаре!

Стекла прибыли и уже во дворе!

А двор к утру должен быть

очищен!

Кран под'ехал, нужны только ваши
ручищи!

ЗАЛ ХОРОМ.

От-ста-вить!

КОЖАНКА.

Да вы обалдели, ребята!

ЗАЛ (так же).

От-ста-вить спек-такль!

КОЖАНКА.

Ах, то-то! А я-то...

СМЕЛОЙ.

А ну-ка, мы вниз, а вы —

принимай!

ГОЛОС (снизу).

Даем первый ящик!

КОМСОМОЛЬЦЫ (сверху).

Подымай!

(Смелой, Ирина, Женя и часть молодежи, главным образом женской, безут
вниз на приемку. Наверху остается мо-
лодежь. С эстрады соскакивают летуны,
попы, Чемберлены и, засучив рукава,
ожидают приемки ящиков. Рене явно
взволнован. Первый ящик медленно
подползает снизу к окну. Затягивается
песня.)

(Быстрая конвейерная передача ящи-
ков из рук в руки.)

На-ле-гай!

Взвали на плечи дело!

Отдавай

Себя работе весь!

Чтоб земля

Далеко загудела,

Разнося

О стройке нашей вость.

Чтоб летел

Через моря и страны

Наш девиз

На двадцать скоростей:

«Все равно победа будет поздно или
рано,

Так лучше раньше, чем...»

МЕТЯ.

Стой!!! Канат сползает. Стоп
машина!

(Звон рухнувшей тяжести.)

ПИША (тихо).

Рухнуло!

РЕНЕ (бросаясь к окну, диким голо-
сом).

Женя!!!

(Опомнился.)

Мадам Ирина!?

ГОЛОС СНИЗУ.

Все живы! Разбился только груз.

Принимай другую!

РЕНЕ (в изнеможении падает на стул,
держится за сердце).

Какой я трус!

ХОР.

Под могучей

Трудовой рукою

Зацвели

В пустынях города.

Пусть наш труд

Вливается рекою

В океан

Свободного труда!

(С начала второго куплета Рене неволь-
но притоптывает такт, глядя на ритмич-
ные движения передающих друг другу
ящики комсомольцев. Попы, Чемберле-
ны и прогульщики — в экзальтации. Ру-
кава засучены, бороды с'ехали на заты-
лок. Стоящий за «летуном» обрывает
ему крылья, мешающие передаче. На-
конец Рене не выдерживает и бросается
включаться в конвейер. При первом же
движении он чувствует стеснение от фра-
ка и крахмальной манишки.)

ХОР.

Старый мир

Топорщится упрямо.

К чорту гниль!

Покончить надо с ней!

РЕНЕ (фрак сорван. Крахмальный во-
ротник с галстуком следует за ним. Ре-
не с хором).

Все равно, победа будет поздно или
рано,

Так лучше раньше, чем поздней!

(Зацепляет манжетой за ящик. Занавес
идет под повтор припева.)

Все равно победа будет поздно или
рано,

Так лучше раньше, чем поздней!

(Занавес стремительно сдвигается. В последний момент в щель через оркестр прямо в партер летит пара манжет.)

КАРТИНА ПОСЛЕДНЯЯ

На сцене темно. Мрачная синкопическая мелодия... Внезапно освещаются шесть физиономий, — кроме них, ничего не видно. Освещенные лица — как бы ожившие плакатные капиталисты Моора или Дени. Они поют вполголоса, но очень ясно, серьезно и зловеще, без тени нажима или гротеска.

Последний срок настал,
Последний срок настал,
Звучит он боевой трубой!

Мы, частный капитал,
Мы, частный капитал,
На завтра назначаем бой!

Газеты говорят,
Что наш могучий ряд
Дождался краха своего!
Но мы внутри страны
Достаточно сильны, —
Еще посмотрим, «кто — кого».

(Покачиваясь, как бы на заклинании или молитве.)

Морган к нам чувствует родственность!

Детердинг — наша глава!
Мы — это частная собственность,
Нами она жива!

Ноги скрестив, мы сидим, как божки,

В наших таинственных пагодах...

(На сцену врывается полный свет.)

Здесь шашлыки!
Здесь ра-ку-шки!

Здесь абрикосы и ягода!

(Это — шесть лотков-палаточек на колесах, за которыми шесть представителей «капитала»: два шашлычника, два продавца ракушек и рамок и два торговца фруктами — персы. С момента освещения сцена-буффонада становится ясной, и соответственно изменяется поведение актеров.)

РАКУШНИК.

Инспектор говорит,
Инспектор говорит,
Что надо выбирать патент!

ПЕРСЫ.

Мы — хитрый, как лиса!
Товар на колеса,
Мы можем удирать в момент!

ПЕРСЫ

ШАШЛЫЧНИКИ } каждый указывает
РАКУШНИКИ } на соседа, интимно
зрителю.

Тсс! От него секрет:
Мы вносим по декрет,
Но говорим, что платим шиш!
Мы — частный великан,
Последний могикан,
И надо поддержать пре-стиж!

Морган к нам чувствует
родственность,
Детердинг — наша глава!
Мы — могучая частная
собственность:

Рамки!

Чурек!

Хал-ва!

Мы не уступим вам, большевики,
Нашей гигантской коммерции!
Здесь шашлыки!

Здесь ракушки!

Здесь винограды

и персики!

Айва!

(Танец.)

(Входит Сверхсчеткин. В одной руке у него чемоданчик, в другой — канцелярская папка с огромной надписью «Дело».)

РАКУШНИК.

Покупатель идет! Покупатель идет!
Иностранец!

ПЕРС.

Груша, как сладкий мед!

РАКУШНИК (показывает рамку).

Милорд! Сорок копеек. Ахциг
пфенниг!

ШАШЛЫЧНИК ПЕРВЫЙ.

Садитесь! Почин дорожке денег.

ШАШЛЫЧНИК ВТОРОЙ.

Ко мне, пожалуйста!

ШАШЛЫЧНИК ПЕРВЫЙ.

Ишь, какой дошлый!

ШАШЛЫЧНИК ВТОРОЙ.

Барбарис, гранатовый сок и лук!

ШАШЛЫЧНИК ПЕРВЫЙ.

Не ходи, у него шашлык, как подошва!

ШАШЛЫЧНИК ВТОРОЙ.

Не ходи, у него шашлык, как каблук!

(Ссора. Появляется милиционер.)

МИЛИЦИОНЕР.

Ну, вот опять. Ну, какого чорта,

Извините за черное слово!

Здесь территория курорта,

Так что будьте любезны — за кольцо!

ПЕРС.

Гражданин, разреши!

МИЛИЦИОНЕР.

Ну, нечего, нечего!

Ишь, хитрющие, забрались уже с вечера.

Ну, везите скорей вашу дребедень.

(Ворчанье продавцов.)

Живей плывите на легком корыте!

ШАШЛЫЧНИК ПЕРВЫЙ.

Дай торговать хоть завтрашний день.

МИЛИЦИОНЕР (иронически).

Это в день торжественного открытия?!

Па-пра-а-шу вас! Ах, так! Желаете штраф?

(Сверхсметкину.)

И вы, гражданин!..

СВЕРХСМЕТКИН.

Не трудитесь напрасно! (Протягивает бумагу.)

МИЛИЦИОНЕР (читает).

Дано, Де, Сверхсметкину, в том, что он — заваривом Курстроя.

СВЕРХСМЕТКИН.

Поняли? Ясно?

МИЛИЦИОНЕР (сдержанно).

Ви-но-ват! (Повернулся.)

СВЕРХСМЕТКИН (сквозь зубы).

Виноватых бьют.

МИЛИЦИОНЕР.

Что-о?!

СВЕРХСМЕТКИН (струсил).

Говорю, как птички поют!..

МИЛИЦИОНЕР (сухо).

Не слышать!

СВЕРХСМЕТКИН.

Погодите, вот ветер подует.

МИЛИЦИОНЕР.

Птички спят. Вам того же рекомендуют.

(Ушел.)

СВЕРХСМЕТКИН.

Луна... Своевременно и кстати.

Ночь без луны — циркуляр без печати.

(Луне.)

Прошу вас светить. Возражений не встретится.

(Разнежился.)

При сем прилагается Большая Медведица

И частых звезд миллиардов с пятком...

(Очнулся.)

Ну-с, хорошо! Подведем итог.

Итого. После сокращения из треста,

Имевшего тому девять месяцев место,

Перейдя счетоводом в артель «Кустпромкрюк»,

Я для мести не покладаю рук.

Вот! Сорок семь документов ровно:

Все пронумеровано и сброшировано.

И французу не избежать оков,

Ибо сразу ясно, кто он таков.

А пока-что будем скрываться под гримами,

С мыслями злыми и непримиримыми,

Чтоб не испортить текущий эффект.

(Роется в чемоданчике.)

Что это такое? «Пектус конфект»...

Медали на ленте? Кинжал на поясе?..

Убили! Сосед перепутал в поезде. Фрак?.. На меня чуть-чуть

длинноват.

Он такой высокий и бритый мужчина.

(Нашел карточку.)

Транс-фор-матор Джонс Паркер. Ви-новат.

Трансформатор. Ведь это электромашина...

Ничего не пойму. Какой-то сон! (Радостно.)

Парик и накладки. Ура, спасен! (Уходит.)

(Входит Женя.)

ЖЕНЯ.

Он во многом переменялся,
и все же —
Буржуа и фланер до мозга костей.
Люблю, люблю, — ничего

не поможет, —
Как поется, на двадцать скоростей!
Нет, лопнет моя черепная коробка
От этой борьбы понятий и фраз.
Хорошо, что он флиртует так
робко...
Но зачем он не был смелее хоть
раз?!

РЕНЕ (входит с другой стороны).

О, разбить свое счастье своей
рукой!
Не смей сказать ей прямо и сразу:
«Я сделать предложение другой
И еще не иметь формальный
отказу».

О, если Ирина мне скажет «да»,
Я буду повесится тогда!!
(Женя громко вздыхает.)

Кто там?

ЖЕНЯ.

Кто там?

РЕНЕ.

Она!

ЖЕНЯ.

Рене!

Вы не спите?

РЕНЕ.

Нет сплю! Я вас вижу во сне!

Почему вы не спите?

ЖЕНЯ.

А вы почему?

РЕНЕ.

Вам не понять.

ЖЕНЯ.

Превосходно пойму.

Я даже сама вам скажу.

РЕНЕ.

Говорите!..

ЖЕНЯ.

Вас волнует завтрашнее открытие.

РЕНЕ.

Это тоже.

ЖЕНЯ.

Ну-ну! Остальное — мелочь.

РЕНЕ.

Нет. Есть гораздо важной причин.
Мне волнует открытие... который
я сделать

(Показывает на свое сердце.)

В этот сердце давно. Еще в день
годовщин.

ЖЕНЯ.

Ах!

РЕНЕ.

Вы что-то сказать?!

ЖЕНЯ.

Ничего ровно.

РЕНЕ.

Женя!!!

ЖЕНЯ (взволнованно).

Дальше.

РЕНЕ.

Дальше?.. Петровна...

(Пауза.)

ЖЕНЯ.

Да. Ну, вот результат двух трудных
годов.

Блестяще выполнена задача:

Лучший в мире курорт (вздыхает)
совершенно готов.

РЕНЕ.

Почему вы это сказать, чуть не
плача?

ЖЕНЯ.

Вам показалось. Я просто ликую!

РЕНЕ.

Баста! Дайте руку! Дайте другую!
Не скажите сразу ни нет, ни да!
Я вас припирять не желаю к
стенке.

Хотите... (Вспоминает о своем пред-
ложении Ирине.)

(Упавшим голосом.)

Строить со мной всегда?

ЖЕНЯ (разочарованно).

Вы меня приглашаете

в ассистентки?

Не под-ходит!

РЕНЕ.

О, как я несчастлив!

ЖЕНЯ.

Бросьте дуться! Взгляните туда,
на залив.

(Вступает музыка.)

ВМЕСТЕ.

Да, на за-лив.

(Дует.)

ЖЕНЯ.

Там штиль...

РЕНЕ.

В этот сердце нету штиля.

Стучит, как молоток.

ЖЕНЯ.

Штиль и луна залив превратили
В серебряный каток.

РЕНЕ.

Женя, мой счастье!

ЖЕНЯ.

Вздор! Пустяки!

Абсолюман и вполне!

Милый Рене!

Наденем коньки,

И заскользим по волне!

(Плавный вальс скольжения.)

РЕНЕ.

Этот рот, этот рот,
и нежный, и злой
и упрямый!...

ЖЕНЯ (скользя).

Поворот,

поворот,

и снова — стрелой и
прямо!

Руки зазябли...

РЕНЕ.

Дайте согрею!

ЖЕНЯ.

Курс вон на ту звезду!

ВМЕСТЕ.

В летнюю ночь

Все быстрее и быстрее

Мы скользим по незримому льду!

(С'ехались. Поцелуй.)

ЖЕНЯ (вырвалась. У левой кулисы).

Что я сделала?!

РЕНЕ (на авансцене, сообщает зрителю).

Я нишего не боюсь!

Я не желай дрожать, как
преступник!

Я живу, чорт возьми, в Советский
Союз.

А не в... как это?.. не в буржуазный
республик.

Долой жентельменство! Да
здравствуй сирен!

Да здравствуй луна, подказавший
мне правда!

Я сейчас иду говорить с Ирэн!

ЖЕНЯ (к нему робко).

Рене?!

РЕНЕ (в деловой спешке).

Я люблю вас, прощайте до
завтра!!!

(Ушел.)

ЖЕНЯ (на скамье).

«Я люблю вас. Прощайте». Как
чудно, как глупо!

(Из кустов медленно до половины высовывается Сверхсметкин. Он в гриме, первом попавшемся в чемодане трансформатора, — Пушкин.)

СВЕРХСМЕТКИН (шопотом).

Так. Ничего, говорит, не боюсь?

Ну, это еще мы посмотрим,
голуба!

ЖЕНЯ (инстинктивно обернулась).

Что такое? Откуда здесь
пушкинский бюст?

Здравствуй, Пушкин! Как близок
сейчас мне твой гений!

Как шептать мне хочется, дух
затая:

«Я помню чудное мгновенье...»

СВЕРХСМЕТКИН.

Перед тобой явился я. (Вышел из
кустов.)

Заседание открыто. Вы готовы?

ЖЕНЯ (шиплет себя и вскрикивает).

Ай! Не сплю. Чего вы хотите
и кто вы?

СВЕРХСМЕТКИН.

Спокойствие! Каждый миг, как
червонец!

Я слышал уже вдали голоса.
Кто я? Таинственный незнакомец.

Чего я хочу? Открыть вам глаза.

(Открывает папку.)

Вот специально справлялся
в парижском торгпредстве,

Печати трестовской при посредстве.

И официально вам поднесу

Всю правду про вашего

Пар-р-рдессу!

Номер один: его родители

Имеют сто тысяч в Лионском

Кредите,

Кроме других материальных благ.

Франк — гривенник. Десять тысяч.

Кулак!

Номер два. Получен с особым
трудом.

Наш красавчик имеет в Лимаже
свой дом!

ЖЕНЯ (потрясена и испугана).

Ничего не пойму в этой галиматье!

СВЕРХСМЕТКИН.

Дом сдается в аренду. Понятно?

Р а н т ь е!

Номер три: дубликаты счетов
 «Савойя»
 Кутежи. И разврат, само собою.
 Оливье, де воляй, парфе, крошон,
 Заметьте,—не пиво и не говядина.
 Всех счетов на четыреста двадцать.
 П и ж о н!

ЖЕНЯ (в слезах).

Оставьте меня, сумасшедшая
 гадина!

СВЕРХСМЕТКИН.

Но всего пикантнее номер шесть.

ЖЕНЯ (дает пощечину).

Прочь!

СВЕРХСМЕТКИН (солидно).

Вопрос проработан. Имею честь.
 (Уходит.)

ЖЕНЯ (в слезах).

Идиот! Но какой ядовитый и злой!

СМЕЛОЙ (входя).

Кто тут плачет?

ЖЕНЯ.

Все смяла прыжная лапа!

Ах, прими мою исповедь, папа
 Смелой!

СМЕЛОЙ.

Я же папа Смелой, а не римский
 папа!

Ладно, деточка. Я пошутил. Валяй!

ЖЕНЯ (в слезах, бессвязно).

Кулак... Рантье... Пижон... Де
 воля-ай!

СМЕЛОЙ (глядя ее по волосам).

Ничего не пойму. Это что?

Разгадать не можешь и сразу
 Шарادا?
 ревешь?

ЖЕНЯ.

Я люблю Пардессу.

СМЕЛОЙ.

Так ему и надо.

ЖЕНЯ.

Да, но он буржуй.

СМЕЛОЙ (спокойно).

А вот это ты врешь.

ЖЕНЯ.

Он тоже любит.

СМЕЛОЙ.

Тебя? (Очень удивлен.)

ЖЕНЯ.

Ну да.

СМЕЛОЙ.

Вот так новость! Так в чем же
 тогда беда?

ЖЕНЯ.

И сколько в душе себе ни
 твержу я:
 «В жизни не буду подружкой
 буржуй!»

Я не могу его разлюбить.

СМЕЛОЙ.

Почему он буржуй?

ЖЕНЯ (плачет).

По бумагам. Как быть?

СМЕЛОЙ (обнял ее и тихо прохаживается по авансцене с ней. Занимается заря).

Будь, как партия наша. Ясна.

Строга.

И без фанатического дыма.

Надо уметь различать врага,

Но и друга угадывать необходимо.

Ходить в недоступной чувствам
 броне

Это; Женюра, и глупо, и ложно.

Я давно наблюдал за твоим Рене

И знаю, как много в нем заложено.

Деточка! Сила наших идей

В том, что сложности мы

не обходим с опаской,

Нельзя перемазать всех людей

Либо в красную, либо в белую

краску.

Очень это мешает, мой друг,

Когда этикетка заране наклеена.

(Сильно.)

А вот мы перевоспитали воруя

В кавалеров ордена Ленина.

Не пытай и ты француза железом
 и кровью.

Люби его себе на здоровье.

Дурное корчуй, бывое прости.

Он себя перерос. И будет расти!

У самолета есть «штоллок»,

Человечеству—нет границ и краю.

(Зрителю.)

Простите, товарищи, за монолог.

Вы-то знаете. Это я ей об'ясняю.

Понятно?

ЖЕНЯ (радостно).

Понятно со всех сторон.

(В окне появляется Ирина. Заря сильнее.)

ЖЕНЯ.

Я просто зашилась.

СМЕЛОЙ.

А я распорол.

ИРИНА.

Простите за смелость. Но ваша
идиллия
Чуть-чуть рановата. Нельзя ли
днем?

СМЕЛОЙ.

А-а! «Я здесь, Инезилья,
Сгою под окном...»

ИРИНА (сухо).

Переадресуйте свою серенаду.
Приятного утра!

ЖЕНЯ (негодую).

Ирина!

СМЕЛОЙ (Жене).

Не надо!

Деточка, марш! Повздыхай на луну!
(Женя уходит.)

Ирина! Всего два вопроса.

ИРИНА.

Ну?

СМЕЛОЙ.

Какие у вас отношенья
с французом?
Только просто и честно, без речей.

ИРИНА.

Не волнуйтесь. Конец нашим
брачным узам
Не зависит от этих мелочей.
Нам не делить ни детей,
ни дохода.
Вас насильно удерживать — тоже
не след.

Вы свободны.

СМЕЛОЙ (кланясь).

С семнадцатого года.

ИРИНА.

Не до шуток!

СМЕЛОЙ (серьезно).

А вы — с позапрошлого нет!

ИРИНА.

С позапрошлого? Ничего не
пойму я.

СМЕЛОЙ.

Просто и честно, Ирина. Прошу.

ИРИНА.

Просто и честно? Ну да, я ревную.
И всю ночь вам об этом письму
пишу.

СМЕЛОЙ (вне себя от радости).

Вы меня ревнуете? К Жене
Петровой?

Ну, это, знаете, — а-по-гей!

Дайте пульс! Четыреста. Вы

здоровы.

Поглядите-ка мне в глаза.

ИРИНА (прочтя в этих глазах все,
что ей нужно).

Сергей! (радостно трясет его.)
Сергей!

СМЕЛОЙ (разнежась).

Ну вот, чуть-что, уж и
в драку.

ИРИНА.

Сергей! Я виновна!

СМЕЛОЙ.

Вздор! Чепуха!

ИРИНА.

За четыре года нашего брака
Я была с тобой часто черства
и суха.

Помнишь, милый, как я под
предлогом свободы
Настояла на том, что мы розно
живем?

Ну так знай, я боялась все эти
годы,

Чтобы ты не остыл от жизни
вдвоем.

Ах, ты, может быть, чуточку
слишком высок,

Ты мог бы в плечах быть
немножко пошире.

Но знай! Мне твой каждый седой
волосок

Дороже всех жгучих брюнетов
в мире.

(Пауза.)

СМЕЛОЙ.

Ну, а как же Рене?

ИРИНА (удивленно).

Ты давно это знаешь?

СМЕЛОЙ.

Да.

ИРИНА.

Ну, тут пустяки. Он влюбился
в дым.

Он хотел уезжать... И я...
понимаешь...

Я сказала... «Постройте, а там
поглядим».

СМЕЛОЙ (встал).

Какой позор! Даже слушать
жутко.

Как ты смела играть человеческой
душой?!

А если он любит тебя не на
шутку?

А если он вдруг да застрелится?
ИРИНА (в ужасе).

Ой!
(Для этого ужаса все основания. Перед
ней вырос бледный Рене Пардессу с
гигантским револьвером в руках.)

РЕНЕ.
Мадам! Вы должны решать мой
судьба!

ИРИНА.
Отдайте сейчас жел
РЕНЕ (удивленно-любезно).

Пожалуйста!
СМЕЛОЙ (беря револьвер).

Ба!
(Выстрел. Из дула вылетает букет бу-
мажных цветов.)

Папье-маше. (Читает.)
Трансформатор Джонс Паркер.
Это что?

РЕНЕ.
Я ней знать. Я найти это
в парке.

СМЕЛОЙ (делает движение, чтоб
уйти).

РЕНЕ.
Останьтесь! Мадам! Вы помнить
тот час...

ИРИНА.
Когда я ввела в заблуждение вас
И, чтоб удержать во что бы ни
стало,

Постыдно на чувствах ваших
играла?

Я это помню, винюся и стыжусь.
Вы пришли за премией, храбрый
француз,

За любовь вы победно окончили
стройку...

РЕНЕ.
Нет, мадам. Ви ошибся.

СМЕЛОЙ (Ирине).
Садитесь. Двойка.

РЕНЕ.
Да. Я начал строить через любов.
Но когда вы разбить мой лучший
идея,

Я забыл понять, и что я, и где я,
И наполнился горечь на вас до
зубов.

Я хотел бежать, в свой счастье
отчаясь,

Я проклинал ваш великий страна.
В этот страшный ночь ко мне
постучались.

Я открыт. Перед мной была она.
Она мне сказать, и в глаза ее
слезы

Блестеть, как бриллиантовый
аграф.

«Отец мой умер от туберкулеза,
От свинцовая пыль на типограф.
Сотни тысяч трудящий не лучше
погибли, —

Прежний бесчеловечный режим.
Но мы этот строй из седло выбили
И здоровье свободный страна

дорожим.
И когда мы задумать великое дело
И, как друга, позвали вас —

помочь,
Ви, как крыса у Гоголь, хвостом
повертела,

Понюхала и пошла прочь.
Ну так вот, нам не надо чужой
подающий,

Уходите, мы будем построить
без вас».

И минута мы друг против друга
стояли

С глазу на глаз и с классу
на класс.

И я вспомнить, как брали рабочие
штурмом

Каждый участок и агрегат,
И этот тяга к жизни культурной,
И бессонные ночь молодежных
бригад...

И я понял класс во вся его силе
И проверить себя до ноготков.
И когда вы мне утром остаться
спросили,

Мадам, мой ответ был уже готов.
.

Я просить вернуть мне мой слов
и свобода.

Мой чувство к вам был велик
и глубок.

Но этот девушка целый два года
Со мною строила бок-о-бок.
Честный, смелый (не находит
слов)... очень хороший!

Который любить я счастлив и горд,
И она становится мне все дороже
С каждый кубический метр
курорт.

ИРИНА (*целует его в лоб*).

РЕНЕ.

Товарищ директор, мой низкий
поклон!

ИРИНА.

Я уже не директор.

РЕНЕ.

Как это случиться!

ИРИНА.

Снята. За деляческий уклон.

СМЕЛОЙ.

Кем?

ИРИНА.

Самой собой. Я пойду учиться:

Вы лучше меня. И намного.

РЕНЕ (*смущенно*).

Мадам!..

ИРИНА.

Говорю не из самобичеванья
пустого,

Но недаром сказано у Толстого...

СВЕРХСМЕТКИН (*входит в гриме
Толстого*).

«Мне отщенье, и аз воздам!»

Вопрос проработан.

(*Смело му.*)

Вы член коллегии?

Но и мы-то тоже не калеки!

Вот! Первых же несколько листков

Вам покажут, кто этот тип таков.

Номер один: его родитель

Имеет сто тысяч в Лионском

Кредите,

Не считая других материальных

благ.

Франк — привенник. Десять тысяч.

Кулак.

Номер два, раздобыт с большим

трудом:

Наш красавчик имеет в Лиможе

свой дом.

СМЕЛОЙ.

Эй, вы, дружеский шарж на Льва
Николаича,

Вы, собственно, что доказать
желаете?

СВЕРХСМЕТКИН.

Об этом кричат сорок семь
номеров!

СМЕЛОЙ.

А номер сорок восьмой таков:

(*Поворачивает голову Сверхсметкина
в различных направлениях.*)

Взгляните наверх! Вгляните,

направо!

СВЕРХСМЕТКИН.

Но я не понимаю, право!

СМЕЛОЙ.

Взгляните налево! Все видели?
Так?!

Его труды! Не бумажка, а факт.

Мы вам из Рене не уступим ни
грамма.

Кстати, Толстой ходил босой!...

Ну, а теперь взгляните прямо

(*Поворачивает его спиной к себе.*)

И катитесь, чорт подери, колбасой!

(*Визг. Смех. На сцену влетают Жень,
молодяк, милиционер и Лохматый из
первой картины. Он навеселе.*)

ЖЕНЯ.

Вот он!

МОЛОДЕЖЬ.

Держи!

ЛОХМАТЫЙ.

Ограбить меня?!

Короля магии! Принца огня!

Куплетиста и шпагоглотателя-

спеца!

Красу и идейную силу ГОМЭЦ'а!

У Джонса Паркера взять гардероб

И оставить жалкие пожитки!

Скидавай Толстого! Хлоп тебя

в лоб!

(*Срывает грим с Сверхсметкина.*)

СМЕЛОЙ.

Перерасходов! То-бишь,

Дефициткин!

СВЕРХСМЕТКИН.

Сверхсметкин!

МИЛИЦИОНЕР.

Запишем.

СВЕРХСМЕТКИН.

Но я не при чем.

ЛОХМАТЫЙ.

Эх, так бы его и хватил

кирпичом!

МИЛИЦИОНЕР.

Потерпевший, — Паркер?

ЛОХМАТЫЙ (*конфиденциально*).

Пиши: Селедко.

МИЛИЦИОНЕР.

Инициалы?

ЛОХМАТЫЙ (*долго соображает, ра-
достно*).

Американская чечотка!

МИЛИЦИОНЕР.

Имя? Джонсон?

ЛОХМАТЫЙ.

Почти-что. Пиши: Иван.

Гони мои вещи! Жив-ва! Болван!

МИЛИЦИОНЕР.

Прошу в отделение! Вы, принц
огня!

И вы, граждане! Ну, ну!

Убедительна!

СВЕРХСМЕТКИН (убитым голосом).

Вопрос проработан. Прошу меня

С сего числа считать

недействительным.

(Их уводят. Входит Рене. Молодежь
его бурно приветствует.)

МОЛОДЕЖЬ.

Да здра-вству-ет ге-рой

тор-жества!

СМЕЛОЙ (взглянув на Женю).

А ну, обгони-ка меня, братва!

(Убегает.)

(За ним все, кроме Жени и Рене. Пауза.)

ЖЕНЯ (тихо).

Молчит. Ожидает признанья. Ну
что ж!

Не дождется. Будем возможно
резче.

РЕНЕ.

Прощайте! Я завтра ехать в
Лимож.

ЖЕНЯ (бросается к нему на грудь).

Ах!

РЕНЕ (обнимая ее).

Но я должен отсюда взять
свои вещи,

Передать на сестренка домик и сад.

Захватить семь рулонов проектов
и планов.

Три недель. Но я буду стремиться
назад

Всеми фибрами моих чемоданов.

Вы меня считали за враг внешний,

Теперь я вам буду внутренний
враг.

ЖЕНЯ.

Вы остаетесь в Союзе?!

РЕНЕ.

Конечно.

ЖЕНЯ.

А что скажет твой фрак?

РЕНЕ (очень серьезно).

Мой фрак — дурак!

(Поцелуй.)

(Запыхавшись, вбегает Смелой. За ним
остальные.)

СМЕЛОЙ (торжествуя).

Обогнал!

(Все остановились, как вкопанные.)

Разрубили ваш гордиев узел?

ЖЕНЯ.

Рене... то-есть он... то-есть мы...

то-есть я...

Да чего там! Девчата, ребята,

друзья!

Мой муж остается в Советском

Союзе!

(Общее ликование. Ирина подходит
к Рене.)

СМЕЛОЙ.

Здесь надо бы просто пуститься
в пляс... Но...

Открытие — через десять минут.

ИРИНА (тихо).

Теперь я, философии вашей

согласно,

Должна вас спросить: как ее

зовут?

(Вступила музыка.)

РЕНЕ.

Мадам, я ужасно плохой философ

И много терпеть поражений.

Я думаль: Ириной зовется

любов,—

Любов называется Женей.

Я думал, что труд — это черный
работ,

Печальный и необходимый,

Но здесь он мне счастье не меньше
дает,

Чем первое «да» от любимой.

Жизнь — не коробка с печенье
«Смесь»:

Налево — слезы, направо —

песнь.

Работа — в среду, любов —

в субботу.

Нет!

Жизнь — это песнь,

и любов, и работа!

И право на труд, на любов

и на песнь

Я хочу добывать себе здесь!

МЕТЯ.

Товарищ директор! Товарищ

Смелой!

Массы ждут торжественного

открытия

СМЕЛОЙ.

Ножницы! Ленточку долой!

МОЛОДНЯК (хором).

Первым курортникам привет!

ИРИНА (Смелому).

Говорите!

(Сцена наполняется. Молодежная бригада, с Женей во главе, разместилась на особой площадке здания. Смелой — на лестнице галлерей. Вступает музыка.)

СМЕЛОЙ.

Трудящиеся! Без длинных
речей —
Курорт этот ваш! И больше
ничей!

Водой себя полируйте!
На солнце тела прожарьте!
Дышите полной грудью!
Воздух здесь удивителен!
Да здравствует класс! Да
здравствует партия!
Привет вождю! И спасибо
строителям!

(Балет-парад купальщиков, физкультурников, теннисистов, волейболистов и т. д.)

ХОР.

Точку закала!
На высшую шкалу!
В алмазную сталь
Переплавим руду!
Будем здоровы,
Будем готовы
К обороне и труду!

(В парад включается шеренга молодежи со Смелым, Ириной, Рене и Женей во главе.)

ШЕРЕНГА (надвигаясь на авансцену).

Мы взорвем
Барьеры и преграды!
Завершим
Все то, за что взялись!
Штурмовым
Передовым отрядом
Мы живьем
Идем в социализм!
У комбайна,
У станка, у крана
Помни цель
Горячих наших дней!

Все равно победа будет поздно
или рано,
Так лучше раньше, чем
поздней!

Похождения факира

Роман

ВС. ИВАНОВ

(Продолжение ¹)

6

Далеко позади оставил я спутников. Я размахивал руками. Я говорил вслух. Я пламенел восторгом. Мне представлялась Индия, вся в нежной листве вечнозеленой. Я видел ее курчавые горы, ее города, затейливые и веселые, ее храмы и дворцы. Мне казалось, что вот я на великолепном коне, окруженный толпою восхищенного народа, еду по базару. Седло украшено драгоценными камнями. Меня опахивают пальмовыми ветвями! Правда, вспомнив толстые пласты своих глупостей, вроде письма Ирме Шмидт, своего разговора с отцом, я снимал роскошные свои одеяния. Я быстро запихивал принца в какую-то зловонную дыру. Я становился мельче ростом. Я входил в Бенарес, как нищий, среди толпы паломников, чья вера казалась мне странной и слегка смешной. В сущности, я был выше всех факиров и паломников, потому что не надеялся ни на какое награждение на небе ни от какого бога!

Утомившись, я покидал Индию и поджидал приятелей.

Мне нравилось смотреть на Петьку Захарова, на этого «человека без заплат», как говорил про него Пашка. Какого б напряжения, умственного и физического, ни требовала работа, Петька не утомлялся. Он засыпал мгновенно, как будто уходил на другую работу, где-то вот рядом, к тому же он, как лошадь,

обладал способностью спать стоя. Я старался подражать ему. Я крепился, но все же мне было приятно, когда Пашка и Филиппинский требовали отдыха или ночлега.

— Еще пятьдесят столбов! — просил Петька. — Пятьдесят раздели на семнадцать, сколько?

Мы почему-то считали, что верста вмещает семнадцать телеграфных столбов.

Петька сам считал столбы. Пашка проверял его, а Филиппинский, весь мокрый, с раскрытым ртом, пытался руками передать анекдот.

Однажды, уйдя вперед, я составил стихи о дружбе.

Я читал громко эти стихи. Я читал их медленно, каждое слово вмещало три шага. Медленность, казалось мне, увеличивает густоту их раскраски, их смысл. Это были странные стихи, длинные, вязкие. Сейчас я их плохо помню. Приблизительно они таковы:

Час, длинный час усталый Пим шел
на высокий холм
Песок, песок и вновь песок мешал ему итти.
Озерный дол, индийский дол с холма
увидит он,
С того холма, где, говорят, кончался
пустынь пути!

Журавль покой здесь стережет
У красных и закатных вод.
Метелки устремил камыш
Здесь в голубую тишь.

Так, вожделением томим, шагал песками
бедный Пим.

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 4, 5 и 6 с. г.

Ваошел. Взглянул. Протер глаза.
 На небе облаков воза.
 А вдоль и поперек — вновь степь, —
 Не смерить и не оглядеть!
 И снова бурый беркут в ней.
 Вдоль тракта ленточка костей.

Не утешение же в том, что Пим осилил
 дикий холм?

И сел в пески наш бедный Пим.
 (Мы слабости ему простим.)

Но ветер дул, но ветер дул, но ветер
 все играл.

И на иное повернул он ветряный штурвал.

Пим взбешен, Пим взбешен!
 По песчинке унесен
 Из-под Пима дикий холм!

И Пим поет, и Пим кричит: «Я с холма
 не сойду,

Пускай намечут к небесам иную мне гряд!»

Молва обманет нас, друзья! Индийский дол—
 ветла.

Друзья, обманут холмы нас. Обманут нас
 ветра!

Но дружба выведет нас в индийские края!
 Но дружба вдохновляет нас, иную жизнь
 края!

Одно только смущало меня в мыслях об Индии: это необходимость колоться. Пытался я думать, что это развлечение для европейцев. Едва факир войдет в родную страну, — колотье окажется лишним. Пытался я утешаться и тем, что наблюдал, как Нубия бодро переносит свои страдания. Ее раны куда глубже моих! Удивительный характер был у этой лошади! Смотря на нее, трудно было отрицать знание коня, которым хвалился Петька Захаров. Если Нубия видела чьи-нибудь страдания или усталость, она, витиевато расставляя ноги и махая разноцветными ушами, подходила к пострадавшему и долго с великой нежностью смотрела на него. Особенно она любила стоять возле Филиппинского, когда тот у перекрестка падал на траву и каким-то распухшим голосом говорил, что дальше он не идет. От его пота трава вокруг мокра! Филиппинский перекачивался с боку на бок. Нубия, не моргая, смотрела на него, и я убежден, что, если бы Филиппинский влез на ее спину, она терпеливо тащила бы его, преисполненная счастьем.

Петька немедленно сбирал кизяк, наливал в котелок воды, быстро кипятил,

заваривал и, подавая большую чашку кирпичного чая, резко говорил:

— Подкрепись, и не распускаться впредь, Константин Степаныч!

Иногда мне казалось, что Филиппинский и побаивается, и ненавидит, и завидует Петьке Захарову. С каким-то особым злым выражением Филиппинский поднимал глаза вверх и говорил:

«Арестант, входя в камеру одиночного заключения, приглаживая редкие, уже поседевшие по краям волосы, вежливо говорит тонкогубому надзирателю:

— Позвольте затруднить вас вопросом: выставляют ли у вас за дверь сапоги для чистки?»

Петька спокойно выслушивал и деловито отвечал:

— Пристрелить! Для мужиков не годится. Плывите к другому анекдоту, Филиппинский, где нужно рассказывать анекдот на разные голоса.

— Какие уж там разные голоса, — говорил Пашка Ковалев.

Пашка лежал на животе, безнадежно уставившись в песок испуганными и заплаканными глазами. Пашка брал горсть песка и быстро пропускал его сквозь слабо окрашенные пальцы:

— Дедушка мой, Евграф Ковалев, — говорил он плаксиво, — был вполне приличный человек. Ему приходилось торговать салом и солью. Но привстречался ему случай, когда исправник попросил его помочь соблазнить крестьянскую девицу. И покажись это дедушке Евграфу более выгодным, чем торговля салом и солью! Держит он у себя соблазненную исправником девицу, а та собирает подруг, тоже соблазненных различными чинами. К подругам похаживают гости. Призывает исправник дедушку Евграфа и говорит: «Я тебе зла не желаю, помня твоё добротолубие, оказанное мне, однако надо б тебе патент выхлопотать». Пришлось деду Евграфу патент взять. Помирает мой отец, остается девичник моей матери. Она не отказывается, так как с детства существовала в развращенной семье. Возобновляет она патент, крестясь на икону...

Пашка вскрикивал от злости:

— Вот этого я ей никогда не прощу!

— И не надо прощать. Ты копи побольше обид, Пашка. Обиды, как яблоки, зреют, глядя друг на друга. — И Петька наливал Пашке чаю: — Отец-то у матери кто был?

— Кабатчик. У них весь род кабацкий. Водку у них по гостям разносили девушки. Это еще издавна, когда на девушек патентов не требовалось.

Петька улыбался, клал руку Пашке на плечо и говорил:

— Вот тебе и надо теперь такое средство открыть, чтобы людей от продажных девушек отучить, а возможно — и от водки. Теперь ты из степи, Пашенька, вышел...

— Ничего я не вышел и никуда я не выйду!

Петька указывал на горизонт.

— Эка! А вон там, взглядишь, горы. А за ними море. — Он сжимал пальцами ноздри и смеялся: — Я даже чувствую, как водой пахнет, ноздри стягиваю, чтобы не побежать.

Вдалеке была такая же степь, что и рядом с нами, тусклая, отливающая снизу фиолетовым. Мне казалось, что Петька, обладая редким разведывательным даром, действительно видит горы и море.

Пашка брал новую горсть песка:

— Ну, научился я типографскому ремеслу, а что толку? Как я напечатаю свою кабацкую жизнь? Опять я в степи! Опять я страдаю безнадежно.

— Ты забудь, Пашка, забудь! Забудь, что ты несчастный. Несчастливого, брат, и на слоне собака укусит. Имей короткую память на страдания. У меня, уверяю, было их не меньше, а вот не помню. Надо также помнить, что приятелям твоим совершенно скучно слушать жалобы на одно и то же. Вот Филиппинский, так тот рассказывает анекдоты, но различные. Мы выберем из них десяток, который принесет ему полную и пристраганную славу, вроде той, которую гмеет Всеволод.

— Какая у Всеволода слава? — говорил уныло Пашка. — Битая!

Петька не желал, чтобы я слушал эти разговоры. Он говорил мне обычно:

— А ты иди вперед, Всеволод, размышляй, общи дело! Фокусы придумывай! Если тебе лень их производить, ты мне набросай принцип, а схему, чертежи и всю аппаратуру я сделаю сам. Об'ерзаю все ремесла, но причаляю к смыслу!

Мне не хотелось отказываться от факирства и превращаться в фокусника, но мысль о предстоящей боли терзала меня. Я скромно говорил:

— Пожалуй, ты прав, Петька. Мне помнится, зритель не влюбил, когда выходит этакий дядя и начинает в себя вгонять гвозди. Им все равно, что фокусник, что сила воли.

— Ну, как сказать! Номер с колотьем тем хорош, что публика сразу видит — дело без надувательства, а дальше ты ей хоть какие угодно аппараты подсовывай. А я, брат, по глазам вижу, добудешь ты нам номер. Поди, так скоро в грудь перочинный ножик без боли начнешь всаживать, а?

— Перочинный ножик чересчур грубо, — говорил я.

— Зато убедительно. Эх, Всеволод, навязчивости в тебе нет. С твоим об'емным умом на кой тебе лешай Волшебная библиотека? Ты сам любую библиотеку придумаешь! Кожа у тебя нежная, но твердая.

Впадая в свойственное ему восхищение, Петька Захаров говорил туманно и обильно, снабжая свою речь «репками мудрости», как он называл свои рассказы. «Кругла, гладка, бела наша речь, как мытая репка, Всеволод!» Он не был болтуном. Все, что попадало в «репку мудрости», он считал продуманным и требующим выполнения, «идеей». «Идеи» его распределялись по трем сортам. Он держал книжку, куда их и записывал. «Идеи первого сорта» — это были путь в Индию, капитанство, наука. «Идеи второго сорта» — помощь друзьям и приятелям. Другом числился я, приятелем — Пашка Ковалев, Филиппинский и Нубия. «Идеи третьего сорта» — сбор общепользных сведений. Эта графа была всегда пустой, так как все «общепользные сведения» он держал в голове.

Я встревожился. Несомненно, если понадобится выступить перед публикой, то

Петька предложит мне попробовать опыты с перочинным ножом. Скажу-ка я ему, что ножики нашего отечественного производства, сталь их гнилая! Но тогда Петька предложит мне одну из шпаг. Два раза опыт с одним инструментом не повторяется, — возражу я ему. И все же я не очень надеялся на свое красноречие и изворотливость.

Я страдал, но страдал я не очень сильно, — Нубия еще не подходила ко мне, в то время как степень страданий Пашки Ковалева и Филиппинского мы узнали по ее приближению к ним. Особенно часто она торчала около Пашки Ковалева. Пашка злился, кричал, что Нубия непременно заразит его сибирской язвой. Он требовал, чтобы мы на ночь сплывали ее подалше, иначе она непременно лизнет его в лицо.

— А ты глаза не мой слезами, а мой водой, — совал ему Петька свою «репку».

7

За станицей Петухово, возле села Житки, нас встретили первые березовые «колки» рощи. Мы разожгли громадный костер, и Петька дал нам целый день отдыха.

Мимо нас шли обозы. Возчики подходили «за угольком» для трубки.

— Откедова, православные? — важно спрашивал Петька.

— Села Нижней Мостовки, — также важно отвечали возчики.

— Чаво обозите, православные?

— Хомуты, клей, кожа.

— Выростковая али сырмятная, православные? Али обувью?

— Всякая. А вы чего обозите, парни?

— Пух.

Возчики оглядывались вокруг. Петька показывал на нежные — желтые и синие — облака. Возчики потирали усы:

— Ну и с богом везите его.

Петька глядел им вслед и сообщал, что в Житках например выделывают до пятисот тысяч штук овчин в год, зимсей отсюда идут обозы по ярмаркам, мужики семьями шьют шубы, а часть овчин продается в Нижнем. Он издали узнавал обозы. «Эти, — говорил он, — с рукавицами, исподниками, шерстяными

опоясками. А это гончары. А это тащат башмаки, сапоги, бахилы, коты». Филиппинский вздыхал. Он завидовал петькиному внимательному взору, его разгадчивому разумению.

— Громада не в телесах заключается, Филиппинский, — кричал Петька, — уচিতесь!

— Грозно мое ученье, — бурчал Филиппинский.

Мне хотелось узнать: что же Филиппинский думает об Индии; верит ли, что мы туда дойдем, чему он собирается там научиться? Но его трудно было расспрашивать: он или рассказывал анекдоты, или жаловался на тяжелую дорогу.

Нам уже попадались озера. Лесная долгожданная тишина охватывала нас. Костры наши занимали все более обширное пространство. Я опасался лесного пожара. Петька собирал с деревьев великолепные куски смолы и подкидывал их в костры:

— Детю сколько пропадает, дегтю! Неправильные, должно быть, у них аппараты: дороге и громоздкие. Примечай, Всеволод, подумай насчет дешевого смолоночного аппарата!

— Филиппинскому надо примечать, — отвечал я внушительно. — Факир же занимается психической деятельностью, а не промышленной.

— У тебя ж огромный ворох психики, отдели хоть немного и для промышленности!

Мы проходили мимо пшеничных полей. Петька щупал длинные колосья. И здесь замечанья его были верны и дельны. Филиппинский вздыхал. Петька собирал кучки овса и кормил ими Нубию. «Для здоровья» он примешивал корни одуванчика. Ему казалось, что Нубия поправилась, поздоровела. Пашка Ковалев говорил, что в той породе, к которой Нубия принадлежала, если и имеются какие-либо достоинства, то отнюдь не лошадиные. И точно, Нубия никогда не ржала, на лошадей она не обращала внимания и даже чуждалась их, а затем откуда это неиссякаемое сострадание, которое светилось в ее глазах? Если нам встречались на дороге нищие, она оставалась и качала головой, и будь у ней ломоть хлеба или несколько копеек

денег, она сумела б выбрать из нищих самого несчастного.

20 июня, вечером, мы подошли к селу Мокроусову. Петька заранее сообщил нам, что село стоит у верховьев реки Кызак, что это центр хлебной торговли, что отсюда отправляются обозы хлеба для сплава на Урал, что с 24 по 27 июня здесь ярмарка.

На площади, приминяя крапиву, купцы «громили», разбивали ящики с товарами. Колыхались высокие иссиня-черные весы, ярмарочные, веселые. Прыгали вокруг гирь парнишки. Стаи голубей носились над балаганами. Балаганы все новенькие, из приятно пахнущего искристого теса. Я вспомнил ту ярмарку, на которую ездил с дядей Кузьмой Македоновым. Будь бы эта ярмарка среди наших казаков, приезжай бы сюда знаменитый факир и дервиш, казаки б пришли толпами на представление, а позже хвастались бы, что «факиришка» научился прокалыванию у них, казаков, потому где ж иначе найти ему великую храбрость и волю?

Нам казалось, что мокроусовская ярмарка и мокроусовские жители сполна набиты и снабжены, как боярышник шипами, подозрительностью. Они маклачили, торговали, покупали и воровали и ни на одну минуту не доверяли друг другу. Что пред ними Пашка Ковалев! Ребенок! Муравей, попавший им на палец, казался им конокрадом. Они до боли в глазах разглядывали товары, до опухоли в пальцах ощупывали их, и трудно было понять, откуда же все-таки у них появилась уверенность, что вещь придется купить.

Но Петька не унывал. Мне он говорил: «Готовь уколы», Филиппинского торопил с анекдотами, «мужицкими, увертливыми», от Пашки требовал, чтоб балайка ходила «тычком, намеками, попреками, одним словом, куплеты». Два дня он потратил на то, чтобы уговорить школьного попечителя, лавочника с китайскими глазами и с истрепанными губами, отдать нам для представления «классы». Попечитель, тряся губами, говорил ему:

— Нельзя, господин, в школу вводить лошадей.

— Да у нас, господин попечитель, не лошадь, а знаменитый факир и дервиш.

Попечитель не знал и не хотел знать объяснений:

— Вот я и говорю вам, господин, зачем нам в школу лошадиное рыло? Еще нагадит на пол, а у нас в переднем углу иконы в серебряных ризах.

— Все мы фокусники, а не лошади.

Петька для убедительности привел с собой Филиппинского.

— Вот этот господин из своего брюха выгашит вам три пуда бумажной ленты!

Попечитель отвечал резонно:

— А зачем вы тогда толкаетесь всюду с таким «тряхтряхтным» конем?

— А вы знаете, господин, что такое гентэр?

Участковый пристав Тевелев тоже встретил нас подозрительно. Лицо у пристава было, как ушат, а ноги, как прутья. «Уходи, парень» — шепнул мне про него Петька. Пристав прочел нашу афишу и сказал вежливейше:

— Если вы под видом какого-нибудь фокуса приспустите в школу вашего коня, мы отправим вас по этапу.

В присутствие вошла приставская дочь, Татьяна. Это была спелая девица, розовая и легкая. Ее киноварное ситцевое платье весело развевалось. Она кротко улыбнулась нам, и мы поняли, что она одна во всем этом громадном длинном селе смотрит на мир без подозрительности.

— А вы, господа, спектакль не предполагаете ставить?

Петька ответил ей немедленно:

— «Евгения Онегина»?

— «Евгения Онегина» у нас ни к какому сроку не присрочить. Очень много об ревности. У нас народ крайний и не хочет возникновения в себе лишних чувств про своих жен и дочерей.

— Тогда мы поставим «Красный фонарь». У нас имеются большие мастера насчет красных фонарей.

— О пожаре? Что вы?

— А разве у вас нету брандмейстера?

Пристав сказал:

— Я и есть брандмейстер.

Петька вежливо поклонился ему:

— А вы думаете, я не узнал? Я жарника за пять верст вижу. У них голос борзый.

Девушка кротко продолжала:

— Село не горело пять лет, трущоба, зачем беспокоить красным фонарем?

Мы долго беседовали с ней. Она так же, как и отец ее, была приторно-вежлива, и вежливость казалась больше свойственна ей, чем этому ушату коленкорового цвета. Удивляло и то, что она необычайно ловко улавливала всяческие шорохи и шумы. Достаточно повести губами, а она уже понимала, что вы говорите. В прихожей чешется стражник. Она скажет: «А вы бы жука с шеи сняли, Семен». Сидит спиной к окну, а слышит, как на подоконник вспрыгивает воробей.

Возвращаясь от пристава, Петька сказал про нее:

— Один уже ушиблен девицей. Солдечек, а не девка. Пригайла она нас!

— Ананас, — сказал вдруг Филиппинский.

Петька обиделся:

— Не девица ананас, Нубия наш ананас! С ее помощью я бега в Мокроусове начну.

И тут же он предложил нам устроить представление прямо на площади. Надо натянуть канат между двумя ветлами, и пусть, для начала, пройдет по этому канату Филиппинский. Впервые я увидел, что Филиппинский испугался. Он ездрился, остановился, вытаращил глаза и реденьким голосом сказал:

« — Иван, как тебе не стыдно наплеваться! Тебя могут в участок забрать!

Лакей покачал головой, харкнул в ладонь, гася в ней таким образом папиросу:

— Не беспокойтесь, ваше превосходительство, у меня завсегда с собой ваша визитная карточка».

Они умиляли меня!

Я прочел им свое длинное стихотворение о дружбе и бедном Пиме.

Петька чрезвычайно растрогался. Он обнял меня и поцеловал сначала в губы, а затем в щеки:

— До полусмерти ты поразил меня, Всеволод. Большемерный ты человек. Я желаю тебе: пусть будет восьмиверстной гора, на которую ты войдешь.

Он подумал, помычал под нос, очевидно, вспоминая мое стихотворение, и сказал:

— Стихи хороши, но трусоватые.

— Чем же они трусоватые? Впервые слышу, чтобы стихи были трусоватые.

— Трус значит не только трус, но «трус» значит землетрясение, трепет, страх и дрожь. Здесь есть страх перед неизвестностью, а человек должен быть храбр. Затем их понять можно только с голоса, Всеволод. Вот к примеру: «Индийский дол — ветла». Когда ты говорил мне скорбно: «ветла», а «индийский дол» восхищенно и с насмешкой, мне понятно — ты хочешь сказать, что вместо индийского дола этот самый бедный Пим встретил жалкую ветлу. Но и тогда грустить ему не о чем! Если ветла, значит есть намек на воду. Другое дело, если у Пима в желудке спазмы, и он не способен дальше двигаться, но там насчет спазм у тебя не упоминается.

— Да дело не в Пиме, а в дружбе!

— Правильно. Я и одобрил стих твой за дружбу.

Он пожал мне руку. Филиппинский тоже протянул мне потную свою длань.

— А главное, эти стихи плохи тем, Всеволод, что их петь нельзя. Ведь вот например...

Он прислонился к дереву и, глядя на село, которое мы миновали, высоким голосом запел:

Вы, ребята, собрались,
За веревочку взялись...

Да, ух!..

Золотая наша рота
Ташит чорта из болота...

Эй, катая, братцы, катая, знай
покатывай, катая.

Эй, валяй, братцы, валяй, знай
поваливай, валяй!

Он щелкнул пальцами, сплюнул и сказал:

— Вот как надо составлять стихи. Ты, Всеволод, теперь напишешь для Пашки куплеты про мокроусовские порядки, проучи их. И насчет Нубии

вставь. Стихи, брат, убеждают лучше любого опыта.

Я учтиво сказал:

— Допотею и до куплетов. Не знаю, как вы думаете, друзья, но я вам скажу, что перед мокроусовским зрителем трудно с факирством выступать. Если я даже и проколю себя шпагой насквозь, по-настоящему, то и тогда они не поверят! А еще менее поверят они моим шпилькам. Что для них шпильки, когда они ежедневно режут себя ужасными серпами подозрений?

Петьке, видимо, нравилась моя витиеватая речь. Он кивнул головой.

— А опыт со шпагами? Мокроусовцы влезут на сцену и непременно заметят, что я меняю шпаги. Разве их удивит индийскими факирами? Вот если бы мы пришли и без подозрительности купили у них всю ярмарку, тогда б они поверили в любое волшебство.

Филиппинский пропыхтел:

— Чего ж в грязи полоскаться? Ползком, но домой, если нельзя найти для меня совета подходящего.

Петька сказал:

— Растрогал ты меня стихами, Всеволод. Предлагаю: я сватаюсь за Татьяну. Девка гривастая, дикая, это, брат, тебе не корова. Ты видал у ней рот, Филиппинский? Кровяной. Это, Филиппинский, не твоим грибам чета! Причудилось мне, или как, но она глазами шагала в мою сторону...

— Глазами нельзя шагать, — сказал я.

— Словом, Всеволод, я ей делаю предложение и скачу. Ее отец — в слезы. Я ему — выкуп. Папаша у ней вор, мошенник, что ему стоит выдать тридцать рублей ради сохранения невинного образа дочери.

Экий лукавый! Татьяна, ее кротость были мне близки, а этот хотел ее угнать, как коня!.. Но не столько предложение Петьки волновало меня, сколько усмешечки Пашки. Девка «гривастая» действительно, а с пашкиным родовым опытом увезти ее легче, чем с петькиной удастью.

— Есть способ, менее причудливый, чем увоз, — сказал я.

— Пришвырни его, Всеволод.

— Заменить представление факира драматическим спектаклем.

— Но у нас, Всеволод, нет ни одной пьесы.

Я протянул руку вперед с пальцами, сложенными так, как если держать карандаш, и торжественно сказал:

— Рука способна написать стихотворение? Способна написать куплеты? Она способна написать и любой спектакль.

Петька звучно поцеловал меня в лоб.

— Ты великий человек, Всеволод, — сказал он, еле сдерживая слезы.

Умиление, еще более сильное, чем прежде, охватило меня. Я громко повторил им свой стих о дружбе. Они промолчали.

Мы вышли на полянку, где Пашка сидел у костра, упершись руками в колени и с ненавистью уставившись на Нубию. Петька быстро рассказал ему о нашей выдумке.

— Сейчас спектакль к нам прицепится, вдругорядь какая-нибудь эпидемия. Если вдуматься, так сдутье мы с земли люди. Права была моя мамаша, — сказал, выслушав нас, Пашка.

Петька спросил, вытаскивая карандаш и бумагу:

— Какое ж название твоей пьесы?

— «Игра счастья».

Важно, так же, как когда он обсуждал анекдоты Филиппинского, Петька сказал:

— «Игра счастья»? Для здешнего зрителя подозрительно. Ярмарка — и зараз: игра счастья. Давай другое.

— «Капризница».

— Капризниц здесь бьют.

— «Картинка с натуры».

— Пристав не разрешит. Он вежливый, но не воодушевленный.

— «Китайская роза».

— Что ты, чаем торгуешь?

— «Когда мужчина плачет».

— Ну что с тобой, Всеволод? Мужчина здесь плачет тогда, когда его бреют в солдаты или когда разорился. Им надо такое, чтоб невдомек, будто ты ехидный сочинитель.

— «Благородные люди»?

Пашка безнадежно свистнул. Филиппинский сказал:

« — Послушайте, господин Б., ведь собака, которую я у вас купил, не кобель, а сука.

Господин Б. сел и, согнувшись, медленно поправил загнутый край брюк. Его собеседник с недоумением увидел, что господин Б. без носок. Поправив брюки, господин Б. сказал:

— Ах, сударь мой, уж эта порода такая: ее мать также была сука!»

Помолчали. Петька сказал задумчиво:

— Благородных людей здесь нет, но все же, обсуждая основательно дело, придут мокроусовцы к выводу: а любопытно ведь посмотреть на самих себя! Покажи, Всеволод, благородных людей, но не комкай, не мни. Помни, Всеволод, что зад лучше рта, не умеющего говорить. Не сигай через смысл, изясняй в досталь, сигнализируй вспышки страстей...

— Оборотится же вот эдак неудачно природа, — вздохнул Филиппинский завистливо, отворачиваясь от Петьки: — Пыль назначит оберполицмейстером!

В Мокроусове за десять копеек мы купили каравай хлеба и молока вместе с глянцевитой, оранжевой с желтым, холодной крынкой. В золе костра пеклась картошка. Мне отрезали ломоть и первому поднесли молоко. Держа в руках крынку, не спеша отхлебывая, я рассказывал:

— Сорочко, пожилой и пухлый вдовец, «под-пьяна» дает обещание Илье Тяготейчику, квартальному надзирателю, мужчине под сорок, из военных, тоненькому и хриплому, выдать за него дочь свою Настеньку. Тяготейчик тоже подвыпил, ну и соглашается на брак. Пляшут, целуются. Тут можно будет песни спеть! Проспавшись, на другой день, Тяготейчик и Сорочкин оторопело смотрят друг на друга. Да, наделали они делов! А как же поступить теперь? Ведь они — «люди благородные», они ведь не хотят отказаться от своих слов. Приходится Тяготейчику, уже женихом, ходить ежедневно к Сорочко, подарки носить к невесте, любезности рассыпать. Невеста от него прочь, а ему кажется, что подарки малы, а крупнее и жалко, но, с другой стороны, ему, как человеку благородному, неприятно видеть свою жад-

ность. А невеста-то Настенька, этакая румяная и спелая, любит молодого факира Черемухина. Тут происходит множество недоразумений, столкновений. Черемухин узнает, что Настенька его надувает, принимая подарки. Черемухин даже топится в реке, но не совсем. Происходит опись имущества у Черемухина, производит ее Тяготейчик, и он же находит письмо Настеньки к факиру. Читает: оказывается, она любит другого! Тяготейчик думает: «Я-то благородный, но остальные-то как?» Он пытается узнать о благородстве и показывает письмо Настеньки ее отцу, просто как любопытный документ, найденный, мол, в болоте. Сорочко читает и высказывает свое мнение. И тогда Тяготейчик предлагает быть благородными до конца и скрепить брак несчастных молодых людей своим согласием. Дьячковы, Осипов, Волчков, фон-Зейден и молодая женщина Ульяна Гусева явятся, надеюсь, подставными, но довольно метко очерченными характерами.

Петька воскликнул:

— Здорово придумано!

Пашка, мешая палочкой в костре, оборотился к нам и сказал:

— Я знал в жизни своей только одного факира, но тот факир, по его же словам, встречал других факиров, которые были его точной копией. И он утверждал, что у этих бездельников нет никакого имущества. Впрочем, обтолкуйте.

Петька ухмыльнулся:

— Нечего это и обтолковывать. На кой леший факирам имущество, Пашка?

— А как же? Там описывают имущество факира Черемухина. И что это за факир с фамилией Черемухин?

— Мы назовем его Черему, — сказал я поспешно: — А имущество... имущество, скажем, принадлежит его брату!

— Пашка, он способен все обтонить, любое разумное бревно превратить в тупую иглу, — проговорил Петька: — Черемухин не факир конечно. Он приказчик. Полное его наименование: Иван Григорьевич Черемухин, приказчик торгового дома «Брусникин и сыновья».

Петька немедленно добыл сверток обоев. Я составил афишу. Подсчитали дей-

ствующих лиц. Нам нехватало четырех мужчин и двух женщин. Пашка предложил было просто-напросто вычеркнуть «подставных метко очерченных лиц», но Петька не уступил ему: «Тебе и куплета не соединить, а Всеволод целую драму составил».

Татьяна Тевкелеева, кроткая дочь пристава, согласилась играть Настеньку. Она уговорила школьного попечителя сдать нам школу. Она отправилась вместе с нами собирать «любителей драматического искусства». Позже много раз приходилось мне собирать любителей, но мокроусовские любители были сидни из сидней! Все они жаловались на болезни. Одни не хотели играть с Григорием Петровичем, а Григорий Петрович — с Софьей Алексеевной, а Софья Алексеевна — с Григорием Петровичем. Выбирали не мы их, а они нас. Они расспрашивали нас подробно о нашей родне; о том, как и откуда мы попали в Мокроусово; часами они осматривали нас вдоль и поперек! Им казалось, что мы хотим занять у них деньги или утащим одежду. С мужчинами еще туда-сюда, при помощи петькиной энергии и толстого брюха Филиппинского, к которому они чувствовали уважение, нам удалось убедить, но вот женщины! Мужья, женихи, любовники, матери, тещи, дети, племянницы, тетья, зятья — все поднялось против нас. Все это отвечало за наших любителейниц, толкало их обратно в комнаты, оборачивало к нам их толстые мокроусовские зады!

Петька клялся, что поделуев в пьесе не будет, что ближе, как на три сажени, ни один из нас не подойдет к вашим дамам, наконец, «мужи, возьмите ножи» и встаньте за кулисы!

Петька достал топор и несколько обрезков тесу от ярмарочных балаганов. Он соорудил комнату, из обоев склеил занавес.

— Нет грима?

Петька купил столярного, так называемого «шубного», клея. Петька осторожно остриг гриву Нубии. Лошадь наша помолодела.

— В любой чаще охотья, — похвастался Петька, — ни за один кустарник гривой не заденет!

Черновик пьесы я написал на обороте обоев. За пятак мы купили десть дрянной бумаги, и я мелко-мелко переписал свою пьесу. Свою роль я соорудил так, что мне удобно было одновременно и суфлировать, и играть: я постоянно лежал за сценой пьяный и только изредка высывал голову и говорил: «Безошибочно, но она невеста!»

Мои друзья собирали в селе скамейки и табуреты. Пьесу мы репетировали на крыльце, а если собирались мальчишки, мы шли в пригон. Мы репетировали, сидя на бревнах, окруженные кустами бурой крапивы. Татьяна кротко говорила нежные слова. Мне казалось, что она говорит мне. После каждой сказанной ею фразы мое сердце разводило невероятную сумятицу во всем моем теле. Язык присыхал к небу, а руки отсыревали. Я ее любил! Я любил ее легкие шаги, ее способность улавливать шумы. С великим замешательством слушал я, как она, далеко до кудахтанья, говорила: «А вот выпало яичко, курочка освободилась». И пять минут спустя оторопело выскакивала из кустов курица, широко распахнув крылья. «Сказать ли Петьке о моей любви? — думал я. — Он высокий и великий друг! Он поможет мне умчать Татьяну. Он найдет попа, коней, уговорит пристава — и пристав простит нас».

— А исправник как, разрешил спектакль? — спросил пристав, вечером подойдя к школе.

Я ответил:

— Полагаю, вам присланы циркуляры с разрешенными пьесами, господин пристав?

— Я знаю циркуляры наизусть, — сказала кротко Татьяна: — Но я не встречала там «Благородных людей».

Мы пошли с приставом в присутствие. Он достал две маслянистые синие тетрадки. Мы прочли их от начала до конца. Пристав сказал наставительно и вежливо:

— Нету. Вот кабы эту, а?..

И он ткнул пальцем в строку, где значилось название пьесы: «Жена, карты, или вред алкоголя», комедия-водевиль, сочинение П. И. Г.

Господин пристав страдал запоями.

Я вежливейше ответил ему:

— Видимо, вы еще не получили того списка, в котором значится наша пьеса, господин пристав?

— Видимо, не получил, господин Иванов.

— Тогда мы играем «Жену, карты». Она у меня есть, господин пристав.

Я вставил в свою пьесу несколько фраз: о женах и картах, восхваляющих трезвое поведение, о вреде запоя. Пристав подписал афишу. Но тут возникло еще недоразумение. Для смеху я вставил в пьесу дьячка-заика, постоянно спотыкающегося и пьяного. Роль дьячка мы назначили Пашке. Во втором действии дьячок оказывается переодетой женщиной Ульяной Гусевой, которая читает длинный монолог о пользе воздержания. Пашка заволпил:

— Множество несчастий претерпевала моя семья, но чтоб такой заворот!.. А если мама узнает? Я смеюсь над лицами духовного звания? Я, который в сущности переодетая женщина.

И Пашка отказался играть.

— Так его и щипит обратно в свое душло, сову ночную!—сердился Петька.

— Поэзия прежде всего искусство,— сказал я наставительно: — Смотри:

Я вычеркнул дьячка и заменил его поваром.

Голубая наша афиша занимает почти всю стену школы. Мы сидим у входа. Мы радушно ждем посетителей. Наши мысли «нараспашку». Мы смеемся, шутим, переругиваемся любовно с парнишками.

Солнце закатилось. Сторож орудовал колотушкой. Пели и бранились на ярмарочной площади пьяные мужики. Но и они стихли. Пропели петухи. Мы все сидели, постепенно стихая, возле крыльца школы. Забрел рассвет. Мы все еще не продали ни одного билета. И когда взошло солнце, мы поднялись и пошли к нашей полянке.

— Где уж там до Индийского океана дойти, — сказал Пашка, и никто не возразил ему.

Так провалилась первая моя пьеса.

8

«Благородных людей» забросили в крапиву, и на обон вылез обрюзгий,

широкоплечий, в яхонтового цвета чалме, факир. Шпага прокалывает его сердце, а рукой он поддерживает лошадь, которую б, согласно сообщению, он обязан держать в зубах, но лошадь вверху не поместилась. «Лошадь ржет рядом» — об'яснял Петька любопытным.

Еще задолго до заката появилось в школе семейство Тевкелева. Щеки кроткой Татьяны рдели. Первый ряд состоял из табуретов, которые мы с трудом выпросили. Тевкелеев постучал пальцем по табуретам и приказал стражнику принести «присутственные стулья». Семейство сидело на этих «присутственных», давая нам советы, как получше раскрыть занавес: обои рвались и занавес капризничал. Пальчий зной делал руки, лица эмалевыми. «Ссыхаюсь, в голове будто кипятки» — бормотал Филиппинский.

— Переряжаться пора, сбор десять рублей, — сказал важно Петька: — Я выступаю первым, а то, боюсь, декорации не выдержат: турник вам не шпичечки!

Турник мы укрепили столь неудобно, что отовсюду мы натыкались лбами на эту железную полосу. Боясь, что мы разболтаем всю школу, я даже советовал водрузить турник снаружи школы. Петька бы согласился, но «представление разнородное получится» — сказал он.

На кувыркание Петьки публика смотрела чрезвычайно поощрительно: ноги его задевали потолок, летели мимо оконных рам. Декорации тряслись, Петька покрикивал. Пашка брэнчал на балалайке. Попечитель, опасливо поглядывая на окна и потолок, явно разболелся.

После турника вышел Пашка Ковалев с балалайкой. Он вынужденным голосом, тощим и силпым, пропел куплеты, которые я составил: о Мокроусове, о ярмарке, о торговле скотом, о том, что надо торговать умеючи, не пьянствовать. Пел он боязливо. Публика слушала без единой улыбки, словно ожидая, что куплетист вот-вот расплачется.

За день до представления Петька дал Филиппинскому список анекдотов, одобренных «мною и Всеволодом, а Пашка свободен смеяться, чему он хочет». Филиппинский вышел с этим списком. Он

все еще не решил: нужно ли говорить по списку? Он долго и молча стоял, упершись рукой в потолок, хрупко-желтый свет керосиновых ламп был устремлен в его раздавшееся без толку брюхо. Наконец он скомкал список, разжал кулак, список выпал, он наступил на него ногой и высыпал беспорядочную кучу нелепых, несмешных, унылых рассказиков. Петька, обтирая потное тело грязным полотенцем, бушевал: «Много его еще придется наезжать! Я его теперь возле турника заставлю потолкаться!»

И Петька прервал рассказы, выйдя на сцену.

— Для идиота вся планета в ямах, он и на льду растает. Вот это анекдот, так анекдот!

Пристав рассмеялся. Публика тоже. Петька весело продолжал:

— Сейчас выступит знаменитый факир... А после чего я буду показывать вам карточные фокусы.

Кто-то сказал, икая и сопя:

— Надо-бе лошадь...

— Если к тому времени лошадь не околет, — сказал Петька, — то будет и лошадь. Не советую вам очень-то наткаться на нашего гэнгэра.

— Чего?

— Лошадь, говорю, кусучая.

Подозрительно-настороженно смотрели на факира зрители. Они не верили ему! Им казалось, что факир делает опыты с какой-то темной целью, хочет в чем-то их обскакать. Петька стоял возле моего стола. Он понимал чувства зрителей. Он пробормотал: «Недославили, недосахарили твое выступление, Всеволод. Будет с них». И я не стал колоть щеки. Тот же сопящий, икающий сказал:

— Надо-бе лошадь, слышь ты, курчавый!

— Введи себя в тело, ишь, опился, болван! Знай свое стойло, — крикнул вдруг бойко и зло Петька.

В классе наступила напряженная тишина. Все ждали драки. Но сопящий струсил, и Петька сразу пересоздал зрителей. Они круто повернулись к нему, они уважали его смелость, находчивость! Во время его фокусов, нехитрых, гимназических, они охали и хлопали се-

бя по ляжкам. Я услышал возглас того, икающего и сопящего, возглас почти восторженный:

— Этот тебе не пересовывает глаза, не отводит, не надувала!

Это я-то надувала! Я «отвожу» глаза, морочу их? Горько мне было. А Петька, упиваясь успехом, шаркая ножкой, показывал туза, плевал на него — и в руке его лежала дама. А в переднем ряду, на венском стуле, вспыхивая и тоже шаркая ножкой, смотрела на туза кроткая дочь пристава. Я скреб себе грудь, истыканную шпильками, наполненную режущей, рваной болью. Я думал: эти торгаши, кустаришки много раз были обыгрываемы на ярмарках странствующими шуллерами, и сейчас им мнится: они учатся ловить шуллера! Забреди-ка к ним теперь шуллер!

Представление окончилось — и никто не спросил о лошади. Петька, чванно осматривая сбор, сказал:

— Сегодня десять, а завтра будет не меньше двадцати. Тридцать целковых наскрежем — приятно!

Сердясь на свою обиду, на плохие мысли о Петьке, на его успех, я все же не смог осилить себя:

— Ранняя спесь! И хоть ничто не имело такого успеха, как твои опыты с картами, однако я боюсь, не подумает ли Иван Иванович про Ивана Петровича: «Вот, мол, он, Иван Петрович понял сегодня в картах гораздо больше моего, и, сядь теперь я с ним за стол, он в минуту обжудит и обыграет меня». Поэтому Иван Иванович начнет Ивана Петровича отговаривать итти на следующее представление фокусников. Мы и затратим совсем лишние деньги на керосин и на афиши. Кроме того, попечитель, увидав, что мы ни с того ни с чего зарабатываем деньги, запросит с нас пять рублей за школу, а не три, как сегодня...

Пашка сказал уныло:

— Вдобавок этот силпый непременно не Петьке, а мне, по ошибке, челюсти своротит!

— Твои размышления, Всеволод, не лишены основательности, — ответил мне Петька: — Начнем-ка проверку с попечителя. А ты, Пашка, совсем засмердел!

— Не засмердел, а воскорбел, господин Захаров. Одна леригия осталась у меня, но и ту ты своим дьячком вывихнул!

— В следующем представлении, Пашка, тебе под балабайку псалмы петь, раз в тебе религия воссияла.

Утром, когда мы пришли в школу, попечитель, как я и предсказывал, потребовал с нас пять рублей. Мы отменили представление.

Побродили по ярмарке, среди узких лотков, крытых бурым холстом. Скрипели воза, визжала карусель, деревянные кони хорькового цвета неслись мимо, брэнча шаркунцами, бубенчиками, гарматунами. Торговцы предлагали пряники, длинные, разноцветные, с бумажной бахромою по краям, «карамель избалованных—для сворковавшихся, для слюбившихся». Мануфактурщики зазывали Петьку. Он заходил, просил развернуть «самого свербежного сукна», щупал и говорил:

— Гнильем промышляете, бороны для такого бурьяна нету, сволочь бы да сжечь!

Торговцы ругали его. Он заламывал фуражку и отходил, сплевывая:

— Для меня вы теперь не зрители, чего ради мне вас чмокать!..

Филиппинский пыхтел и бормотал:

— Устал я... пренебрегаю я такой торговлей!..

— Не пренебрегаешь ты, Константин Степанович, а формы не поймешь. А форма-то уже здесь, Константин Степанович! — И Петька стучал себе по голове.

Филиппинский от волнения яростно колыхал животом в жилетке, делавшейся вдруг просторной. Он и верил, и не верил Петьке.

— Ты щеголь, — бормотал он, — ропот во мне поднять хочешь?

— А ты поерзай, поерзай мозгами-то, Константин Степанович. Ты посмотри: на бурьяне, на сору наживают тысячи, а ты им анекдоты рассказываешь, а баба твоя в Петропавловске, наверное, с брандмейстером под ручку гуляет!..

Филиппинский багровел:

— Ну, ты прекрати, Петр, про бабу!

— Зачем его мучаешь? — спрашивал я, когда Филиппинский отставал.

— Всеволод, он будет у нас еще на турнике крутиться и анекдоты рассказывать во время кручения! Вот когда рассмешит публику. Каждый номер программы требует своей причудливости, Всеволод, а с Филиппинским тем более.

Мы вернулись на полянку. У костра сидел Пашка, приглаженный, в чистой сатинетовой рубашке. Поодаль стояли Татьяна и две ее подруги. Они шли по ягоды, видите ли! Еще издали, разглядев Татьяну, я немедленно повторил Петьке мое стихотворенье о Пиме и дружбе. Петька сказал, что куплеты мои гораздо лучше. Тогда я сообщил ему следующее:

— Петр! Существует в данном селе особа, которая возбуждает во мне живейшее сочувствие... хотя бы и тем, что Пашка Ковалев посматривает на нее весьма многозначительно. И вот, по дружбе говоря, как нам с ней поступить? В селе она перестигла всех девиц. Если ее здесь оставить, искромсает ее без толку приставский дом!..

Петька пожал мне руку:

— Правильно рассуждаешь, Всеволод! Сегодняшним рассуждением ты прямо изваял нашу дружбу на века! Я тебе очень благодарен, что ты указал мне на нее, я сомневался: относится ли она ко мне благожелательно? Разве она тебе говорила?

Вообще с девушкой я сказал не более двух десятков слов, но обидно ж сознаться, что у нас: Петьки, меня и Пашки, одинаковые надежды. И я сказал:

— Говорила.

— И в каких смыслах? Устраняя или возвеличивая?

— Во всех, — ответил я мужественно.

Петька Захаров был отличным другом, но дружба его часто утомляла меня своими неожиданными извилами. Сейчас например он заявил, что «тебе, Всеволод, удалось переступить через рутину и поравняться с глубочайшим замыслом». Если бы он, Петька, пропустил ее, Татьяну, мимо, она погибла бы в Мокроусове, угнетаемая дикой и невежественной средой. Надо ее уравнивать с нами! Это и нас, главное, возвысит, это

придаст нашему путешествию в Индию громадный смысл. Мы идем, возбуждая сердца! Пусть не таращат глаза, но и восхищаются нами. Как жаль, что мы не прочли предварительную лекцию о том, куда, зачем и как мы идем. Вокруг нас собираются толпы пробужденных нашими идеями! Мы тормозим их, за нами идут люди, самые разнообразные, но не имеющие больше сил балансировать на кончике языка этих мокроусовских подлецов!

И Петька заговорил с девицами таким замысловатым языком, какой я встречал только в оракулах. Пожалуй, язык этот можно назвать языком любви, ибо он необычайно понравился девушкам. Вот тут-то я и сверил наши силы. Еще полчаса назад мы трое, Пашка, Петька и я, были перед ней равны.

А теперь у ног ее стоит лукошко, подруги торопят ее, а она смотрит на Петьку «обвенчанными», новыми, сияющими глазами.

Пашка Ковалев расстегивает чистую рубашку, подталкивает меня:

— Этой же ночью уезжаем, иначе зарубит нас пристав!

Для виду только девушки свернули в лесок и тотчас же возвратились. Петька щупал спину Нубии. Ему хотелось прокатиться перед девушками на «гэнтэре». Нубия уже приобрела живот, не менее широкий, чем живот Филиппинского. Петька подает мне письмо и просит сунуть девушке. Он назначает ей свиданье в бане. Меня ужасает его цинизм, хотя в деревне свидание парня с девушкой в бане — событие, отнюдь не редкое. Но это особая девушка, она не пойдет в баню!

— Придет, — говорит Петька, — я, брат, туда твое стихотворение о дружбе вписал и добавил, что сочинено мною только для нее. А кроме того, будь другом, Всеволод, до конца: покарауль возле бани. Пристава мне не страшно, а вот Пашка!

Пашка нас, действительно, смутил. После обеда мы имели обычай лежать в различных местах нашей стоянки. Петька Захаров полагал, что это помогает размышлениям, и, кроме того, Филиппинский невыносимо сильно храпит.

Петька подполз ко мне и показал на Пашку. Я изумился. Пашка катился по склону полянки. Когда он оглядывался, мы закрывали глаза.

— К девушкам? — спросил я тихо Петьку.

— Едва ли...

Мы поползли. Нубия паслась, стреноженная, возле ручейка. Пашка подошел к ней. Он накинул нашу самодельную узду, положил на спину мою «соломенную собаку» — и вспрыгнул. Нубия, полагаю, исключительно из сострадания к Пашке, бодро побежала вдоль ручья. Петька зажал мне рот. Он подождал, когда топот замер.

— Вот теперь, Всеволод, ты смотри мой самый удивительный фокус и сверяй со своими. Вот кабы да зрителей сюда. Домой поскакал, Пашенька? По мамочке соскучался?

Я страдал, ошеломленный пашкиным вероломством. Это его-то я учил наборному искусству, его-то повел в Индию? Жалко мне было и Нубию, я привык к ней, к ее наблюдательным глазам.

Петька дослушал топот.

— Есть еще, Всеволод?

— Нет.

Петька сложил рупором крепкие загорелые свои руки и пронзительно и высоко закричал:

— Ну-у-бия-я! Ну-у-би-и-яяя!!!

Эхо понеслось по теплому лесу, одичалое, ямистое, ухабистое, — иначе мне его трудно определить. Оно то замирало, то возникало из соседнего куста, то стлалось по цветоносному ручью, то почти падало на муравейник, возле наших ног. Муравьи, толстобрюхие, сдобные, блестящие, столпились и смотрели на нас.

Петька внезапно умолк. Он приложил ладонь к уху. Опять мы услышали топот. Сквозь кусты скакала Нубия. Пашка елозил телом, прижавшись головой к ее стриженной гриве.

— Чем тебе не Уэльс или не Эдгар По, или, попросту, Майн-Рид? — сказал торжественно Петька, указывая на Нубию, — зря ее хлебом удобрал?

И, не глядя на Пашку, он повернулся к полянке:

— Я попрошу вас, господин Ковалев, спутать нашего коня, а также повесить на прежнее место уздечку.

Как же после этого мне не передать письмо Татьяне, не сопроводить Петьку? Я приправил свое огорчение гордостью за Петьку, я верил в Индию! Сегодня она встала передо мной в удивительном коне — Нубии!

Баня была низенькая, цинкового цвета, вся заросшая сизой крапивой с зеленовато-оранжевыми, расцвеченными долгими ветрами, окнами. Баня стояла на обрыве. «Хоть бы Татьяна не пришла, — думал я. — Но если Петька так приучил Нубию, то что ему стоит приучить Татьяну?»

Приближалась глухая ночь. Мне было немножко страшно. Петька неподвижно сидел в предбаннике, а я возле забора из жердей, положив руку на крышу крытого мягкой и теплой соломой сарая. «А если нападут? — думал я. — Ведь у нас нет даже перочинного ножа, мы даже не вырубили палки!» Еле разобрал я робкие девичьи шаги. Она шла-таки, кроткая Татьяна. Да, это было свидание. И вот я стою совсем, как Ленский, а мой друг...

— А ты «Евгения Онегина» читал? — спросил я.

Петька ответил спокойно:

— Не понравилось. Пестом бы этого Евгения по голове, а не тратить на него бумагу и время.

Вряд ли он будет поучать эту Татьяну, как ее поучал Онегин!

Она прошла мимо. Я нарочно пошел велился. Она, так точно улавливавшая шум, не заметила меня. Она прислушивалась к тем шумам, которые были в ее голове. На ней белое в полоску платье. Петька обнял ее за шею и поцеловал в губы. Оказывается, я отлично вижу в темноте? Но эта способность несколько не радует меня. Татьяна не оттолкнула его, и они захлопнули за собой дверь бани.

Я стоял долго, неподвижно. Тихая ночь постепенно вводила меня в свои пестрые шумы. Казалось, что девушка оставила мне свою способность улавливать шорохи, тонкие, быстро исчезающие. Ах, лучше б мне поменьше способ-

ностей, лучше б не стоять тупо и неподвижно, как эта заросшая травой баня, лучше б мне не влюбляться столь мгновенно и столь горько!

Они покинули баню. Влево, с вершин леса, фиолетового с черным, уходила радостная для них ночь. Девушка шагала медленно, расслабленно. Кладя руку, теплоту которой я ощущаю издали, на плечо милому, она обращается к нему:

— Петя, а возле сарая стоит факир и гладит солому.

— Да вам, Таня, все чудится, — сыто отвечает Петька Захаров.

— Ну, и пусть!

Она рассмеялась: иным смехом, чем раньше, измятым и в то же время обновленным. Она переняла многое у Петьки.

Я остался одинокий, опечаленный. Я впился руками в солому крыши. Я был переполнен страданиями, как внутренними, так и наружными, ибо грудь моя от колотья свербила нещадно. Я даже возопил на-голос, но быстро смолк. Где-то рядом послышался шопот, легонькие привистывания. Сквозь крапиву пробирался, сладострастно посапывая, зверь. «Ють, ють» — уськал кто-то. Я кинулся в баню. «Пристав, — подумал я, — таки хватился дочери! Он натравливает собак, громадных, «кустарных».

Баня оказалась запертой. От волнения и страха я не мог найти засова. Собаки лаяли в крапиве, еще не решаясь выскочить. У меня, наверное, был такой необыкновенно испуганный голос, которого они не слышали никогда. Позади их кто-то хихикал. На мгновение мне показалось, что это Пашка Ковалев. Но откуда в нем уменье и смелость вести за собой чужих собак?

Я с крылечка прыгнул через забор и побежал по улице. Было очень темно, но я не спотыкался. Меня догоняла целая стая разноголоса лающих псов. Но я не слышал человеческого топота и уськанья, и это еще больше убедило меня в том, что собак натравил Пашка. Собаки присоединялись из каждой подворотни. Так как их натравил чужой человек, то они обсуждали яростно: стоит ли бежать и не отводят ли их в сторо-

ну? Благодаря собачьим спорам я успел выхватить из забора обломок жерди и, когда наиболее смелая подскочила ко мне, я ударил ее по носу. Зрение мое необыкновенно обострилось. Я даже различал цвет собачьей шерсти. Та собака, которую я ударил, была цвета золы. Палка переломилась от удара. Я побежал дальше, визжа и ругаясь. Я кричал «караул!» Но село ничем не отвечало мне, кроме собачьего лая. Я задыхался. Время от времени я падал. Холодные зубы хватили меня за ноги. Штаны мои погибали. И все-таки какая-то частица моего мозга непрестанно думала о том, что пусть оторвут у меня ноги, пусть уничтожат то, что прикрывают мои брюки, но нельзя дать искушать руки и грудь, иначе друзья мои подумают, что раны эти от проколов. Как видите, во мне уже широко разветлилась профессиональная гордость факира!

Душная ли ночь, взаимные ли споры, или собаки испугались сторожей возле ярмарочных балаганов, но едва я выбежал на площадь, собачий лай стих. Однако я не уменьшил ни своего испуга, ни быстроты своих ног, ни спотыканий. Кто знает собачью душу, не передумают ли они, не обходят ли меня стороной?

Петька добавил хвои в костер, и без того свирепо высокий. Филиппинский храпел, короткопалые красные руки его мерно вздымались на животе. Смолистое пламя отражалось на гуттаперчевых его манжетах. Пашки Ковалева, как я и предполагал, на полянке не было. Я не щадил своих чувств, я спросил:

— Уходит она?

— Остается, — сказал Петька, — она не успела разочароваться в своей семье. Мало испытала. По-моему, Всеволод, наше факирское шествие должно не только захватывать с собою сильных, но и слабым давать испытания, дабы они догоняли нас, бежали нам вслед или, по крайней мере, мечтали о нас. А, помимо всего прочего, приятно быть отцом.

Во мне тлела еще надежда, и я спросил:

— Приставу приятно быть отцом?

— Не приставу, а мне приятно быть отцом, Всеволод. Теперь, хочет она или не хочет, но она уже вошла в шест-

ые факира. И эта лютость проснулась во мне только благодаря одному твоему намеку, Всеволод, и благодаря твоим стихам. Она заплакала от них, хотя и не поняла многого. Благодаря им и пришла. Иначе где мне осмелиться? К тому же, опасался я, вдруг родится у нее девочка, а не мальчик. Признаться, не люблю я девочек.

Я склонил голову набок, и так же обвисли мои чувства. Но ответил я твердо:

— Мальчик куда веселее.

Проснулся Филиппинский. Охая, потирая бока, он поправил мелкие ветки берез, заменявшие ему постель. Лег на спину и, зевая, сказал:

«Учительница музыки: — Простите, Анна Петровна, я не виновата, но я должна сказать вам, что у вашей дочери нет никакого музыкального таланта.

Анна Петровна (отодвигая высокую с крошечным дном чашку своими тонкими, в синих жилках, руками). — Как это странно! Я вам плачу по два рубля в час, и вы еще таланта спрашиваете».

Он со свистом выпустил воздух, вытер ладонью рот и продолжал:

— Женился, и сразу схватил меня сон. И сколько вот ночей идет — и все об одном. Перед свадьбой мне жена говорит: «Выхожу за вас, Константин Степаныч, хотя и несчастным вас не чувствую и, поверьте мне, если будете несчастным, то мнение о вас переменить трудно». Что это, думаю, за намеки, прости ты меня, господи. И в первую же ночь — сон. День солнечный, жаркий. Против моей лавочки покупатель живет, естественно. Вытер я это пот с глаз, и вдруг, смотрю — нет покупателя! Одна лавочка напротив, другая, третья, четвертая. Весь квартал сплошь лавочки. А покупатель растерялся и — не идет ни в одну. Проснулся. Эх, думаю, неладно. Лавочники рассчитывают: улица, где Филиппинский живет, «неравнодушная», водится в ней покупатель. Иначе с чего же ему, Филиппинскому, толстеть? Иначе с чего же ему жениться? С каких капиталов? И началось — каж-

дую, господа, ночь. Вот и сейчас... Даже спать противно.

— А лавочек-то прибывает напротив?

— Прибывает, — грустно ответил Петьке Филиппинский. — От ночи к ночи все больше. И вывески, как павлиньи перья. К чему бы это, господин Захаров?

— К Индии, господин Филиппинский.

— Так ведь вот вы, господин Захаров, только ведете, а не указываете, где и чем действовать, каким капиталом и каким товаром.

Голос у Филиппинского походил на тот, каким он беседовал в Омске с директором Летнего сада. Концы фраз он выговаривал какой-то не свойственной ему фистулой. Но Петька безжалостен. Он похлопал себя по ляжкам, потянулся, положил руку под щеку. «Ну а я на часочек отойду» — сказал он и мгновенно заснул. Из тьмы зыбкой и рассветной появился Пашка Ковалев. Лицо у него было испуганное, жалкое. Указывая локтем на Петьку, он спросил Филиппинского:

— Фитиль-то ваш заснул, Константин Степаныч?

— Фитилем поджигают также и потешные огни, — грустно сказал Филиппинский. — Вам все смешно, господин Ковалев, а у меня каждую ночь тот же сон. На пороге напротив все тот же лавочник, вислоухий, фирма желтеет: «Финтифлюшкин с братьями». Знаю, не может существовать такой фирмы, а все-таки страшно.

— Страшно-то оно страшно, — ответил Пашка, оглядывая Петьку и думая о своем.

Я тайно перевязал раны. Я решил не наказывать Пашку, который, казалось мне, и без того сильно наказан Петькой. Да и противен мне был Пашка!

Утром упал легкий дождь. Ярмарочную пыль прибило. Возле дома приставка караван наш попридержался. У ворот стояла Татьяна. Толстые косы свисали с ее плеч, концы кос, украшенные фисташковыми лентами, она держала в левой руке. Лицо у нее напряженное, но лицемерие, которым наполнена ее се-

мья, помогает ей. Она прощается с нами холодно, спокойно. Она ждет нас к осенней ярмарке с новыми представлениями. И жалко мне ее, и сержусь я на нее, и думаю с грустью: «Нет, иные представления начнутся у тебя к осени!»

— В случае чего, — тихо говорит ей Петька, — маршрут нашего шествия вам известен? Везде его сопровождают афиши факира. Так и адресуйтесь, Таня.

Мы кланяемся приставу, его жене, деткам и двигаемся к околице.

Проходим мимо зеленых озер. У берега белые лилии, а берега из красной глины. Жжем костры, купаемся. Филиппинский вспоминает, что он большой рыбак, но сейчас ему не до рыбалок. Он настойчиво спрашивает: сколько же верст, без шуток, до этой самой Индии? Он не верит тому маршруту, который показывал нам Петька. Я спрашиваю Филиппинского. Оказывается, он слышал об Екатеринбурге, Петербурге, Москве. Известна ему еще Лодзь: «Гнилая мануфактура, господин Иванов, все же берут. Особенно штаны из нее быстро протираются». Оторопело смотрю я на него. Индию он считает ближе Туркестана, где-то за Челябинском, если свернуть с железной дороги. Всякий раз, когда через дорогу сигает заяц, — а здесь их великое множество, — он говорит:

— Опорожнить карманы удастся, да не всем, смотришь, и тебе опорожнили. Так и ваш Петр Захаров. Есть у него один рецепт, но не более.

Мне хочется, чтобы он разговорился, и я поддакиваю ему:

— Но ведь и с одного рецепта можно разбогатеть, Константин Степанович.

Ему кажется, что он махнул лишнего! Он поспешно рассказывает анекдот. И после анекдота он возвращается к снам, которые мы называем «множество лавочников». Один из его противников — бывший парходчик, разорившийся, с Волги. Это, который черноусый и постоянно хмельной. Мужчина дошлый, и с ним надо осторожно вести себя. От него-то и главная тревога. Ласково и со скрытой злостью поглядывает Филиппинский на Петьку Захарова. Только

бы достать рецепт, ух, как бы Филиппинский цепко за него схватился! Ради этого рецепта он переносит все: путь в Индию, насмешки над его женой, гуляющей с брандмейстером, дорожную слякоть и неудобную постель. Из угодливости к Петьке он даже подтрунивает над постоянными переполохами Пашки Ковалева.

В селе Эмуртла нас останавливают. У нас проверяют паспорта. Узнав, что мы фокусники, нас немедленно освобождают.

— Конокрады возле появились, — хрипло объясняет нам староста, косматый, толстогубый в синем ватном пиджаке и новой фуражке: — А конь ваш вроде как бы для отвода глаз. А иначе предпреждаю — мужики могут ошибкой избить. Вы сторонкой, сторонкой.

Пашка бледнеет и, отвернувшись, крестится. Петька тычет пальцем себе в правую черную бровь:

— А ты такой глаз видел, дядя? Не дай бог вам потревожить его, предупреждаю.

Староста отворачивается. Он верит и не верит дурному глазу. На всякий случай лучше верить. Он дает нам на дорожку три шаньги.

Мы переваливаем через реку Тобол, пересекаем Ялуторовский тракт. Воскресенье. Мы пробуем показать факира в селе Сладкий Лог. Грудь у меня все еще болит, вдобавок я стер ногу стоптанным ботинком. Но я решил держаться твердо — и я сдержусь. Мимо школы, сплевывая шелуху подсолнухов на афишу, ходят парни цепью, с гармошками — по одной на каждом конце. Девки в шелковых платьях идут позади и вопят песни. Мы терпеливо ждем зрителей. Но зрителей нет.

— Да вряд ли и будут. У нас зритель вроде морского зверя, — говорит школьный сторож. — Покажи зверю семь голов на одном тулове, так он скажет: к чему мне, раз из них вода не течет?

— Седлай Нубию! — весело командует Петька. — Поднимай паруса! Курс Шадринск!

Вот и Шадринск. Длинный, деревянный, он сплошь окружен ветвистой зеленью. Над нами картаво лепечут ли-

стья. Деревья оставляют на лице только узкий проход для солнца. И в этом оранжевом с зеленым проходе шагает наша Нубия. По бокам ее Филиппинский и Петька, позади, понуриив голову, Пашка Ковалев. Как всегда, я иду впереди всех.

Возле казначейства выбеленный извесьтю забор, и на нем желтая афиша.

Зеленые листья застыт от меня афишу.

Цирк А. Коромыслова извещал, что завтра назначено грандиозное представление — французская борьба, где выступит чемпион Трансвааля Роаль Азгерц, а также «первый выход знаменитого факира и дервиша Бен-Алибея».

9

Петька радостно уперся в мои плечи. Глаза его сверкали. Голос его дрожал. Он обожал меня:

— То-то я смотрю, ты в Шадринск торопишься. Ты что же, Всеволод, письменно с ними общился?

Я немел, охваченный ужасом. Мои друзья еще не заметили, что рядом с именем факира напечатано его «клише». Длинноусый, длиннобородый, с ввалившимися щеками, пятидесятилетний мужчина презрительно смотрел на меня. Глаза у него навывкат, наглые, вместо чалмы на голове его круглая низенькая шапочка с пером, сизым и тонким. Да, непременно сизым. «Стонет сизый голубочек...» — полезло мне в голову.

Я еле повернул язык. Но стоило мне сказать первое слово, как я почувствовал бодрость: силы не иссякли во мне, я еще покажу этому старому чорту, который и одеться то по-индусски не способен!

— Кто-то украл мою фамилию, — сказал я. — Беспрестанны случаи воровства фамилий у настоящих факиров.

— Еженочны, — сказал Филиппинский, упершись спиной в забор и тяжело пыхтя.

Он, взглянув в листву, рассказал:

«Кухарка по неосторожности сожгла пять фунтов телятины. Чтобы избежать брани, она сказала своей барыне, что жаркое съедено кошкой.

— Это мы сейчас увидим, — сказала хозяйка: пошла в кухню и свесила кошку. Кошка весила ровно пять фунтов.

— Видите, Катя, — сказала хозяйка: — Я верю, что это пять фунтов телятины, но скажите: где же кошка?

Кухарка, уставившись в хозяйку прозрачно-серыми глазами, окруженными толстыми веками, ответила сразу:

— А она, кошка-то, со страху убежала, барыня!»

— Геенна, тартар, бездна преисподняя! — закричал Пашка, тыча в меня пальцем: — Подохнем мы. Я вам говорил, не связывайтесь вы с этим оборотом! Факир, дервиш! Юрод ты маломумный, а не дервиш! Разве приличный дервиш позволил бы себе такие подлости?

Он вырвал из афиши «клише» факира и поднес его к моему лицу. Филиппинский пыхтел пренебрежительно. Я молчал. Я с трепетом ждал слов Петьки Захарова. Я забыл все обиды: собак, которые гнались по моему следу, девушку Татьяну, которую он обнимал. Я ждал его ласки.

Петька, увидав, что злобы «напласталось достаточно», сказал, что раньше, чем заплевывать Всеволода, надо разобраться. А что, если факир — учитель Всеволода? А если факир и не учитель, то почему бы ему не стать учителем? Если Всеволоду нечему у него поучиться, поучимся мы! Платить за ученье? С самозванцами — факирами церемониться нам не приходится...

— Он еще и убийством ему пригрозит! — закричал Пашка.

— Тебе я пригрожу убийством, а на факира у меня духовое оружие есть, Пашка. Я тебе еще припомню Нубию! Если ты вступил в шествие, так иди смирно.

Желваки на петькиных скулах напряглись. Пашка замолк испуганно. Филиппинский вздохнул, рассказал анекдот и предложил искать постоянный двор.

Мы обошли несколько постоянных дворов. Нам надоело спать в лесу, надоели костры, надоели анекдоты Филип-

пинского. Но постоянные дворы отказывали нам. Они согласны принять нас, но без лошади. На разные голоса они говорили одно и то же: — «Мало ли коней мы встречали, но такого взгляда опасаемся».

— Взгляд — как взгляд, конский взгляд! — говорил Петька.

— Конский-то он конский, но маленько и не конский. Я вот мельком взглянул, и сразу на душе муторно... Поищите еще, господа проезжающие.

Петька возмущался, стучал Нубии в лоб, показывал ее зубы, тыкал кулаком в живот. Хозяева были непреклонны. Да и трудно кого б ни было убедить, что Нубия имела обыкновенный конский взгляд. Даже когда она ела траву, то и тогда морда ее и особенно глаза выражали сожаление, что ей придется уничтожать такую приятную растительность. А если встречалась в траве букашка, Нубия буквально содрогалась. Она переминалась с ноги на ногу, отходила — и возвращалась с трудом. Ручаюсь, что на своем лошадином языке она шопотом уговаривала букашку убраться отсюда, пока не поздно, — иначе совершенно непонятно, зачем ей так долго шевелить губами.

Меня слегка удивило, что фигуры владельцев постоянных выражали легкий стыд. Вначале я полагал, что городская ветвистость придает особую игру лицам мешан. Города и села, пройденные мной, редко украшались деревьями. Даже сады, встречаемые мной, больше всего походили на ряды неизвестно для чего воткнутых бревен, а рядом с ними в небе, тоже неизвестно для чего, нарисована листва. Особенностью Шадринска была ветвистость — и стыд. Ветвистость была например такова, что наклеишки афиш часто не находили солнечного места на заборе, а тень от деревьев была так густа, что глотала слова афиш. Здесь, в Шадринске, мне казалось, целиком полагаются на суждения других людей, причем все эти суждения заранее считают для себя неблагоприятными, отвратительными. Полагаются и страдают. Страдают оттого, что город ветвистый; что нет солнца; а если было солнце, то они страдали бы от

его изобилия; страдают, что приехал к ним цирк; страдают оттого, что посещают этот цирк. Я уже не говорю о том, что шадринцы испытывали стыд оттого, что по их городу сегодня прошли четыре странных человека и с ними конь Нубия, лошадь с разноцветными ушами и с поклажей на крупе. И ветвистость и стыд Петька Захаров объяснил «солями шадринской воды». «Вода у них вроде гардин, пемзовая какая-то». Точно, воды в Шадринске, даже ключи, были легкого пемзового цвета, но смысл гардин Петька не успел объяснить, так как усиленно искал возле города полянку не столь ветвистую.

— Боже нас упаси, Всеволод, всунуться в ихнюю ветвистость. Отсюда и до стыда недалеко!

Пашка язвил:

— Ага, бога вспомнил! Божий стыд способен даже самого окаянного человека распаять.

— Чего ж он твою мамашу не распаял? А бог в поговорке еще не бог, а шадринский стыд еще не стыд. И вообще, Пашенька, лучше быть зерном репейника, чем божьей соломой. Закрой гардины, говорю, продует!

Петька Захаров чувствовал к Нубии нежность еще большую, чем раньше. Он вымыл лошадь в ручье, наказал ее мне беречь, а сам убежал в город. Мы, трое оставшихся, вряд ли думали хорошо друг о друге. Стараясь изобразить усталость и скуку, мы легли головами врозь. Но все мы ждали с волнением петькиного прихода. Филиппинский, урча животом, зная, что мы страдаем от анекдотов, рассказывал их непрестанно. Пашка заставлял себя слушать их. Я думал со скуки о гардинах.

В своих рассказах мой отец часто упоминал о гардинах. Все его многочисленные любовницы, прежде чем отдаться ему, непременно снимали туфли и задерживали гардины. И туфли и гардины были непременно шелковые. Менялись только цвета и толщина шелка, причем, чем знатнее была любовница, тем толще был шелк. О мещанках отец говорил пренебрежительно: «Так, задернула пестренькую гардинку, ну и началось обычное лобзание». Отец быстро разочаровы-

вался в своих любовницах. Вновь появлялись гардины. Из-за них выступал муж или отец, который обычно и убивал отцовскую любовницу. Если любовница была очень богата, то отец выскакивал в сад, завернувшись в гардину, а затем продавал ее богатому ростовщику за великие деньги, ибо богач не мог подыскать пару к этой гардине, а кроме того, родственники вдруг спросят: «Каким это образом, Матвей Климентич, пропала из спальни вашей дочери гардина?» Отец был высоких чувств и понятий, он не позволил бы себе взять деньги у любовницы, но гардина это не деньги и не вещь, так болтается какая-то нелепая и чужая «чепуха вроде лопуха», — говорил он. Пренебрежительное определение гардины Петька взял от моего отца. В отцовских рассказах участвовало не много предметов, но все эти предметы отец мог описывать бесконечное число раз и все поновому. Сад, двери, балкон, гардины, розовые плечи, отец, муж, трое братьев, сестра его возлюбленной, дорога, тройка лошадей, церковь, поп, пьяный дякон, помогавший при венчании, злодей, поджигающий церковь во время венчания, отчего оно считалось недействительным. Курган в степи. Лопата. Отец роет. Кубышка. Клад монет. Нумизмат, рыхлый и пучеглазый граф или князь. Кабак. Шесть цыган собутельников, помогавших отцу пропить клад. Горсть монет, оставшаяся от пьянства. Новое платье, гребенка, помада из Парижа, «бриллиантин» для усов. Идет, поддерживая рукой платье, красавица. Очи. Очи непременно синие. Опять сад. Двери. Балкон. Гардины... «Вечная мне неприятность из-за этих гардин, — восклицает отец, строго оглядывая слушателей, — но вы посмотрите, как мы, казачки, увертливы!»

Часа через три вернулся Петька, сияющий и бодрый. Он кинул фуражку оземь, наступил на нее ногой и подал нам лист. Вверху листа красными чернилами было написано: «Представление разрешается. Шадринский исправник Седомский». А внизу излагалось, что послезавтра в театре Вольно-Пожарного общества выступит «автор-куплетист на

злобу дня Всеволод Савицкий», который произведет, помимо присущих ему куплетов, «разоблачения тайн магии и всех опытов, производимых факирами, в частности же факиром и дервишем Бен-Али-беем».

Петька сказал:

— Для жизни нужна ловкость, а не наука, ибо Россия, милый Всеволод, есть, в сущности говоря, сплошной фокус.

Я перечел афишу и сказал тихо:

— Здесь написаны опыты, которые я и не видывал, а мне их суждено объяснить?

— А мы зайдем в цирк сегодня, посмотрим. А завтра ты их разоблачишь, Всеволод. Твоей да голове не придумать увертку?

— Вы как хотите, — сказал Пашка, — а я не хожу сюда.

И он ткнул пальцем в афишу:

— Еще избыют. И даже обязательно. Народ здесь стыдливый, бить будут не по костям, а все лицо ногтями попортят.

Неприятно сознаться, но мне сгловились понятной возрастающая пашкина боязливость. Неизвестно, что придумает Петька Захаров через минуту! Неизвестно, куда он скакнет, кого обовьет, кого свалит! Но самое страшное не это, а то, что Петька Захаров придумывает такие поступки, которые кажутся нам вполне исполнимыми. И вот исполнимость, эта наша сила, пугала нас. Вот сейчас Петька написал в афишу те опыты, о которых я только мечтал, а пройдет час, и мне будет казаться, что Петька не мог поступить иначе. Вот он раскрыл рот, и мы уставились в него. Рот у него большой, усеянный таким количеством жадных и крепких зубов, что их хватит на целый полк.

— А кроме того, Всеволод, тебе и не обязательно их знать, фокусы-то. Абы они существовали на афише!

Филиппинский оживился:

— Со сбором убежать?

— И со сбором бежать не придется. Сбор принесут на ладони. Женской, душистой, Всеволод! Истратить три рубля на задаток — и все хлопоты, и вся аппаратура! Каково?

Он взял Филиппинского под руку и

отвел в сторону. Расспрашивать Петьку о его планах бесполезно, — самонадеянный, он желает, чтобы они целиком созрели в его голове. Я молчу. Пашка ворчит: «Константина Степановича на убийство подговаривает».

Филиппинский подкрасил ваксой усы, вымыл теплой водой воротничок. Я скромно предложил напечатать афишу в две краски. Страдать, так страдать хоть в две краски! К сожалению, говорит Петька, афиша тогда будет стоить на два рубля дороже. Риск велик, я соглашусь с Петькой. Филиппинский и Петька уходят в типографию.

Пашка говорит:

— Удивляюсь я на тебя, Всеволод. Такой щепетильный, а здесь на убийство согласен, на каторгу.

— Филиппинский убьет?

— Убьет и кожу сдерет. Много ты лавочников знаешь, эх!

Я смотрю на Пашку во все глаза. Он похудел, пожелтел, его диагональные зеленые штаны в прорезах. Он держит в пальцах иголку, и она дрожит. Мне его жалко, и сердит он меня! До появления Филиппинского* и Петьки я терпеливо спорю с ним. Я начинаю с инсказанья: давно пришло для него время переобуться в иную обувь. Все наше шествие — это вынырнуть в себе высокие мысли! Зачем ему думать о мелочах? Вот например два дня ноет он, что сломал гребенку, а ей битая цена гривенник.

— А ты вшей любишь? — огрызается Пашка, — ну и люби, если так полагается в Индии. А я хочу свои кудри уважать.

— Какие там кудри, — говорю я, — кого ты, Пашка, перенервнуть хочешь? Петьку? Смачиваешь ты утром волосы водой, сушишь, расчесываешь, и все равно, как были лохмы, так и остаются.

— Вот не ждал от тебя, Всеволод, свинства! Лучше «публичный» содержать, чем быть таким гадким факиром, подлипалой, петькиным подмазулей! Донесу я на вас начальству, не хочу я каторжанином быть, скажу, из дома меня увезли. Меня поймут, меня-то поймут, они вам срок еще за меня увеличат, конокрады проклятые, цыгане! Филиппинского считал за честного человека! Ан-

трепренер! Из всего антрепренерства и понял он только с кассой бегать. Ишь как оживился. Нет, для бога облыжноти не существует, он вас еще покарает, ренегаты! Я вас без микроскопа вижу, пингвины!

Всклипывая, он долго гнусит нелепые и необидные прозвища. Она ненавидит нас, презирает, но в нем нет ни силы, ни хитрости, ни изворотливости. Он и браниться-то способен только при мне, зная, что я не скажу о его брани.

Увидав Петьку, он испуганно закрывает голову курткой и притворяется спящим.

Петька приказывает развести костер пошире. Филиппинский послушно тащит хворост. По всему видно, что погасавшая было в нем вера в Петьку вспыхнула с новой, жалящей его, силой.

— Скоро начнется наш главный фокус, — говорит Петька, указывая на дорогу к городу: — Не фокус, Всеволод, производить фокус, а фокус производить фокус в соответствующей обстановке.

Филиппинский подобострастно и тупо останавливает взор свой на Петьке. Стараясь придать голосу своему мягкость и шутливость, говорит:

«— Посыльный, вы отнесете по адресу это письмо и букет цветов.

Посыльный отказывает.

— Почему же?

Посыльный указывает имя девицы на адресе, утирает длинную слезу и говорит сухо:

— Я поклялся больше с нею не видеться».

Мне хотелось попасть в цирк, увидеть Антуанетту Сирбо, ее сияющую проволоку, выгнутую испуганную рожу А. Коромыслова. «В первому ряду, — раздается шопот среди артистов, — сидит разоблачитель знаменитого факира и дервиша Бен-Али-бея. Где, где? А вон, вон!» И пальцы, унизанные кольцами, указывают на меня. Но я с бледной торжествующей улыбкой смотрю в пол, в опилки. Что поделаешь, если я догнал вас и смеюсь над вами, над вашей провинциальной роскошью, над вашим дешевым убранством. Каждый смеется в

свое время! У вас аппараты, у меня куплеты. Посмотрим, чья сила крупней!

— Едут, — сказал вдруг Петька Захаров.

Среди ветвистых деревьев показался белый конь и за ним черный, почти лакированный тарантас. Мгновенно я вспомнил того белого коня, на котором ездили Величкин и его жена, лани Марина. Странно, что я раньше не думал о ней. Не боялся ли я встречи с ней? Должен ли наборщик В. Иванов посягать на то высшее, что она признала равным себе, то-есть арену цирка? А вдруг она скажет: «Становитесь к реалу, пан Всеволод, занимайтесь тем делом, которое более присуще вам».

И стыд... я его еще робко называл шадринским, я еще пытался смеяться над ним... стыд охватил меня. Я не мог найти предлогов отойти от него! Я краснел, бледнел. Белый конь грузно приближался.

В тарантасе сидела лани Марина!

Кучер в алой рубаше с закрученными вверх усами, седой и важный, правил конем. Еще более волоока лани Марина, еще более покаты ее широкие плечи и перетянута донельзя ее талия. На черной шляпе у ней светлофиолетовое перо. Лани Марина первой склоняет к нам фиолетовое перо. Лицо ее бесстрастно. Эти четыре оборванца возле костра и странная сказочная лошадь, глядящая на нее с состраданием, нисколько не удивляют ее. Она говорит, глядя поверх наших голов:

— Господин Савицкий? Или распорядитель его вечера?

— Я распорядитель вечера, госпожа Азгерц, — весело отвечает Петька.

Лани Марина спускает маленькую ножку в черненькой шелковой туфельке, поправляет длинную белую перчатку. Петька подкатывает к ней обрубок дерева. Я делаю руки по швам, выпячивая грудь, и, стараясь победить багровость своего лица, пристально смотрю ей в глаза.

— Здравствуйте, пан Всеволод, — говорит она грудным голосом: — Если бы я знала, что вы здесь, я не так страшилась бы ехать.

Ничего она не страшится. Ей хочется показать, что она молода и робка. Она продолжает:

— А я вчера получила письмо от Викентия Викентьевича. Дела у него благополучны. Вы давно из Павлодара?

Так же, как и там, в Павлодаре, в типографии, и здесь пани Марина неустанно сознается и мучается ответственностью за ход предприятия. Она вспоминает приказание господина Коромыслова, и лицо ее делается еще более деловым. Она должна затратить много труда и средств для расширения и улучшения дела — и она затратит их! Она говорит:

— Я не знаю, господа, что в вашей афише истина и что ложь. Это... — Она презрительно указывает пальцем на жалкое наше имущество: — Это, возможно, гарантирует ту аппаратуру, которая вам необходима для разоблачения тайн нашего факира и дервиша Бен-Али-бея!

Пашка скинул с головы куртку. Он вскочил на ноги. Лицо его наполнила та удачливая наглость, которую я наблюдал в Павлодаре. Странно, я не испытывал к пани Марине ни жалости, ни уважения. Это был представитель чужого мне предприятия. Если внутренне я и сопротивлялся ее уводу, то лишь из брезгливости: уводчик-то мой приятель, а будь бы он со стороны, кто знает, испытывал ли бы я брезгливость!

Пашка, нагло играя глазами, сказал: — Вся наша аппаратура переведена в город, пани Марина.

— Повторяю вам, — ответила пани Марина, — меня мало волнует ваша истина, господин Ковалев. Дирекция поручила мне переговорить с вами, вернее, предложить...

Петька Захаров сказал небрежно:

— Если вы предлагаете, госпожа Азгерц, вступить нам в цирк...

— Любопытно... — пробормотал одновременно Филиппинский. Пани Марина взглянула на это перепущенное в росте животное, на эти черные усы, из-под которых, словно из-под кровли, рокотал голос. Взглянула еще раз, более внимательно. Петька резко прервал и взгляд и рассуждения Филиппинского:

— Любопытно, но не более, господин

Филиппинский. Любопытно, но не более, госпожа Азгерц. Мы отказываемся от поступления в цирк! Мы обойдем его вокруг, и безошибочно могу утверждать, что вам после этого обхода вдуется множество неприятностей и потерь. Освоившись с нами, госпожа Азгерц, вы поймете смысл моего пророчества! Много лет, а еще больше трудов, положили мы на то, чтобы научиться разоблачать всех фокусников, факиров, прстиджитаторов. Возрыдают они, а народ восславит господина Савицкого! Я не в обиду вашему цирку, он и сам введен в заблуждение, к тому же цирк, как исполнял полувольты на галопе, так их и будет исполнять. Россия, госпожа Азгерц, и без того невежественная страна, а нам, молодежи, быть бактериями этого невежества...

Пани Марина вздохнула хорошо мне известным вздохом: она вспомнила Польшу:

— Да, Россия — страна невежественная, пан Савицкий.

Петька широко улыбнулся и указал на меня:

— Это он — пан Савицкий, а я — пан Захаров.

Пани Марина ласково кивнула мне головой:

— Я рада вас видеть, пан Савицкий.

И также ласково разглядывая нас, она продолжает:

— Моя дирекция предлагает вам отменить ваше выступление, пан Савицкий.

Петька улыбнулся еще шире, еще ласковее, чем пани Марина:

— Как же так не выступать, пани Азгерц? Уже заказаны афиши, уже сделаны крупные расходы для перевозки, а главное, установки аппаратуры в театре. Мы наняли помощников, кассиров! — И Петька указал на Филиппинского: — Все расходы, — и какие! — город стыдливый, а за свой стыд дерет втридорога! А приходов нет.

— Сколько же вы истратили, пан Захаров?

Глаза у Петьки зажглись. Он сдерживал себя. И я понимал его: он хотел добыть денег на дорогу, ни более ни менее. Но можно добыть на дорогу и до Екатеринбурга, и до Ревеля. Хочется до Ревеля, но хорошо и до Екатерин-

бурга. Где тот предел, за которым нас посчитают обманщиками и где — ошибка дирекции цирка?..

Пашка помешал размышлениям.

Пашка оглушил:

— Двести рублей, пани Марина.

Эка плюхнул! Но что поделаешь? Петька скромно разводит руками:

— Двести рублей, пани Марина.

Пани Марина не показывает, что названная сумма велика для ее дирекции. Невелики люди, ее спрашивающие, вот что! Она сказала деловито:

— На двести рублей, господа, можно начать постройку цирка, а также и достроить. По вас хватит и тридцати. Кроме того, мы берем на себя расходы: типографские. Имейте также в виду, что вы даете нам расписку и торжественный глагол: уехать навсегда из Шадринска и навсегда прекратить разоблачение артистов цирка А. Коромыслова и его наследников, буде они случатся.

Пашка весь трепетал. Жадность овладела им. Он как-то чрезвычайно противно привизгивал, и эти привизгивания взволновали Филиппинского. Константин Степанович бродил по нашим лицам глазами, и, не найдя главенства, уставился в небо, — и не нашел сил рассказать анекдот! Тогда он вздохнул так сильно, что травы вокруг заколебались.

Пани Марина сказала мягко:

— Вот вы меня знаете, пан Всеволод. Едва ли кто упрекал меня, что я бесхозяйственная. Я, уезжая, сдала дела мужу в полном порядке, я не калсила его. Я нашла, что по-иному возможно освободить Польшу. И теперь я говорю вам полную истину, потому что я рада, что встретила павлодарского: муж меня любит, работает он отлично, но, к сожалению, оказалось, что у мужа нет ничего, кроме мускулатуры. Вот вы все, наверное, учащиеся и помните, что гладиаторы в Риме становились императорами. Или Рим был уж так глуп, но в наше время гладиаторы должны иметь еще и голову...

Петька прервал:

— Бросили б вы вашего гладиатора и организовали женский чемпионат борцов. Такой чемпионат, пани Азгерц, разоблачить трудней, и не встретится у

вас неприятности вроде разговора с нами. Вот вам о Польше приходится говорить, Сенкевича вспоминать, на доброту нашу действовать!

— Вы правы, пан Захаров, человек должен итти, по возможности, прямым путем. Поэтому я скажу прямо: для меня большой вопрос чести, когда дирекция доверила мне поговорить с вами по такому, в сущности, щекотливому делу.

— Двести рублей, пани Азгерц, или организовывайте женский чемпионат.

— Двести, — сказал Пашка. — Мы люди коммерческие, понимаем: дела цирковые неважные, вся страна интересуется факирами, Шадринск тоже. За выход залочена сумма, а мы — сбор предполагаемый сорьем, и вообще все его гастроли! Так-то, пани Марина.

— Не будем торговаться, — сухо сказала пани Марина. — Я даю окончательно тридцать пять рублей.

— Две катеньки, пани Марина.

Пани Марина поднялась с обрубка:

— Вы бы уgomонились, господа, это же форменное помешательство. Неужели вы думаете, что дирекция выдаст каким-то прощальгам и оборванцам двести рублей? Достаточно дирекции дать сто рублей исправнику, чтобы он вас выслал из города в двадцать два часа!

— Исправника я не знаю, — сказал Петька: — но, предвидя ваш ход, я уже познакомился с городским корреспондентом «Русского слова». Ой, не прогоняйте нас, пани!

Пани Марина улыбнулась:

— Да, люди вы с достоинством, пан Захаров. И неужели мне доплакаться до тех слов, по которым вы должны понять, что женщина поставила себе целью освободить несчастную Польшу. Я открою цирк! Заработаю денег для восстания! А сейчас я завоевываю доверие у хозяев, а их трое, компаньоны. Я попадаю в директриссы и одновременно изучаю наездничество... я ушла от законного мужа, и неужели вы, вместе с остальными мещанами, будете смеяться надо мной?

Петька хлопнул в ладони:

— Ну, ради пана Валодыевского и «Камо грядеши» окончательная цена, пани Марина, сто семьдесят пять рублей.

— Он выплеснул мозги! — вскричал Пашка: — Кому ты бросаешь двадцать пять рублей? Двести рублей! Я вам не прихоть! Вот тут она, цена, стоит!

И он сильно стукнул кулаком в тонкую свою грудь. Филиппинский промычал:

«В одной газетке под объявлением о вызове ученика к портному-мастеру было напечатано крупными буквами: «Нужен мальчик». В тот же день вечером портной нашел у дверей своей квартиры корзину с надписью: «Если нужен, возьмите». В корзинке, действительно, оказался свежесрожденный мальчик. «Вот это водевиль» — сказал портной и заплакал».

Пани Марина оторопело взглянула на Филиппинского:

— Сорок рублей, — сказала она, прыгивая в тарантас: — сорок рублей и бутылка водки.

— Двести, — крикнул Пашка: — Двести! Мы не пьющие!

Кучер водворил тарантас в колею и важно увел его.

10.

Пашка, привизгивая, кинулся к Петьке:

— Тебе все смешки! Упустил, жеребец!

Петька сверкал перед ним всем своим «белозубьем».

— Ты, Пашка, как тень: куда ни пойдешь, везде с тобой, передразнивает, как человек, а помощи нету.

— От тебя велика помощь! Обтаяла она тебя своей черной шляпой, предатель!

— А что нам сейчас делать?

Пашка замолчал.

— То-то, брат. А сейчас, главное, надо сделать так, чтобы циркачи думали: ой, обтекают они нас, други, ой, не обтаяли мы их ни черными шляпами, ни сорока рублями.

И Петька торопливо отправился в город. Он настрого поручил мне блюсти коня: «У пани взор распалился, как она взглянула. Обрати внимание — не охаяла коня». Пашка и Филиппинский обя-

заны молчать и ни на какие «горячительные предложения» не сдаваться. По-прежнему главным распорядителем дела остается он, Петр Захаров, — и горе изменнику!

Вечерело. Пора поить коня и путать на ночь. Когда я вернулся от реки, забытый костер догорал, а Филиппинский, описывая ногой невероятные дуги, ухидил. Пашка беспокойно метался возле дороги. Все лицо его было в испарине. Я встревожился. Зря Филиппинский два раза в город шагать не будет.

— Зачем он?

— Махорка вышла, — нагло и слегка испуганно ответил Пашка.

— А не Петьку он уговаривать, чтобы тот не уступал?

— Уговаривать? Да, и уговаривать, — смущенно сказал Пашка.

«Приятно получить двести рублей», думал я. Мне представлялся поезд железной дороги. Мы четверо усаживаемся в купе. Соседи завидуют нашему веселью и дальней нашей дороге. Мы едем в Индию, вокруг Европы, шутка ли сказать! С общего согласия, я привираю, что в Индии нас ждут родственники, брамины. А кто они такие, спрашивают соседи, богатые, что ли, наследство, что ли? Потому, при такой комплекции, — соседи указывают на Филиппинского, — индийскую жару возможно переносить только в северных странах...

Не осилив нетерпения, Пашка побегал навстречу.

Филиппинский, распаренный, как всегда, размокший, возвращался, махая бумажкой со штемпелем. Пани Марина подписала контрамарку на «три персоны».

— Зря вы взяли контрамарку, — сказал я, — лучше б на последние купить билеты, а не унижать себя. Теперь, из-за контрамарки, мы потеряем верные пятьдесят целковых.

— Какой же ты артист, если купишь билет? — резонно ответил Пашка, — скажут, неопытный жулик. Собирайся.

— А Нубия?

Но тут выскочил из кустов Петька Захаров. Он уже успел найти «сократительную» тропу к городу. Весело сверкали его широкие зубы, синяя рубаш-

ка раздувалась от движений, из карманов серых брюк топырились афиши.

— Купцы из рук в руки начали перехватывать! — кричал он.

И он быстро начал рассказывать, как по дешевке и без задатка купил он пятнадцать ящиков, каждый длиной в сажень, шириной в поларшина, такой же вышины.

— Это что же, гроба? — боязливо спросил Пашка?

— Ну, не в поларшина, а в аршин. но вполне подходящие для наших целей.

— Для каких целей? — спросили мы в голос.

Петька подождал, когда мы побольше разожемся. Поглаживая Пашку по голове, он проговорил:

— Ты не дряхлей духом, Пашенька, не дряхлей. Ты вот думал: протяну ниточку, а тебе и начнут жемчуг нанизывать. Двести рублей добыть — это велика заноза. Вот через час привезут ящики, и будем мы накладывать в них имущество.

— Наше?

— Наше, Пашенька, наше. И подкатит его к Купеческому Собранию несколько подвод, а соглядатаи из цирка уже близко бродят. И видят они: а предприятие-то не шуточное, и занелюбо станет пасмурно им на сердце.

— Землей мы ящики нагрузим, что ли? — сказал я.

— И землей отчасти, и хвоей, лапником, кто чем может. Каждому возчику «на водку» по рублю. Всем в Шадринске известно уже, что наш разоблачитель, чтобы не слишком узнать много городских безобразий, поселился вне городской черты и войдет в город только завтра. Ты к завтраму не забедней, Всеволод, ты смотри сдобно!

Петьке не сиделось. Через полчаса он убежал торопить возчиков. За эти полчаса он успел распороть мою «соломенную собаку», собрал большой ворох сучьев и «соломенной собакой» и мешками прикрыл этот ворох. Дабы не раскрыть тайну, мы должны собственноручно переложить имущество в ящики, «на версту возчиков не допуская».

— Если придет пани Марина, — сказал он, — не уступать. Двести руб-

лей. А начнет прихотливиться — все построжки переломаем, весь цирк разоблачим, скажи! Всеволод, будь тверд!

— Я-то буду, но вот...

Я хотел сказать о контрамарках, но Петька опять нырнул в кусты. Он так быстро исчез, что мне показалось естественным, что ни Пашка, ни Филиппинский не успели сказать ему о полученных контрамарках. Прошел час. Петька не возвращался. Пашка и Филиппинский собирались в цирк. Я отказался. Завтра имеет смысл итти, завтра выступает факир...

— Доживем ли мы еще до завтра, — безнадежно сказал Пашка.

Я остался один. Возле ручья громко чавкала Нубия. Фиолетовая птичка с красной грудкой уселась на сухой сучок как-раз против меня. Бойко и резко болтала она о своих птичьих нуждах. «Давно бы тебе пора спать», — думал я. Она взмахнула крыльями. «Перестрел, перестрел, перестрел», — полилось из ее горла.

Наконец Петька показался. Он подошел к «имуществу», сорвал мешки, схватил охапку хвой и кинул ее в костер.

— А где наши, Всеволод?

— В цирке, Петр.

— Сказать — не уступаем?

— По контрамарке на представление.

Петьку трудно огорчить. Он смеялся над забавным пламенем костра.

— Жена взбаламутила моего купца. Потребовал в последнюю минуту задаток. Не люблю я вздору. Ах, вам задаток? Получите сполна. Вкатываюсь я к Иоанну Михайлову.

— Иоанн?..

— Иван Михайлов, шадринский великан. Пудовую гирию меж ладоней плющит. Парень для нас необходимый. Саженного роста, на кулачках против него вся губерния лежит!..

— Не нравится мне, Петр, вся эта затея с разоблаченьями, силачами. Разве так воспитывают волю? Надо ж какие-то овежие способы находить!

— А чем эти не свежи? Ты разоблачаешь факирство, а Иоанн Михайлов укладывает любого ихнего борца. Он только бедный, робкий, никак не осмелится в цирк войти. «Как же, спраши-

ваю, ты осмеливаешься на кулачках?» «А это, говорит, дело известное. Небось и Ермак свою жизнь на кулачках начинал. В цирк мне входить стыдно».

— Чем же ты его уговорил?

— Я еще не уговорил. Я только предупредил, что вот, мол, пани Марина явится пред твои очи, так ты ей скажи: не все возможно купить за деньги, пани Марина. Она хочет ему взятку сунуть, чтобы ее любимый Азгерц шлепнул Иоанна в три секунды. Понял, кто чем щетинится?

Я ничего не понял, но сказал, что понимаю. Меня тревожили ушедшие. Петька же, вместо разговора о них, лег и, как всегда, мгновенно заснул.

Поздно ночью я услышал осторожные шаги.

Пашка сел у костра. Он достал уголек, подул, добыл огня — и плевком погасил его. Сердце мое заныло.

— Ты чего скис? — спросил я тихо.

— Филиппинский-то, Константин Степанович, в цирке остался, — также тихо ответил Пашка.

Петька Захаров проснулся, вскочил одним толчком:

— Параболы отставиты! Сколько дали?

В пашкином голосе послышались слезы:

— А ты меня не будешь бить, Петька?

— Бить буду, но степень избития будет зависеть от высказанной правды. Тки ткань, но не притыкай жи! Хлопок есть хлопок, шелк есть шелк.

В самые тяжкие, горькие минуты «мастерски загнутая репка» не оставляла Петьку. Матерно Петька никогда не бранился. Иногда мне казалось, что в «загнутости» Петька прятал свое раздражение.

— Петька, я и без того жестоко наказан. Пани Марина говорит мне: разве мы возьмем в цирк капельдинером сына бандерши? А еще днем обещала взять. Кто мог сказать дирекции, что я сын бандерши? Может быть, он сам, директор-то, сын трех бандерш!

— Артисты ездили к твоей Ковалихе.

— А где им помнить меня, Петр? Это она сказала, она, пани Марина. Она

предчувствует, что на нее имеется заказ...

— А в морду хочешь? Забулькать носом хочешь? Я тебе покажу заказ!

Пашка захныкал. Хныкал он притворно. Он утирал слезы, которых и не было. Омерзителен был он мне. Петька продолжал допрос:

— Сколько они заплатили Филиппинскому? Почему он остался? Ноги натер, что ли, от долгой ходьбы с нами?

— Кассиром они его назначили. А меня выгнали...

— Любопытно узнать, что такое про нас открыл им Филиппинский? Неужели мы без Филиппинского их не разоблачим?

Слезы, настоящие крупные слезы, прозрачные, плотные, показались на глазах у Пашки. Он ответил, рыдая:

— Шпаги он им принес.

— Обе?

— Обе, Петр.

Я зажег смолистую щепу. Мы осмотрели наше имущество. Мои шпаги, тщательно завернутые в просаленную бумагу, дабы не заржавели, — мои шпаги, тщательно перевязанные бечевкой, мои любимые шпаги; мои «дамские шпильки», мои гирьки «от одного до трех фунтов весом» — все утащил Филиппинский. Мне было стыдно за Филиппинского, за Пашку, мне было так стыдно, что я даже жалел их. Какое глубокое негодование они чувствуют к себе, к своему падению, к своей низости!

— Меня удивляет не то, что он утащил, — сказал Петька: — а то, откуда Филиппинский быстро мог это сообразить.

Пашка тропливо объяснил:

— Сообразил-то не он, а отчасти я, а отчасти пани Марина. Она выпрашивает нас: какие у вас способности, а я ей...

— Ты бы, Пашка, отошел слегка, а то невзначай махну рукой и обечайку с морды сдеру.

Пашка отскочил.

Петька свалил в костер остатки хвороста. Огромный столб пламени поднялся над деревьями.

— Горе, — сказал Пашка: — великое горе.

Нубия подскакала к огню. Несчастия притягивали ее. Упершись головой в самый костер, она мерно двигала взад-вперед разноцветными своими ушами. Губы ее шевелились. Она, видимо, произносила речь на своем лошадином языке. Несчастия прилипают и отлипают, — говорила она, — сперва раны, затем шрамы, а еще позже воспомина-ния!

— Кассир? Продавать билеты? Да он так долго будет размышлять над сдачей, что зритель воссомневается и захочет тут же деньги обратно.

— Через суд потребую свои шпаги, Петька, — сказал я.

— Судиться с ним, Всеволод, у нас нет ни времени, ни денег: даже на гербовые марки. Да и что с Филиппинским судиться? С цирком надо судиться, который пускается в прыжные подлости. И судить бы этот цирк нашим факирским судом. Спалить его например. Но люди мы честные, спалишь, там останутся голодные и невинные артисты.

Петька назначил Пашке: три недели, день и ночь, пасти Нубию, мыть ее четыре раза в сутки и убирать хвост ее цветами.

На рассвете мы уже стучались в дверь кузнеца Ивана Михайлова. Хибарку его, пожалуй, единственную в городе, не считая острога, миновали деревья. Нас встретил саженного роста, волосатый, с багровыми глазами, мужик в грязном фартуке и высоких сапогах. Упершись втулкообразным подбородком в грудь, он наклонил над нами свои плечи ширины необъятнейшей.

— Иван Лаврентьич, — крикнул ему Петька. — Слышь, Иван Лаврентьич, а мы по твою душу.

— Ну, ну, притонивай, притонивай, парень.—И он показал длинными своими руками, как мужики «притонивают» на берег невод и как трепещется рыба. Видимо, ему нравилась затейливая петькина речь.

— Никто тебе, Иван, не приобретет такой инструмент, не даст такое красивое имя, как наша компания, наше шествие. Я утверждаю!

— А ты притонивай, притонивай, парень!

Самолюбивый, упорный Иван Михайлов уважал инструменты. Он постоянно расспрашивал, где и каким инструментом сделана эта вещь, и, если вы не знали, он презирал вас. Над ним все смеялись, что он мечтает приобрести такой «вседельный» инструмент, которым он и тесать бы мог: и ковать, и сверлить, и точить: от часового колесика до мельничного жернова.

— Струмент этот притужной, изнурительный, а ты посмотри-ка мои руки, парень! Где против меня есть тяжелая работа?

Руки у него щедро налиты мускулами, жилы тверже кирпича, цвета они бронзового, покрыты сивым волосом.

— А палец-то — болт, а не палец. Разожми!

Слушатель охает, пытаюсь разжать его палец, втайне содрогаясь: а вдруг он прищипнет?

И вот на этого кузнеца устремился со своими речами Петька Захаров. Кузнец, ухмыляясь, выпил громадную кринку молока, пожевал краюху, выглянув в окошечко: пора. И он направился в кузницу. Петька не отставал от него. Усевшись в кузнице на «бабку», небольшую наковальню, Петька осыпал кузнеца знанием инструментов.

— А каким снарядом колокол сделан? — спрашивал кузнец.

Пашка объяснял.

— А какой снаряд для пятака существует?

Петька объяснял и «пяташный» снаряд. Выслушав десятка два объяснений, кузнец спрашивал:

— А вседельный снаряд есть?

— Поищем, — говорил Петька. — Главное, чтоб не присмиреть, Иван Лаврентьич.

— Присмиреть-то оно... — задумчиво соглашался кузнец: — присмиренье-то оно в тряску жидает, вроде как телега без шин.

Кузнец любил и «вседельный» снаряд, любил кузнец, как и подобает такому верзиле, крохотную, беленькую, бледненькую дочку кожевника П. Н. Измалкова. Кузнец сватался за нее, писал ей письма из «гренадерских рот», из Питера, с воинской службы. Измалков

отказывал ему, да и дочка не стремилась к Ивану. Девушка стыдилась того, что ее любит кузнец, над которым подсмеиваются в городе. Она мечтала об учителе географии, чухоточном, постоянно харкающем. А учитель географии стыдился того, что его любит дочь кожевника. Дивн бы заведение великое, а то Измалков постоянно с красивыми руками, постоянно сам в заведении!

— Ты мне предоставь вседельный снаряд, а там и кузню заложу! — вдруг гаркнул кузнец. — Ты мне, Петра, слова не трясил!..

Он побагровел. Петькины речи, имя «Иоанн» проняли-таки его. Как я понял, Петька предлагал ему вчера заложить кузницу и вступить в наше шествие, причем, самое удивительное, Петька нашел и закладчика: мукомола Васильева, поклонника кулачных подвигов Ивана. Кузнец обещал подумать. Но мужик он был добрый и, гаркнув сейчас на Петьку, тут же пожалел его. Любоваться на бледную дочку Измалкова ему трудно без взаимности, да и стыдится он своей любви, крохотной, бледной.

— Вот что, Иван Лаврентьич, — сказал Петька: — не надо мне твоих денег, прощай.

— А без денег ты не берешь?

— Без денег представление отменяется. А по уезду куда ж тебе с нами идти. Тебе надо на девушку любоваться. Венчанье с географией у ней, того гляди, произойдет, ты и на венчанье опоздаешь, да и осень близко, заказы упустишь.

— Чего мелешь! До осени сколько осталось!

Кузнец осмотрел пустую кузню. Заказов нет. Чорта ли подковывать в этом стыдливом и скучном городе?

— А ты ручаешься, Петра, допрею я с вами до снаряда?

Кузнецу не столько снаряд «вседельный» сейчас нужен, сколько подыскать уважительный предлог для того, чтобы утечь из этого ветвистого города, из этой запылившейся кузницы, где скоро от безделья «белила выделывать, а не инструменты».

Петька указывает на Пашку:

— А вот посмотри: с таким безнадежным лицом только свиной пасти, а ведь тоже в нашем шествии находится, тоже свой инструмент ищет.

Пашка робко посмотрел на кулаки Ивана и подобострастно рассмеялся. Кузнец тоже рассмеялся.

— Зачем он тебе нужен? — спросил я Петьку, когда мы покинули кузню.

— Сгодится. Как-никак богатырь, а мы — калики перехожие. Кроме того, пани Марина способна и не такого уговорить бороться. Зачем им делать лишние сборы? Кузнец он искусный, а вдруг он выкует шпаги да получше гамбургских?

— Кресты он нам могильные выкует, а не шпаги, — сказал Пашка.

Мы поравнялись с цирком. Двери широко раскрыты. Жара, да и город стыдится заглядывать на репетицию, а вдруг нагую наездницу увидишь? Подходя к цирку, Петька советовал нам соблюдать бледность: дабы совесть «воздрузить» в сердце Филиппинского. Мы и без того были бледны: я жаждал увидеть Антуанетту Сирбо; Пашка — страшась предстоящего убийства Филиппинского, Петька — из презрения и гордости. Но цирк пуст! Мы обошли его кругом. Когда мы вернулись к входу, через раскрытые двери мы увидели: по кругу бежала лошадь жирная, пегая. На широком, как стол, седле подпрыгивала пани Марина. В центре арены в туфлях на босу ногу, с расстегнутым воротом рубашки, через который видна была толстая, противно-розовая грудь, размахивал бичом сам А. Коромыслов. Пани Марина изучала вольтижировку. Щелкал сухо бич. Коромыслов командовал:

— Вы не на шентелях, не на шентелях идите, мадам! Посылайте, мадам, вашим телом вперед, не давайте ей задерживаться во втором темпе долее, чем на первом! В галоп, мадам, в галоп. И не откидывайте, прошу я вас, зада из круга!

— Как мы и предчувствовали, — сказал Петька с уважением: — цирк — довольно сложная наука.

На пороге встал капельдинер, рыжий, длинноногий. Приглаживая на груди

своей бурую ливрею, он, жмурясь, оглядел нас:

— Проходите, господа. Представление начинается ровно около восьми.

Это был Сережка Трошкин. Он стоял в раздумьи. Как и в Павлодаре, он попрежнему любил свою бурую ливрею. И попрежнему его рыжая морда неприятна мне. Вот мимо его прошел борец с кривыми плечами. Трошкин низко поклонился. «Прежде нежели Сережка станет борцом, — со злорадством подумал я, — он всю накопленную силу потеряет в поклонах».

Петька Захаров, приседая перед Трошкиным, соорудил из пальцев некую фигуру, которую солнце немедленно

тенью корабля откинуло на серую стену цирка. Петька передразнивал важный голос Трошкина:

— Как ты оснащен, парень, как оснащен! Как этот флегат. А ты не боишься, если на флегат циклон напустит факир? Вот этак!..

Он дунул на пальцы. Корабль исчез. Вырос кукиш.

Трошкин сказал неколебимо самоуверенно:

— Пройдите, господа. Что же касается циклонов, то и циклоны способствуют совершенствованию человечества.

Громадные тесовые ворота цирка, скрипя и скребя землю, скрыли Трошкина.

(Продолжение следует).



ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Итак, бумаге терпеть невмочь, —
Ей надобны чудеса:
Четыре сосны
Из газонов прочь
Выдергивают телеса.
Покинув дохлые кусты
И выцветший бурьян,
Ветвей колючие кусты
Врываются в туман.

И сруб мой хрустальнее слезы
Становится.
Только гвозди
Торчат сквозь стекло,
Да в сквозные пазы
Клопов понабились грозди.

Куда ни посмотришь:
Туман и зычь,
Да грач на земле, как мортус,
И вдруг из кустов,
Как лесная дичь,
Свистя, выпархивает кирпич...
Ворота... Стена... Корпус...
Чего тебе надобно?..

Испокон
Веков я живу один.
Я выстроил дом,
Придумал закон,
Я сыновей народил...
Я молод,
Но мудростью стар, как зверь,
И, с тихим пыхтеньем, вдруг,
Как выдох,
Распахивается дверь
Без прикосновенья рук.
И товарищ из племени слесарей
Идет из этих дверей.

(К одной категории чудиков
Мы с ним принадлежим,
Разводим рыб, —
И для мальков
Придумываем режим.)

Он говорит:
— Зажги свой дом,
Выйди и глянь вперед:
Сначала — ромашкой,
Взрывом — потом
Юность моя растет.
Ненасытимая, как земля,
Бушует среди людей,
Она голодает, —
Юность моя, —
Как много надобно ей!
Походная песня ей нужна;
Солдатский грубый паек:
Буханка хлеба
Да ковш вина,
Борщ да бараний бок.
А ты ей принесишь
Стакан слюны,
Грамм сахара
Да лимон;
Над рифмой просиженные штаны —
Сомнительный рацион...
Собаки, аквариумы, семья
Вокруг тебя, как забор...
Встает над забором
Юность моя,
Глядит на тебя в упор.
Гектарами поднятых полей,
Стволами сырых лесов
Она кричит тебе:
— Встань скорей,
Надень пиджак и окно разбей,
Отбей у дверей засов!

Широкая зелень
Лежит окрест
Подстилкой твоим ногам!
(Рукою он делает вольный жест
От сердца
И — к облакам.
Я узнаю в нем
Свои черты,
Хотя он костляв и рыж,
И я бормочу себе:
— Это ты
Так здорово говоришь.)
Он продолжает:
— Не в битвах бурь
Нынче юность моя,
Она придумывает судьбу
Для нового бытия.
Ты думаешь:
— Грянет ужасный час!
А видишь ли, как во мрак
Выходит в дорогу
Огромный класс
Без посохов и собак.
Полна преступлений
Степная тишь,

Отравлен дорожный чай...
Тарангулы... Звезды...
А ты молчишь?
Я требую! Отвечай!
И вот, как приказывает сюжет,
Отвечает ему поэт:
— Сливаются наши бытия,
И я — это ты!
И ты — это я!
Юность твоя —
Это юность моя!
Кровь твоя —
Это кровь моя!
Ты знаешь, товарищ,
Что я не трус,
Что я тоже солдат прямой,
Помоги ж мне скинуть
Привычек груз,
Больные глаза промой!
(Стены чернеют.
Клопы опять
Залезают под войлок спать.
Бумажка полощется под окном:
«За отъездом
Сдается в наем!»)

Кунцево, 1930 г.

Ледяная тропа

Повесть

МАКС ЗИНГЕР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Коннов думал, что это пришла смерть. С каждым днем угасали его силы. Он едва удерживал в руке стакан воды. Возле койки в тесной каюте флагмана-ледокола висело небольшое зеркало. В этом зеркале он видел бледное лицо, обросшее пестрой бородой. Устало глядели чужие, потускневшие глаза. И голос стал не тот, с каждым днем он становился глуше, и меньше хотелось говорить.

Цельми днями глядел изможденный болезнью моряк Коннов на подволоку, сверкавшую белой эмалевой краской. В запыленный иллюминатор виднелся близкий берег Чаунской губы, окаймленный ледяными торосами. В тот год море замерзло неровно из-за поздних штормов, ломавших не раз ледяной покров. И торосы стояли под берегом, словно охрана, высоко поднимая ледяные пики.

По утрам приходил в каюту молодой доктор. Коннов показывал ему белый язык и термометр — неизменные тридцать девять градусов. Моряк иногда забывался в жару, и ему казалось, что он не в Чаунской губе, не на лютой зимовке с кораблями, а в Москве, в кругу близких друзей, и возле него рисует двухтрубные ледоколы золотоголовый сыннишка. Но каждый раз, когда Коннов открывал усталые глаза, он видел сверкавшую эмалью подволоку и маленькое зеркало, которого начинал страшиться.

В каюте тускло горела электрическая лампочка. Она доживала последние часы. Скоро ей на смену должны были прийти стеариновые свечи. К середине октября все зазимовавшие корабли тушили котлы и переходили на камелечное отопление. Электрический ток прекращал свой энергичный бег по проводам на корабле. Стремительно приближалась полярная ночь, унылая, одинокая, морозная, долгая ночь на чужбине. Из-за перегрузки радиостанции только двадцать трепетных слов в месяц мог перекинуть каждый моряк к себе домой, где не осенью дождались его возвращения из ледового похода.

Рыжебородый, широкий в плечах буфетчик Ветлугин частенько забегал в каюту Коннова. Он рассказывал Коннову о том, что делалось в округ на зимовке: «Бухта стала по-зимнему. Кругом высокие-высокие горы. Моряки ходят на лыжах далеко от кораблей. Двое ребят запурговали и пропадали целый день. Морозы пока небольшие, двадцать, двадцать пять градусов. Какой-то полярный грипп ходит по кораблям и валит людей с ног».

Этот грипп держит и Коннова на привязи. Слово тиф, он измождает тело, щемит мысли и наполняет все существо человека каким-то безразличием.

Коннов несколько раз ходил в полярные походы вместе с одним старым моряком. Старик как-то рассказывал Коннову о смерти молодого полярника Жо-

хова на далекой зимовке. Жохов много писал стихов в своем дневнике. После его смерти нашли нежные письма к любимой и грустные записи о суровом Севере.

Коннов также вел дневник. Перед болезнью он просматривал свои записи. В них он пел скучными словами гимн морякам-пионерам — освоителям Северного морского пути. Пропел — и умирает. Ему не выкопают здесь могилы. Вся земля — сплошной камень. Взорвет подрывник аммоналом какую-нибудь скалу, и завалят изнуренное тело Коннова обломками камней. Никто никогда не бросит цветов на эту могилу, лишь с грустью друзья склонят головы, ища на географической карте далекую Чаунскую губу.

По соседству с каютой Коинова лежат подкошенные гриппом летчики. Они летали над Полярным морем, разыскивая свободный во льдах путь колонне кораблей, шедших с грузами на Колыму из Владивостока через моря и океаны. Только один из летчиков не поддался болезни. Он принес Коннову маленький пузатый флакон «бовриля» — бульонного экстракта — и насильно заставляет больного выпить стакан бульона и проглотить размякшие в нем сухари.

— Ешь, а то и в самом деле загнешься! — говорит Коннову «воздушный кочегар».

«Воздушный кочегар»! Он так сам называет себя. Он борт-механик воздушного корабля, зимующего вместе с морскими кораблями в Чаунской губе. Корабли пришли в тяжелый ледовый год к таежной реке Колыме, разбудили трубным гласом безлюдный край, свалили в бухте Амбарчик, у мыса Медвежьего, горы товара из своих глубоких трюмов и ушли, но не вернулись в тот год домой, во Владивосток. Пароходы и самолеты стоят у берега Чаунской губы, окаймленной высокими горами.

Коннов слышит: кто-то подошел к двери его каюты. Дверь распахивается, и перед Конновым чукча, он испуганно смотрит на больного.

Коннов тихо его приветствует:

— Е-этти! (Ты вошел.)

— Ы-и-и-и! (Да.) — отвечает чукча.

Он в голубой, как весеннее небо, матерчатой камлейке и в нерпячьих высоких торбазах. Коннов смотрит на эти нерпячьи торбаза, на их жесткий зеленоватый ворс и вспоминает свой детский ранец из тюленьей кожи. Много лет назад он таскал его за спиной.

Чукча долго смотрит на Коннова черными глазами.

— Этьки! (Плохо.) — говорит с сожалением чукча.

— Камака! (Смерть.) — отвечает Коннов.

Чукча смотрит растерянно на больного и, помолчав с минуту, просит у него табаку. Коннов дарит ему коробку папирос из нетронутого пайка. Длинными затяжками чукча быстро выкуривает папиросу и уходит, тихо закрыв за собой дверь. И снова одиноко в каюте, гнетуще-тихо и за иллюминатором.

Проскрипят раз в день по утоптанному ветрами снегу чукотские нарты и послышится отдаленный говор и шум. Это вахта моряков пошла на озерко за льдом. Широко раскинулось пресное озерко, моряки пьют там лед и свозят его на ледокол в кубовую.

Скоро утренний чай. И будто попржнему, как совсем недавно, когда корабль горделиво расталкивал льдины, насупившиеся снеговыми шапками, звенит по коридорам колокольчик. Буфетчик Ветлугин приглашает моряков к утреннему чаю. Коннов слышит его шаркающую походку и словечки, которые он бросает встречным морякам. Ветлугин обходит больных по каютам, разнося чай. Он приносит Коннову тяжелую белую чашку чаю с лимоном. На белой чашке голубой ободок и морской флаг, развевающийся по ветру. Чай с лимоном — это вся пища Коннова на целый день.

Ветлугин так же, как и Коннов, оброс бородами. Но борода буфетчика цельного цвета, огневая, рыжая. Не видно, как раньше, его толстых губ. Они спрятались под нависшими усами. Он показывает Коннову чукотские конайты (меховые брюки), он выменял их у чукчи на месячный паек папирос.

— Теперь бы достать малахай да теплые торбаза-щетки, и каждый день буду уходить в горы на лыжах.

Ветлугин рассказывает Коннову об открывающемся морском техникуме на зимовке. Он хочет учиться здесь, в Чаунской губе, морской грамоте.

II

Коннов вдруг почувствовал голод. Это было на двенадцатый день болезни. И с этим чувством к нему начала возвращаться уверенность в том, что он выживет, что болезнь — лишь эпизод в его жизни. Температура упала сразу, как при тифе во время кризиса. Молодой доктор перестал кормить больного аспирином и выписал, кроме обычного обеда, компот из сушеных фруктов. Силы возвращались медленно. По ночам больной еще лежал в испарине.

Секретарь судовой ячейки флагмана-ледокола, старый дальневосточный партизан Гуров, часто навещал Коннова.

— Вот что, Коннов, поболел, и довольно! — говорил Гуров. — Тебе доктор сегодня даст полстакана коньяку для подкрепления, ты его в чай добавляй. Надо торопиться до весенней распутицы попасть в Якутск и оттуда в Москву. А то ведь, как весна застанет тебя на полпути, испортит зимник¹⁾ и будешь ты где-нибудь в Абые или Верхоянске дожидаться неизвестно чего.

Узнав о предстоящем отъезде Коннова, бухгалтер долго отговаривал его.

— Слышал я, — говорил Ветлугин, — что вы в Москву собираетесь. И охота вам на собаках ехать. Не довезут вас они. Ознобитесь где-нибудь в этой проклятой тундре и погибнете в безлюдьи. Или стая волков нападет на вас! И куда вам ехать? Заболеете в дороге или что! Ведь это — подумать только! — четыре тысячи километров на собаках да на оленях через горные перевалы, тайгою да реками! Ну, если бы по людям ехать, и я бы согласился. Ездили же встарину на перекладных. А без людей куда же ехать?

— Сперва надо окрепнуть, а потом думать о поездке, — печально хмурился брови, говорил Коннов.

Гуров был избран секретарем объединенного партколлектива всех зимующих судов и готовил пространный доклад на Большую землю — в Москву — о проделанной моряками работе в Восточно-сибирском море. Пакет Гурова, большой и увесистый, прошитый суровыми нитками и украшенный пятью сургучными печатями, Коннов должен был везти от ледяных торосов Полярного моря к линии железной дороги, за пять с половиной тысяч километров от Чаунской губы. Коннову хотелось скорее на берег. После пятимесячного похода маленькая темная каюта опостылела, как одиночная камера тюрьмы. Хотелось скорее на простор, на свежий морозный воздух. Погулять, порезвиться, пробежаться на лыжах и, может быть, как школьник, поиграть в снежки.

В первый раз после болезни Коннов шел ощупью, будто слепой, обеими руками касаясь холодных железных стен коридора. Коннов с трудом узнавал ледокол. В нижней кают-компании был устроен общий кубрик. Здесь зимовали все кочегары. За зеркальными стеклами нижней кают-компании Коннов увидел кочегаров, стоявших у коечных рядов. Толпа обступила тесным кольцом двух боксеров. Кожаные черные перчатки блестели, будто круглые головы тюленей. Противники наносили друг другу решительные удары, но крепко держались на ногах.

Коннов поднялся в верхнюю кают-компанию. Там, за длинным столом, чинно в креслах пили чай. Не сияла электрическим светом веселая еще недавно кают-компания корабля. На столе мерцали коптящие свечи. Электроток добежал до финиша. Коннову казалось, что его жизнь начинается снова, будто он вторично родился, — так все было ново. Коннова занимал самый процесс хождения, словно он делал первые шаги в своей жизни.

Люди говорили о том, как утеплить судно и лучше сберечь тепло в помещениях. Распределяли преподавательские обязанности среди капитанов и представителей научной части экспедиции, писали учебный план морского техникума, открывающегося впервые в Арктике.

¹⁾ Зимняя дорога.

Коннову выдали бараний полушубок и серые катанки, в которые он с трудом втиснул плохо повиновавшиеся ноги. Малахай стал ему велик. Доктор остриг под машинку пышную копну волос выздоравливающего.

С трудом перебирая ногами, Коннов спустился по трапу на лед. От него в разные стороны шли проложенные моряками тропы-лучи. Рыжими полосами они извивались между торосами, неожиданно исчезая или сливаясь в одно русло. Тропинки вели к другим пароходам, котские стояли здесь, близ фактории Певек, у единственного дома на берегу. Моряки ходили по этим тропам друг к другу в гости с парохода на пароход, когда были свободны от работы.

Коннову казалось, что он пил газированную целебную воду, так освежал его морозный воздух, которым он давно не дышал. Под самое небо, закутанное снежными низкими облаками, уходили горы. И казалось, что они бесконечно высоки и не найти через них перевалов: перед эскадрой кораблей встали стеною льды моря и камни берегов, и нет выхода отсюда ни в океан, ни в тундру.

Горы были безмолвны и безлюдны. Они сияли снегами короткий день, когда лишь на несколько часов показывалось солнце — большой пылающий шар, уже не ослеплявший глаз. Это были краткие сумеречные дни.

Коннов прошел извилистыми тропами между торосами к берегу. На свежей пороше человек увидел пунктир следов песца. В поисках мыши-лемминга песец забрел почти к самой стоянке пароходов. Коннов шел медленно, как позволяли ему восстанавливавшиеся силы. Точечный след привел его к такому же пунктиру, только более мелкому, — к следу полярной мыши. Здесь следы песца прерывались и делались более глубокими. Песец шел беспокойно по этой пороше, он делал прыжки, догоняя пытавшуюся убежать мышь. Ни одной капли крови. Песец проглотил мышь. И дальше потянулись спокойные точки песцового следа. Он шел на восток. На восток продвигался и Коннов. Там, вдалеке, он видел крытый только приземистый домик фактории. Он хотел посмотреть людей, которые прове-

ли здесь, у этих высоких гор, уже целый год. Человека остановили два невысоких холма, сложенные из камней. Над этими холмами высились небольшиеobeliski. Коннов подошел к ним и узнал краткую историю жизни и смерти двух моряков, зазимовавших за год до прихода в Чаун эскадры пароходов. Один из моряков здесь умер от цынги, другой — от паралича сердца.

Небо повисало над головой, оно давило человека, как низкий потолок в доме. Мир, казалось, стал теснее. Всюду, куда бы Коннов ни вскидывал глаза, он наткнулся на торосы или горы, уходившие куда-то беспредельно за лиловое снежное небо, слегка порошившее серебристыми звездочками. Граненные лучшим ювелиром — природой, — они ложились на рыжие рукава полушубка и не таяли, а собирались в складках тысячами. Чем ближе подходил Коннов к одинокому сутулому дому, тем будто ниже опускались облака, садившиеся по склонам гор, словно перелетные птицы. Коннов шел под лиловой снежной крышей. Густел белый поток, он похищал становившиеся неясными очертания унылого дома фактории. Было безветрие. Снег падал почти отвесно. Вдруг впереди замерцал огонек. Его зажгли, потому что солнце закончило свой краткий путь по чаунскому небу, и среди гор и торосов бесшумно ложилась ночь. Этот огонек, зажженный рукой человека среди сказочных гор, у кромки земли, призывно манил к себе своей смелостью. Огонек, на который стал держать путь человек, светил торжественно в снежном Чауне.

Коннов остановился перед окнами дома, откуда струился этот манящий свет. Дверь дома, как и повсюду на дальнем Севере, не была заперта. Кто-то быстро вышел из дверей и скрылся в темноте. В прихожей, на половике, лежал веник, сделанный из тальниковых прутьев. Моряк отряхнул им от снега свои катанки и вошел в следующую дверь, откуда несло ароматом домашней кухни. Коннов вдруг почувствовал голод, он заговорил в нем, будто живое существо.

Сложенная по русскому образцу печь разделяла просторную комнату на две ча-

сти. Коричневая эмалевая краска делала эту печь какой-то сказочно-пряничной. За печью, совсем по-городскому, на детской кроватке спала белокурая девочка. Лицо ее разругалось, пухлые ручки раскинулись по белому пушистому одеялу из заячьих лапок. Рядом, на большом сундуке, служившем диваном, серебрилась шкура белого медведя. Высокий ворс торчал, словно у барсука, сверкающе-жестко.

На стене висели винчестер, малопулька и двухствольное ружье.

У печи спиной к вошедшему стояла женщина. Она была занята пирогами. И по тому, как они ярко румянились, Коннов понял, что у хозяйки сегодня удача. Женщина обернулась к Коннову, и он увидел на ее красных щеках непонятные слезы.

Она стала рассказывать ему, незнакомому человеку, без стеснения, как рассказывают обычно на Севере. Ее низкий голос взволнованно дрожал, и глаза не переставали быть влажными. Только-что приходил олений чукча. Он приехал в Певек из тундры за много километров. Он доставил на фабрику много пухового меха в обмен на товары. Заведующий фабрикой отвешивал чукче товары на складе. Тем временем чукча пришел в дом к женщине, русской, светловолосой и молодой, и, развязав тугой ремень своих конайт — штанов, — сказал ей:

— Ну, ложись, да поскорее, мне очень некогда, твой муж отвешивает мне товары!

Он говорил по-чукотски. Женщина поняла его слова. Она не первый год жила по мысам на фабриках Чукотской земли. И этот приход чукчи напугал ее. Глаза чукчи были необычно злые, они сверкали огоньком, движения и слова были быстры. Что-то звериное показалось ей в его скуластом бронзовом лице. Женщина закричала на него. В это время Коннов подходил к двери фабрики. Чукча услышал шаги и торопливо вышел из дома.

Женщина обрадовалась приходу Коннова. Ей стало веселее. Ей захотелось говорить без-умолку, как говорят длинными вечерами на Севере. Коннов, сидя

на сверкающей шкуре белого медведя, слушал женщину, как песнь. Женский голос волновал его, как мелодия, с которой связаны неясные и нежные воспоминания.

В доме было тепло. Ярко горела керосиновая лампа-молния. Вкусно пахло сосисой. Коннов совсем забыл о снежном Чауне, о ледяных тороках, о каменном мешке гор, о зимовке кораблей. Ему казалось, что если он выйдет сейчас за дверь дома, то перед ним протянется звенящая улица какого-то города, где на краю высится здание вокзала и уходят вдаль манящие поезда.

В комнату вошел сам хозяин. Он был в суконной рубашке и таких же широких штанах, заправленных в черные катанки. Он пришел с холода и просил жену дать скорее чаю. Коннов слышал, как хозяин долго выбивал снег из своих верхних одежд, которые оставил в передней на морозе. На Севере не принято вносить верхние меховые одежды в жилище; их оставляют либо на дворе, либо в холодной части яранги, чтобы дольше сохранить мех.

Тишину дома рассекало мерное тиканье ходиков. За домом, в тишине Ледового моря, под нависшим небом, стояли героические корабли, проложившие ледяную тропу товарам и машинам на крайний Северо-Восток. Моряки не сдавались суровому морю. Находясь в плену, они учились в Арктическом морском техникуме, они помышляли о заговоре против льдов и верили в окончательную победу над ними.

III

Она ворвалась в маленькую, тесную и сонную каюту Коннова, как свежий ветер. И от нее самой, от ее тонкой пуховой кухлянки, от малахая, повисшего за плечами на шелковом голубом шнуре, веяло морозным воздухом, свежестью, здоровьем.

Ее ноги были обуты в камусные, из лапок оленя, торбаза. Она была в меховых мужских конайтах и выглядела рослым молодцом. Щеки зарумянились на морозе. Разговор был торопливый.

Месяца два назад корабли эскадры подходили к мысу Медвежьему, в Колыме. Стояла темная, чернильная ночь. Такие ночи часто бывают на далеком Юге. За бортом, освещенная огнями иллюминаторов, плескалась искрившаяся вода Восточносибирского моря. Недалеко, всего лишь в нескольких милях от колонны кораблей, лежала земля. Если идти долго, быть может, целый год, на юго-запад, через тайгу, застывшую в блесках куржака, по синим наледям рек, через горные перевалы, по которым гуляет злой ветер, по озерам, застывшим в своих каменных ложах, можно достигнуть непомерной ходьбой линии железной дороги.

В темноте, невидимый и потому загадочный, стоял мыс Медвежий, а за ним притихла бухта Амбарчик, куда пришли из Владивостока в трюмах кораблей грузы для отдаленного Колымского края. Солнце, словно ветер огромную тучу, прогнало ненавистную ночь и открыло тундряные берега и самый мыс Медвежий. Порыжевшая земля, безлесная, голая, была скучна, но величественна своими просторами. И, скользя по ним, отдышал глаз человека, истомленного долгим походом.

Ее глаза были голубые, сияющие, как расселины многолетнего торосистого льда, они отсвечивали, как самоцветы аквамарины. И голубой цвет там, где небо постоянно хмурилось облаками, особенно беселил человека. Коннов смотрел на эти светящиеся глаза и радовался их теплу, которое его согревало и чуть будоражило.

Он увидел ее впервые в бухте Амбарчик, у мыса Медвежьего, когда разгравшееся море добивало остатки кунгасов. Морские волны вместе с пеной злобно выкидывали на берег щепы разгромленных кунгасов и барж, которые пришли сюда вместе с морским караваном и служили честно и днем и ночью для разгрузки пароходов. Море, вставшее недавно льдами на пути тихоокеанских моряков к Колыме, здесь насылало свои жестокие ветры, крушившие деревянный речной флот колымчан.

Вдоль берега улицей вытянулся городок военных палаток, в которых жили люди, пришедшие сюда, чтобы разбу-

дить этот спящий в веках край шумом заводов, озарить его светом советских школ, протрубить зорю по Колыме первыми речными пароходами.

Люди стояли на ветру возле палаток и крепили колья, чтобы не снесло их жилища сильным шквалом.

И вот, как сейчас, в каюте перед Конновым появилась эта женщина в полосатом малахае из лисьих лапок. Из-за тигровой окраски он виднелся издали. Женщина стояла возле палатки. Точка пыжиковая кухлянка тесно облегла ее высокую фигуру и, казалось, поднимала ее. Слово у ребенка, меховые рукавички свисали на длинном шнуре, заброшенном за капюшон кухлянки. И кухлянка была у нее какая-то необычная. Искушница-чукчанка в дымной яранге, в теплом пологе оторочила ее росомахой и над самой опушкой вкрапила из белых оленьих лапок тончайшие узоры.

Палатка была пуста. Все люди, кроме этой женщины, ушли на работы — спасти речной флот. Она оставалась здесь, чтобы приготовить незатейливую пищу. Но, когда сорвало вместе с кольями, вбитыми в землю, и самую палатку, женщина, вооружившись топором, вышла закрепить свой полотняный домик.

Коннов пытался помочь ей.

— Не беспокойтесь! — сказала она и чуть подняла руку.

Коннов услышал голос, грудной, певучий, обдавший теплом. Моряк не хотел показаться навязчивым незнакомой женщине и отошел в сторону.

Позднее, когда флагман-ледокол дал сигнал судам «приготовиться», Коннов снова увидел полосато-тигровый малахай и голубые, светящиеся глаза. Она приходила на маленькой шляпке к борту ледокола, чтобы получить разрешение у начальника похода вернуться морем во Владивосток.

Коннов видел, как ловко она переметнулась через релинг корабля и быстро спустилась в шляпку. Когда моряки убирали вслед за нею зыбкий штормтрап, Коннов слышал, как одобрительно отзывались они о женщине в меховых одеждах.

Больше Коннов не встречался с нею. К Чаунской губе, где льды остановили

их общее продвижение на восток, они шли на разных судах.

— Не удивляйтесь моему приходу! Мне Гуров сказал, что вы едете в Москву. Я тоже еду вместе с вами. Теперь, как доктору, отвечайте мне. Какая температура? Какой аппетит? — забросала она моряка вопросами.

— Температура нормальная, аппетит волчий, — тихо отвечал Коннов, пытаясь улыбнуться.

— Так что же вы сидите целыми днями в каюте? Привыкайте к ходьбе, к морозному воздуху. Ведь придется спать и под открытым небом в тундре! В пургу не всегда раскинешь палатку! Довольно валяться на койке, пора готовиться к походу!

Это было похоже на нее. Итти на собаках с Певека, с Чаунской губы, через Восточносибирскую тундру, Колыму, Индигирку, Яну, Лену к железной дороге. Она говорила об этом, как о загородней прогулке.

— Я заказала три камлейки по числу людей, едущих на собаках к Нижнеколымску, — сказала женщина. — Я уже достала три бамбуковые палки, они помогут нам на перевалах, облегчат крутые спуски и подъемы. У вас на камлейке будут два кармашка, в них я вкладываю по две белых тряпки, будете утирать себе носик, — сказала она, нежно смеясь. — На сильном морозе, с ветерком, из носа будет капать водичка. Это учтено. Для подарков чукчам я набрала в фактории пестрой материи, листового черкасского табаку и десять жирпичей чаю.

— Надо что-нибудь и детишкам захватить, — сказал Коннов.

— Для детей у меня припасена карамель. Мне нужно теперь все это перенести в одно место, на младший флагман, где я живу. Я прошу вас встать завтра пораньше и помочь мне. Вечером пойдем на фабрику готовить на дорогу пельмени и котлеты.

— Котлеты? — переспросил Коннов.

— Да, да, котлеты! — повторила она. — Мы наготовим сырых котлет, заморозим их и на каждой дневке будем жарить. Я делала это не раз в моих долгих поездках по Колымскому краю.

Она показала Коннову длинный список еще не полученных продуктов. Размашистым женским почерком были записаны: клюквенный экстракт, чеснок и большое количество сливочного масла.

— Куда же нам столько масла? — спросил недоуменно Коннов.

— С нами поедет Беда-Беденко и каяры. Они на нашем харче, здесь так принято, — ответила полярница. — А ведь ничто так не согревает на Севере, как масло. Оно поддерживает горение в теле человека. Масло сбережет наше тепло. Вы узнаете об этом в дороге.

Коннов слушал эту молодую женщину с интересом, как ребенок сказку. Он только боялся, что вдруг она замолкнет и сказка прервется. Станет скучно, если женщина уйдет из каюты и снова исчезнет морозный воздух, внесенный ее одеждами от льдов моря и снегов высокогорной тундры.

Эту женщину звали просто: Анна Павловна Нилина.

У нас принято быстро переходить на «ты», это осталось еще от первых суровых и незабываемых лет гражданской войны. Но Анне Павловне Нилиной, несмотря на ее молодые годы, никто не решался говорить «ты». Был в ней какой-то холодок, заставлявший каждого держаться с ней как-то подтянуто. Теснота, камсльки, суতোка — все это налагало свой отпечаток на зимовщиков. Но Анна Павловна оставалась всегда такою, как была. При вольности слов или движений своего собеседника достаточно было Анне Павловне поднять только руку и чуть нахмурить тонкие брови, и это действовало, как на собак тяжелый остол. Об этой женщине моряки говорили на зимовке с уважением.

Утром, чуть рассвело, Коннов был уже у борта младшего флагмана, куда перетаскивал в экспедиционную кладовую продовольствие с фактории. На полпути к кораблю от фактории Коннов взмок и даже снял с себя олений малахай. Коннову стыдно было признаться в своей слабости перед женщиной, которая далеко опередила его, неся на высоких пле-

чах мешок с продовольствием. Коннов совестился крикнуть ей, чтобы она остановилась и дала бы ему передохнуть. Он чувствовал, как его ноги деревятели и наливались непреодолимой тяжестью. А женщина шла вперед, изредка оглядываясь и подбадривая его певучим голосом.

На флагмане обещали Нилиной сделать железную печку с трубами, чтобы можно было отеплять палатку. Каждое утро Коннов должен был проверять исполнение работы и не мог этого не делать, потому что в полдень, когда видела за обеденным столом с Нилиной, она неизменно спрашивала его об этом. Временами восторг Коннова перед женщиной вдруг переходил в беспричинную злобу. Это случилось каждый раз, когда ему казалось, что она думает повелевать им.

Коннов рос мальчишкой без воспитатель и мамок, в ленинградском торговом порту. Отец его много лет кряду ходил боцманом на одном и том же ледоколе «Ермак».

— Гад я буду, если из тебя не сделаю капитана, — говорил отец сыну, поучая ремнем за шалости.

Коннов кончил мореходку и ушел в полярное плавание из Владивостока дублером-штурманом на флагмане-ледоколе. Боцман оказался прав. Коннову немного оставалось, чтобы получить звание капитана дальнего плавания.

В пять лет он писал вслед за товарищами мелом озорные слова на заборах, так он учился первой грамоте. Мальчишка, который ухаживал за какой-нибудь девчонкой, угощал ее подсолнухами или ирисками, водил в кино, назывался «девичий попзик». Это была никому неизвестная, но беспредельно презрительная для мальчишка кличка. И вот сейчас, через четверть века, Коннов вдруг боялся стать этим «девичьим попзиком». И глухая злоба овладевала им.

Коннов отвергал эту ребяческую философию каждый раз после того, как Анна Павловна подходила к нему с ласковым словом и заставляла делать все, что ей казалось необходимым для подготовки предстоящей дальней экспедиции на собаках.

IV

Ночью пурговало, но утро вставало ясное и морозное, скользя лучами по свежей пороше. Занесенные снегом, спали у борта ледокола, возле нарты, собаки Коннова. Его каюр Умка, что значит почукотски белый медведь, подошел к собакам и раскидал их крепкими ударами ног. Они отряхнули от снега свои пушистые шубы, вытянулись на передних лапах, сладко позевывая, потом лизнули снег и уселись снова возле нарты. Вот одна, подняв высоко морду, вдруг завывала тонким, жалобным голосом, который напоминал плач ребенка. И вслед за ней заплакали и остальные. Собаки выли в двенадцать глоток, поднимая глаза к просветлевшему небу. Умка принес с ледокола ведро, где было нарублено нерпячье сало, и стал кидать его собакам. Те, высоко подпрыгивая, жадно хватили на-лету куски сала и, не прожевывая его, глотали проворно, чтобы успеть поймать следующий кусок. Умка называл по имени каждую собаку, которую бросал сало. Голодные, они не соблюдали очереди, не желали повиноваться хозяину. Каюр свирепо угукал на них. Собаки боялись этого угуканья и отходили от ведра, злобно оглядываясь. Чем меньше оставалось в ведре звериного сала, тем спокойнее становились собаки.

Это была последняя кормежка на Певеке.

Умка туго увязал нарту, где находились корм для собак и людей, спальные мешки — кукули — из шкур дикого оленя.

Жизнь моряка подолгу отрывала Коннова от семьи. В разлуке Коннов редко тосковал по дому. Он быстро свыкался с новой обстановкой и новыми людьми — своими соплавателями. Но самый момент расставания с близкими всегда тяготил его.

Он помнил ночь, когда уходил из дома в Колымскую экспедицию. Уже стоя у дверей квартиры, в новом кителе с золотыми галунами, ему захотелось напоследок еще раз взглянуть на сына, запечатлеть его лицо. Коннов уезжал на четыре месяца. Но Полярное море могло

вадержат его на год и на два в ледяном плену. И вот захотелось еще раз попрощаться с сыном. Коннов вошел в комнату, где на детской кровати безмятежно спал его Коленька. Мальчик знал о том, что отец уезжает на Север, и очень просил не уезжать далеко. Коннов смотрел на сына и, когда подумал, что, быть может, видит его в последний раз, то вдруг загрузил непреодолимо, сдвинул брови и заторопился из комнаты. И часто потом с глубокой любовью вспоминал детскую кровать, раскинутые на подушке розовые руки и золотые вихры сынишки.

Коннов уходил с ледокола. Партийная дисциплина обязывала его подчиниться решению бюро — выехать с места зимовки с важным пакетом в Москву.

Что ожидало Коннова впереди?

Старый моряк со шхуны «Метель» рассказывал Коннову еще недавно о зимовке на острове Диксон. Там встретил старый моряк человека с обезображенным лицом. Вместо носа у него торчал лишь хрящ, и кожа всего лица, будто обожженная, была тонко-прозрачной, коричнево-красной, вся в складках, морщинках, словно кожа печеного яблока. Этот человек, носивший на плечах голову со страшной маской, был еще недавно красивым и сильным мужчиной. Вечером за чаем он показал «метельцам» свою прошлогоднюю фотографию. С любительского снимка на них смотрел крепкий человек с резкими, но красивыми чертами лица. Он поведал зимовщикам свою печальную историю.

Это было перед Новым годом. Двое зимовщиков с острова Диксон, взяв упряжку в двенадцать собак, поехали по пастикам проверять песцовые ловушки, не попался ли где пушистый зверь. Коварная пурга налетела неожиданно, закружила, перемела дорогу и вдруг стала сплошной стеной перед путниками. Умные собаки вывели нарты к промывочной избушке. Люди прыгнули с нарт, распрягли собак, бросили им несколько кусков нерпы и вошли в низкий бревенчатый домик с крошечными оконцами бойницами.

Снег валом-валил несколько дней подряд, заметая избушку по самую крышу.

Голодные люди съели самую слабую собаку из упряжки, а другую скормили псам. Головной «Баской» отказался есть собачину и понуро сидел возле избы, часто подвывая.

Пурга не унималась. Пурговало одиннадцать суток. Весь промысел, собранный во время объезда пастей, был съеден людьми и собаками. Люди ели песцовое мясо, а собаки — ценные песцовые шкурки.

Когда наконец стихала пурга, зимовщики попытались выбраться из избушки, но ураганным ветром их далеко отнесло назад. Они снова вернулись в свою темницу и два дня питались накрохой — кусками старого рубленого мяса белого медведя. Накрохой приманивали пса к пасти-ловушке.

Когда ветер стих, зимовщики тронулись к радиостанции Диксон, но вдруг пурга замела снова. Звеня, будто разбиваемым стеклом, передвигался сухой снег, гонимый ветром по тундре. Снег ложился волнами, застругами, словно песок в пустынях. Тогда решили зимовщики отпустить измученных собак, обрубили стантовую су, собаки побежали вперед в постромках и сразу скрылись в белесой тьме. Это сделали, понадеясь, что обессилевшие собаки придут одни без нарт на Диксон и приведут за собой людей на помощь к пурговавшим. Но не прибежали собаки на Диксон, все до одной погибли неведомо где в злоеющей метели.

Не успела еще стихнуть пурга, как на радиостанции уже запрягли собак для розыска пропавших товарищей. Как вдруг заметили на мысу человека, который шел к ним, падая и вставая. К нему выехали навстречу. У человека были отморожены пальцы рук и ног. Его товарищ не мог идти и ползал неподалеку в снежной яме: меховая шапка его обледенела, и длинные сосульки свисали с опушки малахая. Ворсинки меха пристыли вместе со льдом к занемевшим и ничего не чувствовавшим щекам. Этот человек, гундося, рассказал морякам свою печальную повесть.

«Что расскажу я о себе после езды на собаках и расскажу ли когда-нибудь?» — думал Коннов.

В его тесную каюту в последний раз пришел Гуров.

— Так вот тебе пакет, он засургучен пятью печатями, я завернул его в клеенку. Так что если твои нарты и провалятся в наледи горной реки, то все равно пакет будет сух. Береги его лучше самого себя! — наставлял Гуров. — А коньяк с собой ты все-таки возьми!

— Я не пью, — сказал Коннов.

— Какой же ты моряк, если в дороге не выпьешь! Ну, а если ознобишься в пути? Коньяк, он поможет! От него сразу станет жарко. Ты им не пренебрегай, корешок!¹⁾

— Спасибо, не надо, — сказал Коннов. — Я и так как-нибудь доеду!

— Ну, смотри же доведи пакет, — сказал Гуров. — Дело очень важное. Мы пишем о том, как следует нам помочь на будущий год, когда начнется полярная навигация, и тут еще ряд сведений. А ты все-таки того, если будешь мерзнуть, помни, что у Нилиной в аптечке есть спирт — два банчка. Мы ей скажем, она тебе даст, не стесняйся! — говорил на прощанье Гуров.

Все зимовщики вышли провожать отъезжающих. Когда отгремели приветственные выстрелы провожавших, нарты были уже за Певеком.

День назад Коннов вместе с Нилиной готовили пельмени в доме фактории, начиняя их обильно луком, перцем и чесноком, смешанными с жирной оленьей. А теперь эти пельмени мерзлыми катышками лежали в мешке за крадкой²⁾ нарты Коннова. Он смотрел на широкую спину своего каюра Умки, и она действительно была похожа на медвежью. Умка сидел в белой пыжиковой двойной кухлянке, подвязанный белым пушистым шарфом. Рукавицы его были также белые. Он сделал их из лапок оленя. И такие же ослепительные конайты облегли его сильные ноги, обутые в лапковые, мягкие торбазы. И он гордился своей одеждой. В ее белизне была какая-то торжественность, и Умка чувствовал это.

Только с места рванули собаки, что есть силы. Но как только скрылись из

виду черные острогрудые корабли и дом фактории Певек, присмирели вдруг собаки и пошли шагом, понукаемые каюрами.

За Певеком долго шли люди в гору позади нарт, тяжело перебирая ногами по снегу.

Солнца не было видно в Певеке из-за гор. Оно совершало свой путь где-то за горами, посылая оттуда неяркие лучи. Первая ночь наступала в обычном звездном наряде, без луны. Временами небо вспыхивало огнями полярного сияния. Эти вспышки затмевали звезды. Коннов всматривался в непроглядную даль и едва различал силуэты гор, которые предстояло переваливать в ближайшие дни.

Земля мертва и закрыта неровно снегами. Местами ее лишь чуть запорошило, это там, где были сильные выдувки, где ветра уносили весь выпавший накануне снег.

Люди бредут по глубокому снегу — уброду. Они едва вытаскивают ноги из податливого настила тундры. Собаки совсем потонули в снегу, только видны их голыши с высунутыми языками да поднятые вверх хвосты. Они покручивают ими, помогая своему движению по глубокому снегу.

Коннов шел вперед и «делал дорогу» собакам, и по его следу они шли легче и ровнее. Каюр Умка, шедший позади нарт, хвалил его, говорил: «меченьки» — хорошо. Сам Умка помогал собакам тащить тяжело груженные нарты, он подталкивал их сзади. Но грипп обессилил Коннова, он быстро утомлялся и часто присаживался на нарту. Перед отъездом из Певека он видел себя в большом зеркале в доме фактории. Моряк похудел, стал, словно мальчик, и чувствовал себя другим человеком.

«Но как же чувствует себя Нилина?» — подумал Коннов.

Он обернулся и увидел ее за нартой. Она помогала тянуть поклажу в гору.

Нарты выкатились на место выдувки, где снег был подметен могучими ветрами и так прибит, будто укатанный машинами гудрон. Собачки бежали по бездорожью тундры. Можно было ехать из Певека берегом моря до бухты Амбарчик, до мыса Медвежьего по избам-по-

¹⁾ Товарищ (по-морскому).

²⁾ Задок.

варням, как ездили встарину казаки и купечество. По морскому берегу осталось от старых времен пять или шесть таких изб. В них должны быть камельки. Избы срублены возле плавниковых мест, куда море выбрасывает лес-наносник, вынесенный сибирскими реками. Но, если захватит пурга на берегу моря и придется отсиживаться по поварням, иссякнет корм для собак и для людей, и все погибнут от голода в этом безлюдьи. Тундрой ехать дольше, но там должны встретиться кочевые чукчи, оленеводы-чаучу.

Нигде не видать чукотских яранг, и каюры-чукчи напрасно тянут носом по-звериному, ищут знакомые запахи дымных жилищ кочевников. Первая ночь застает людей в открытом, незащищенном от ветров месте. Чуть шевелится по тундре снежная осыпь, мелкая, словно крупа. Она передвигается с каким-то стеклянным хрустом.

У

Нарты выезжают неожиданно снова на морской берег и скачут по неровному льду между высокими торосами, отбивают барабанную дробь тонкие деревянные полозонины. Собачий поезд еще в Чаунской губе, но на другой ее стороне, на западной. Нарты уже пересекли обледеневшую губу.

Ветер сметает снежную пыль с моря и тундры. Снег струится вперед, на запад, куда движутся люди. Вскоре в снежном потоке Коннов перестает различать ползущую впереди нарту. Каюры выводят собак за мыс, под которым будет защита от снежных шквалов. Здесь люди пережидают пургу. Когда раз'яснело, каюры достают из-под снега плавник и разжигают костер, чтобы сварить чай. Мерзлый плавник горит, сердито шипя и плюясь.

Далеко в море где-то ухнуло. Очевидно, ветром разломало большое ледяное поле недалеко от берега. Чукчи настожились, подняли головы, перестали пить чай, прислушиваются к отдаленному гулу.

— Котятка ухает, — сказал каюр грузовой нарти Рамнуун, лучше других говоривший по-русски.

Он подбросил плавник в потухавший костер, как вдруг снова застонало в море.

— Это котятка кричит! — еще раз сказал Рамнуун.

Все повернулись к говорившему.

— У-у-у-у... слышишь... кричит, как человек! Вот мы к Дежневу о прошлый год под'езжали, слышим тоже, кричит в море человек. А мне товарищи и говорят, это — котятка! Сей год тоже чукчи слышали котятку у Рыркарпия.

— А какая она из себя? — спросила Нилина.

— Худая, худая, страсть, какая худая, но все может с'есть, и даже человека, если доспее.

— А большой зверь-то? — спросила Нилина.

— Однако с медведя будет или больше. Ноги черные, а сама белая, шерсть медвежья, голова медвежья, а кто говорит, и человечья. Кричит, как человек, ухает, у-у-у-у-у.. По морю сильно голос ее раздается. В прошлом году у Айона острова закричала котятка, а летом в том месте трое чукчей утонуло. Пошли промыслять нерпей и моржей, подул вдруг сильный запад, поднялась большая волна, байдару и захлестнуло однако. От котятки, или так погибли чукчи, неизвестно, — сказал Рамнуун.

— А ты сам видел котятку? — спросил Рамнууна молодой каюр Рольтыргин с нарти Нилиной.

— Я-то не видел, но слышать слышал, как она кричит. Однако опять южный ветер подул, — перевел разговор старый чукча, потягивая дым из самодельной трубки. — Южный ветер тутюка до той поры жилится, пока север его не прогонит, — сказал Рамнуун.

— А кто тебе говорил, что это котятка кричит с моря? — спросил снова Рольтыргин.

— Акко говорил с Рыркарпия, — ответил старик.

— Акко твой—кулак и шаман, зачем ты ему веришь? — сказал старику Рольтыргин. — Он нарочно запугивает тебя разными сказками, чтобы ты больше его боялся.

— А чего мне бояться его? — сказал Рамнуун. — Акко мне не враг! Он доб-

рый человек. Когда я у него гостил на Рыркарпии, он меня угощал спиртом и положил спать вместе со своей женой. Я у него трое суток прожил.

— А сколько ты песцов ему отдал за спирт? — спросил Рольтыиргин.

— Зачем ему брать с меня песцов, когда у него свои пасти по всему берегу расставлены и капканов тридцать штук.

— Зачем хитришь, старик? Не хитри, а скажи правду! Обманул тебя Акко с Рыркарпии!

Рамнуун набил трубку табаком, прикурил от уголька и отвернулся в сторону. Старик не желал больше говорить.

Южный ветер принес с собой пургу. Вторые сутки уже пурговали люди за мысом. Чукчи уменьшили порции нерпячьего мяса собакам, и они были подолгу ночами, когда людям хотелось спать. Спальные мешки обледенели внутри и снаружи и покрылись тонкой, ломающейся, как стекло, студеной ледяной коркой.

Вот уже трое суток пришли к концу, а пурга не унималась. Корм был на исходе. Со всех нарт можно было собрать собакам еще на две кормежки.

— Однако, нам до чаучу не доехать с нашим кормом, — сказал Рамнуун. — Мы захватили собакам корм до встреч с первыми чаучу. А вот уже четвертый день в дороге, а чаучу нет. Собаки обессылят и пропадут голодом. Надо поехать к шаману, он недалеко тут живет на берегу. Надо просить его пошаманить, чтобы моржа нам помог упрямлять.

— Как же он поможет, когда лед кругом стоит, не шевелится и нигде не видать разводий! — сказал Рольтыиргин.

— Все равно, он моржа достанет, на то он и шаман! — сказал Рамнуун, снимая малахай и волчьих лапковые рукавицы, чтобы почесать засвербевшую голову. Волосы, черные, как смоль, несмотря на старые годы Рамнууна, густо закрывали голову чукчи. Морозом охватило потную голову каюра, она заиндевела и сразу стала словно седой.

— Трудно со стариками спорить, — сказал, обернувшись к русским, Рольтыиргин. — Дурачат стариков шаманы. Послушай, Рамнуун, не станет шаман да-

ром шаманить! Он возьмет у нас весь табак, весь чай, а моржа не достанет, обманет!

— Не достанет, ничего не дадим ему! — поддержал Рамнууна Умка. — Надо ехать к шаману, а то пропадем здесь голодом вместе с собаками.

Чукчи тронули караван вперед на поиски яранги шамана.

До него оказалось недалеко. Заслышав лай собак, шаман вышел навстречу приехавшим и приветствовал их обычным возгласом: «Е-этти!»

Чукчи рассказали быстрыми, как горный ручей, словами о своей беде, и шаман согласился помочь чукчам, если они соберут ему из четырех нарт одну нарту груза.

— Я тогда вам к вечеру достану большого моржа.

Чукчи согласились.

— Я вам приведу его в ярангу, — сказал чукчам шаман.

Люди переглянулись от удивления. Досамого берега стоял сплоченный, торосистый, крепко смерзшийся лед. В таком льду не мог показаться зверь, и чукчи думали о том, откуда же все-таки приведет шаман моржа.

Наступил вечер. За ярангой все еще мела пурга. Свернувшись клубком, спали голодные собаки. Перед сном они наелись лишь одного снега. Второй день они не видели ни мороженой крови зверя, ни вонького нерпячьего мяса.

Вечером шаман пришел в полог.

— Я сейчас потушу жирник, и в пологе станет темно. Вы не бойтесь! — сказал чукчам шаман. — Потом начну шаманить, и вы услышите ветер за ярангой, и вода будет бить в стены полога. Услышите за ярангой крик моржа. Я пойду и приведу к вам его. Только вы сами должны будете стрелить его.

— Вы слышите? — спросил чукчей Рамнуун.

— Слышим, — сказали чукчи.

— Ну как? — спросил чукчей Рамнуун.

— А как ты?

— Я однако испугаюсь, — признался старик.

Умка предложил подождать до следующего дня.

Моряк Беда-Беденко, ехавший вместе с Нилиной и Конновым, бурно досадовал на каюров:

— Ну, придет ваш шаман, станет бить в бубен, но зверя-то вам он только посулить, а не достанет, обманет, и больше ничего! Только время проведем, а собаки хуже того обессилят!

— А так что же поделаешь? Чем же собак прокормишь? Иссушились-то собачки! Скоро однако совсем полягут! — хмуро ответил старик Рамнуун, выщипывая несколько длинных волос, составлявших всю бороду чукчи.

— Мы собакам отдадим пельмени! — сказал Беда-Беденко каюру.

— Беденко, не спорь с Рамнууном, здесь он — капитан, что хочет, то и делает, мы с тобой — только пассажиры, да на пельменях далеко не уедешь. Ведь их, собак, целая полсотня! — успокаивал Коннов Беденку.

Рамнуун достал из мешка пару запасных перпячьих конайт, разорвал их на куски и дал понемногу каждой собаке своей упряжки. То же сделал и каюр Умка. Собаки, рыча, с жадностью набросились на звериную кожу.

Наутро приехал к яранге знакомый Умке олений чукча Иулькют. Увидав Умку, он радостно крикнул:

— Каккумэ! Умка!

«Каккумэ!» Это возглас удивления по-чукотски. Иулькют не ожидал здесь встретить Умку с мыса Певек. Умка рассказал Иулькюту о бедственном положении каюров и про обещание шамана достать моржа за нарту груза.

— Попробовать можно! — сказал Иулькют. — Бояться нечего! Он вам приведет моржа. Это верно! Все, что сказал, все сделает! Жирик погасит. Станет темно в пологе. Услышите за ярангой шум моря, крик моржа возле себя. Стрелите в зверя. Увидите его кровь. Услышите его запах. Разрежете его жирную тушу. Большие куски бросите голодным собакам и сами много поедите мяса. Но я так думаю однако, что собаки вас не доведут до чаучу и сдохнут в пути от голода. И напрасно вы отдадите шаману много товара. Шаман пустое место обратит в моржа, и пустым местом вы будете кормить собак и себя. Жирные куски по-

едят ваши собаки. Большие раздуются у них животы. Но все это будет попустому. И зря вы отдадите ему нарту груза. Я взял с собой в дальнюю дорогу двух запасных оленей. Они иссушились и плохо везут. Они старые, я продам их вам на мясо за чай и табак. Мне не надо столько товара, сколько шаману. Я отдам их вам за три кирпичика чая и за три связки черкасского табаку. И мы вместе поедем к чаучу. До них отсюда недалеко, я знаю, где здесь ближее стойбище. Если с утра поедем, то как-раз при луне найдем их яранги. Только ничего обо мне шаману не говори, — сказал Умке Иулькют.

Каюры, собравшись возле костра, долго толковали меж собой.

— Ну что же? — спросил шаман вечером гостей.

— Однако не будем шаманить, — ответил Рамнуун.

— Не хотите, ваше дело! — обиделся шаман.

Получив от проезжего чаучу его оленей и досыта накормив собак, каюры тронулись в путь.

VI

Взрывающий пушистый снег, повеселевшие собаки несутся на запад вместе с нартами. Чистое небо горит яркими звездами. Чукчи выехали до рассвета.

— Тынэуи! — говорит Рамнуун во время остановки для выданья¹⁾ нарт.

Тынэуи — это начало зари, когда меркнут звезды, поднимается предутренний ветерок и чуть виднеются белые полосы над горизонтом. Тынэуи — это предутренний ветерок, который прогоняет темноту и тянет за собой свет. Тынэуи, — этим именем зари зовут многих девушек на Чукотской земле. Тынэуи — самое красивое женское имя на Чукотке.

Рамнуун рассказывает, что по-чукотски есть шесть наименований зари.

— Вот смотри, — говорит Рамнуун Коннову, — тынэуи уже пропал, сейчас куутынаэ — немножко стало светлее,

¹⁾ Смачиванье полозьев водой на морозе для лучшего хода.

предутренний ветерок стих, и ярче белая полоса над горизонтом.

А вот пропала и куутынаэ. Наступила нытотын-тоты-лякэн, ночь уходит, с востока загорается день, а на западе еще ночь.

А это тантотын-тоэ,—уже светло кругом, заря захватила все небо.

Горит заря, самые нежные шелка не смогут передать красоты озаренного чукотского неба. Коннов зачарованно смотрит на ласковые полутонны зари.

Эргер'оэ, — заря пропадает, гасится ее необычайные краски.

Тан-эргер'оэ, — стало совсем светло, скоро взойдет солнце, заря погасла.

«Только на языке народа, который так близок к природе и так любовно ее наблюдает и примечает, заря может иметь столько наименований», — думал Коннов.

После небольшого привала снова несутся вперед собаки. Напрасно Рольтыиргин кричит: «Поть-поть!», чтобы собаки взяли вправо. Собаки не слушаются каюра. Они что-то учуяли недалеко от себя и мчатся, как одурелые. Наконец Рольтыиргин догоняет нарту и валит ее на полном ходу. Нарта опрокинута, и собаки остановились, как будто перед стеной. Передовые псы высоко подпрыгивают, пытаясь оборвать алыки, которыми привязаны к потягу нарты. Морды собак вытянуты, ноздри трепещут. Рольтыиргин подходит к передовым и несколькими ударами остола успокаивает ослушавшихся. Он ставит нарту на полозья, берет собак, словно котят, за загривки и тащит туда, где, по его мнению, должна быть верная дорога. И собаки послушно, друг за другом, рабски стелаясь брюхом по снегу и становясь меньше, покорно ползут за каюром, тихо повизгивая в ожидании новых ударов. Но Рольтыиргин щадит собак. Он знает, что ему предстоит проделать на них большой путь до самой Колымы и вернуться обратно к Певеку. Это будет нескоро. Быть может, пройдут две или три полных луны, а Рольтыиргин еще не увидит своей яранги на Певеке. Еще нескоро увидит свою неужку — жену, юную помощницу и друга. Отец ее,

Кляуль, был шаманом, и от него она унаследовала веру в чертовщину, с которой борется Рольтыиргин. Один американец, приезжавший к ним в селение за пушниной на своей шхуне, рассказал чукчам о том, что чорт, живший у него в трюме, убежал под утро на волю и может надеть много бед на Чукотской земле. Тогда шаман Кляуль собрал чукчей и рассказал им о том зле, которое приносят на Чукотскую землю дымящие большие байдары белых «ненастоящих» людей. Американец обещал чукчам, что он попытается изловить чорта, но просил у них за это хорошую плату песцами. Он обещал поделиться с шаманом, и тот поддержал его предложение. Чукчи согласились принести с каждой яранги по одному песцу. Тогда американец поставил клетку на верхней палубе шхуны, а сам уехал на собаках загонять чорта в клетку. Он гонял его шесть дней, на седьмой клетка вдруг исчезла с палубы шхуны, и в тот же день в селение вехали на измученных собаках американец с шаманом. Они объяснили, что загнали чорта в клетку, но тот с такой силой бился, что опрокинул клетку за борт и вместе с нею сгинул в море. Американец дал шаману долю за услуги и сам вскоре снялся с якоря.

Чорт по-чукотски «кейли», и о нем часто говорят каюры. О кейли Рольтыиргин много слышал от матери. И дети Умки засыпают под рассказы о чертях. По мнению Рамнууна, много чертей ласется в тундре.

Коннов говорит Умке, что кейли уйна! Нет! Черти — выдумка шаманов, царских купцов-обманщиков, чтобы запугать тундру и больше брать с нее пушнины. Умка слушает Коннова всегда внимательно. Чукча любит разговоры, но он не вникает в слова Коннова, он думает по-своему. Конов замечает, что Умка смотрит на него, на Нилину, на Беду-Беденко с какой-то снисходительностью. Русские мало приспособлены к борьбе с холодом, они быстрее чукчей мерзнут на ветру, они не могут так долго пробежать за нартой без отдыха, как быстроногий Умка. И чукча смотрит на русских, как на детей, и по-своему жалует их.

Умка недавно схоронил мать. На Певеке все знают о том, что он задушил старуху по ее же просьбе, но об этом не говорят. Это — великая тайна Чукотской земли. Никогда ни один русский не видал, как душат чукчи своих престарелых родных. На великое таинство не допускаются даже молодые или средних лет чукчи. Только старые, известные в округе чукчи-охотники могут присутствовать при обряде удушения.

Каюр нарты Нилиной — на вид совсем еще мальчик, хотя ему уже двадцать лет. Его зовут Рольтыиргин, по имени сказочного героя Чукотки. Рольтыиргин едет впервые в далекое путешествие. Он слышал от старых чукчей на Певеке, что если ехать далеко на запад, за камень, через горные перевалы, то встретишь большую реку и на ней высокие дрова. Они не лежат, как на морском берегу плавник, а растут из земли. На этих «дровах» игольчатая, клейкая шерсть, она пахнетпряно, лучше нерпячьей ворвани и ароматнее мшистой тундры.

Рольтыиргин — комсомолец. Однажды, когда в Певеке стал на зимовку первый в этом крае пароход и когда Рольтыиргину не было еще и пятнадцати лет, один из кочегаров объяснил ему о классовый борьбе простыми словами, рассказал о Ленине, который умер за новую жизнь. Поведал моряк Рольтыиргину об Октябре, о Сталине, который руководит теперь всей жизнью на Большой земле. Моряк научил молодого чукчу грамоте за одну полярную зиму. Молодой чукча ходил с моряком часто на охоту и научил его метко набрасывать на летящих уток закидушки и сторожко подстерегать нерпу, выступающую из ледяной лунки, чтобы подышать свежим воздухом.

Он научил моряка защищаться от холода, спать в тундре без палатки, без спального мешка, и не мерзнуть от холода, зарывшись в снеговой яме.

Рольтыиргин с раскрытым ртом слушал всегда моряка. Он с восторгом внимал его рассказам о больших городах, где без собак и оленей движутся целые поезда нарт на колесах, круглых, как солнце. Он силился представить себе высокие яранги неведомых русских

городов, где так тесно жить людям, что яранга стоит на яранге, где по десять и больше яранг стоят друг на друге и не падают и в каждой много людей. Моряк показал ему старые журналы, где под гром барабанов шагали друг за другом в красных гастуках под ослепительными лучами жаркого солнца пионеры с жожаками-комсомольцами. И захотелось Рольтыиргину одеть такой же красный галстук, как у пионеров с картинки. Моряк сделал молодому другу из куска сатина, лежащего в шкафу, в судовом красном уголке, много галстуков и сказал:

— Мы снимемся с зимовки уже тогда, когда ты, Рольтыиргин, научишься читать по-русски, станешь грамотным. Вот я оставлю тебе много галстуков и устав комсомола, я растолкую тебе его, а ты подбирай ребят к себе в организацию. Ты будешь не один! И тебе легче будет справляться с чертовщиной, которую проповедуют здесь шаманы и кулаки.

Пришла весна, а с нею и штормы ураганы. Они разломали ледяной покров моря у берегов. Море вскрылось сразу большими полыньями, и Чаунская губа очистилась вскоре ото льда. Пароход ушел далеко на восток, вместе с моряком, которого так полюбил, с которым сдружился Рольтыиргин — первый комсомолец на Певеке.

Рольтыиргин уважал Умку за его опытность, за хорошее каюрство и меткую стрельбу. Умка был лучшим охотником на Певеке. Рольтыиргин часто помогал старшему чукче войдаты полозя нарт и даже кормил его собак, когда Умка был занят другой работой. Зато Умка, видя, что у Рольтыиргина нет спального мешка, давал молодому каюру свою верхнюю кухлянку. Коннов видел, как однажды Умка подарил комсомольцу свои запасные рукавицы из волчьих лапок. Умка был далек от стяжательства и не дорожил собственностью. Кроме вытертых от времени конайт и жиденькой одинарной кухлянки из дикого оленя, да нерпячьих торбазов, в которых стыли ноги молодого каюра, ничего не было у комсомольца-чукчи. В отличие от всех чукчей на Певеке Рольтыиргин не курил. Но любил зажигать спички для того, чтобы развести костер. Всякий

раз, когда спичка, чиркнув по коробку, вдруг вспыхивала ярким светом, Коннов замечал в черных глазах молодого чукчи радостный, торжественный огонек.

Нилина подарила Рольтыргину несколько коробков спичек, и радости чукчи не было конца. Он называл свою спутницу:

— Меченьки! (Хорошая.)

И Коннов вторил Рольтыргину:

— Меченьки Нилина!

Нарта Нилиной шла предпоследней в караване. Последней нартой с Рамнууном шел груз продовольствия, который люди везли с собой. Там был чай, табак, немного круп и котлеты.

Не первую ночь люди проводили под открытым небом. Люди спали в мешках-кукулях, сшитых из шкур дикого оленя. Они хорошо грели, но все же ветры и морозы были сильнее их. Коннов просыпался от холода и с трудом расправлял онемевшие, простывшие, будто чужие, плечи.

Нилина уже возле костра. Она держит в правой рукавике сковороду, на которой шипят в масле потемневшие от огня котлеты. Вкусный аромат щекочет ноздри. Пурга за ночь стихла. Не узнать того места, где люди остановились недавно на дневку. Будто машиной здесь выравнили снега. Он хрустит под ногами и чуть потрескивает, лопааясь от нажима ступни. В тундре холоднее, чем у берега моря.

Коннов осматривается кругом, нигде не видать ни зверя, ни человека. Слозно обезлюдела планета. Дорога, которую проложили нарты от Певека до безымянного места последней стоянки, уже заметена пургой. Дорогу заровняло снегами, укатало, прибило ветрами.

Пурга спрятала жизнь тундры. Замела следы жизни на ее белом полотне. Быть может, здесь, где остановились на дневку нарты, где воют в ожидании корма собаки, где высоким пламенем горит костер из карликового тальника и возле него сидит на корточках Нилина, проходило стадо диких оленей в поисках ягеля, или пробегал, будто припадая на передние ноги, пушистый песец, учуяв где-то падаль. Но упрятались все следы

под снегами, и Умка ничего не рассказывает сегодня Коннову. Каюр занят собаками. Он угукает на них, и, получив свою порцию мяса, они отходят подальше от человека и друг от друга.

Люди пьют чай из эмалированных кружек. К холодному металлу прилипают губы, а горячий чай из той же ледящей кружки жжет преобладающе язык. Торопливо, обжигаясь, люди пьют ароматный и крепкий чай. Его немного в продовольственной нарте.

Люди глотают, заливая чаем, куски мороженого масла. Так советует меченьки Нилина. Теплее будет ехать после такого завтрака. Люди грызут сухари, высушенные еще на камбузе ледокола. Там, в Певеке, сейчас кипит жизнь. Моряки кончают засыпку шлака между бортами и пришитым к ним тесом, утепляют свои помещения.

Еще за много недель до того, как льды не пропустили корабли из Полярного моря на восток, старший штурман и старший механик ледокола решили сберечь шлак из коцегарок и насыпали его на верхнюю палубу. Они не позволяли его выбрасывать за борт в студеное море. И теперь шлак пригодился морякам.

Проскрипели уже нарты в Певеке с утра на пресное озеро за льдом для утреннего чая. И повар готовит обед, забрасывает в огромный чан начищенную камбузником хваченную морозом розовую картошку и сушеные овощи. Возле камбуза облизывается в предчувствии скорой еды большой и ленивый корабельный пес. Его нелепо зовут «Пятак». Услышав свое имя, он лениво поднимает сонные глаза и смотрит на человека, который позвал его, смотрит безучастно, ничем не заинтересованный. Но, если ему протянуть кость, на которой краснеет мясо, «Пятак» вдруг просыпается и поднимает острую морду.

В последние дни перед отъездом собачьих нарт из Певека на Колыму «Пятака» не было, как обычно, возле камбуза. Пес пропал где-то. Буфетчик сказал Коннову, что «Пятака» решили использовать как тяговую силу по подвозке льда с пресного озера. Это не понравилось псу, и после двух дней дрес-

сировки он убежал по следам, проделанным чьими-то нартами к ярангам мыса Шелагского. Так пес напугался при мысли о трудовой жизни, так обленило его море, где он просиживал недвижно на корабле возле сладко пахнувшего камбуза. Лишь изредка прохаживался пес по палубе, приводя этим в восторг свободных от вахты моряков, следивших с интересом за его важной прогулкой на свежем воздухе.

Вымазанный в угольной пыли, черный, лохматый и добродушный, проходил пес мимо моряков не задерживаясь, а те хохотали над ним, единственным бездельником на судне. У мыса Медвежьего во время долгой стоянки моряки сбросили раз «Пятака» с борта. Купанье не пришлось по вкусу ленивому псу. Бедняга поплавал в соленой воде, пока его не подобрала вернувшиеся с берега на шлюпке матросы. Один раз его взяли с собой грузчики на берег. «Пятак», радостно подвывая, приближался к земле, от которой доносились раздражающе-приятные запахи; их не забыл «Пятак» за пять месяцев плена на корабле.

Выпрыгнув из шлюпки на каменистый берег, «Пятак» понесся по галечному настилу. Он перемахивал через высокие защищенные льдом бревна плавника, принесенные сюда издали, с верховьев Колымы и ее многочисленных притоков. Пес обтер мохнатую и грязную шерсть, выкатавшись в пушистой пороше. И, когда он вернулся на ледачок, моряки не узнали его в праздничной, побелевшей, как у песка, шерсти. Моряки снова прониклись к нему уважением, но ненадолго. Потому что пес в тот же день принял прежний грязный облик, он вывалялся в угольной пыли.

VII

Меченьки Нилина захватила с собой в дорогу небольшую банку кислой капусты с парохода и с охотой ела хрустящие под зубами, застекляевшие от мороза дугобразные жилистые листья. Нилина много говорила о том, сколько витаминов содержится в капусте и как полезна она на Севере полярной ночью,

когда приезжего человека караулит цынга.

Коннов шел за Нилиной и слушал ее разговор с каюром. Рольтыиргин рассказывал ей о новой жизни на берегу Ледовитого моря. Каюр говорил неужке Нилиной о том, что на Певеке мало книг и что молодые чукчи хотели бы узнать, как живут далеко от них на Большой земле русские люди, и больше узнать о Ленине и Сталине.

— Вот довезешь меня до Колымы, получишь тогда в подарок много книг. Столько дам, сколько увезут твои нарты, — говорила молодому каюру Нилина. — Там, в избе знакомого якута, сложена моя дорожная библиотечка, которую я оставила во время своих скитаний. Я дам ее тебе для Певека.

В глазах Рольтыиргина вспыхивает огонек. Он появляется у Рольтыиргина при сильной радости или гнев. Только по-разному горят тогда эти огоньки. Вчера, когда задняя в упряжке собака не желала туго натягивать алык, а бежала, «не работая», Рольтыиргин долго учил ее своим приколом-остолом. Но собака не слушалась разъяренного каюра. Рольтыиргин часто соскакивал с нарт и с визгом и чукотскими ругательствами бил собаку остолом, и в исступлении захватывал острыми зубами край остола, и грыз его, как голодные кони свои пустые кормушки.

Рольтыиргин шел рядом с Нилиной и, размахивая руками, жарко рассказывал Нилиной о том, что остающиеся в Певеке на зимовку моряки обещали построить до своего ухода из зимовочного теса Дом просвещения для береговых чукчей. Он говорил о том, что будет первым заведующим этим Домом просвещения, что моряки обещали Рольтыиргину подучить его лучше грамоте за зимовку, когда он вернется с обратными нартами на Певек с Колымы.

— А через год-другой я поеду в Хабаровск, — говорил Рольтыиргин. — Там есть, говорят, большая школа для северян. Специальная школа!

Рольтыиргин знает такое слово, как «специально», и еще много неожиданных слов знает молодой и пытливый чукча.

Нилина восторженно смотрит на своего каюра.

Темно. Не видно впереди контуров гор. Кажется, что в пяти шагах от нарта кончается земля. И небо, и горы, и тундра — все слилось в вечерней полутьме.

Каюры перекликаются между собой, в голосе их — необычная тревога. Каюры подходят друг к другу, останавливаются, тычат остолами в разные стороны, указывая куда-то. Посоветовавшись, они выделяют двух разведчиков — Умку и Рольтыгиргина. Эти двое идут искать потерянное в полутьме направление.

Не проходит и получаса, как из темноты уже спускающейся на землю ночи показываются два силуэта. Это — Умка и Рольтыгиргин. Они нашли дорогу. Нарты чуть уклонились на север, надо сворачивать на юго-запад. И скоро слышится лай чужих собак. Караван подходит к какому-то чукотскому стойбищу. Двух оленей Иулькута хватило до первого чаучу, и каюры хвалят Умку и его приятеля Иулькута, выручившего их из беды.

Пламя костров дрожит перед ярангами, стоящими у самого русла замерзшей реки.

Умка кормит собак на Певеке раз в два дня. Так принято на Чукотской земле. Но во время езды он кормит их ежедневно. Собаки для Умки — прежде всего, он никогда не поест раньше собак. Только после того, как все собаки лягут сытые возле нарты, уткнув морды в свои теплые шубы, чтобы соснуть перед завтрашней ездой, садится и Умка за камитву (еду).

Так же поступает и молодой Рольтыгиргин, и рослый Петик — каюр моряка Беды-Беденко, едущего в Москву для сдачи отчетности. Он — счетный работник Наркомвода. На зимовке он лишний человек, а без него в Москве неясен будет отчет экспедиции.

Коннов, Нилина и Беда-Беденко радуются вместе тому, что достигли какого-то стойбища. Их радость — в беспричинном смехе, в шумном говоре, они оживлены необычно, и это не проходит мимо наблюдательных каюров, которые посмеиваются над европейцами.

— Олень есть, дрова есть, камитва есть, все есть, меченьки! — говорит Умка, обращаясь к Коннову.

Легче стало и каюрам. Не надо утром разводить костров, варить чай и по ночам ставить палатки. Чай, крепкий, как пиво, сварит жена главного в стойбище чукчи. Тонко нарезанными кусочками мяса только-что заколотого оленя она угостит приехавших. А гости оставят ей пригоршню рафинада, плитку кирпичного чая — лучший подарок в тундре.

Хозяйка стойбища освобождает гостям свой просторный и теплый полог. Несколько девушек в широких керкерах — меховых комбинезонах, — делающих неуклюжими и малоповоротливыми северных женщин, выбивают оленьими ребрами шкуры, из которых шит полог. Полог — это меховая палатка внутри каждой чукотской яранги. Чем богаче чукча и многочисленнее его стадо, тем из большего количества шкур шит его полог. У богачей бывает даже по несколько пологов.

Гостям отводят полог, сшитый из четырнадцати больших оленьих шкур. Приподняв входную шкуру, чаургин, хозяйка ставит на меховой пол доску с мелко нарезанной оленьей. Старшие из стойбища подлезают под входную шкуру в полог на «камитву», и еще для того, чтобы посмотреть приехавших и покурить невиданные папиросы.

Хозяин — человек маленького роста, с узким, морщинистым лбом, желтым, будто выгоревшая на солнце бумага, присматривается к приехавшим и долго не задает никаких вопросов.

Коннов первым прерывает затянувшееся молчание, которое становится неловким. Он рассказывает хозяину о том, что нарты идут с места зимовки пароходов. Тундровый чукча знает, что советская власть посылает из года в год пароходы с товарами к чукогским берегам.

Хозяин-чукча никогда не видал пароходов, и он просит объяснить, как они ходят по морю и какая чертовская сила движет их сквозь льды с тяжелыми грузами. Коннов рассказывает ему через каюров-переводчиков о паровых машинах. Чукча смотрит на Коннова, часто моргая.

«Чего доброго, еще больше поверит в чертовщину, — думает Коннов, глядя на чукчу-хозяина. — Он не понимает меня».

Но с каким умением, с какой чаячьей ловкостью этот маленький, низколобый человек набрасывал чаут-лассо на того оленя, которого намечал для убоя. Чукча ни разу не промахивался: из тысячи бегущих перед ним оленей он попадал именно в того, которого выбирал.

Каюр Рольтыиргин — сын берегового чукчи. Родители Рольтыиргина когда-то кочевали по тундре с небольшим стадом. Но на стадо напала болезнь копытница и разорила на-нет отца Рольтыиргина. Решил старик идти к морскому берегу, стать оседлым, бросить кочевку. Сделал он себе ярангу на Певеке и стал добывать нерпу, белого пушистого песца, которого давил пастями, ловушками, сделанными из плавника.

Рольтыиргин смутно помнил детство в тундре, но в нем проснулась кровь кочевника, когда он увидел, как хозяин стойбища, пригибаясь к земле, подкрался к стаду и вдруг, выпрямившись, бросил далеко вперед свой меткий, визгливый чаут.

Рольтыиргин пошел вместе со старым чукчей, захватив с собой лассо. Работа старика состояла только в том, чтобы набросить чаут и подколоть пойманного оленя тонким и острым ножом.

Заколотого оленя пластовали женщины, они же варили его мясо.

Рольтыиргин рассказал Коннову, что все яранги, которые раскинуты вблизи хозяйской, заняты родственниками маленького чукчи, которые работают на него. Если кто посмеет не повиноваться этому маленькому чукче, того ожидает кара. Его пошлют в стадо, куда-нибудь далеко пасти оленей, или же будут кормить впроголодь, заставляя выискивать вокруг стойбища тальник, запорошенный снегом, и выдергивать из промерзшей земли его цепкие корни. В безлесной тундре тальник собирали для костров, чтобы варить чай и «камитву».

Кто-то из зимовщиков подарил Рольтыиргину записную книжку, на которой серебряной краской был оттиснут парящий в небе дирижабль. Рольтыиргин по-

нимал пользу воздушного корабля, он видел самолеты над своей ярангой и однажды сказал Коннову о том, что хорошо бы прислать с Большой земли на Певек такую «русскую птицу», для того, чтобы чукчи могли следить с неба за ходом зверя на море и в тундре и летать друг к другу в гости.

Коннов оказал, что это время не за горами. Советская республика строит такие корабли, и они придут скоро на Север.

Ночью перед сном снова пили чай. От внесенного в полог чайника с кипятком стало жарко и душно. «Камитва» была сытная, дощечку с тонко нарезанным оленьим мясом подавали несколько раз и всегда полной. После холода тундры люди спали без спальных мешков-кукулей. Рядом с Конновым лежала в теплом, тесном пологе Нилина, и он чувствовал своим телом каждое ее движение. Рольтыиргин строил Коннову гримасы, задувая огонь жирника, освещавшего ярангу.

VIII

Наверху, почти у самого перевала, там, где в разрыве каменных теснин серела полоска неба, двигался человек. Он далеко ушел от собачьего поезда. По следам этого человека ползли собачьи нарты. Собаки шли вперед с каким-то упрямством. Никто из них не бастовал, все туго натягивали алыки. Даже маленькая, ленивая Угрунку, и та старалась из последних сил. Нарты со скрипом ползли по снежной тундре. Каюры говорили о больших «дровах», до которых было недалеко, они говорили о лесе. До него оставалось еще несколько «солнц», как называли день чукчи. Дня не было, вместо него на короткое время приходили сумерки. И быстро наступала ночь. Будто солнцу, люди радовались луне. При луне светло было ехать, и видно было вперед за много километров. Но не всегда она показывала свое ослепительно-сверкающее лицо. Низкие тучи, снежные, тяжелые, иссиня-черные, кружили по небу и закрывали собой большую и веселую луну. Тальник, стелившийся приниженно у побережья Ледови-

того моря, поднялся здесь, в самом сердце тундры, и будто окреп. Он был не выше полуметра, но над снежным полотном тундры заметно выделялся своими черновинами. На голой, неприветливой земле он радовал устававший от однообразия глаз.

Горные реки сами рассказывали о себе, о жизни на своих обледеневших ложах, занесенных снегами. По снежным долинам рек Коннов видел множество звериных следов.

В дальнорезкий бинокль заметно, с каким трудом передвигается одинокий человек по высокому подьему к самому гребню перевала. Там гуляет и поет свои могучие песни высокогорный ветер, ледящий душу. Малахай человека за плечами, волосы развеваются по ветру. Человек идет без кухлянки, налегке, в одной пыжиковой рубашке и одинарных конайтах. Вот он остановился на гребне перевала. Видно, как, прячась от ветра, человек заходит за высокий камень.

Коннов узнает Нилину. Она любит одиночные прогулки. Она часто оставляет нарты и идет пешком, облегчая труд собак и радуя этим своего каюра.

Собаки устали, и каюры останавливают нарты, не дойдя до перевала. Коннов оставляет Умку возле прилегших собак. Умка достает из-под кухлянки красный кисет, в котором мелко накрошен листовая, жесточайше-крепкий табак, не спеша выкачивает медную трубку и долго не может прикурить на ветру. Чукча накрывается оленьей шкурой и под ней пытается закурить. Он сбрасывает шкуру с довольным видом. Трубка дымит зловещим табаком. Коннов спешит в горы, к перевалу, навстречу Нилиной. Он берет ее под руку и по мягкому, сыпучему снегу медленно идет к спуску. Вдруг крутизна подхватывает их тела, снег будто расступился под ними, они несутся вниз по косогору, белому, ровному, без выбоин и препятствий. Они, словно во хмелю, мчатся вместе по снегу. Их торбаза-щетки не в силах удержать стремительной тяжести тел. Напрасно они упираются ногами. Они летят, как в детстве с горы, без салазок, туда, где чернеют у подножья горы куртины тальника.

Люди встают уже с ровной земли, отряхиваются от сухого снега, будто от песка. Они не знают, куда им идти дальше, и стоят здесь, у подножья камня-великана, поджидая голосистый собачий караван. Вон далеко, наверху, показались едва заметные движущиеся точки. Коннов и Нилина следят снизу за отчаянным спуском нарт. Слышен крик каюров. Собаки не бегут, а скачут, перепрыгивая высокие заструги. Нарты бросает от толчков то вправо, то влево, и видно, как ловко изворачиваются на всем гоне каюры, то пригибаясь к нарте, то садясь на нее верхом, то волочась за ней и взрывая пушистые облака снега. Каюры заставляют собак обходить колдобины, выбитые в снегу ветрами. Каюры кричат на собак, угукают, потрясывают остолбами.

На Севере часто бывают такие минуты, когда совсем не хочется говорить. После ураганного спуска Коннов и Нилина молчаливо стоят в ожидании каюров. Коннов смотрит на Нилину и думает: «Что заставило ее, женщину, идти с кораблей в такую даль, через тундру, горы, неведомые реки, в пургу и непогоды?»

«Нилина, вероятно, любит кого-то и любит сильно. Быть может, спешит к любимому», — думает Коннов.

Много раз он пытался говорить с Нилиной на эту тему, но женщина всегда отводила легко и непринужденно этот очевидно неприятный ей разговор. Коннов уже несколько дней не повторял попыток расспроса. Она совершенно перестала стесняться Коннова за долгие, бесконечные дни езды на собаках. Она общается с ним, словно с близким.

— Отвернитесь в сторону, мне нужно сделать пипи! — говорит она ему.

В ровной тундре, где кругом видно на десяток километров, некуда спрятаться человеку, и она поступает так же, как чукчи-каюры, только с той разницей, что каюры никого не просят отворачиваться, а делают все неподалеку от нарт.

— Простота отношений, но без свинства, — сказала однажды Нилина, когда Коннов поцеловал ее на нарте в размятенную морозом и пахнущую свежестью и молодостью щеку. — Не будь-

те похожими на остальных! У нас такие хорошие отношения, что их не следует портить.

«Да, она безусловно кого-то любит», — подумал Коннов снова.

Иногда загорались в нем злоба и чувство, напоминавшее ревность.

Беда-Беденко смотрел на вещи просто, «без сантиментов», как он любил говорить. Он, смеясь, рассказывал о том, что в юные годы над его койкой в каюте висела карточка его любимой. Когда-то в долгие вечера он много рассказывал товарищам о своей спутнице жизни, ее замечательном характере и преданнейшей любви. Он уверял всех, что она будет ему верна и никогда не обманет. Действительно, она не обманула его. Однажды в дальнем плавании он получил уведомление по радио от жены, что она вышла замуж за капитана портового ледокола.

Беда-Беденко без восторга принимает все виденное им впервые в Восточносибирской тундре. Он никогда не выйдет из палатки взглянуть на исключительной красоты сияние, горящее небывалоярким огнем.

— Успеется! В другой раз посмотрю! Не день же нам еще мытариться! А за сто дней я увижу сияния и получше вашего, — говорил он обычно.

Он ничему не удивлялся, говорил обо всем с цинизмом швейковского сквернословия, трактирщика пана Паливца. Каждое второе слово его было неприлично, но при этом он был немало начитан и даже знал много стихов Пушкина, которые часто скандировал под полотном палатки, после сытых чаепитий. Он не был похож на моряка. Если его обрядить в обычное платье, снять с него ясные пуговицы и золотые галуны, то никто бы на свете не сказал про этого человека, чем он занимается. Во всяком случае никто бы не сказал, что он полжизни уже отдал морю. Не было ничего такого, что бы так крепко ругал Беда-Беденко, как море. Впрочем теперь он ругал и тундру.

Про Нилину он говорил Коннову так: — Что вы цацкаетесь с нею? Никого она не любит, а просто задается. Видит, что заинтересовались ею, вот и набивает

себе цену. У нас в Рамбове таких тринадцать на дюжину бывало!

Коннов заметил, что Нилина после еды сплевывала как-то по-морскому. Она сказала Коннову, что ее организм начинает уступать Северу: ей нехватало кислотности, и часто после еды приходилось сплевывать, — этого требовал желудок.

— О чем это она вам там объясняла? — спросил Беда-Беденко, ехидно усмехаясь.

Коннов рассказал о болезни Нилиной.

— Слушайте вы ее больше! Она просто беременна! — заметил Беда-Беденко.

— Но не могла же она пойти беременной в такой путь, — возразил Коннов.

— О, вижу я, вы женщины не знаете! То-есть я вам скажу, попадаются такие — крепче камня! Скажет, и поставит на своем, хоть ты тут сдохни!

Нилина не дала морякам договорить, она крикнула им, чтобы шли вместе с каюрами собирать тальничек для костра.

На слабом огне чахлого костра так и не закипел чайник. Пришлось Нилиной достать складной примус и разжечь его в нарте за крадкой, которая защищала от ветра. Чукчи с интересом обступили маленький примус и передразнивали его, словно живого:

— Ж-ж-ж-ж-ж-ж!

IX

Снова воеет на перевале ветер. Это уже четвертый перевал после выезда с Певека. Коннов спрятался с Нилиной за большой каменный выступ, поджидая здесь медленно ползущие снизу нарты. Он растирает занемевшие от холода руки Нилиной, он согревает их своим дыханием, целует их. Коннов удивляется ей. Она не из книги, она живая стоит перед ним на горном хребте Севера в мороз и стужу, высокая, стройная, готовая к еще большим лишениям и постоянным тревогам похода. Ярко пылают ее зажженные морозом щеки. Коннов гордится этой женщиной.

«Я узнаю ее тайну, она расскажет мне, зачем пошла так далеко из Певека» — решил про себя Коннов.

Тихо в тундре и ее горах. В этой тишине есть какая-то своя музыка, скорбная, печальная. Эскадра кораблей, огласивших берега этой тундры, оттеснила тишину в глубинные места, за перевалы. С кораблей сошли по трапам юноши с комсомольскими значками на груди, чтобы отдать лучшие свои годы советским окраинам, куда два месяца надо плыть морями и океанами и откуда раз в год можно отправить с оказией письмо.

В древнюю Анюйскую крепость, сооруженную казаками в годы об'ясачивания Колымы и Анюя, в Нижнеколымск, Среднеколымск, Чаунскую губу и другие глухие места советского Северо-Востока пришли новые люди, молодые учителя, носители советского просвещения. Вошел в Колыму первый речной паровой флот и разбудил ее сонные берега трубным голосом, пробившись ледяной тропой сквозь штормы и туманы суровых морей. Они оказали братскую помощь далекому Северу. На берегах Полярного моря выгрузили товары с пароходов, зазимовавших на обратном пути в Чаунской губе. У мыса Медвежьего выстроились рядами машины. Они пойдут в Колыму, осваивать ее пробуждающиеся берега. У мыса Медвежьего в палатках и домах, рубленных из плавника, живут люди, пришедшие сюда на кораблях под алым советским флагом.

Умка первым радостно подходит с нартой к Коннову. Собаки дышат часто, тяжело и падают на снег в изнеможении от мучительно-долгого перехода.

Почему радостно лицо Умки?

Он говорит что-то быстро Коннову и показывает красным остолом на запад. Он снова говорит о лесе. Впереди, всего лишь в нескольких километрах, за камнем, за горой, должен быть лес. Каюру известны здесь каждый камень, каждая возвышенность, каждая река. Умка показывает Коннову на следы горных баранов, песцов и на грузные следы сытых полярных зайцев.

И вот встают первые перелески темными силуэтами над снежной землей. Густые темнозеленые давно не виданные краски лесов, хвойные поросли, низкие и комлистые ели, лиственницы и пихты стоят одиноко на пригорке. Это — пер-

вые вестники лесов анюйских, колымских, индигирских.

Собаки и люди тесным кольцом окружали дымные и жаркие костры в лесах. Умка часто приносил Коннову смолу лиственниц. Смола казалась сначала нестерпимо горькой, но, чем дольше ее жевали, тем становилась она приятней, освежая рты, очищая зубы. Коинов, Нилина и Беда-Беденко отвыкли в тундре от мытья лица. Руки отмывали снегом. Снег таял в теплых руках, и грязь черными каплями, словно нефть, стекала на белый, пушистый снег тундры. Чукчи не делали и этого. И все же их руки были белее, они не казались такими грязными, как у русских.

Люди ели два раза в день: рано утром — одновременно с собаками и поздно ночью, в разбитой палатке или под открытым небом в тундре.

Коннов никогда не торопил каюров. Он всегда пытливо смотрел на них, как на что-то необычайно-новое в своей жизни, быть может, неповторимое. «Незаметно пройдет десяток-другой лет, — думал Коннов, — и там, где сейчас идет след от собачьих нарт, пройдут над горными хребтами, ветренными перевалами, над реками, пробивающимися к Полярному морю, воздушные корабли и самолеты. И на них поплывут чукчи над своей тундрой, над тайгой по своим делам, перегоняя собачьи упряжки, которым не угнаться за воздушными соперниками».

Есть в этом передвижении по тундре на собаках за тысячи километров что-то первобытное, древнее, сказочное, теряющееся в веках. И бесконечным кажется это движение и незаметным, как вращение земли. Оно не утомляет, но бодрит, как звонкая песня. Бегут нарты, бегут вместе с ними далеко мысли и думы. Этот бег стремителен и радостен. И скребущее чувство голода не уменьшает радости движения.

Х

Нарты каюра Петика, с которым едет Беда-Беденко, отстают постоянно от каравана. Умка часто оборачивается к Коннову и смеется своим детским смехом, булькающим, как вода; он смеет-

ся над отстающим Петиком. Умка любит посмеяться, смех для него — потребность. И, когда Петик ломает крадку нарты, зацепив ее о пень, когда Рольтыиргин бьет свою собаку и грызет от злости остол, или огонь опалает белые лапковые торбаза Умки, он всегда смеется.

Умке нравится Нилина, светлая, русская женщина. Вслед за молодым Рольтыиргином он также зовет ее «меченьки Нилина». Он убеждает Нилину в том, что ей будет хорошо житься с ним в певекской яранге; он — хороший охотник, у него просторный полог, много тюленьего сала и много копальхен — моржевого мяса — запасено в яме. Увидев бешеную и незабываемую по красоте и ловкости езду Умки на собаках с крутого спуска, Нилина сказала Коннову, что согласилась бы стать женой этого замечательного каюра, если бы привелось навсегда остаться здесь, в этом ледяном царстве. Коннов не передал эти слова каюру. Моряк не хотел тревожить Умку.

Нилина загрустила, под'езжая к Колыме. Печаль заволакивала лицо Нилиной, туманила ее голубые глаза. С каждым днем Коннов обнаруживал все больше и больше какую-то неизъяснимую печаль под опущенными ресницами своей спутницы. Но он чувствовал, что распросами, даже самыми осторожными, ничто не заставит ее поведать ему эту печаль, становившуюся заметной всем едущим.

— Она просто ломается! — говорил Беда-Беденко Коннову. — Вы женщин не знаете! Вас бы к нам во Владивосток на выучку. Вы бы живо поняли эту арифметику: сорок да сорок — рупь сорок. Тут без хитрости ни на шаг. Так уж природой устроено. Женскую нацию не переделаешь.

XI

Последние меховые шатры кочевников на пути Коннова, Нилиной и Беденко скрыты за чащей засыпанного снегами леса. У ламутского чума, который показывается неожиданно в тайге, яростно лают чужие собаки, и в гемно-

те, у дымных костров, сидят, поджав под себя ноги, молодые ламутки. Кухлячки обтягивают их стройные тела. Кухлянка сухощавой хозяйки расшита бисером, мелким, словно щучья икра. Девушки бросают украдкой взгляды на приезжих и продолжают сидеть возле костров. Старик Еким — хозяин большого чума, — заслышав лай собак, вышел навстречу гостям и зовет их к себе в ровдужный чум.

В уголке чума висит старинная иконка, завезенная сюда миссионерами. Старик Еким не выбросил ее, он старается сохранить все обычаи своего древнего делянского рода. В чуме тихо. Еким прерывает тишину короткими вопросами. Дети сидят в стороне и слушают разговор. Посреди чума, над костром, ярко блестит начищенный котел, в нем варится мясо. Над котлом небольшое облачко, и Коннов жадно вдыхает аромат незатейливого варева. Жена Екима, Варвара, худая, высохшая от работы женщина, достает чашки из деревянного ящичка. Каждая чашка — в кожаном футляре. В тайге и тундре очень берегут посуду, потому что ее трудно достать. Варвара перетирает чашки древесными опилками и важно преподносит гостям.

Возле костра сынишка Екима склонился над книгой. Бронзовое лицо мальчика озабочено, брови сдвинулись, мальчик читает про себя букварь. Еким что-то сердито говорит сыну. Мальчик продолжает читать. Еким вздыхает и, обращаясь к приезжим, говорит:

— Переменилось время, попа нет для нас! Пошто попа не стало? Охто будет думать за нас?

Варвара виновато улыбается и украдкой гладит сынишку, которому наверное прощает все, даже чтение книги, ненавистной отцу.

В большом чуме Екима набралось много народу. Коннов угостил всех папиросами из последнего запаса, надеясь восполнить в Нижнеколымске. Покурив и опорожнив три больших чайника, ламуты ведут оживленный разговор.

Пошевеливая отягощенные куржаками еловые ветви, снова движутся к Колыме собаки. Нарты цепляются за

поваленные буреломом дерева. Нилина падает в снег с опрокинутой нарты, встает со смехом, отряхивает извалявшуюся в снегу кухлянку и бежит вслед за каюром. Нарты выкатились на небольшое озеро. И на его берегу забрезжил огонек. Это горит охок — камелек якутской юрты. Там, на берегу озера, должны быть первые якуты. Охок — это огонь, это тепло, это свет, это сама жизнь! И здесь, как у ламутов, возле охоча камелька, мальчик на обручке дерева, заменяющего табурет, читает кыхыл-охок — якутский букварь.

Идут дни чередой, одинаково морозные и похожие друг на друга.

Нарты Беды-Беденко постоянно отстают от каравана. Поздно вечером, перед ночевкой, всего лишь в одном переходе от Пальхена, вдруг пропадает Беда-Беденко вместе с каюром Петиком. Петик — самый неопытный из всех каюров. У него нет того мастерства, которым щеголяют старик Умка и молодой Рольтыргин. Петик — заурядный береговой чукча. Он без восторга смотрит на лес, который видит первый раз в своей жизни. Он безразличен ко всему, как Беда-Беденко. Он оживляется только тогда, когда закипает чайник или пахнет супом из большого котла, откуда Петик быстрее и ловче всех вытянет самый жирный кусок мяса.

И вот нету Петика, он затерялся где-то в тундре или перелеске. В тишину обыкновенного дня врывается тревога за товарища. Переговариваются о пропавших не только Коннов с Нилиной, но и каюры.

— У нас, чукчей, такой закон: никого в дороге не бросать, — говорит Рольтыргин. — Я поеду искать Петика!

Рольтыргин исчезает в вечерней темноте. Он разыскал пропавших. Они возвращаются под утро, когда уже скрылась луна и померкли звезды, но все еще по-ночному темно.

XII

Двадцать с лишним суток люди не умывались, ложились спать, не раздеваясь, грызли в дороге мерзлое мясо, жевали обжигаший чеснок. Коннов уже

стал привыкать к чукотской речи, она становилась ему близкой. Люди не видели солнца, оно не выходило днем из-за гор, прячась за высокими хребтами, будто стесняясь своей зимней немощи. Люди соскучились по солнцу, по родному говору, по шуму городов. Внутри Коннова нарастал бунт против тишины. Бунт! О, если бы взорвать аммоналом эту проклятую тишину, от которой становилось больно ушам.

У Колымы прогремели эти взрывы, прогнавшие тишину, как «тынэуи» — предутренний ветерок — ночную темень. И этот собачий поезд, который вез Коннова с вестью о великом морском походе, был лишь отголоском отгремевшей в Ледяном море канонады.

Собаки, почуввав жилье, дым селения, понеслись резвей. Они понимали, что скоро им предстоит отдых. Они знали, что если в тундре или тайге пахнет дымом, значит, близка яранга, значит, скоро хозяин-каюр остановит упряжку, сбросит с собак ненавистные постромки и нарубит оленьего мяса и можно будет выспаться на снегу после десятков проезженных за день километров без отдыха и ропота.

Словно с древней гравюры, встала за поворотом бревенчатая башня Анюйской казацкой крепости, выложенной здесь много лет назад завоевателями края. Умка опрокинул нарту возле первой избы, воткнул между полозьев в снег крепкий остол и стал рубить собакам оленье мясо. То же сделали и остальные каюры. После целого дня езды никто из них не торопился забежать скорее в жилище. Чукчи прежде всего заботились о собаках.

Учитель местной школы Васильев помог приезжим раздеться и развесить меховые одежды для просушки, натаскал полную избу оленьих шкур, служивших взамен тюфяков. Вскоре по дому запахло жареными лепешками. Пельмени и котлеты, захваченные Нилиной, давно уже кончились. На десятый день пути вышли все сухари, и люди ехали без хлеба.

В Пальхен газеты пришли разом за весь прошлый год, так что они ничего нового приезжим не рассказали. Почта

на собаках из Нижнеколымска еще не приходила, и, что делается на зимней Колыме, где укрылся на отстой первый колымский паровой флот, здесь никто не знал. Первая почта ожидалась в ближайшие дни.

Кочевники чаучу привозили в Пальхен своих детей и отдавали их в школу-ичтернат. Здесь детей учили советской грамоте, кормили и одевали. Чукчи очень любят своих детей, никогда их не наказывают, и дети с малолетства помогают своей семье. Мальчишка, едва доросший до морды оленя, идет с отцом в стадо набрасывать на них чаут или колоть оленя. Он расставляет вместе с отцом капканы по тундре и потом обезжест их на собаках, собирая промысел. И для детей, с которыми родители не желали расставаться, были устроены передвижные школы-яранги, кочевавшие вслед за стадом, искавшим жирного корма, хороших ягельников.

Отсюда, от Пальхена, радиусами расходились лучи просвещения по Чукотской земле.

Всю ночь текли рассказы учителя островновской школы в просторной избе, где душисто пахло тестом и на полках пестрыми рядами выстроились книги, пришедшие сюда ледяной тропой Полярного моря. Из бухты Амбарчик вместе со своим хозяином-учителем они проникли в древнюю казацкую крепость и раскрывали чукчам новую жизнь.

Собаки спали на улице, за дверями школы, там же, где без всякого присмотра оставались на нартах вещи приезжих. И в тундре за ярангой всегда ночевали вещи на нартах. Коннов проверил вместе с Ниловой вещи в Пальхене. Они не были тронуты. Все лежало на месте. Только обледенели, покрылись толстой корой вешевой мешок и клеенчатый чемодан. Коннов долго обивал палкой эту ледяную глазурь, и она падала на снег прозрачными кусками, словно разбитое стекло.

XIII

В Пальхене была большая дневка. Каюры давали здесь собакам «роздых» и сами спали в теплых избах по целым

дням, готовясь к дальнейшему переходу. Нилина о чем-то грустила, Коннов не расстраивал ее расспросами.

Учитель пальхенской школы, комсомолец Васильев, о многом расспрашивал приезжих. Васильеву хотелось побольше узнать о Москве, где он окончил рабфак два года назад. Жадному слушателю Коннов рассказывал о том, что над Москвой первого мая летало пятьсот самолетов и парили дирижабли, что главные улицы Москвы покрылись асфальтом, что строится метрополитен и вырастают новые дома, расширяются старые площади.

— А скажите, — спросил неожиданно Коннова учитель, — куда едет с вами Нилина?

— А вы знаете ее? — удивился Коннов.

— Ее знает вся тундра. Она не в первый раз ходит здесь с экспедициями. Это — боевая женщина. В последний раз случилось несчастье. Солнцев, начальник их экспедиции, обследовавший север Чукотки и Якутии, вынимая винчестер из чехла, нечаянным выстрелом убил себя. Пошли слухи, что его убили нарочно. Разве она вам ничего не рассказывает? — спросил удивленно Васильев.

Коннов вспомнил, что видел однажды могилу из камней на морском берегу, где похоронили тело борца за советский Север. Там, у скал, гремели лебедки разгружавшихся пароходов и шумела ватага людей, которые пришли строить жизнь в безлюдных местах. Над могилой трепетало от ветра красное знамя с траурной каймой. Низко висело свинцовое небо, и под ним, в каменистой земле, со свинцом в груди лежало мертвое тело мужественного освоителя Севера.

Коннов никогда не видел Солнцева, но много слышал об этом неутомимом человеке. Его знали ненцы-самоеды в чумах по Енисею и Гыде, знали его якуты и тунгусы по юртам Индигирки, Яны и Колымы, уважали его и чукчи, береговые и оленные. Он был у них всегда желанным гостем. Природа наделила его высоким ростом, ясным умом и непомерной силой. В руках он гнул медные пя-

таки, был отличным пловцом, вызывая удивление у аборигенов Севера, никогда не купавшихся.

— Нилиной не было при нем в день смерти. Он умер без нее, — рассказывал учитель.

Так вот отчего грустила Нилина, подъезжая к реке, по которой ходила еще недавно вместе с Солнцевым.

Днем Нилина показывала Коннову древнюю Аннойскую крепость, где бывала не раз. За бревенчатыми стенами отсиживались когда-то разбойные казаки от мстивших за себя и поруганную тундру воинственных чукчей, вооруженных стрелами и копьями.

В домах (их было несколько) светились керосиновые лампы. Вместо стекла в прорезы окон были вставлены ровные куски льда. Лед заменял здесь стекло. Под утро на льдине, вставленной в окно, образовалась снежура, ее бережно счищали лучинкой, и тогда сквозь окно сильнее пробивался короткий сумеречный день. Когда лед подтаивал и становился тоньше, — это случалось несколько раз за зиму, — его заменяли другим куском льда, выпиленным из Малого Анюя, где на берегу стояла крепостная башня и несколько домов древнего селения Пальхен.

XIV

По Малому Анюю бежали отдохнувшие в Пальхене собаки. Шумливый ветер, забираясь под кушлянки, озноблял зябкие ноги, обутые в меховые чулки и торбаза. Ветер бил в лицо снежной пылью, словно песком. Умка часто прыгивал с нарт и бежал за ними, чтобы согреться. И вслед за чукчей соскакивал Коннов, а за ним и Нилина, и скептик Беда-Беденко. Бежать было легко. Коннов, по-военному поднимая руки на грудь и выбрасывая далеко ноги, едва касавшиеся снега, обгонял переднюю нарту. Бег разогревал тело, и становилось тепло, как после выпитого вина. За рекой должна была встретиться поварня, но она обманула людей. В поварне не оказалось камелька, она стояла без крыши с зиявшими окнами, в которые никто не вставил льдин. В углах лежа-

ло много наметенного выюгами снега. Люди спали под открытым небом, неподалеку от поварни, под сенью елей. На темнозеленых лапах деревьев распушились высокие снеговые шапки-куржаки. При самом легком прикосновении нарт к деревьям куржаки осыпались метелью на головы людей. В лесной чаще, даже сумеречным днем, было темно, и люди благодарили судьбу, когда собаки выносили нарты в полосы горелых лесов, где было светлей и просторней. Шесть морозных и туманных дней пробивались каюры из Пальхена к широкой Колыме. Колыма встретила их морозами, обжигавшими, как костер на ветру. Мороз леденил пальцы, делал нечувствительным кончик носа, спирал дыхание, пытаясь остановить сердце, которому приходилось трудно.

Умка совсем не садился на нарты. Он бежал всю дорогу, все шесть дней, до самой Колымы. И собаки бежали из последних сил, высунув языки. Каждая из них знала, что если остановиться на этом морозе посреди реки, где воет ветер, то замерзнет собачий пах, и тогда не дотянуть до дневки в защищенном от ветров месте.

Ночью не было видно берегов Колымы, и потому впотьмах она казалась бесконечно широкой, как море. Нарты пропадали где-то во тьме колымской ночи, ветреной, морозной, звериной.

Разбитая усталостью, Нилина бросалась с полного бега на нарту, скользившую по реке. Мороз нападал на женщину с новой силой и безжалостно колот лицо. Тогда Нилина растирала щеки камусной рукавицей. Но она не чувствовала жесткого ворса оленьих лапок, из которых были сшиты рукавицы. И она не знала, как спрятаться от морозной силы. Она поднимала над собой кушлянку и дышала под ней, словно под колпаком. Тепло, скоплавшееся под кушлянкой, оживляло Нилину и радовало ее.

— Колыма! Колыма! — закричал вдруг неистово каюр над самым ухом Коннова. Он повернулся к левому берегу и увидел далекие, едва заметные огоньки городка. Почувяв жилое место,

собаки рванули из последних сил и молчаливо, не лая, понеслись по снежному пелю замерзшей роки.

Сердце Ниловой забилося сильнее. Ей стало вдруг теплее при одной только мысли, что перед нею светится огоньками город близ устья Кольмы. Всего лишь несколько минут отделяли теперь певекских людей от Нижнеколымска, от теплой избы и горячего чая. Все люди

на нартах думали сейчас только об одном: о тепле. Все бежали за нартами из последних сил, тяжело дыша и радостно лова мерцающий свет сутулых домов. Цепь огоньков далеко протянулась по Кольме. Сквозь ледяные стекла светилась Нижнеколымск. На берегу шелестел от ветра тальник. Выли жалобно и протяжно колымские собаки. На улочках было темно и безлюдно.

(Окончание следует)

Магистраль

Роман

АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ

(Продолжение ¹).

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пространства проносились неошутливо — где-то «там», вне покоя, тепла и уюта. «Там» могло быть что угодно, но здесь блестело под мягким светом ламп граненое стекло и отливающие муаром стенки, лакированное дерево и сияющая золотом медь. Здесь был особый мир.

Бесшумно стремился по рельсам тяжкий, длинный, сонный от тишины и удобств «международный» вагон.

Недвижно, как в комнате, висели и лежали вещи, не шевелилась плотная зеленая занавеска, затянувшая все окно, только вздрагивал под локтем столик, привинченный перед мягким креслом в купе. «Вечное» перо нажимало на буквы ровно и твердо: рука с длинными пальцами держала его, пальцы были плотны, но не толсты, с гладкой кожей и твердыми, чуть вышуклыми ногтями, — такие пальцы хорошо держат и перо, и рукоятку нагана, и точнейшие хрупкие приборы.

Полуоткрыв мясистые бритые губы, поглаживая «американскую» бороду, Максим Гесс медленно писал заявление об отставке.

Смесь крепких запахов стояла в купе — пахло душистым кэпстеном, чистым дегтярным запахом охотничьих высоких сапог, прохладой хорошего одеко-

лона и дубленой кожей нового яркорыжего полубубка. Все эти вещи попали сюда недавно, но ароматам их уже становилось тесно в этой узкой мягкой коробке. Хозяин вещей потянул носом воздух, встал и открыл дверь. В коридоре было пусто, за широким темным окном убегали, мелькая меж елями, тусклые огни. Поезд отчего-то замедлял ход, хотя было еще далеко до ближайшей станции; факелы и тени людей двигались совсем близко по насыпи, проплыла опустевшая дачная платформа; на скамье под ее навесом парень в железнодорожной форме, жмурясь от света вагонных окон или от чего-то другого, зарывался лицом в расстегнутый меховой воротник своей подруги; потом платформа кончилась, опять появились факелы и фигуры людей.

— Ремонт пути, — сказал проходивший коридором проводник, отвечая на взгляд Гесса.

Гесс молча смотрел в окно. Проводник двигался бесшумно по мягкой дорожке коридора, он опускал занавески на всех окнах, но не тронул окна, перед которым стоял Гесс, голос у проводника был негромкий и привычно-почтительный, — его можно было при желании слышать и не слушать, и самый тон сообщения был и как-будто сочувственный, извиняющийся за состояние пути (на случай, если пассажир обратил на это внимание и обеспокоен), и в то же время словно одобрительный (на слу-

¹) См. «Новый мир», кн. 6 с. г.

чай, если пассажир любопытствует как сознательный товарищ). Но, видимо, выражение лица пассажира не обнаружило проводнику ни того, ни другого; и он так же бесшумно прошел мимо, сделав вид, что разговаривает сам с собою.

Гесс усмехнулся внутренно. Проводник был приятен ему. Именно такой тип человека, обслуживающего именно такой вагон, был в его представлении естественным и необходимым удобством, так же рационально прилаженным и умещенным во все остальные удобства вагона, как умывальное помещенье при купе, как синяя ночная лампочка и все прочее. Он испытывал легкое, спокойное удовольствие, которое испытывал всегда, находя в окружающем мире явления и вещи вполне соответствующими его представлениям о них; он часто встречал таких проводников, но всегда чувствовал при этом удовольствие, потому что высший смысл всякой обслуживающей деятельности видел в том, чтобы в самой активности обслуживающего заключена была пассивность; он всегда ездил только в международных вагонах, но поездки в них неизменно доставляли ему удовольствие, потому что высший смысл движения представлялся ему в том, чтобы в самом движении заключен был покой.

Поезд между тем пошел быстрее, за окном мчалась сплошная тьма. Гесс вернулся в купе, закрыл дверь и сел к столу. Недописанная строчка вернула его к прерванным мыслям. И, видимо, они не были приятны: он поморщился, бегло перечел написанное и стал рассеянно смотреть на белый листок. Паровоз часто давал свистки, внизу глухо и быстро перестукивали на рельсах колеса.

«Спешим... — думал Гесс, кисло глядя перед собой — Спешим, несмотря ни на что, чорт бы нас подрал, а спроси, куда,—каждый тебе сделает вид, что, мол, настолько понятно, что и спрашивать смешно...»

Он вздохнул и с горечью посмотрел на часы: ровно девять. Всего четыре часа назад жизнь была успокаивающе-прочным сцеплением закономерностей; не было еще ни решения правительства,

ни этого отвратительного, позорно-мальчишеского состояния оторопи, растерянности, как во сне, когда вдруг снова увидишь себя студентом, и словно ты пришел на экзамен по начертательной геометрии, а тебе говорят, что надо сегодня же сдавать всю математику, да еще в объеме институтского курса...

— ... Фу, нелепость!..

Он отодвинул листок, морщась от стыда перед самим собой, и пересел на диван.

Ему вспомнился последний — перед вызовом в Кремль — разговор с американским экспертом. Американец, консультант Наркомпути, настойчиво и с опостылевшей всем вежливостью выспрашивал, на какой минимальный подготовительный к работам срок согласится он, мистер Максим Гесс, в качестве главного инженера строительства ударной магистрали. Максим Робертович ответил тогда тоже полувопросом: не находит ли, мол, мистер Хилксвит, что срок, как и вообще понятие времени, — вещь, в сущности, условная, а в строительстве определяемая не столько количеством месяцев или лет, сколько качеством их использования.

Разговор происходил в наркомате, в том из его штабов, который руководит по всей стране постройками новых железных дорог.

Американец и Гесс с группой инженеров сидели на совещании у заместителя начальника управления, и Максим Робертович видел по взглядам и сдержанным улыбкам, что ответ его хорош, то есть таков, каким он должен был быть. Оставался невозмутимым только сам заместитель — молодой человек с нерусским бледным лицом и редкими, светлыми, гладко зачесанными назад волосами, сидевший на председательском месте, за своим столом, к которому примыкал вплотную стол совещания. Он внимательно и серьезно посмотрел на Гесса, потом с тем же выражением перевел взгляд на американца, как бы зная и ожидая, что тот должен еще что-то сказать. Американец улыбался приятнейшим образом. Он сказал, что он, к несчастью, не философ, а только деловой человек, но что спросил он, ме-

жду прочим, с целями поучительными для себя, а поучительность ведь тоже немножко философия. Дело в том, что у него на родине, к сожалению, все еще очень долго готовятся к постройкам дорог, хотя потом строят их довольно быстро. И так как он уже успел заметить, что уважаемые советские инженеры тоже очень деловые люди и в то же время построили всего в три года такую магистраль, как Турксиб, то ему и хотелось бы...

Он говорил, а сам все поблескивал очками на председателя совещания, но тот слушал с тем же бесстрастно-серьезным выражением, и лицо его напоминало Гессу портреты молодых фанатиков времен Кромвеля, с крестом и мечом собиравших армию «круглоголовых» на короля и дворян.

— Мистер Хилксвит извинит меня, — спокойно и громко сказал Гесс, — он извинит меня, если я поспешу ответить, не дослушав. Самый вопрос так же приятен нам, как и его любезная формулировка. Мистер Хилксвит желает знать, каким образом и при наших темпах деловитость...

Мистер Хилксвит заулыбался еще приятнее и утвердительно закивал.

Максим Робертович чуть наклонился вперед и двумя пальцами тронул бороду:

— Мы полностью заимствуем ее у вас, американцев... но мы умножаем ее на русский революционный размах.

Теперь он разрешил и себе улыбнуться — очень тонко и наивежливейше, и опять среди партийных и беспартийных участников совещания замелькали взгляды и улыбки, и опять заместитель начальника управления невозмутимо промолчал. Он заставлял невольно настораживаться, этот светловолосый молодой человек, — может быть, не всех, но во всяком случае инженера Гесса, — и своей манерой обращения, и выражением глаз, тоже светлых, чуть выпуклых и спокойно-внимательных, как будто ему было известно заранее все, что другие могли ему сказать. Его внешность имела очень мало общего со всем, что слышал о нем раньше Максим Робертович, видевший его только во второй раз.

Молодой человек был голландец родом, большевик по профессии, инженер по образованию, турксибовец по квалификации. Он и сейчас еще говорил по-русски с заметным северноевропейским акцентом, хотя владел языком совершенно свободно. Совсем немного лет назад советская инженерия вовсе не знала о его существовании: на Турксибе он начал рядовым прорабом, через полгода стал начальником участка, через год — помощником главного инженера, а кончил строительство одним из его первых героев, прославленным на всю страну. Сразу после Турксиба он оказался в наркомате, инженерная молодежь шумно приветствовала его назначение, путейцы дореволюционной формации держались на докладах с привычным соблюдением субординации, даже усилив почтительность и в то же время присматриваясь (не ошибиться бы в чем самим, и не ошибется ли в чем он); но для тех и других молодой человек был одинаково освещен легендарной славой Турксиба, и только те сохраняли скептическую настороженность, кто считал себя способным даже на большее, чем Турксиб, но тем не менее не был туда приглашен.

В числе этих немногих и был Максим Робертович Гесс. Крупный инженер с двадцатипятилетним стажем, с богатым российским и заграничным опытом, он все советские годы сидел в наркомате, возглавляя сначала строительную, а затем проектную организацию. Он без конца строил, проектировал и перепроектировал ветки и узлы, узкоколейки и под'ездные пути, он был, что называется, все время «на виду», под боком у руководства — и вдруг оказался в стороне как-раз тогда, когда началось, — наконец-то! — строительство первой большой советской железной дороги.

Правда, он был тогда в Европе, в командировке, а потом, когда вернулся, как-то неприятно показалось вступать в дело, которым уже руководили другие; но до самого окончания Турксиба не оставляло его сосущее чувство не то пренебрежительной, не то завистливой враждебности к новому строительству, и всюду, где приходилось ему высказываться о Турксибе, он говорил, чуть под-

нимая плечи и поглаживая свою американскую бороду;

— Несомненно, товарищи, это — наш крупнейший успех, что бы ни нашептывали оппортунисты, как бы ни сплетничали за границей... Но не следует самообольщаться, товарищи. Мы все еще во многом кустари, и техническое чванство нам так же не пристало, как и чванство коммунистическое, о котором говорил Ленин...

Несколько позже он изменил аргументацию. Вместо чванства он упоминал о головокружении от успехов и был широко известен, как крупный специалист с большим общественным горизонтом, один из тех беспартийных, которых можно и нужно привлекать к самым ответственным делам.

И вот его привлекли. Неожиданно даже для него самого. Уже было решено строительство новой ударной магистрали — нового пути с севера на юг. Проектировалось еще невиданное: «сверхмагистраль», дорога-великан с колоссальными земляными работами и предельно мягчещим профилем, рассчитанным под мощнейшие паровозы и небывалые составы большегрузных вагонов.

В самый разгар споров о проекте и темпах стройки Максим Робертович был вызван в кабинет на четвертом этаже. Молодой человек с лицом пуританского проповедника стоял за своим огромным столом, засунув руку в карман потертого пиджака. Он был чисто выбрит и очень бледен, теплая фуфайка виднелась под пиджаком. Гесс в первый раз видел его так близко и с изумлением услышал его голос: казавшийся таким ровным и неярким на собраниях, этот голос был сейчас четок и сух, как голос человека, умеющего приказывать и подчиняться. И чем тише говорил он, отвечая в трубки телефонов, говоря с беспрепятливо входившими и выходившими инженерами и секретарями, тем явственней чувствовалась сила воли и дисциплины, заключенная под этим обликом сдержанности.

Увидев вошедшего Гесса, он кивнул ему и продолжал вполголоса разговор по телефону. Можно было понять, что кто-то докладывал ему о неизбежной за-

держке какой-то работы; он спокойно слушал, потом так же спокойно сказал в трубку:

— Вопрос сегодня стоит на коллегии НКПС. Все эти расчеты мне необходимы. Через сколько минут я получаю их?

Положив трубку, он быстро отпустил одного за другим всех ожидавших.

Представителю клуба КОР с извинением передал тезисы своего доклада; строителю с волжского моста обещал, что завтра сам все осмотрит на месте; группе инженеров, принесших выводы по обследованию строительства Вязьма—Брянск, не глядя, отдал всю папку обратно:

— Я сам только-что вернулся оттуда.

И улыбнулся беглой, бледной улыбкой, словно извиняясь за это, и присел подписать поданные секретаршей бумаги и, отдавая их и покашливая простуженно, сказал:

— Телеграфируйте Уралжелдорстрою, что я приеду на два дня позже.

И все это выходило так, будто и Волга, и Брянск, и Урал — какие-то подмосковные местности, скрытые под условными названиями, как у связистов на военных маневрах.

«Летучий голландец» — вспомнил Гесс прозвище, пущенное остряками по адресу нового начальства, и тут увидел, что они остались вдвоем.

— Замнарком поручил мне переговорить с вами, — услышал Гесс. — Вы назначаетесь главным инженером строительства сверхмагистрали. Это огромное дело, как вы знаете. Это три Турксиба по объему работ, но их надо выполнить в тот же срок, что и Турксиб. И хотя это не в наших обычаях, но вы можете отказаться и вы можете согласиться. И в том, и в другом случае мы пойдем вас.

Молодой человек говорил очень тихо, глядя в упор на Гесса серьезными светлыми глазами, и опять так же бледно и коротко улыбнулся в конце.

И нельзя было понять, чего он ждет, — отказа или согласия, и Максим Робертович первый раз в жизни почувствовал себя наедине с человеком, который словно видит его насквозь, но в то же время не виден и не ошутим сам.

Гесс поднял голову — и согласился. Этим кончилось первое свидание; а на втором вышел тот разговор с американцем и та фраза о деловитости и размахе, которую теперь, в вагоне, было стыдно даже вспомнить, — так нестерпимо пышно звучала она в ушах самого Максима Робертовича после того, что он пережил сегодня в Кремле...

— Челуха, нелепость какая... — громко повторил он, морщась, как от внезапной боли. Мягкий диванчик в купе покачивал его на пружинах, мягкий свет шел от матовых электроламп, но внутри Максима Робертовича было так скверно, так тревожно и непереносимо стыдно, — не то перед самим собой, не то еще перед кем-то, — что пружины казались жесткими и скрипучими, свет — резким, и сам он себе — мелким, дрянным и безвольным.

«Вот, вот, кряхтишь теперь, охаеть... — думал он о себе. — Сидит здоровый дядя, солидной внешности, пяти пудов весом, без малого пятидесяти лет, и кто подумает, что он жорчитесь в душе, как гимназистика, вытянувший на экзамене «роковой билет»! Вот и охай, и кряхти теперь, и мучай сам себя...»

Он встал, потушил свет в купе и открыл занавеску. Мутная темь неслась за окном. Стремительно и неясно мелькали столбы, далекие огоньки мигали в онегах и пропадали опять; все застилало перед окном белесые вихри, крутящиеся на свету соседних купе. Эх, гиблое место сейчас открытая степь...

«А сегодня в Кремле лучше было?» — вдруг язвительно спросил себя Гесс.

При одном воспоминании об этом он сразу почувствовал усталость, и, не зажигая света, привалился в угол диванчика. Вагон мягко покачивало. Сквозь расписное бупристое стекло умывальной кабинки струился в купе приятный красновато-желтый полусвет. Максим Робертович прикрыл глаза. Высокий зал во дворце правительства с ясностью встал перед ним. Особая комиссия, созванная председателем Совнаркома, решала судьбу сверхмагистрали. Он увидел себя рядом с начальником будущего строительства, сухощавым желтолобым Гедвил-

ло, — тот, нервно потирая острый подбородок, бросал на стол цифры за цифрами, обложившись папками сводок, расчетов и чертёжей.

Пока Гедвилло делал доклад, один из членов комиссии, человек в суконной гимнастерке, усатый и пышноволосый, трижды посылал через стол записки председателю Совнаркома. Глаза его, выпуклые и горячие, сверкали возбуждением: раздувая ноздри над своими записками, он метал их через стол, как ручные гранаты, и вся массивная фигура его дышала упрямою силой напора. Так же нетерпеливо он слушал в прениях и представителей ведомств, не сводя с человека взгляда, пока тот не кончал речь, если можно назвать речью пятиминутные выступления. Уже через двадцать минут предсовнаркома дал ему последнее слово, как руководителю заинтересованного наркомата: это был новый нарком заводов и шахт. Он заговорил — и расчеты докладчика, грудой чисел рассыпанные в папках на столе, поновому встали перед примолкшими слушателями. Теперь цифры, как люди, обступали малиновое поле стола, грубые обветренные голоса гудели в зале. С моря ругались нефтяники, с приморья — металлурги. Шахтеры Юга гулками басами требовали порожняка, чумазные сцепщики вагонов кричали, перекликаясь вдоль бесконечных вагонных хвостов, с великой мукой проталкивая через станционные пробки каждый угольный эшелон, и кочегары угрюмо чертыхались над топками.

Голоса все слышней гудели и перекликались в речи наркома, и председатель пристально смотрел куда-то вперед, через головы участников заседания.

В открытую форточку донеслась от Спасских ворот звонкая игра курантов. Предсовнаркома взглянул на часы и закрыл папку, лежавшую перед ним на столе:

— Товарищи, вопрос ясен... Комиссия предложит правительству свои выводы... Нам остается установить срок окончания строительства. — Он снял пенсне, без стекол глаза его смотрели устало. — Из имеющихся предложений, естественно, наиболее желательны те, которые...

Одним словом, чем быстрее, тем лучше. — Улыбаясь, предсовнаркома обвел всех взглядом, и Гессу показалось, что эта улыбка обращена к нему. — Но надо учесть все, товарищи. Надо смотреть вперед. Нам ясно народнохозяйственное значение будущей дороги, именно такой, какую мы сейчас решили строить... Но здесь перед нами чрезвычайно остро, пожалуй, как никогда еще в нашем железнодорожном строительстве, встает проблема качества. — Он посмотрел на наркома, потом на других, и опять Максиму Робертовичу показалось, что последний взгляд председателя задержался в той стороне, где сидели Гедвилло и он, Гесс. — Эта дорога — сооружение еще неосвоенной нами сложности. Эта дорога, товарищи, такой же экзамен нашим транспортным строителям на вторую пятилетку, каким был в первой пятилетке Турксиб...

Дальше Гесс слышал все, как в тумане. Бледное лицо с серьезными светлыми глазами мгновенно встало перед ним. То самое неотвязно-сосущее чувство возникало где-то внутри, и, никогда потом, даже перед самим собой, он не соглашался признать, что это была зависть, мучительная, ревнивая, отравляющая волю и самообладание. Гордость, не зависть, а гордость специалиста жаркой волной охватила его. Экзамен!.. Ему, строившему дороги в Бельгии и Франции, квалифицированному русскому инженеру, ему, с первого года советской власти работающему в стенах Наркомпути! Хорошо, он будет держать экзамен. Вы забудете о Турксибе, товарищ председатель, вы увидите, как умеют строить другие, которым вы поручаете сверхмагистраль... Он уже видел перед собой страницы «Правды» и «Известий», сплошь пестрящие победными заголовками о его строительстве, он видел портреты Гедвилло и свой, напечатанные крупным планом...

Он наклонился к уху Гедвилло, полный решимости, и зашептал. Через пять минут все совершилось. Цифра, которую четко назвал Гедвилло, не была новой: ее уже обсуждали в числе других вариантов, — предельная краткость срока имела не только плюсы, но и минусы.

Но теперь все обернулось в их сторону. Коммунист Гедвилло и беспартийный специалист Гесс вдруг увидели себя в центре внимания.

Предсовнаркома надел пенсне:

— Товарищи берут на себя серьезное обязательство перед партией и правительством... Мы предложим Совету Народных Комиссаров утвердить пятнадцатимесячный срок.

Теперь он действительно смотрел на них, на этих двух людей, представлявших здесь будущую многотысячную армию строителей небывалой дороги. Холодно и строго блеснули стекла пенсне. Он встал, и все поднялись за ним. Заседание было закрыто. Тогда-то, в шуме голосов и отодвигаемых стульев, Максим Робертович услышал челепо громкий, свой собственный и в то же время неузнаваемо-чужой голос:

— Построим досрочно, товарищ председатель!

Так пловец, уносимый течением, судорожными взмахами рук еще больше отдаляет себя от берега. Так игрок удваивает ставку, когда уже начата игра; так прославленный рекордсмен в апофеозе рекламы объявляет борьбу рекорду, еще не поставленному никем; так щенок бешено крутится вокруг самого себя в погоне за собственным хвостом. Все это в одно бесконечное мгновение пережил инженер Гесс, член-корреспондент Всесоюзной академии наук. Потому голова его поднялась привычно, плечи распрямились. Он медленно осмотрелся и двинулся вперед, к выходу, отвечая направо и налево полными достоинства рукопожатиями.

И тут он увидел невероятное.

«Летучий голландец» стоял у двери.

Вошел ли он только сейчас, или присутствовал давно, опоздав лишь к самому началу, но он был здесь, неизменно серьезный и бледный, хотя утром в Наркомпути о нем было достоверно известно, что, во-первых, его свалил грипп и он лежит в постели, а во-вторых, что он выехал на Урал.

Он стоял боком к Гессу, не видя его, и о чем-то расспрашивал Гедвилло; но даже в профиль было ясно видно выражение его лица — озабоченное, недоуме-

вающее и строгое, больше, чем кому бы то ни было, понятное Максиму Робертовичу. Безмолвно Гесс смотрел на него. Потом повернулся — бесшумно и в то же время негоропливо, с видом занятого мыслями человека — и, не чувствуя собственных шагов, вышел в другую дверь.

В наркомат, в трест изысканий, в «Деловой клуб», в книжную лавку, на вокзал, в вагон...

Он пронесился в машине по улицам столицы, самоуверенный, как всегда, но в душе у него стоял хаос. Он горопился, он спешил, говоря себе, что спешит на поезд, и всем говорил это, озабоченно взглядывая на часы, а сам безотвязно думал о своем, плохо слушая и то, что говорили ему, и то, что он говорил сам.



Поезд с грохотом пролетал через станцию. Рельсы, сходясь и разбегаясь на стрелках, дробно выстукивали под колесами, даже в международном вагоне явственней слышен был их приглушенный перестук. Качнуло на пружинах дивана, Гесс потянулся и открыл глаза. В темном купе мчались огневые тени. Свет, столбы, дым, мельканье оконных рам, и опять свет, и протяжный, зовущий гудок... Гесс зажег свет, но станция уже отмелькала. На полу, на коврике, белело заявление об отставке.

— Ну-с, довольно...

Он поднял листок, сел к столу. Твердые буквы ложились ровно и ясно, как сама мысль. Он подписался, подождал, пока высохнут чернила, и, посмотревшись в стенное зеркало, вышел в коридор. Соседняя дверь была закрыта — за нею негромко разговаривали. Приятный грудной голос спрашивал, Гедвилло отвечал односложно. Максим Робертович усмехнулся и постучал.

Дверь открылась. Женщина стояла перед ним, лениво потягиваясь, с полотенцем и мыльницей в руке. Другой рукой она небрежно протягивала билет и, подняв глаза на Гесса, отступила удивленно.

— Ой... я думала — контроль! Простите, пожалуйста, мне как нелов-

ко... — Женщина говорила тоном естественного смущенья, но выражения неловкости не было видно на матово-белом лице. Крупный рот улыбался сдержанно, рука с билетом спокойно разыскивала карманчик на жакете, и только глаза, блестящие и влажные, звали угадывать недосказанное, не говоря ничего. Максим Робертович вежливо ответил и, получив разрешение, боком шагнул в купе. Женщина скользнула по нему взглядом, перекинула полотенце через плечо и вышла. Усаживаясь, Гесс кивнул ей вслед:

— Интересное знакомство, говоришь? Гедвилло мотнул лысеющей головой, не отрываясь от чертежа.

— Вот именно... мешает от самой Москвы вопросами, а не отвечать — неудобно... А ты что, поспал, видно?

— Н-нет, пожалуй... Но, во всяком случае, проснулся. Нам обоим надо проснуться, Ян Михайлыч. Возьми вот. Передаю по службе, как непосредственному начальству.

Гедвилло бегло взглянул и сделал занятое лицо.

— Брось чудить, Максим, не до шуток. — Он положил листок на колени Гессу и склонился опять к чертежу.

Гесс молча сидел рядом, выжидательно рассматривая длинные, чистые ногти. В коридоре слышались голоса:

— Смотрите, смотрите, как красиво!

— Здо-орowo разворочено...

— В этом году все-таки пушен, а по плану...

Открыв дверь, Гесс посмотрел в коридор. За окнами, пронзая черноту многоярусными рядами огней, светились далекие корпуса огромного завода.

Голубоватый мягкий отсвет высоко стоял над землей, — тысячи электрических светляков сияли во тьме, тонкой золотой цепочкой перекидываясь ближе к насыпи и здесь рассыпаясь по кварталам одинаковых двухэтажных домиков большого рабочего поселка. Поезд огибал равнину, — голубое туманное сияние кружило по темному небу, уходя вперед, во тьму, а с другой стороны удалялись разноцветные огни станции, мигая круглыми желтыми глазами парово-

зов, красными сигналами и зеленым зрачком семафора.

Еще поворот — огни заводского поселка разом потухли за какой-то горой. И сейчас же гора отползла назад, и в лицо Гессу ударил близкий и сильный свет: завод — от самой подошвы горы — простирался далеко в равнинную мерзлую ночь, сияя шеренгой ярко освещенных корпусов.

— Об чем молчишь?

Костистая рука начальника строительства легла на колено Гессу.

— О том, что ты прочел в моем заявлении.

— Хм... Закрой купе, пожалуйста. Спасибо. Ты вот что, товарищ главный инженер... Ты поди-ка, просппись еще. Опять пил в Москве?

— Только у очень ограниченных людей это может серьезно влиять на состояние духа. А ты, кажется, всегда делал мне честь не считать меня в их числе, несмотря даже на беспартийность.

— Много пьешь, Максим. Дело твое конечно, но — не во-время. Вот я все эти дни смотрел на тебя, и...

— Видел пьяным, что ли? — Гесс отвалился к спинке дивана. Холодное, чисто выбритое до бороды лицо смотрело тяжело и спокойно, румяные губы усмехались, только в глазах прятался угрюмый, темный блеск.

— Пьяным, не пьяным, а лечиться тебе надо. Эдакий слон, а нервы, как у бабки интеллигентного телосложения. Да и те, брат, уж иные пошли, вот хоть соседка моя по купе...

— Кстати, кто она, собственно?

— Не спрашивал. Так вот, Максим... Ты думаешь, я не вижу, что с тобой делается?

— Между прочим, ты действительно не видишь. Но ничего, продолжай.

— Что там продолжать. Вот ты начеркал эту бумажонку, и сидишь с истерическим выражением на лице по совершенно непонятным причинам...

— Ничего, постепенно поймешь, если сразу трудно.

— Нечего тут и понимать, Максим. Очередная твоя штучка, к которым многие привыкли так же, как к твоему способу носить бороду. Для чего тебе это

нужно, я еще не вижу. Но, во всяком случае, не для того, чтобы всерьез бросить такое дело, притом уже начатое.

— Я ничего не бросаю. Я только прошу дать мне другое назначение, более соответствующее моим реальным возможностям. Главным инженером в наших условиях может быть только коммунист.

— Это ты что же, давно открыл?

— К сожалению, только сегодня.

— Поздновато, Максим.

— Настоящие открытия никогда не бывают внезапны. Им всегда предшествуют многочисленные опыты, товарищ начальник, опыты свои и чужие.

— Так, так... А тебя куда же? Помощником, что ли?

— Хотя бы и так. Можно и начальником производственно-технического отдела, в обиде не буду. Между прочим, мне еще при назначении намекали весьма прозрачно...

— Э, понес. Ой, Максим, Максим... Много с тобой хлопот советской власти! Я ж так и знал, опять амбиция или что-нибудь в этом духе... Совестно, милый человек. Ведь уж скоро пятьдесят тебе, поди?

— Через год.

— Ну вот, и из них треть жизни с нами работаешь.

— Половину, товарищ начальник. Поскольку следует принимать в расчет лишь сознательную жизнь.

— Тем более... И все еще барин в тебе сидит.

— Старо, Ян. Какой там барин, в самом деле, с трудовым стажем в четверть века. Я — рабочий высшей квалификации, как и всякий инженер.

— Правильно, товарищ рабочий. Возьми-ка бумажечку-то обратно.

— Нет. Это не бумажечка, Ян Михайлович, а рапорт начальнику строительства.

— Серьезно?

— Абсолютно серьезно.

— Тогда вот тебе ответ: возражаю категорически.

— Я перенесу вопрос в НКПС.

— Валяй.

Они смотрели друг на друга спокойно и даже улыбались — два взрослых че-

ловека, играющие в детскую игру и знающие, что это уже не игра, а борьба.

Дверь купе осторожно открылась. Спутница Гедвилло стояла на пороге с мокрым полотенцем и мыльницей в руке. Мелкой водяной пылью искрились ее волосы, невысохшие брызги блестели на одежде, от нее веяло влажной свежестью, острым запахом духов и еще чем-то, неуловимо-тонким и сладостным, от чего и начальник строительства, и главный инженер с дрогнувшим сердцем почувствовали себя стройными молодыми людьми.

— Простите, я забыла постучать, — сказала она, близко обходя Гесса. Вешая полотенце, она прижалась ногой к колену инженера, и опять выражение лица ее было безразличным, и только взгляд, в одно и то же время смущенный и вызывающий, притягивал и тревожил невыказанным своим смыслом. Гедвилло вкось посмотрел на нее через очки, и она улыбнулась ему, как знакомому:

— Вы не идете ужинать? Если да, то закройте купе на ключ, хорошо?

Накрывшись белым пуховым платком, она ушла так же быстро, как появилась, но в купе все еще пахло ею. Гедвилло и Гесс молчали. Обоим почему-то не хотелось больше говорить. Начальник строительства попрежнему рассматривал чертежи в своей папке, и Максим Робертovich видел, что ему очень неудобно заниматься этим, так как столик был весь заставлен коробочками, флакончиками и еще многими вещами, без которых одни женщины — красивые и некрасивые, старые и молодые — почему-то не могут обойтись ни одного дня, а другие женщины — тоже и красивые, и некрасивые, и старые, и молодые — прекрасно обходятся всю жизнь.

— Слушай, — оказал Гесс. — Все-таки зря ты не перейдешь ко мне в купе. Тебе же тут повернуться негде, а у меня второе место свободно. Сказать проводнику?

— Да я бы с удовольствием, вот чудак. Но неудобно, понимаешь ты... Раз человек просит не уходить, как тут откажешь? И потом она, в сущности, права — человек я для нее безопасный, а

раз она в этом убедилась, так какой ей смысл рисковать возможностью другого соседства?

Оба говорили равнодушными голосами, не глядя друг на друга. Опять наступило молчание. Поезд шел полным ходом, по коридору задвигались пассажиры, прошел с вторичным приглашением буфетчик. Гедвилло сложил папку:

— А поесть бы не мешало. Пошли в ресторан.

Пока он мыл руки в умывальной кабинке, Максим Робертovich сидел с закрытыми глазами. Ноздри его, расширяясь, втягивали воздух. Не открывая глаз, он взялся за дверную ручку, поддерживал ее и медленно поднес пальцы к носу, и опять молодецо его обрюзгшее, но красивое лицо.

Вагон-ресторан был полон пассажирами. Гедвилло и Гесс потолкались меж столиками, свободных стульев не было нигде. Гесс повернулся к выходу — и встретился взглядом со спутницей Гедвилло. Она молча подняла с соседнего стула свою сумку, она легким товарищеским жестом показывала на сиденье. Сам не зная, почему, Максим Робертovich смущенно отвернулся и тронул начальника за локоть:

— Садись, тебе предлагают место. А я потом.

Вернувшись в международный вагон, он прислонился в проходе к окну, закурил и стал смотреть в темное зимнее небо. Наверху, в тучах, пробивалась луна. Поезд шел по высокой насыпи, смутные тени деревьев бежали вниз, сумеречная снежная равнина медленно кружила от полотна за редкими перелесками. Гесс посапывал трубкой, глубоко вобрав шею в поднятые плечи. Земля за окном манила его на простор, на бодрый и свежий холод, на подвижную, радостно утомляющую деятельность среди суровых, обветренных людей с громкими голосами и зорким взглядом, привыкших к далеким расстояниям. Как давно прошло время, когда он сам был таким! Он знал этих людей, повсюду легко отличимых неутомимой страстью побеждать пространства, — людей путейского дела, молодых и седовласых, задорно-веселых и упрямо-замкнутых, искателей-творцов

и простодушных ремесленников, — но всех и навсегда очарованных суровой поэзией стройки, непрестанно прорубающейся через тайгу, через целину, через пески и скалы, несущей культуру и технику из края в край, от народа к народу...

Со студенческих лет вошел он, Максим Гесс, в эту среду. Со студенческих лет стали боевым девизом его выступления — девятнадцать молодых инженеров — высокомерные слова Бокля:

«Локомотив более способствовал сближению людей, развитию человечности и цивилизации, чем все философы, пророки и проповедники с самого начала мира».

Этой цитатой начал прощальную речь к выпускникам знаменитый язвительный старик, ректор института, и девятнадцать новых инженеров путей сообщения — по романтическомуговору на последней восторженной пирушке — в ту же ночь вырезали эти слова каждый на своем книжном шкафу. И вот геперь, через двадцать пять лет, он, Максим Гесс, выросший, возмужавший и научившийся среди этих людей беспощадной борьбе и крепкой дружбе с природой, он сам собирался отойти от них! Он, старый построечник, хотел уступить, отказать от руководства делом только потому, что...

Трубка сопела и гасла. Приступ решимости потухал, расстилаясь по дну души едким дымом сомнения. Уйти? Передать руль главного инженера другому, теперь, когда о его назначении уже объявлено по всей трассе? Это покажется похожим на дезертирство. Хотя... что там, собственно, на трассе? Пустое место! Степь, снег, лес — и ломаная линия пути, существующая пока только на планах и профильных чертежах, да и то на добрую треть еще «условно»... И много ли там сейчас людей, на реальных точках этой воображаемой линии? Одиночки — первые прорабы, первые табельщики, за безнагрузочностью бегающие пока в завхозах, да еще последние кучки изыскателей, упрямо барахтающиеся с теодолитами в сугробах все ради этих же темпов, чорт бы их подрал! Двести-триста людей, — вот и вся удар-

ная сверхмагистраль, ха! Но это сейчас... Через месяц их будет тысяча, через три месяца — десять тысяч, люди хлынут потоком с Урала, с Мурмана, с Полесья, отовсюду, куда забросила их последняя путевая стройка...

Они уже съезжаются, и без зова, и званые, и многих из них вызвал он сам, Максим Гесс, письмами, телеграммами, а то и летучим приглашением на словах, переданным через вторые-третьи руки. Что подумают о нем все эти люди? Что скажут, встретясь, друг другу просбежавшего с фронта начальника строительного штаба? И ведь от них нельзя отмахнуться, плюнуть на их мнение... Это не княгиня Марья Алексевна, и не та безликая масса, которую Ян Михайлович Гедвилло упорно величает советской общественностью, — это все многолетние соратники, учителя, ученики и друзья по разным стройкам... Это — комсостав железнодорожного строительства (не только ведь на Турксибе выковался он!) — и вот все они, от буйного однорукого комсомольца Иосифа Штейна до профессора Козьмы Саввича с его серебряными волосами и мировым именем мостовика, — все они съедутся на участки, на пункты, в аппарат главного управления, и скажут о нем:

— Сдрейфил, сдал Максим Робертович, не под силу пришлось... Сколько ни строил, а тут сдал. И то сказать — трудненько, товарищи.

И еще скажут, нет, не скажут, подумают только — о Турксибе...

Турк-сс-сиб! Это слово бьет в упор, отрывисто, как удар сразбегу, и отсекает — наотмашь, со свистом горячей сабли в не знающей сомнений руке... Трубка совсем остыла. Не греет большого пальца машинально приминаемая им зола. Поезд, качаясь, летит за дымной луной, в створку окна колюче сквозит холодком. Гесс не отодвигается от окна, он только поднимает воротник. Холод одиночества знобит при любой температуре, от него бесполезно запираться в нагретую коробку купе.

Да, его, Гесса, не было на Турксибе. Ну, что ж!

Он был в заграничной командировке, когда другие начинали Турксиб, а, вер-

нувшись, он тоже не поехал туда, хотя оставалось еще два года — труднейшие два года стройки; не поехал потому, что привык начинать и кончать сам. Да, именно так. Именно поэтому! Но ведь этого не расскажешь каждому, это не может звучать ни доказательством, ни тем более оправданием. Да и надо ли оправдываться?

«Надо, надо, Максим. Перед своей эпохой — если она тебя запомнит... Перед своей страной — если ты ей нужен... Перед самим собой, прежде всего, и уж это — без всяких «если»! Ты строил много дорог и в своей, и в других странах, но ты не строил Турксиба, Максим; а только им, этим бюющим и рассекающим словом, и начинается социалистическое строительство железных дорог, — первая пятилетка советского транспорта. Много пятилеток предстоит твоей стране, Максим, но — сколько их осталось на твою жизнь? Первая отмелькала — мимо, мимо, мимо, вот уже стучит на стыках дней последний ее вагон... уже надвигается, мчится вторая...»

Прыгай на паровоз, товарищ Гесс, инженер путей сообщения! Сверхмагистраль ответишь ты на Турксиб, — тремя Турксибами на один... Мчится поезд социалистической реконструкции, и второй перегон его поручено вести тебе.

Ты боишься? Ты испугался бешеных скоростей, за которые сам же ратовал сегодня утром?»

Он почти вырвал трубку из плотно сжатого рта. Соратники, вам не остаться без начальника штаба!

Теперь в коридоре вагона было душно и жарко, как в купе. Гесс сунул трубку в карман и схватился обеими руками за ремни окна. Х-хоп! Морозный вихрь хлестнул в лицо, надбровья заломило ледяными тисками. Вагон в лунном свете раскачивался, как пьяный, — или это качались легкие жесткие вагоны впереди? Дым паровоза рвался на ветру, избяные огоньки в сугробах изумленно мигали вслед человеку, вылезшему чуть не до пояса на мороз в вагонное окно...

Что-то сильно дернуло сзади. Гесс обернулся, одичавший, радостно встречанный вихрем, — что там, остановка?

Перед ним стоял Гедвилло, с крошками хлеба на вязаном жилете.

— Что ты, сдурел? Закрой окно, сколько холоду напустил... Иди ужинать, скоро закроют.

Вагон-ресторан был теперь почти пуст; но соседка Яна Михайловича еще сидела за своим столиком.

— Садитесь сюда, пожалуйста.— Она позвала его коротко и просто, словно знакомого, и Максим Робертович сел, не зная, что думать об этой женщине и как себя с ней держать.

— Вероятно, вам сейчас пришло в голову, что я специально ждала вас тут? Не смущайтесь, это так и есть. — Она улыбнулась слегка, но лицо ее оставалось серьезным, и Максим Робертович заметил, что губы у нее совсем не накрашены. — У меня есть к вам дело. Мне советовал поговорить с вами Ян Михайлович.

— Вы давно с ним знакомы? — учтиво спросил Гесс.

— О, нет, мы познакомились сегодня в купе. — Она подняла плечи, обтянутые гладко-серым шерстяным платьем.— Но я вообще очень просто знакоблюсь с людьми. Вас удивляет? Пожалуйста, удивляйтесь без стеснения, я привыкла. В наше время первобытному человеку трудно не удивлять современников, даже если он не в звериной шкуре...

Заказав отбивную, Максим Робертович шутил с невозмутимо-серьезным выражением на лице. Вагон, подрагивая, стремился в ночь, сухие цветы никли на опустевших столиках. Кудрявые, стриженные волосы, темные, странно-блестящие глаза, на белой шее родинка, похожая на клопа... Очень захотелось есть, а котлету все не несли.

— Виноват... Вы машинистка или счетовод? — все с тем же серьезным выражением проговорил Гесс.

— Я? Ни то, ни другое. Но почему вы думаете...

— Я беседую с вами, как с первобытным человеком.

Она посмотрела ему в глаза и засмеялась — открыто, искренно, весело, как смеются очень умные или очень глупые женщины. Максим Робертович с удовольствием отвечал ей; котлету наконец

принесли, и официант, тоже улыбаясь, предложил распечатать бутылочку, и, как только Гесс выразил согласие, женщина опять стала серьезной. Она поставила на скатерть (что Максим Робертович отметил с интересом) круглые локти в узких серых рукавах и деловито положила подбородок на ладонь:

— Видите ли, Максим Робертович, (Гесс отметил опять, что она как-будто не спрашивала у него об имени и отчестве)... Я, действительно, хотела говорить с вами о службе. Я чертежница. То-есть, не сейчас, а раньше... до замужества. Но я уверена, что очень быстро освоилась бы опять.

— Чертежница? Это — другой разговор. Нам работники нужны.

Максим Робертович сразу переменяет тон. Теперь он рассматривал собеседницу в упор, быстро и точно, — лоб, зрачки, пальцы. («Сутулости не заметно, но сколько ей лет?»).

— Вы где работали?

— В Москве. А потом под Москвой, на Люберецком заводе.

— Но ведь там машиностроение. А у нас совсем другие чертежи.

Она коротко кивнула:

— Да, я знаю, у вас проще, — и продолжала, словно в официальном разговоре, излагать свой служебный стаж.

Гесс доел котлету.

— Так-так, очень хорошо... Вы член профсоюза?

— Только не вашего, а рабис.

— Виноват, это по искусствам? Но ведь на Люберецком...

— Это после Люберецкого. Я ведь по многим профессиям трепалась.

— Ах, так. Но видите ли, ведь наша работа не в Москве, а в...

Оказывается, она знала и это. Больше того, ее устраивает именно тот областной город, в котором создается управление строительства.

— Ах, вот как. Ну, что ж... Вот только с жилищным вопросом...

— Благодарю вас, квартира у меня будет.

Главный инженер испытывал редкое для него чувство недоумения. Ясно, что эта первобытная женщина в узком сером платье твердо решила добиться сво-

его. Политические соображения мелькнули было у Максима Робертовича, но это была уже забота Яна.

— Могу предложить вам место копировщицы... пока, — сказал он. — А там будет видно... простите, ваше имя?

— Магдалина, — сказала женщина. — Магдалина Ивановна Волкова.

Она смотрела на него, слегка склонив голову набок, опять тем же особенным взглядом, как тогда в купе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тишина. Только снег скрипит под ногами, да изредка тявкнет у чьей-нибудь калитки собака.

Где-то мимо, с севера на юг и обратно, проносятся заиндевелые поезда. Где-то начинается вечер. В театрах городов, в колхозных и рабочих клубах хлопают входные двери, клубится снаружи на электрическом свете пар, перекликаются голоса...

Над Каменкой ночь.

Паперть замело снегом. Низенький человек в тулупе шаркнет по ступенькам лопатой, ему светит закоптелый фонарь, поставленный в сугроб. Человек стар и сед. Он работает медленно, редкая борода косицами торчит из овчинного воротника. Опершись на лопату, он долго стоит, как будто прислушивается к чему-то. Желтый язычок пламени мечется и мигает в фонаре; ползуче колеблется на каменной стене черная тень сучкастого голого дерева.

Тишина. Сугробами занесена ограда. Старик, покашливая и стуча лопатой, опять сгребает с каменных плит снег, потом снова прислушивается и заглядывает с краю паперти назад, на дальний темный выступ церковной стены. Еще в сумерках туда подходили люди. Неизвестные, новые люди, — иначе они не полезли бы через ограду по сугробам, а вошли бы отсюда, в ворота. Перелезли двое, с палками, остальные ждали за оградой, и один громко сказал:

— Ставь репер.

Потом оба повозились у цоколя и ушли. Вернутся они или нет?

Шаркает лопата, мигает фонарь. Идет ночь. Последние огни гаснут в хатах на

площади, когда паперть становится чиста от снега. Сипло запел первый петух. Нет, сегодня они не вернуться.

Старик спускается по расчищенным ступенькам, берет фонарь и лезет по сугробам вокруг церкви, помогая себе вздохами и лопатой.

Мутный светляк, качаясь, движется вдоль ограды, гигантская тень тулупа ползет по церковной стене, кривляясь и кланяясь в красно-кирпичных отвсетах.

У выступа старик поднимает фонарь. Дрожащая желтая полоса ложится на стену, из овчины и седых косиц на нее смотрят зававшие беспокойные глаза.

На цоколе, в небольшом квадрате, густо обведенном широкой каймой краской, чернеет четкая надпись:

R № 2

Старик постоял, задул фонарь, тем же путем вернулся обратно. Ржаво погремел на паперти замок, и опять все стихло. Уже без лопаты и фонаря, выйдя за ограду, старик медленно пошел по сугробной улице. На углу ночной ветер шелестел бумажным плакатом, приклеенным к доске для объявлений. Толстые буквы, намазанные грязной кистью или пальцем, были хорошо видны в зимней белесой темноте. Они сообщали, что завтра на площади, против церкви, состоится стрелковое состязание Осоавиахима. «Объявление срывать воспрещается, усе равно стрелба состоица» — прочел старик и медленно зашагал дальше. Он шел долго, и только в одной хате увидел свет.

Он заглянул и прошел мимо. На перекрестке тоже светились два окна, над дверью мутно проступала вывеска: «Почта. Телеграф. Телефон».

Старик поднялся на скрипучее крыльцо, постучал валенками и толкнул дверь.

Стол, занятый чертежами, хлебом, стаканами, карандашами, глиняными кринками с молоком, задвинули в самый угол; по всей горнице — на кошмах, на полшубках, прямо на полу — спали

впалку изыскатели, и от дружного храпа их, от собственной усталости и сытости у Дорофеева за столом тоже сплпались глаза.

Прелая духота одолевала инженера. Он давно снял толстовку и свитер и работал в ночной рубаше, пропотевшей и грязной у ворота. Рядом с ним над широкой полосой клетчатки сутулился помощник его, техник-нивелировщик Богун, тоже в одной сорочке: он только-что догнал Дорофеева со своими речниками, темные волосы его еще дымились на свету лампы. Богун жевал, делал карандашом вычисления отметок и говорил полушопотом, сверяясь со своими записями; напротив сидел Петруша с пикетажной книжкой. Инженер проектировал на клетчатке продольный профиль.

Пикет за пикетом вытягивалась линия — и какая! Несколько небольших выемок, две трубы пустяковых отверстий, и сплошной двухтысячный уклон до самой реки, — почти идеальный профиль, мечта каждого изыскателя!

Изредка инженер и техник останавливались и смотрели друг на друга:

— А ведь неплохо, Григорий Павлович...

— Красота! — Богун увлеченно блеснул глазами, жадно откусывал мягкий хлеб, запивая его холодным, густым молоком. — Нулевые же работы, Василь Василич, легче легкого... Вас премировать должны, факт!

Крошки сыпались ему за расстегнутый ворот, молочные капли дрожали на подстриженных черных усиках, а он уже хватал опять карандаш и принимался высчитывать, жуя и бормоча; и, зевнув сладко во весь рот, инженер Дорофеев снова брался за циркуль и склонял над профилем и планом раскрасневшееся потное лицо. Оба испытывали то особенное, поднимающее чувство радости, которого никогда не понять во всей полноте человеку, не прошедшему хоть раз с изыскательской партией ее долгий, изматывающий день; они проделали путь, подобный военному походу, и поистине надо было быть изыскателем, чтобы назвать легким этот путь!

Пусть гудят ноги, разламывает плечи, пусть ноет во всем теле зудящая уста-

лость, и сонной тяжестью наливается голова, — победой ложится на мелко-клетчатую бумагу каждый пройденный шаг. Тяжек был путь восьми человек, но легко будет на этом пути поездам, — здесь любые составы промчит паровоз так же стремительно и бесстрашно, как шагает сейчас циркуль по отметкам черного чертежа...

Пикетажист Петруша усердно сгибался над своей книжкой, обрабатывая дневную зарисовку местности. Он сопел и смурывал носом — и от старанья, и от духоты, и от досады: напротив, под самой божницей, сидел за столом Сурков. Подперев кулаками потную, вздохмаченную голову, он молча смотрел на работающих уже третий час под ряд.

«И чего торчит, колода... Дрых бы давно, нет, надо и ему... Как же, активист!»

Петруша злился, срыву перелистывал книжку без всякой надобности.

От близкого соседства керосиновой лампы веснушки рыжими брызгами пламени на его круглых щеках, в десятый раз он принимался точить ломающийся карандаш и при этом так поглядывал на комсомольца, словно точил нож, предназначенный для расправы с ним. Но Володя Сурков не замечал этих злобещих взглядов. Напряженно хмуря брови, он смотрел на стол, на продольный профиль и план линии, приколотые кнопками к столу, смотрел в лица инженеру и технику, слушал и опять смотрел на чертежи с таким видом, точно и ему надо было решать, где и как именно ляжет трасса, какой длины будет последняя выемка, и можно ли оттянуть станционную площадку на эту сторону реки, за село. Петруша не вытерпел.

— Василь Василич, вы бы дали Суркову хоть карандаши чинить. Тем более ему после кольев это пустяки, а то все равно зря сидит...

— Чего, я? — словно очнувшись, Сурков медленно отвел с чертежей покрасневшие глаза. Напряжение стояло в них и еще что-то, какая-то далекая мысль, видная только ему одному.

— Что ж, давай карандаш, — спокойно сказал он, глядя Петруше в лицо. — А то и верно...

И он взял обломанный карандаш, вынул ножик и стал аккуратно стругать, крепко зажав огрызок толстыми пальцами. В дверь постучали.

— Кто там? — негромко, чтобы не будить спящих, отозвался инженер.

— Наверно, хозяйка еще молока тащит, — сказал Богун.

— Да куда же еще, и этого никак не допьем...

Но нет, это была не хозяйка. За дверью слышалось бормотанье и шорох — очевидно, кто-то впотьмах не мог найти дверную скобу. Инженер, сидевший ближе всех к двери, встал и открыл. Низенький старичок в тулупе стоял у порога.

— Извините, инженера Дорофеева нельзя будет повидать? Поздновато я, да вижу — огонек...

— Я — Дорофеев.

Старик зорко прищурился и сразу весь залучился радостными морщинками, — словно встретил самого приятного на свете человека.

— Верно, вы и есть... Не признал сразу-то, без одежды...

Он шагнул в комнату, снял обеими руками шапку и, не кланяясь, проговорил приветливо:

— Здравствуйте, товарищи. Извините, может, работать мешаю.

— Мешаете, дедушка, — сказал Дорофеев. — Насчет железной дороги, поди, любопытствуете?

— Угадали, товарищ инженер...

— Ну, ясно. Так вот что, отец, завтра в сельсовете будет на общем собрании полный мой доклад. Там и на все вопросы отвечу, а в отдельности каждому рассказывать, сами понимаете, времени нет, — у нас вот работа еще...

Он говорил быстро, привычно и чуть-чуть нетерпеливо, как человек, которому постоянно приходится повторять одни и те же, хотя и необходимые, слова: он привык к таким посещениям на каждой ночевке партии.

— Благодарствую, — медленно сказал старик. — Только, видите ли... мне на собрании-то быть не полагается. Не принимает нашего брата советская власть. — И он улыбнулся не то виновато, не то сожалюще, и опять собра-

лось в добродушные морщинки благообразное старчески-белое лицо.

— Ах, так... — неопределенно сказал инженер. — Ну, тогда... Да вы, собственно, что хотите знать?

Старик внимательно оглядел комнату — спящих на полу, стол, стаканы с молоком, чертежи. У него были очень темные глаза, и от них еще белее казалась торчащая косицами борода.

— Желал бы общественный один вопрос выяснить... — значительно выговорил он.

— Ну, говорите. Только короче, граждан, время идет.

— Желал бы наедине.

— Что? Ни к чему. Говорите здесь, мне некогда. — Инженер отошел и, сев к столу, взялся за карандаш.

— Ну... Коли так, простите, — вздохнул старик. Дружный храп спящих отвечал ему. Он надел обеими руками шапку с наушниками, шагнул к двери и вдруг, словно спохватившись, взглянул на инженера.

— Ох, и забыл совсем! Телеграммку ведь принес... Где уж она, постойте-ка...

— Телеграмму? — Дорофеев вскочил, как от удара. — Мне??

— Вам, вам...

— Так какого же вы... — Широкое лицо инженера побледнело, поглом кровь мгновенно прилила опять к небритым щекам, к вискам, к большому, потному лбу. Он порывисто шагнул к старику: — Я же три раза на телеграф заходил! Говорят, до востребования — на почте, а почта закрыта...

— А вы бы внизу справились, в телефоне, там тоже иногда оставляют...

Старик рылся где-то, расстегнув тулуп, Дорофеев стоял около него, сжав кулаки, и говорил уже совсем иначе, торпливо и искательно:

— А я и не знал... Вот ведь не догадался, понимаете ли!.. Право, не знал, а то бы... ведь три раза заходил... Да что вы, потеряли, что ли?

— Зачем потерять... Вот, пожалуйста...

Старик вытащил смятый листок, и Дорофеев схватил его, едва не разорвав.

«Прощаю люблю согласна одним условием».

Он смотрел на чужие, аккуратным детским почерком выведенные буквы, смотрел молча, стоя так, что никому не было видно, кроме него, и все остальные тоже молча смотрели ему в лицо. Наконец он сложил листок и небрежно sunul в карман.

— Так. Ну, спасибо... Сколько за доставку?

— А я ведь не с телеграфа, товарищ инженер. Племянница у меня в телефоне служит, от нее и услышал, что вы, значит, еще не востребовали. Вот и взял — дай, думаю, занесу, видать, человек занятой, а мне все одно по делу...

— Пойдите, так это вы меня встретили против церкви?

— Я самый.

— То-то я смотрю, лицо знакомое... Ну, двойное вам спасибо, дедушка, очень большое спасибо!

Дорофеев улыбался, и трое изыскателей, сидя за столом, не сводили с него глаз. Такой смущенной и радостной, почти мальчишеской улыбки никто из них еще не видел ни разу у инженера, — она как-то освещала его всего, молодила и неожиданно красила: это был уже не молчаливый, деловой и жестковатый начальник партии, каким они привыкли его видеть, а совсем еще молодой человек, простой и сердечный, наверное любящий и пошутить, и посмеяться в компании, умеющий не только работать, но и заниматься каким-нибудь веселым пу-стяком.

— Спасибо большое! — искренно повторил он, протянул старику руку и крепко, размашисто потряс. Старик свободной рукой запахивал тулуп.

— Ну, пойду уж... Простите, что помешал...

— Ничего, ничего! Мы уж и кончили почти. Молока не хотите ли? Ах, да, вы ведь по делу...

Дорофеев смолк. Он посмотрел на старика, потом на товарищей и сказал решительно:

— Вот что, ребята, вы тут делайте пока, а я с дедушкой на дворе поговорю, раз просит.

И, надев полушубок и шапку, вышел за стариком.

Когда он вернулся в хату, Сурков и Петруша уже спали, но у стола сидел с Богуном новый посетитель. Богун что-то объяснял ему, показывая карандашом на плане, лампа горела ярче и коптила, посетитель слушал, держа около нее обе ладони — не то грея пальцы, не то загораживаясь от света. Видны были только губы и нос, озябший, клювастый и длинный, и по этому носу инженер сразу узнал инструктора обкома.

— Разыскал-таки нас, товарищ Берман?

— Почему нет, — сказал Берман, оглядываясь. — Я бы давно пришел, я не хотел мешать. Мы же условились в двенадцать. — Он показал часы: было пять минут первого. — Гулял пока тут, по улице.

Пальцы инструктора, красно-прозрачные на свет, крючились окоченело.

Они были так тонки и худы, что, казалось, не кровь и не кожа, а сами суставы просвечивают на огне.

— Чаю вот нет, уж остыл, — рассеянно сказал Дорофеев, поднимая с полу жестяной чайник. — Может, молока выпьете?

Берман посмотрел, яркий нос его наморщился смешливо, словно инструктор собирался чихнуть:

— Что ж, можно и молока, это согревает. — Отломив горбушку, он налил себе из кринки полстакана. — Так, значит, здесь будет строить дорога, товарищи? Не знал. Стыдно, а не знал. Положим, я всё по районам, в обкоме не был недели три, но ведь и в районном комитете — хоть бы слово кто сказал!

— Э... — Дорофеев махнул рукой и тяжело облокотился на стол. — Я тебе прямо скажу, товарищ Берман, мне вот уж седьмой год приходится по линии НКПС работать, и всегда, и всюду нас ругают за обособленность, за это, понимаешь, туполобое какое-то отчуждение от общей жизни областей и краев, на территории которых проходит дорога — старая там или новая, все равно. Верно, есть эта язва! И выжигать ее надо до самого нутра, ведь старая она, застарелая до чорта! Сквозь всю историю капитализма, во всех, понимаешь, странах железные дороги прошли, как государ-

ство в государстве! И в наших железнодорожниках эта штука еще вот как сидит, крепче пришта всякими там традициями, чем иной рельс — костылем. Пора, пора нашей партии за все это дело взяться, ведь на местах-то, на местах что делается, ты посмотри! Разве в нас одних дело? Территориальные организации как к нам относятся? Ведь это чорт знает что! Вот хоть бы здешний секретарь райкома...

— Потихе, товарищ, ты разбудишь ребят. — инструктор спокойно слушал и с аппетитом работал над хлебом и молоком. Володя Сурков, растянувшийся на собственном полушубке у самого стола, ворочался во сне. Инженер заговорил тише. С улицы стал слышен отдаленный взрыд гармоники, слабые отзвуки тонких девичьих голосов. Богун прислушался и встал.

— Василь Василич, я выйду пройтись. Голова набухла, аж спать не хочется.

— Да уж вижу, что так... Смотри, Григорий Павлыч, все равно в семь пойдому.

— Сам встану, вот увидите.

— Знаю я, как ты сам встаешь.

Инженер и техник обменялись взглядами, глаза у обоих смеялись.

Богун надел шапку-кубанку и коротенький черный полушубок с белой барашковой опушкой — по низу, по бортам, по низенькому стояющему воротнику. В этой одежде он был похож на кавалериста из земгусаров, со своим смуглым, красивым лицом и черными усиками, на одного из тех роковых «героев нашего времени», которых наше время давно уже не знает, но тип одеяния которых зато прочно утвердился на сценах советских театров и неизменно появляется во всех пьесах о гражданской войне независимо от того, изображает ли актер начальника разведки или комиссара красноармейской части, полковника Турбина или Василия Чапаева.

Богун вышел.

— Тактичный молодой человек, — сказал инструктор обкома.

— Ничего, и работник хороший. То есть... ты думаешь, это он потому ушел, чтобы партийному разговору не мешать?

Да нет, просто по бабьей части у него слабость. Прямо неудержимый спец, ничего с ним поделаться нельзя.

— А, ну, может быть, и так. Но мне показалось...

— Да нет, он парень простой, наш. Только-что из Красной армии, одногодичник, помкомвзвод запаса. — Хотя и беспартийный, но я бы ему доверял больше, чем, откровенно говоря, иному из наших партийцев, вот хотя бы вроде здешних.

— Ты горячий человек, товарищ Дорофеев. — Инструктор обкома допил молоко и отставил стакан. Его влажные еврейские глаза смотрели смешливо и в то же время внимательно, и это придавало его худому заросшему лицу неуловимо тонкое, умно-ироническое выражение. — Пусть твой техник в самом деле замечательный парень, но бывают вопросы...

— У меня таких вопросов нет. То, что я хотел тебе сказать, товарищ Берман, об этом знает вся партия, то-есть вот моя, изыскательская, и, к сожалению, ничего не хочет знать районный партийный комитет.

— Так-таки весь райком?

— Товарищ Берман, секретарь райкома плюет не только на нашу работу, но и вообще на то, будет здесь железная дорога или нет. Я в его районе иду шестой день, и за все время этот уважаемый товарищ уделил мне ровно четыре минуты. Во-первых, он сказал, что «против изысканий не возражает», во-вторых, что «за содействием обратитесь в рик», а когда я сказал, что ряд вопросов надо бы обсудить на райкоме, то в ответ получил коротко и ясно: «У нас и без вашей дороги трудностей хватает». Вот какие тут дела, товарищ Берман.

— Да-а. Конкретно, ты что от них хотел?

— Как что? Ведь у меня же три варианта заданы, и каждый и политически, и экономически необходим позарез. Рядом — шахтерский район, а тут, понимаешь, недобитков кулацких — хоть вагонами грузи... Глушь, темнота. До ближайшей станции в распутицу да в грязь по трое суток подводы идут! Вот тут и решай: ссыпными пунктами прой-

ти — от шахт далеко будет, а посредине трассировать — дорогие работы, все балками, все виадуки да мосты...

— Как в сказке, — проговорил Берман. — Направо поедешь — коня потеряешь, налево поедешь — голову потеряешь, прямо поедешь — будешь холоден и голоден. Это Жуковский писал, или кто?

— А чорт его знает, не читал. Мальчишкой сказок не любил, а уж теперь и людей не люблю, которые сказки рассказывают.

— Напрасно... Впрочем, я ведь не рассказываю, а только цитирую. Так что меня ты вполне можешь полюбить, не изменяя своим убеждениям.

Инженер усмехнулся угрюмо.

— Да нет, я так... Тебя в виду не имел. Так вот, о райкоме. Надо же обсудить, понимаешь, узнать точку зрения местных работников, использовать их опыт, знание края... а тут на тебе: «и без вас трудности»... Да дурак он липовый, будет железная дорога — половину его трудностей как дождем смоет, ведь ребенку понятно! Да это еще не все... Подвод просил три, дали одну, верховую лошадь просил, — надо же местность обехать, осмотреть, — куда там! Лыжи нужны позарез, обещали, и тоже ни черта — прем пешком по такому снегу... Ладно, ребята подобрались славные, не бузят, а ведь это же, по существу, издевательство! Восемь пар лыж не найдут, — из Москвы, что ли, надо было их тащить?

— Так. Всё?

— Всё.

— В основном ты прав, товарищ Дорофеев. Головка райкома плоховата вообще, это факт, и твои сообщения только подтверждают то, что мне приходится наблюдать и самому. Вот сегодня например. Секретарь райкома должен сюда приехать еще утром, а его нет до сих пор, и я не уверен даже, что он приедет завтра, а не выдумает какую-нибудь отговорку. Мы здесь сговорились собрать колхозный актив — потолковать откровенно по церковному вопросу. Тут такое гнездо...

— Знаю, — сказал Дорофеев.

— Вот как, успел уже?

Инженер помолчал.

— Поп здешний приходил ко мне.

— Сюда?

— Вот только-что, перед тобой.

— Ну, и что он хотел?

— Да так... собственно, ничего. Разведку делал. Дорофеев усмехнулся неопределенно, оглянулся на спящих. — Знаешь, что он мне предлагал?

Он сказал это пониженным голосом, и Берман слегка наклонился вперед.

— Агитировать население на стройку дороги, если только мы не тронем церкви.

— Да ну?

Берман в восторге хлопнул себя по коленкам, нос его наморщился так, словно Берман собирался чихнуть, рот открылся, рыжеватые брови полезли вверх.

— Ну и тип! Это же тип, Дорофеев, это прямо последний из могикан! Я еще в районе о нем слышал, но такого номера... — Он помотал головой с видом полнейшего эстетического удовлетворения. — И что ты ему ответил?

Инженер рассеянно смотрел в окно. На улице смутно серел снег, где-то во дворе загорланил бодрый петух. Белесая муть сочилась в хату, лампа коптила попрежнему, но огонь ее таял и бледнел, и казалось, что храп и пошвыстывание спящих на полу людей слабеют и замирают тоже от близости рассвета.

— Сказал все, что надо, — проговорил Дорофеев, все так же рассеянно глядя в окно.

— А ребята?

— Что ребята?

— Тут же у тебя наверное есть местные. — Инструктор кивнул на спящих. — Интересно, как они себя держали при этом? Он же тут такое влияние имеет, этот попик, просто поверить трудно, пока не познакомишься с фактами.

Дорофеев зевнул.

— Спать пора, пожалуй... Ты, может, у нас заночуешь, товарищ Берман? Тут у нас еще каморка есть теплая, там только инструменты да я с Богуном. Ладно? Ну, вот и хорошо. А поп — это, по-моему, пустяки. Дайте в район крепкое партийное руководство, и завтра же от этого попа вместе с его «влия-

нием», как ты говоришь, останется ровное место.

— Ну, не завтра, пожалуй... По-твоему, стоит сменить секретаря, и все сделано. А ты поставь себе вопрос: почему же в этом районе так долго сидит плохой секретарь? Почему вся организация спит? Почему именно тут оказываются мыслимы и поповский авторитет, и колокольный звон, и многие другие вещи, которые в других местах показались бы вредом или смешной сказкой, которых ты так не любишь? Нет, Дорофеев, дело не в одном человеке. Ты читал Стендаля. Дорофеев?

— Нет, как будто.

— Он, между прочим, замечательно расписал всю гнусь, какая пошла на земном шаре от священников. «Все это безобразно, — говорит, — и тем безобразнее, чем изображение будет правдивее. А между тем у народа нет других наставников, и без них что бы он стал делать?» Понимаешь, это без попов-то. И вот тут у него самое замечательное. Сразу после этого он спрашивает сам себя: «Удастся ли когда-нибудь газете заметить священника?»

— А, здорово! — Дорофеев усмехнулся. — Как говоришь его — Стендаль? Умный был человек.

— Да. И честный, добавь. Как видишь, друг Дорофеев, мы, большевики, делаем то самое, о чем умные и честные люди мечтали еще сто лет назад. Приятная истина, верно? Но есть и еще одна истина, вытекающая из первой: там, где мы этого не делаем, там, естественно, многое остается так, как было сто лет назад.

— Ну?

— Ну, и много ты видел в этом районе газет и книг, что?

— Это-то верно... Здесь вообще надо крепко подвинтить гайки, товарищ Берман. В таком районе не то что дорогу строить, а и советскую-то власть еще раньше достроить надо...

Инструктор обкома посмотрел на него:

— Почему раньше, Дорофеев? Если строить одновременно, пожалуй, быстрее получится — и советская власть, и железная дорога, что?

... Долго еще говорили тихими голосами два человека, встретившиеся впервые в зимней степной глуши. Они знали, что посланы сюда из совсем разных мест и по совершенно разным делам; и они совсем не знали друг друга, как не знали и того, придется ли им встретиться еще хоть раз, когда они раз'едутся отсюда в разные стороны завтра или послезавтра. Но если бы каким-нибудь невероятным случаем понаблюдал их в разгаре этой ночной беседы очень знаменитый, очень чуткий, очень проникновенный и одаренный воображением писатель, то он подумал бы об этих двух людях все, кроме того, что было на самом деле. Он подумал бы, может быть, что это два старых друга встретились после долгой разлуки и увлеченно ворошат прошлое при свете керосиновой лампы, или, может быть, только один из них увлеченно вспоминает, а другой только слушает, и они вовсе не друзья, а просто московские знакомые, которых связывает однако за походным ужином тесная сеть общих дорогих воспоминаний, — и этот проникновенный писатель был бы, возможно, Лев Николаевич Толстой; или писатель заключил бы, что это — два мыслителя, две одинокие очарованные души, которых влечет к уединенному спору за скудной трапезой тончайшее сродство интеллектов, — и этот чуткий писатель был бы, возможно, Ромэн Роллан; или писатель вообразил бы, что это шепчутся два заговорщика, замышляющие над планом старинного замка подкоп и злодейство во мраке ночи, или два таинственных существа, вызывающие кабалистическими письменами полночных духов, — и этот богатый воображением писатель был бы (а вдруг?) Эрнст-Теодор Амадей Гофман...

Но никого из великих писателей не было в селе Каменке в феврале последнего года первой пятилетки. И разговор двух небритых собеседников, склонившихся у керосиновой лампы, остался бы потеряннным для будущих поколений, если бы не слышал их Володя Сурков, комсомолец из районного центра, специалист по тасканью заостренных кольев и по очинке карандашей. Он дождался

терпеливо, пока Дорофеев и Берман ушли с электрическим фонариком в каморку за перегородкой, осторожно встал, привернул коптившую лампу и лег спать, на этот раз не предвидя больше от жизни никаких поучительных неожиданностей.



Выйдя на галлерейку хаты, Богун прислушался. Уже явственней звенела гармонь, пронзительно-тонкие девичьи голоса вторили ей. Богун прислонился к щелястому столбу галлерей, глубоко дыша морозным воздухом, с наслаждением ощущая, как холодеют зубы во рту. Он закрыл глаза и не видел, что сверху пробивается луна, и, когда снова открыл их, замер от восторга.

Снег на улице и на крышах искрился мерцающей звездной россыпью. Черные тени деревьев, домов, низеньких каменных оград лежали на сугробах. Белые стены хат отражали блистающее безмолвие ночи.

Голоса приближались. Они поднялись на снежное взлобье к мельнице, стихли в переулке, и вскоре визгливым припевом плеснулись совсем рядом, на перекрестке. Гармонь рванула, песня оборвалась, послышался смех и веселье голоса. Богун вытянул шею, но еще никого не было видно — девчата и парни столпились вероятно перед крыльцом почты. Вот и голоса стихли, гармонист хриповатой отяжкой заиграл на басах перебор. Приближаясь, вразнобой, заскрипели по снегу шаги, и сразу, пронзительно и дружно, рыдануло всеми голосами:

Не страда ай ти, девки, стра-астна,
Пропадет любо-овь на апра асна .

Богун с силой оттолкнулся от перил галлерейки и смаху прыгнул в снег. На вершине зевластого хора плыл высокий и сильный голос, и Богун пошел ему навстречу, как лунатик, не обходя сугробов, не глядя под ноги.

На середине улицы его заметили. Ча-стушка взметнулась еще разливистой, потом так же внезапно и дружно все смолкли, только гармонь торопливо до-

игрывала припев. Сам не зная, как, техник очутился в кучке гулявших. Их было гораздо меньше, чем он думал, но она была здесь. Близко перед собой Богун увидел туго перетянутый ремнем полушубок, темные космы папахи и под нею — широко раскрытые, застывшие в лунном блеске глаза.

— Васенка, — сказал Богун чужим голосом, — Васенка, ты почему не спишь? Вставать рано ведь, сбор у сельсовета в восемь.

— Я знаю... — Девушка ответила тихо и почему-то отошла от своих, и от этого техник почувствовал вдруг, как бьется у него сердце, и волна томительной сладкой решимости прошла по всему телу.

— Васенка, можно тебя на минутку?..

Он взял ее за руку, колючая варежка легла в его горячие пальцы. Нерешительно потянул куда-то и не знал, что еще сказать, чувствуя, что вот-вот засмеются сзади, и все пропадет, и она вырвет руку и уйдет со всеми... Васенка махнула своей свободной рукой, крикнула что-то смешливым, ребячьим голосом — совсем не тем, каким пела, — и, легко повернувшись, пошла по улице обратно, рядом с Богуном. Техник хотел было взять ее под локоть, но она не поняла этого, и они так и пошли, держась за руки, и сквозь дыры варежки Богун чувствовал, что пальцы Васенки холодны, как лед.

— Ты замерзла? — сказал он, думая о том, что надо же что-нибудь говорить. Она молчала, быстро шла вперед и, кажется, смеялась беззвучно, но Богун из-за папахи не мог видеть этого и не решался заглянуть ей в лицо.

Они прошли до угла, никто не попался навстречу. Объявление о стрельбе, которая все равно состоится, одиноко шелестело на доске. Улица лежала, бела и пустынна, луну опять затянули клочья туч.

— Васенка... — не слыша себя, заговорил техник, — как ты поешь, Васенка...

— А что, не нравится? — Она на ходу посмотрела на него, глаза блеснули, и Богуну показалось, что ее пальцы в варежке слегка пожали ему руку.

— Очень нравится... как ты сама, — торопливо сказал он, выпустил пальцы девушки и крепко взял ее под руку, выше локтя, прижав его к себе и переменяя шаг, чтобы итти в ногу. Улица повернула. Совсем близко, в конце ее, встала ограда, за нею — темная колокольня, и тут только Богун вспомнил, о чем хотел спросить.

— Слушай... Это не ты пела в церкви?

— Когда?

Девушка остановилась круто. Взгляды их встретились.

— Когда?

Техник посмотрел на нее, на церковную ограду. Вот здесь же, вон на том углу, проходил он несколько часов назад с речниками... Так же темно было, в редких хатах светились огни, только здесь, за высокими решетчатыми окнами, был свет, трепетный и неяркий, от которого тьма вокруг еще тягостней оплывала над сугробами. Из-за окон доносилось пенье.

Тягуче выводили хриповатый бас и надтреснутый тенор, и казалось, словно не от мерцанья свечей, а от этих протяжных голосов льется на сугробы желто-восковой свет. И вдруг третий голос, высокое и чистое сопрано, взлетел над ними. Он сплелся с унылыми мужскими голосами, он тоже пел молитву, но звук его пронзал и тьму над снегами, и тягучесть песнопенья звенящим своим острием. Он рос, он ширился, и приглушенный напев вместе с ним неуловимо креп, дрожа чуждыми себе, бодрыми и радостными нотами, и молитва словно переливалась мгновениями в мелодию всемирно известной комсомольской песни. Старческий тенор, уступая, пропал за этой светлой волной, и бас уже не хрипел, а гудел мягко и удовлетворенно...

— Это ты пела, Васенка?.. Нынче вечером, ты?

— Я... — тихо сказала девушка.

— Как же ты... Значит, ты в бога веришь?

— Я петь очень люблю... — еще тише проговорила девушка. Она смотрела, не мигая, куда-то мимо Богуна, в ночь, глаза ее казались черными и печальными.

ми, и Богун подумал вдруг, что она очень похожа на монашку.

— И что же, часто ты?..

Она качнула папахой.

— Я ведь не тут живу... Рядом, в колхозе. Сюда только к бабке хожу, по праздникам. А нынче вот пришли с партией, как-раз ко всенощной... Я очень петь люблю.

От темноты или от снега лицо ее было совсем бледным. Она подняла на техника близкий взгляд, — робкий, виноватый, стыдящийся, было невероятно представить, что у нее, именно вот у этой чудной Васенки, а не у какой-нибудь другой девушки, — т а к о й голос, т а к а я манера петь.

— Товарищ Богун, что я вас просить хочу... Можно мне совсем к вам поступить?

Техник даже не понял сначала. Появив, объяснил, что пока еще, во-первых, не известно, когда начнется постройка дороги, а во-вторых, принимать на работу будет не он, а те, кто будет строить на этом участке.

— А разве не вы тут будете?

В голосе девушки послышалось такое искреннее разочарование, что Богун внутренне обругал себя шляпой.

— Может быть, и буду, — проговорил он, придвигаясь ближе, и потянул ее к себе, обхватив одной рукой сзади за плечи. Она не сопротивлялась. Техник ощутил губами ее холодную щеку, потом обветренный, жесткий рот.

— Милая... — зашептал он, еще плотнее обхватывая ее. Кисловатый запах полушубка или папахи ударил ему в нос, девушка отворачивалась слабо, как будто хотела что-то сказать, обветренные губы ее разжимались податливо и неумело. В это время опять заиграла гармонь, недалеко, за углом. Васенка вырвалась и шагнула к калитке.

— Ты куда?

— К бабке, ночевать.

— Ну подожди, Васенка, куда ты...

— А на постройку примете?

Она засмеялась тихим женским смешком, а сама вытирала губы варежкой, и Богун опять обхватил ее и целовал в варежку, в холодные щеки, в непослушный девичий рот.

— Приму, конечно приму... — бормотал он, задыхаясь. У Васенки свалилась папаха, она вырвалась, чтобы поднять ее, и, скрипя валенками, побежала за калитку, но не ушла дальше, а стояла за оградой.

— Какой вы... как нарисованный, — негромко сказала она. Техник стоял на дороге в своем ловком полушубчике, кубанка у него лихо сдвинулась, открывая лоб и черные кудрявые волосы.

— Подожди, Васенка, милая...

— Вставать рано... В восемь часов сбор, товарищ Богун.

Она смеялась тихо и не уходила, но он уже знал и чувствовал: из-за калитки она больше не выйдет. «На сегодня хватит...» Он вздохнул всей грудью, постоял еще, улыбаясь, махнул девушке и пошел. Он был доволен собой, мягкой зимней ночью, удачным ходом изысканий и всей жизнью, которой еще так много представлялось ему впереди, такой же подвижной и хорошей жизни, с увлечениями работой, со спешкой, с переездами со стройки на стройку, на новые места, с крепким сном и неумным аппетитом, с незнакомыми девичьими губами и с такими замечательными коммунистами, как Василь Васильич Дорофеев. Он шел, насвистывая, хрустя бурками по снежному насту, улыбался заиндевелым деревьям, нарочно свернул навстречу гармонике и прошел мимо парней и девчат.

— Все гуляете? — весело крикнул он им.

— А что ж не гулять...

— Идем, инженер, с нами!

Девчата зашептались, хихикая. Богун подошел, вытаскивая папиросы, его обступили, стали закуривать.

— Товарищ, скоро дорога-то будет?

— Завтра приходите в сельсовет на собрание, все расскажем, — сказал Богун. Пачка была уже пуста, он сам закурил последнюю.

— Через нас проведете, али мимо?

— Куда ж мимо, лучше нашего ни где ему реку не перейти...

— К осени бы построили, вот это да! А то в грязьшу...

— Дыму теперь будет, пожаров, братцы, — беда.

— Вот дурак, ну и сказал!

— Ничего не дурак, не знаешь, так сам молчи.

— Ты этого не слушай, товарищ инженер, — сказал гармонист, низенький лобастый крепыш в перетянутой ремнем кацавейке. — Ты обязательно через нас проведи, слышь? У нас девки — во, первый сорт...

От него слегка пахло водкой. Вокруг захохотали, и Богун смеялся со всеми; куря и отвечая на вопросы, и вдруг увидел, что позади гармониста молча, отдельно от всех, стоит Дымко.

— А, и ты здесь — приветливо сказал техник. — Ну, брат, загулялись мы с тобой, спать ведь пора. В восемь — к сельсовету, знаешь?

— Знаю, — угрюмо сказал парень. Он исподлобья посмотрел на техника и отвернулся. — Пошли, что ли, ребята!.. — И, обняв гармониста за плечи, потянул его вперед. Гармонист послушно пошел, перебирая лады, и все двинулись за ними. Зажурчали под ловкими пальцами басы, и вдруг опять взыграл над снежной тишиной частушечный ядреный мотив. Богун остался один.

Долго и удивленно глядел он вслед уходящим. Ему хотелось догнать Дымко, спросить его прямо, и в то время что-то смутное удерживало, мешало поступить так. Он пожал плечами, усмехнулся и медленно пошел дальше.

А гулянка, обогнув церковную ограду, шла уже по соседней улице. Гармонь разливалась весельем, озорные голоса, словно нарочно, будоражили ночь визгами и выкриками. Но вот затянули песню, и Богун застыл на месте, прислушиваясь.

По До-ону гуляет... —

звонко повел высокий голос

По До-ону гу-ля-ет... —

неуверенно, вразнобой повторил хор.

По Дону гуляет

Казак молодой... —

дружно подхватили все, но и в разливе песни, покрывая все голоса, звеняще вознесся опять тот, первый, который нельзя было, услышав однажды, не запомнить и не узнать...

— Опять она... Васенка! — растерянно прошептал Богун.

На углу ветер кинул ему под ноги большой, смятый лист бумаги. Богун поднял его. Это было объявление о стрельбе, разорванное пополам.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Через месяц начальник строительства и главный инженер опять возвращались из Москвы.

Уже рассветало, когда Максим Робертович Гесс сошел с поезда на узловой станции. Зимний еще простор лежал вокруг. Белесая муть рассеивалась над снежным полем. Здесь надо было пересякаться: с дороги, идущей от севера к югу, на дорогу, идущую от запада на восток, чтобы, дождавшись поезда, проехать всего несколько часов до большого города — центра необозримых черноземных пространств, избранного резиденцией строительного управления сверхмагистрали. Правда, до этого города можно было добраться из Москвы и другим направлением, с противоположной стороны; но и там поезда должны были на одной из станций сворачивать с магистральной линии на боковой отросток и идти по нему тридцать пять километров только для того, чтобы остановиться у вокзала областного города, забрать там пассажиров и грузы, а потом сделать те же тридцать пять километров обратно, вернуться на ту же станцию и только после этого продолжать путь по магистрали. Для пробега вагонов и паровозов получался неизбежный в обоих направлениях крюк, — и сколько таких «крюков» понастроено было за сто лет на путях сообщения Российской империи!..

Второй маршрут был несколько удобнее беспересадочностью сообщения; по нему и ездили все, кому надо было попасть из Москвы в областной город или обратно, — и если Гесс и Гедвилло все-таки избрали маршрут с пересадкой, то сделано это было по причинам, которые сочинитель искусственный всенепременно использовал бы для ловкой операции над читателем, именуемой «подачей материала».

Захолустная однопутная дорога, по которой на этот раз ехали из Москвы начальник строительства и его главный инженер, именно она и была избрана началом будущей сверхмагистрали. Здесь, на все семьсот километров, предстояло провести вторые пути, в то же время подняв, усилив, совершенно заново перестроив первый путь; и как бы хорошо было, если бы Гедвилло и Гесс смотрели добросовестно всю дорогу в окна! Тогда бы читатель вместе с ними увидел сразу все протяжение линии, и сочинитель сразу устроился бы с проблемой тематической актуальности книги, развязав себе руки на многие десятки страниц для пописывания в свое удовольствие. Так в прошлом веке привозные жокеи, дирульники и камердинеры, превратясь по воле судеб в учителей благовоспитанности и французского диалекта для российского дворянства, раздругой занимались «на людях» со своими воспитанниками, как полагается, разговорами и манерами, а все остальное время занимали молодых господ анекдотами из личной практики, выпивкой, экскурсиями в девичью и другими видами благородного и веселого времяпровождения. Так в нашем веке иной деятель советской эстрады, пустив «на затравку» два-три номера «созвучных эпохе», дальше шпарит уже открытую халтуру собственного изготовления; а какой-нибудь второразрядный композитор из бывших держковнх регентов после классово-выдержанной прелюдии к сонате незаметно переходит на рулады, в которых понимающему человеку нетрудно распознать совершенно конкретный псалом на глас седьмой. Так бывает, между прочим, и в иных прославленных романах нашего времени.

Да, могло бы получиться очень ловко, удобно и незатруднительно!

Откуда, в самом деле, легче всего увидеть железную дорогу, как не из окна вагона? Герои романа вполне могли бы, из вежливости к читателю, смотреть в это окно в течение хоть целого печатного листа. Зато уж после автор, отделавшись, всласть бы мог позаняться самыми сокровенными переживаниями героев в областях философической, эро-

тической и прочих, не удручаясь уже неприятной мыслью о том, что герои эти — все-таки строители, а не просто «мыслящие индивидуумы», все-таки инженеры, а не человеки вообще, и даже не инженеры вообще, а инженеры конкретного специального дела.

Увы! Герои наши вряд ли и подозревали о том, что они могут не существовать в действительности, а только функционировать по усмотрению сочинителя. Они ехали по делам своей стройки, а в дороге думали и о своих личных делах — люди занятые и озабоченные. Они не изучали через окно дорогу потому, что уже знали ее, и еще потому, что из окна вагона ее и нельзя было увидеть; можно было бы только увидеть кое-что, как видит турист с парохода приморские берега, которые так и остаются для него немymi, как видит летчик с аэроплана вершины гор, на которые месяцами взбираются туристы. Да и что вообще, читатель, можно увидеть на земном шаре из этого пресловутого вагонного окна, в которое представляя тебя смотреть с поучительными целями тысячи повестей, рассказов и романов с самого изобретения пароюза!!

«Теперь уже трудно и почти невозможно видеть Европу, но через несколько лет она совсем изгладится из памяти людской, — для этого, собственно, и учреждаются железные дороги. Европа для путешественников превратится в несколько точек, освещенных фонарями, в несколько буфетов, украшенных рюмками. Тогда новые Куки и Дюмон д'Юрили выйдут из вагонов и пойдут во внутренность Европы и расскажут нам о нравах и жизни людей, не на железной дороге живущих. Сколько раз я мечтал о том, когда сделают минденскую и кенигсбергскую дорогу, — как славно и полезно будет путешествовать! Допелелся до Кенигсберга, сел в вагон — и не выходи, пожалуй; машина свистнула и пошла постукивать: Берлин — 4 минуты для наливки воды, Кельн — 3 минуты для смазки колес, Брюссель — 5 минут для завоевания бутерброда с ветчиной, Валансьен — 4 минуты для того, чтобы доказать французскому правительству,

что оно не умеет отыскивать спрятанных сигар, Париж — 15 минут для переезда в омнибусе с одного дебаркадера в другой...»

Александр Иванович Герцен без малого девяносто лет назад понял неприемлимую распря настоящего внимательного путешественника с железнодорожным транспортом, а мы все еще склонны пренебрегать его горьким опытом.

Не будем же возлагать чрезмерных надежд на вагонные окна и на глаза героев, сидящих в купе!

Не требуйте от людей того, что вы должны требовать от самих себя, читатель и автор!

Уже отошел поезд, увозя начальника строительства дальше, на полутупиковую конечную станцию захолустной линии, откуда будущая сверхмагистраль пойдет уже новостройкой, по пескам, скалам и степям. А главный инженер остался на узловой станции, чтобы на пересадке между двумя поездами присмотреться к местности, прикинуть в голове, какие работы ожидают строительство здесь, в его географическом центре. Он стоял на платформе и внимательно осматривался кругом.

Станция дремала. Было бело и тихо. Неторопливо ходили сонные, молчаливые люди. На путях стояли хвосты товарных составов; казалось, сон зимнего утра сковывал их. Снег лежал нетронуто на крышах вагонов, дружных и порожних, снег покрывал шпалы на путях, подножки вагонных площадок, снег облеплял переплеты наружной обшивки и даже бандажи колес. Посторонний транспорту человек мог бы подумать, что эти вагоны с грузом никто и нигде не ждет, что эти порожние вагоны тоже не нужны никому — ни здесь, ни на соседних станциях; и единственный маневровый паровоз, пыхтя и чуть переползая со стрелки на стрелку, бездумной медлительностью своей как будто свидетельствовал о законности этого кладбищенского покоя.

И в то же время пути были явно забиты. Достаточно было скопиться здесь еще двум-трем товарным поездам, чтобы станция стала пробкой; для Гесса это было ясно, как день. Он постоял, по-

смотрел еще раз во все стороны. До горизонта, насколько хватал взгляд, лежала белая равнина.

«Не может быть, чтобы площадку нельзя было расширить без особых затрат...»

Максим Робертович проверил время: до поезда, на который ему предстояло пересаживаться, оставалось еще часа два, следовательно, можно было поговорить и с начальником станции, и с диспетчерами. Он двинулся по перрону, как вдруг услышал гудок и тут же увидел поезд, подходивший по первому пути. «Что за чорт...» Поезд двигался почему-то задним ходом, паровоз был в хвосте. Однако другого в расписании не было, и Гесс заторопился прокомпозировать свой служебный билет, еще не понимая, в чем дело. Перрон был длинный. Гесс шагал, потом побежал тяжелой рысью в своей кожаной куртке и охотничьих сапогах, а поезд уже подошел, и Максим Робертович, кинув взгляд на ползущие мимо вагоны, опять остановился в изумлении: он узнал мягкий вагон, из которого вышел сорок минут назад. Тот же проводник стоял на его площадке, те же пассажиры смотрели в окна. Ясно, это тот самый поезд, в котором он приехал сюда и который должен уже быть на полпути к следующей станции. Что за чепуха!

— Почему поезд вернулся? — крикнул Гесс проводнику.

— Сейчас дальше пойдет-с, — учтиво и с готовностью отвечал проводник.

— То-есть как дальше? Вы же вернулись с пути.

— Никак нет. — Проводник своим худощавым бритым лицом и форменной фуражкой без полей, с прямым козырьком, был похож на французского унтер-офицера.

— Ничего не понимаю, — раздраженно сказал Гесс. — Где же был поезд в таком случае?

— На этой станции, только на первой. Шесть километров отсюда.

— На первой? А это какая же?

— Это вторая-с. Эта, значит, московского направления, а та юго-восточных... Как, значит, из Москвы подходим, — завсегда, понятно, на вторую, а со вто-

рой обязательно на первую идею, пассажиров берем, грузы и прочее, оттуда, значит, опять назад, на вторую, а уж потом дальше, как полагается...

Проводник был настроен словоохотлив. Он, видимо, только-что позавтракал — лоснились и его губы, привыкшие деликатно улыбаться, и бесцветные, угодливые глаза. Но Гесс смотрел сердито — и на него, и на вагон, и на весь поезд, выполнявший такую нелепую толкотню по шестикилометровому перегону, и на станцию, узел которой создавал своей конструкцией эту толкотню.

— Чорт знает что... Неужели и тут нельзя было сделать иначе!

— Не могу знать, — вздохнул проводник. — Так уж заведено-с... — Он вздохнул еще раз, и лицо его приняло неопределенное и сдержанное выражение, которое одинаково можно было понимать и как осуждение существующего порядка вещей, и как стойкость дисциплинированного работника, отказавшегося даже от мысли о том, что этот порядок, заведенный издавна и хорошо известный начальству, может быть плох. Как похож был сейчас этот проводник на того, виденного в прошлый раз!

Гесс оставил его и разыскал начальника станции. В кабинете сидел молодой человек лет двадцати восьми, густоволосый и хмурый. Запустив левую руку в дебри своей шевелюры, он другой рукой быстро перелистывал какие-то бумаги.

— Без паники, товарищ, — строго сказал он, выслушав Гесса. — Никакого безобразия нет. И никто не давал вам права вмешиваться в эксплуатационную работу узла... Вы, собственно, кто такой?

Гесс предъявил документ, которой был так же хмуро осмотрен со всех сторон.

— Ага... Вторые пути будете строить. Вот когда построите, тогда и будем разговаривать.

Сдерживаясь, Гесс объяснил, что в интересах дела необходимо как-раз обратный порядок, и что начальник станции сам должен быть заинтересован...

Молодой человек исподлобья поглядывал на него, энергично копаясь в бумагах, которыми был завален его стол. Теперь он работал уже обеими руками, и вид у него был такой, словно он имен-

но из этой груды ведомостей, циркуляров и сводок готовился извлечь убийственный для посетителя аргумент.

— Вот! — удовлетворенно сказал он наконец, выдергивая листок из пачки, и протянул его инженеру. Гесс прочел копию приказа по району, которым как-раз с сегодняшнего числа в начальники станции назначался какой-то Соколов Николай Иванович, окончивший какие-то специальные курсы по повышению квалификации.

— Ну и что же из этого, товарищ? — Максим Робертович погладил пальцами бороду. — Могу одно сказать: узел находится в катастрофическом состоянии, и если только этот товарищ Соколов окажется более опытным работником, чем вы...

— Я и есть Соколов, — хмуро сказал юноша. — Засунули вот, и копайся как хочешь. Одних сведений сколько... Не могу я вам ничего сказать, товарищ! Вот дайте разберусь, приезжайте дней через десять, что ли...

— А прежний начальник где?

— В район перевели.

Гесс попрощался и вышел. Диспетчерская комната была рядом по коридору, он осторожно приоткрыл дверь, вошел и остановился в недоумении. В комнате, законом которой предполагались тишина и одиночество, густо висел табачный дым, и находилось много людей. Две девицы в одинаковых шубейках сидели на подоконнике, шептались и хихикали. Мужчина с портфелем, брыластый, кожаный с головы до ног, сердито прогуливался из угла в угол, попыхивая трубкой. За диспетчерским столом бледный человек настойчиво говорил по селектору, налегая грудью на косую доску стола, похожую на те, у которых работают чертежники. Сзади, за спиной диспетчера, стояло еще двое людей — они курили и беседовали между собой сиплым шопотом, видимо, вполне уверенные в том, что эта предосторожность делает их голоса абсолютно неслышными для работающего.

— Иваново? Иваново? — звал диспетчер.

— Я Иваново... — отдаленно, едва внятно отвечал селектор.

— Я диспетчер. У вас служебный вагон номер двести пятьдесят?

— Ушел на Синеватую...

Человек в кожаном прислушался к разговору, фыркнул негодующе и продолжал шагать. Диспетчер торопливо оглянулся на него, но селектор урчал уже другим голосом, и диспетчер, отвечая, нагнулся к столу с карандашом.

Одна за другой звали его и откликались ему станции, и он отвечал одним, спрашивал других четким командным голосом, отмечая на графике линии и цифры движения, а селектор выбрасывал над столом все новые позывы с ближних и дальних станций. Максим Робертович осторожно придвинулся к людям, разговаривавшим сзади:

— Вы, товарищи, тоже диспетчеры?

— Нет, мы так... Вот диспетчер, и этот — диспетчер, заступает скоро.

Они показали на человека, которого Гесс сначала не заметил: сидя в самом углу, сбоку стола, он смотрел на разостланный лист графика, следя за каждой новой линией, каждой отметкой диспетчера, то сосредотачивая внимание на отдельных пунктах, то быстро окидывая взглядом все оперативное поле стола. Он наблюдал, не вмешиваясь; но дежурный диспетчер в коротких промежутках между записями и переговорами по селектору сам обменивался с ним отрывистыми замечаниями, и оба они напоминали фронтовых командиров, согнувшихся над оперативной картой. Один из тех, что курили позади, тронул дежурного диспетчера за плечо:

— Вань, а Вань, как же дрезинку-то?..

— Сейчас, сейчас.

— Время ведь идет...

— Так, чудачки, шли бы к дежурному по станции, это ж его дело!

— А ты ладно, Вань, чего там...

— Постарайся, чай, для ударников...

Они посмеивались, обнимали диспетчера за плечи, угощали его папиросами.

— Поезд ведь мне задержите...

— Ничего, Вань, проскочим!

Но, когда диспетчер, оторвавшись от дела, наконец вызвал им дрезину и они ушли, к столу угрожающе подступил брыластый мужчина в кожаном одеянии:

— Слушайте, товарищ, долго еще мне у вас околачиваться?

— Сейчас, товарищ начальник... В Иванове нету, говорят, прицепили на Синеватую...

— Слышал я все это, дальше что?

— Дальше вот сейчас вызову, товарищ начальник...

Но Синеватая не отвечала, а через минуту с Иванова сообщили, что к пассажирскому не успели прицепить, товарный же задержан из-за промывки паровоза, и служебный вагон номер двести пятьдесят, прицепленный именно к этому составу, будет поэтому стоять в Ивановке, пока не...

— Р-р-развал! — рявкнул мужчина в кожаном. Он шмякнул тяжелый портфель на табуретку, толстые щеки его затряслись гневно. — Да что мне, чорт подери, ночевать тут у вас, что ли! Где телеграф? — Он выбежал вон, хлопнув дверью.

— Иван Ильич, а мы как же? — тоненько и робко сказала одна из девиц, сидевших на подоконнике.

— Эх, не до вас, девчата... Не видите, что делается? Ну, чего я вам заброннирую, когда и поезда нет... Дайте дело делать!!

— Да ведь, Иван Ильич, вас же сам товарищ Галкин просил. Мы, коли так, опять к нему...

Диспетчер отчаянным жестом взъерошил волосы и принялся опять вызывать по селектору станции.

Девицы подождали еще, пошептались и тоже ушли, очевидно, к самому товарищу Галкину, так же одинаково надув губы, как одинаковы были их платочки, шубейки и сумочки. Максим Робертович молча смотрел им вслед. Он стоял неподвижно, силясь преодолеть впечатление всего виденного.

И это комната диспетчера! Это работа человека, командующего одновременным движением десятков поездов на сотнях километров! На всех путях вокруг, на ближних и на дальних станциях его приказа ждут составы, по его слову останавливаются и двигаются поезда. От его распорядительности зависит своевременное прибытие под погрузку порожняка, которого ждут не дождутся шахты

и элеваторы, фабрики и лесопилки, склады кооперативов и заводов, — и он же отвечает за каждый лишний час, который проползут или простоят в его районе эти вагоны после погрузки. Он маневрирует вагонами и паровозами на своем столе, как полководец войсками на оперативной карте, — он может двинуть прибывающие грузы сплошным потоком — и может запутать, затормозить движение на многие часы. Он может одушевить сотни людей смелой «расшивкой» станционных пробок — и может создать панику, подобную панике разгрома на фронте. И вот он сидит тут, бледный от бессонной ночи, и разыскивает по линии служебный вагон сердитого кожаного начальника, он добывает дрезину для развязных парней и бронирует места в поездах для девиц по воле всемогущего товарища Галкина...

Может быть, он должен еще передавать по селектору приглашения станционным работникам на вечер в районном клубе. Возможно, товарищ Галкин попросит тоже дрезину для двух одинаковых девиц, раз опаздывает поезд; и уже наверное кожаный брыластый начальник вернется с приказом, чтобы за его служебным вагоном диспетчер усла последний резервный паровоз...

Максим Робертович Гесс испытывал скверное ощущение. Разрушалось еще одно из успокаивающих представлений о закономерности, о порядке и системе, — представлений, к которым привык он за многолетнее служение свое транспорту в кабинетах наркомата и министерства. Чувства, охватившие его, трудно было бы уподобить даже переживаниям сознательного москвича, который, поднявшись среди бела дня в высокую будку постового милиционера на углу Садовой и Дмитровки, вдруг увидел бы, что милиционер одной рукой регулирует светфор, а другой старательно раскрывает плакат о правилах уличного движения.

Переживания такого москвича могли бы оказаться и весьма элементарными; Максим же Робертович испытывал скорее переживания меломана, который в опере во время сцены ночного дежурства Германа вдруг видит под дирижерским пультом барабан, обслуживаемый

мый левой рукой дирижера, в то время как правая рука его вдохновенно вызывает из бури фоготов и скрипок вещей голос пиковой дамы...

— А вам что, гражданин?

Максим Робертович обернулся. Перед ним стоял смелый диспетчер, видимо только-что сменившийся, — на его месте сидел другой.

— Мне? Я как-раз к вам, товарищ... — Максим Робертович назвал свою должность, и они присели в углу на деревянный диван. Диспетчер, услышав о строительстве, живо заинтересовался: «Узел кустарный, надо перестраивать заново, тут все ни к чорту не годится...» Он говорил, удерживая зевоту, помаргивая покрасневшими глазами.

— Между прочим, товарищ, — сказал Гесс, — я вижу, у вас чорт знает какие условия работы.

Неодобрительным и сочувственным тоном он изложил свои наблюдения.

— Да-да... верно, товарищ, что и говорить... Все лезут, кому не лень...

— А вы бы гнали ко всем чертям!

Диспетчер посмотрел инженеру в лицо и усмехнулся. Остро и угрюмо блеснул взгляд, резкие складки легли вокруг молодого упрямого рта — и вдруг стало ясно видно, до чего измотан и задерган окружающей бестолковщиной этот крепкий и сдержанный парень.

— Всех не выгонишь, товарищ, — сказал он, продолжая усмехаться. — Вот хоть вас, к примеру... Верно?

Максим Робертович почувствовал легкую краску в лице.

— Я, собственно, хотел только получить характеристику узла — но могу и...

— Ничего, давайте, — сказал диспетчер. — Я же шучу.

— Вам ведь спать надо...

— Ничего, давайте, давайте, — настойчиво сказал диспетчер. — Чего другого, а спать успеем, и так сонная болезнь на всей дороге. — Он крепко потер ладонью лоб, глаза, щеки, — словно умыл, — и жестким взглядом уперся в инженера:

— Узел, товарищ, в параличе. Видали паралитиков? Один глаз ворочается, а другой застыл, одна нога шевелится, а другая — как тумба... Вот что такое наш

узел! Он и раньше-то чуть скрипел. Ведь из двух кусков шит, не узел, а петля какая-то. А теперь — при таких грузопотоках, да при таком состоянии тяги... Вот наш график — знаете, сколько раз он сломан сегодня?

Через полчаса, выйдя на платформу, Максим Робертович торопливо зашагал по шпалам. Белая тишина лежала с обеих сторон насыпи. Справа тянулся в отдалении поселок, между ним и насыпью оставалась широкая снеговая площадка — ни изгороди, ни кустов, ни троп: летом тут был, очевидно, огромный пустырь. Инженер шел быстро, внимательно поглядывая кругом. Зимнее безмолвие провожало его. Каркнула, пролетая, ворона, путевой сторож прошел навстречу, лениво обстукивая рельсы, — и снова тишина. Гесс шагал и поглядывал, и, чем дальше развertyвалась перед ним планировка перегона, тем изумленней и ядовитей ругал он в душе неведомых строителей узла.

— «Ублюдки!» Надо же было додуматься, чтобы раскорячить на шесть километров друг от друга две оперативные площадки эксплуатации, когда сама природа подсказывает замечательный объединяющий вариант!

«Ну-с, теперь посмотрим...» Азарт проектировщика разгорался в нем. Он уже видел перед собой новый проект узла — блестящую демонстрацию рационализма и технической смелости. Он шел по шпалам, делая широкие шаги, победоносно устремив вперед борду — осанистый, крупный — олицетворение многовекового идеала личности, призванной организовывать и побеждать.

Между тем перегон кончался. Раздвоился путь, завиднелись стрелки, паровозы, вагоны, за ними показалось старинное приземистое зданье вокзала: это и была первая станция узла, обслуживавшая восточно-западное направление — когда-то единственное в этих краях.

Здесь было гораздо просторней. На путях — ни одного состава, только одинокие вагоны. Но у депо, такого же низкого и облупленного, как вокзал, тес-

но грудились чумазые холодные паровозы.

— «Кладбище», — привычно подумал Гесс. Это была такая знакомая картина, что даже мрачность ее чувствовалась, как нечто естественное; она тоже входила — для Гесса — в мир закономерностей, сохранявших жизненное равновесие мыслителю. И вдруг он прислушался к себе. Что-то говорило внутри: «Не то».

Максим Робертович медленно шел мимо депо, стараясь ощутить яснее, что именно и в чем было «не то». Он достиг уже начала платформы, оглянулся вспоминая: это было совсем недавно, где-то вот здесь же...

«Сонная болезнь!» — Максим Робертович остановился. И сейчас же вспомнилась вся беседа с бледным диспетчером, и он опять оглядел локомотивы. Их было много — больше десяти труб насчитал Гесс, — и вид этих огромных неподвижных машин был зловеще-угрюм, как-то по живому, по-человечески тревожен. Нет, не о кладбище напоминал он, не о мертвом вечном покое всего, что уже бесполезно и чуждо жизни! Паровозы напоминали угрюмое сборище безработных, они не были мертвы, они были истощены, обессилены, изранены — и безмолвие, окружавшее их, словно прислушивалось хмуро к такой же тишине, лежавшей за шесть километров отсюда, где каждую из этих драгоценных машин ежечасно ждала жизнь и работа, где в очечелой неподвижности стыли безглавые поезда...

Но самый вокзал только издали казался безлюдным. На перроне сновали железнодорожники и ожидающие пассажиры, в коридоре и в «третьем классе» была тесная прелая толкотня. Оказалось, что поезд, которым можно было доехать до областного города, опаздывал еще больше, чем сказал Гессу диспетчер. Он опаздывал настолько, что даже неизвестным оставалось, где этот поезд сейчас находится, когда он придет, и придет ли сегодня вообще; но в то же время было почему-то точно известно, что свободных мест в этом ожидаемом поезде нет и не будет.

— Сведений нет, — отвечал всем начальник станции и хлопал дверью.

— Мест нет, — отвечал всем кассир и хлопал окошечком.

— Пока не известно, — отвечал Гессу дежурный по станции, сидевший за столом в углу нетопленной комнатухи. Он бегло окинул взглядом портфель и чемодан пассажира, его одеяние и бороду и потом сказал деловито:

— Устроим чего-нибудь. Носильщик есть у вас, гражданин? Нет? Ну, потом найдете. Чемоданчик-то пока можете тут оставить.

Инженер оглядел его стоптанные валенки и башлык, делавший старушечьим рябоем лицо дежурного, оставил ему чемодан и пошел бродить по станции. Полутемное помещенье с низким закопченным потолком громко именовалось, согласно надписи над дверью, «залом первого класса». Здесь было потише. За прилавком, под высохшей до очерствения пальмой, скучала толстая баба, вся укутанная шальями и платками. Перед ней возвышался большой нечищенный самовар, весь в зеленых пятнах, — пар вился над горкой леденцов на украшавшем прилавок стеклянном ящичке. Леденцы, потев от пара, становились мокрыми, липкими. Внутри ящичка видны были еще тарелки — какие-то темные скоробившиеся куски лежали на них, два-три на каждой тарелке, по виду ничем не отличимые друг от друга. Однако ярлыки на лучинках, воткнутых в самые толстые на каждой тарелке куски, объяснили инженеру, что это — котлеты, пирожки и бутерброды с повидлом.

Гесс почувствовал, что ему хочется есть, и подошел ближе. Баба в шальях с любопытством повернулась к нему:

— Чайку желаете?

Инженер нерешительно осмотрел тарелки.

— Это у вас... из чего?

— Каклеты-ти? А мясные, гражданин, каклетки хорошие... — Она оживилась, торопливо достала из шкафа блюдо с цветочками, заботливо дунула на него и полезла рукой в ящик: — сколько вам, одну, али две?

За спиной инженера звякнула посуда, он обернулся и увидел, что в «зале» есть еще люди. Два человека в серых валенках, полушубках и шапках с наушниками пили с блюдечек чай и ели с луком хлеб, отрезая от ковриги. Около них сидела бледная женщина в расстегнутом ватном пальто, похожая на сельскую учительницу или фельдшерицу до-революционного времени.

Она тоже пила чай с хлебом, и все трое внимательно и словно ожидающе смотрели на инженера, держа на-весу посуду и ломти. Только командир в шлеме, сидевший у окна, читал газету. Гесс медленно повернулся к прилавку. Буфетчица, очевидно, по-своему истолковав его молчание, сказала:

— А то пирожков возьмите... пирожки подешевше...

Гесс посмотрел на пирожки. — А они тоже... с этим? — спросил он, показывая глазами на бутерброд с повидлом.

— Не, с кашей.

— Тогда дайте котлет, — сердито проговорил Гесс, раздражаясь и в то же время чувствуя неприятную неловкость от устремленных на него сзади взглядов.

— Сколько вам, парочку, али одну?

— Шесть, — резко сказал Гесс, с ненавистью глядя на толстые пальцы с грязными истрескавшимися ногтями, ловко хватавшие по три котлеты зараз. — А хлеб?

— Хлеба нету, гражданин.

Гесс отошел с тарелкой к столу, и сидевшие с готовностью посторонились, хотя в этом не было никакой надобности. Инженер хмуро поблагодарил и сел с краю. Баба, выйдя из-за прилавка, принесла ему чай; теперь видно было, что она толста не только от накрученных шалей, но и от того, что беременна. стакан был такой же липкий и потный, как леденцы, инженер молча оставил его и стал осматривать котлеты, пересиливая чувство тошноты.

— Хлеба не угодно ли? — приветливо сказала ему бледная женщина с другого конца стола. Голос у нее был приятный и свежий, инженер поднял голову и поблагодарил, и пока женщина отрезала и протягивала ему ломоть, он не-

вольно заметил, что руки у нее чистые и белые, с тонкими бледными пальцами, и что, работая ими, она старательно оттопыривает мизинцы. Он поднялся, принимая ломоть, и стал с аппетитом жевать, не притрагиваясь к котлетам.

— Сумлеаетесь? — ухмыльнулся ему один из полушубков, сидевших с женщиной.

— Известно, — отозвался другой, прихлебывая из стакана. — Первая конная, да и то сорт-от не первый... — Он оглянулся на командира, но тот сидел, не поднимая глаз от газеты.

Гесс не понял и сказал коротко:

— Не хочется. Я не люблю мяса.

Тут он сообразил, что в таком случае брат шесть котлет было нелепо. Он строго посмотрел в глаза всем трем, но никто не улыбался, и инженер заметил с удивлением, что если снять у обоих мужчин бороды и усы, то лица их будут очень похожи на лицо женщины — и бровями, и ртом, и коротким прямым носом. Особенно похожи были глаза — быстрые, близко стоящие от переносицы — только у женщины они были красивее от длинных ресниц и еще от чего-то, похожего на стыд или испуг, мелькнувшего на секунду, когда она передавала инженеру хлеб. Все замолчали и стали жевать. Потом оба спутника молча встали и отошли к окну. Доев, Гесс также молча завернул котлеты в бумагу и с тем же строгим лицом положил в карман. Он был уверен, что женщина смотрит сейчас за ним и, чтобы проверить, бегло взглянул на нее, вставая из-за стола. Конечно она смотрела, и сейчас же опустила глаза. Инженер нахмурился, сказал отрывисто «спасибо» и вышел.

В коридорах, в залах, дымных от холода и курева, спали, сидели и двигались люди с мешками, корзинами, баулами. Равнодушное сонное ожидание выражалось на лицах у большинства, — казалось, что люди очень давно привыкли к своей пассажирской судьбе, и только, когда мимо проходил кто-нибудь в железнодорожной фуражке, взгляды с надеждой и сомнением провожали его. Гесс добрался опять до комнаты дежурного по станции. Но дежурный попреж-

нему сидел за столом, и у него тоже, как и у пассажиров, было на лице выражение сонливого безразличного ожидания.

— Что, нашли носильщика? — зевая, сказал он Гессу.

— Носильщик мне не нужен, — сухо сказал инженер. — Мне нужен поезд и место в поезде. Сколько еще ждать? Час? Два?

Дежурный медленно осмотрел его с ног до головы. Так мудрец озирает мятущуюся перед ним суетную душу, так судебный следователь глядит на упорствующего в заперательстве преступника.

— Носильщика возьмите, гражданин, — сонным голосом сказал он опять, не отвечая на вопрос Гесса. — Когда будут сведения, носильщик вам получит билет. Понятно?

— Нет, непонятно. Я взятку давать не намерен. Потрудитесь, черт возьми, точно сказать, когда будет поезд, и я получу место без всякого носильщика.

На рябом старушечьем лице дежурного изобразилось некоторое оживление. Он поднял голову:

— Вы, гражданин, насчет взяток полегче. Хулюганить будете — к агенту отправлю.

— Ка-ак? — тихо переспросил Гесс. — Как вы сказали? «Хулиганить»? — Бледнее, он шагнул к столу. — Хорошо, идем к агенту.

Дежурный не двигался.

— Идем к агенту, тебе говорят! — бешено рявкнул инженер.

Дежурный потянулся к телефону, но Гесс, надвинувшись вплотную, мешал ему, и он угрожающе поднялся с места:

— Да ты кто такой, чтобы в служебном месте орать? А ну, покажь документ!

Швырнув на стол книжку-удостоверение, Гесс ринулся из комнаты. В темном коридоре кишели люди, он отдал кому-то ногу, притиснул к стене человека с огромным тюком, спотыкался об какие-то мешки, спрашивал каждого встречного, и никто не мог сказать, где помещается отделение ОГПУ. Он оказался уже на перроне, когда кто-то ухватил его за рукав. Это был дежурный

по станции, и Гесс не сразу узнал его, — так изменилось толстое рябое лицо.

— Гражданин... товарищ начальник... — торопливо бормотал дежурный, растягивая рот подобием улыбки: — пожалуйста, сведения поступили. Уж вы извините, вот недоразумение... Кабы сразу сказали... Эх, беда какая...

Инженер пальцею свободил локоть из его цепких пальцев:

— Слушайте, вы...

Железнодорожник отдернул пальцы, но сейчас же присунулся опять:

— Ей-богу же по ошибке, товарищ... напрасно не верите... А ежели Гелеу желаете, так они вон, во флигеречке, заход со двора. Коли угодно, сам провожу...

— Не надо, — сказал Гесс, с омерзением глядя в рябые трясущиеся щеки. — Когда поезд?

— Через сорок минут, сейчас звонили... Прикажете билетик заготовить — вам далеко ли?

Гесс ответил, повернулся к дежурному спиной и зашагал прочь. Ему было противно и стыдно чего-то, но гнев уже остывал. Значит, в городе он будет поздно, в управлении заезжать не придется. Чорт, пропал день.

На перроне поднялся ветер, полетел хлопьями снег. Гесс повернул к двери и попал в «третий класс», душная вонь шибанула ему в нос.

Мешки, узлы, сумки, деревянные сундуки загромождали все пространство, люди вполвалку лежали и сидели на вещах, на деревянных диванах, на заплеванном грязном полу. Видно было, что они ждут давно и, очевидно, безропотно. Многие спали, иные сидели с застывшими лицами, другие ели, запивая из жестяных чайников или из бутылок. Кислый тяжелый запах стоял в комнате, и Гесс едва подавил в себе желание повернуть обратно, на воздух. Шагая через ноги и сундуки, он заметил, что все это нагромождение, хаотическое и бестолковое с первого взгляда, составляет тем не менее одну очередь — бесконечную цепь тел и вещей, изгибающуюся в разных направлениях по всему залу. Осторожно выбирая место для каждого шага, Гесс наткнулся на длинного парня, растянувшегося прямо на

полу. Он лежал на спине, положив голову на кучу грязных мешков — беловолосый, скуластый, сумрачный — и лениво смотрел прищуренными глазами в потолок. Инженер увидел около него топор и пилу, аккуратно обмотанную тряпьем и обвязанную бечевкой.

— На заработки, что ли?

Парень покосился на него и молчал. Гесс остановился над ним, вынул трубку. — А то мне вот тоже плотники нужны...

Парень приподнялся на локте, почесал в спутанных волосах. Лицо его не выражало никакого интереса к разговору, он посмотрел на трубку инженера и попросил:

— Табачку, хозяин, не дашь?

Гесс отсыпал ему на ладонь, парень сел поудобней, достал из кармана клочок газеты, ловко скрутил и потянулся к спичке.

— А куда ж, вам, товарищ, требуется?

— Плотники-то? На стройку. Железную дорогу строить будем.

— Это в Иваново, што ли?

— Можно и в Иваново.

— Не, мы уж наняты. — Парень откинулся опять на мешок и задымил кверху, сунув одну руку под голову и щурясь на инженера — не то от дыма, не то от мыслей.

— А, ну тогда дело другое, — говорил Гесс, продолжая стоять над ним.

Вокруг уже поглядывали на него — молча, с любопытством, слегка насмешливо, — а он попыхивал трубкой, словно совсем не замечая, как парень всем своим видом показывает, что разговаривать больше не о чем. — Жаль, жаль, что не у меня будешь работать... Я как посмотрел — сразу подумал, что ко мне попадешь. Парень, видать, боевой, я таких люблю. Здешний?

— А коли здешний, тогда чего? — дерзко сказал парень. Он повернул голову на мешке и сплюнул вбок, чуть не на сапоги Гесса.

— Да ничего... Просто так спросил. Вижу — ивановские работы знаешь.

— Как не знать! — протянул другой паренек помоложе, сидевший рядом на деревянном некрашеном сундуке. — Хто

к им пойдет... Почитай, задарма работать заставляют...

Гесс обернулся и оглядел всех, как будто только теперь увидел, что кругом него — целая артель молодых плотников с инструментами и всем снаряжением, обычным для отходников, направляющихся в дальнюю дорогу.

— Нет, неправда, — проговорил он, обращаясь сразу ко всем. — Не может быть, товарищи, задарма у нас никто не работает. На это расценки есть и колдоговор.

— Слыхали... — протянул опять парень, сидевший на сундуке.

— На какого начальника попадешь... — отозвался третий.

Гесс вынул трубку изо рта:

— Не дело, не дело этак болтать. На всех железнодорожных стройках одни расценки, какой бы начальник ни был...

Он заметил, что плотники как-то особенно переглядываются, и смолк. Артель тоже молчала. Все смотрели теперь на беловолосого — это был, очевидно, «коновод». Тот лежал попрежнему с цыгаркой в зубах, вид у него был такой, словно он не только не интересовался разговором, но и не слушал его. Теперь Гесс увидел, что глаза у парня неприятно-острые и узенькие, даже когда он их не щурит.

— Что ж, вам видней... — врястяжку сказал парень, глядя в бороду инженера. Скуластое гладкое лицо лоснилось почти нескрываемою насмешкой, он явно хотел что-то сказать и колебался, настороженно присматриваясь к внешности Гесса. — Вам видне-ей... — медленно повторил он. — А только нам тоже свое упускать не приходится. Где дорожке дают, туда и подаемся.

— На Магнитострой, что ли? — усмехнулся Гесс.

— Зачем, больно далеко. Мы поближе... — и парень, оглянув своих, назвал место. Гесс поднял брови. Это был один из его южных участков, тот самый, куда просился Рыбаков.

— Так, так... Что ж, вербовщик от туда приезжал? — равнодушно спросил он.

— А как же...

— А стройка какая?

— Кто ее знает...

Плотники ухмылялись уже открыто. Гесс круто повернулся и пошел дальше. Добравшись до середины, он искал глазами выхода, стараясь как можно меньше соприкоснуться с одеждами и вещами людей, тесно окружавших его.

Но в этот момент снаружи задрезжал долгий звонок колокола, извещавший о выходе поезда с ближайшей станции, и «третий класс» мгновенно очнулся. Те, кто был ближе других от билетной кассы, вскакивали и кидались к окошечку — там сразу образовалась давка. С криками и руганью просовывались вперед головы, плечи, руки с зажатыми в кулаках бумажками и деньгами, а те, кто оставались позади, возбужденно теснились друг за другом, стараясь сохранить очередь и крича на передних. Гомон, толкотня оглушили Гесса.

— Тетка, куды суесси, ить за мной стоишь!

— Граждане, старика-то сшибете...

— Э-эй, не пускайте там без очереди!

— Да не толкайся ты, дьяв-вал...

— Ой, руку, руку пустите!

— Товарищи, это же больной, неужели не видите...

— Зна-аем, видали...

— В очередь, в очередь, всем ехать надо!

— А ну, посторонись, дядя...

— Ишь, прыткой какой...

— Гражданин, я вам не подставка, уберите локти наконец!

Щуплый стрелок железнодорожной охраны с трудом продирался к окошечку. — Граждане, потише... Становитесь по порядку... Да не напирай, говорю!..

Его наконец заметили — крики и давка усилились вокруг красноармейца. Ему совали справки, удостоверения, кричали в ухо, хваталась за плечо, как тонущий в море хватается за обломок доски. Гессу издали бросился в глаза парень, с которым он только-что разговаривал. Он лез к стрелку напролом, размахивая тонкой серой бумагой с печатью и штампом, его беловолосая голова ныряла и снова показывалась в давке, все приближаясь к кассе. В это время окошечко

открылось, показав нахмуренное лицо кассирши, и почти тотчас же снова хлопнулось. Толпа стихла на минуту.

— Граждане, только командировочным, — объявил стрелок. — Предъявляйте документы, остальные отходи...

— А вот командированные! — прокричал беловолосый, вытягивая к нему бумагу. — Во, пять душ!

Крики и давка поднялись с новой силой. Все лезли вперед, совали стрелку документы, он натужно объяснял что-то, стараясь перекрычать всех и оттесняя от кассы. Огромный лохматый старик, уронив мешок, заорал иступленно и, матерясь, полез на стрелка с кулаками. Тот молча уцепил его за рукав и потащил в сторону, мимо Гесса. Старик упирался, с похабной руганью рвался от красноармейца, который казался подростком рядом с его кряжистой лохматой фигурой; но стрелок быстро и ловко толкал его к выходу, не давая ударить себя.

— Вх, антихристы, ир-родово племя! Ни проходу, ни проезду не стало от окоянных!.. Пус-сти, с-сатана! — хрипло рычал старик, сиюсь вырвать зажатую стрелком могучую руку. Другой рукой он проволока мимо Гесса толстый полосатый мешок, спиртной дух пахнул в лицо инженеру.

— Опять остался дьякон, — проговорил кто-то в толпе.

У кассы шла теперь свалка. Пользуясь уходом красноармейца, толпа смяла последние остатки очереди. Люди остервенело дрались за места у кассы, хотя окошечко все еще оставалось закрытым, — и в то же время Гессу отлично видно было со стороны, как сбоку, с коридора, все время шмыгал в кассу и обратно носильщик в грязном фартуке. Он действовал быстро, от кучки людей, ожидавших его у двери, один за другим отделились пассажиры и торопливо бежали к семьям и вещам, даже не стараясь прятать билеты и сдачу. Гесс долго смотрел издали, поглаживая бороду, румяные губы его плотно сжались. И вдруг, сунув трубку в карман, он двинулся к окошечку, выставив вперед правое плечо. Глаза его стали ледяными, он и толпу раздвигал, как ледорез —

грудю льдин. Он смотрел прямо перед собой и продвигался молча с таким уверенным и непроницаемым видом, что люди беспрекословно давали ему дорогу. Только у самого окошечка огрызнулись двое, но тут же замолчали и подвинулись.

— В очередь, граждане! — спокойно и громко сказал Гесс. — Командированные — справа, остальные — слева. — Он встал спиной к кассе, раздвигая людей руками, с таким равнодушным видом, словно исполнял скучную служебную обязанность. Ближайшие подчинились сразу, остальные продолжали шуметь и толкаться, но, видя, что очередь восстанавливается всерьез, один за другим становились в хвост, не прекращая споров и ругани. Беловолосый парень, протиснувшись сбоку, метнул в инженера озорной ухмылкой:

— Ну-кось, хозяин, трудящему классу в первую очередь... — он развязно сунул инженеру бумажку, тот взглянул мельком и сказал коротко:

— Направо, к командировочным.

— Куда ишо направо, — нагло отозвался парень, просовываясь за плечом Гесса к окошку. — Мы и тут обождем...

— Ну!! — резко обернулся инженер: — Полегче, молодчик! Марш в очередь, или вызову охрану!

Плотник отступил. — Чай, на строительство мы, чего ж охрану... — Он уже не ухмылялся. Гесс молча взял его за плечо и поставил третьим в очередь командировочных.

Вокруг стало тише. Толпа зашевелилась, разделяясь на две струи, — и скоро с правой и с левой руки от Гесса вытянулись две очереди, одна длинная, другая меньше. Проверив у этой документы, Гесс убавил число командировочных почти втрое, потом осмотрел всех, как полководец армию, обернулся и постучал в окно. Оно открылось не сразу — кассирша выставила напудренный нос:

— Граждане, продажа билетов через десять минут...

Не слушая ее, Гесс пригнулся к окошечку:

— Дежурный, сколько всего билетов?

Дежурный, шептавшийся с носильщиком в глубине комнаты, оторопело оглянулся на этот властный окрик. Узнав Гесса, он метнулся к окошечку:

— Двадцать два, товарищ начальник... и мягких четыре... — Он смотрел испуганно, носильщик мгновенно скрылся из комнаты.

— Хорошо. — Гесс оглянулся на очередь. — Здесь командировочных десять. Значит, шестнадцать билетов выдадите остальным в порядке очереди.

— Слушаю... Вам мягкий позволите?

Гесс кивнул, протягивая в окошечко руку, — и в этот момент увидел где-то за очередью молящие женские глаза. Где он видел этот взгляд, смущенный, быстрый и словно испуганный? Мгновенно вспомнив, он отдернул руку от окна.

— Подождите, я войду сам, — сказал он дежурному, и быстро пошел в обход очереди, в коридор, провожаемый благодарностями ожидающих. У самой двери женщина догнала его.

— Гражданин, будьте добры, — услышал он осторожный шопот, и теплое дыхание коснулось его щеки. — Мы тут с братьями вторые сутки ждем, никак не сажают... Будьте добры, если возможно...

— Очередь заняли? — спросил инженер, не глядя на женщину. Рука его задержалась на ручке двери, и от того, как им он услышал свой приглашенный голос, Гесс покраснел и сам почувствовал это, несмотря на темноту.

— Заняли, заняли, как же... — она заторопилась, в голосе послышался испуг (вот уйдет, не дослушает...). Только нам опять не достанется, гражданин начальник, мы в осьмом десятке стоим...

— Хорошо. — Войдя в кассу, Гесс с силой захлопнул за собой дверь.

Дежурный уже дождался, услужливо выдвинув к двери чемодан, кассирша протягивала его документ с вложенной плацкартой.

— Со мной еще трое, — отрывисто проговорил инженер. — И поскорей, поезд подходит, кажется...

Дежурный мигнул кассирше:

— В один момент, не беспокойтесь... До поезда, извините, еще минут пят-

надцать, да постоит еще... Значит, и остальные три мягких прикажете? За наличный расчет?

— Да, да, за наличный, — нетерпеливо отвечал Гесс, вынимая деньги и не глядя на дежурного. Он сел на чемодан и, пока кассирша готовила билеты, смотрел сбоку на ее пудренное лицо, крашенные толстые губы и яркозеленую шелковую шаль, обмотанную вокруг головы и шею поверх старенького пальтишка.

«Сколько она получает? — мелькнуло у него в голове. — Семьдесят, ну сто рублей»...

Секунды тянулись бесконечно. Сидя с холодным строгим лицом, Гесс чувствовал, как отчетливее и громче стучит его сердце при каждом стуке компостера. Наконец, кассирша кончила.

— Готово, пожалуйста, — сказал дежурный. Сунув в карман билеты и сдачу, Гесс простился и вышел. В коридоре не было никого.

Поезд, действительно, пришел через четверть часа, но на станции простоял до темноты.

В вагоне Гесс сразу достал из портфеля бумаги и долго не замечал ни этой задержки, ни возни своих неожиданных спутников с багажом.

Объемистая записка конференции Гипротранса по экономическому обоснованию магистрали с первых же страниц подняла в нем раздражение.

Авторы записки пространно и скучно излагали историю железнодорожных связей между Севером и Югом страны, все это Гесс знал точнее составителей записки и перелистывал страницы, почти не читая. Но то, что относилось к будущему, к перспективам задуманной магистрали, — единственное, для чего и созывалась конференция проектировщиков, — это в записке с первых же слов настораживало. Грузопотоки — решающий фактор — были разработаны в недопустимо-общих, расплывчатых масштабах, напоминая что-то вроде старого учебника географии для начальных школ. «С севера на юг — лесоматериалы, промышленные грузы... С юга на север — уголь, хлеб, нефть»... Ориентировка бралась не далее, как на конец

второй пятилетки; но и тут изумляла записка странно-легковесным отношением к тому, как и куда будут развиваться за это время все районы страны, которые обогатит новый стальной путь. Две крупнейшие области с севера, в центре целая советская республика с огромным угольным бассейном, и плодородный край на юге нетерпеливо ждали вооружения сверхмощной рельсовой колеей. Гесс мысленно видел уже вдоль нее десятки новых заводов, шахт, городов, огромные совхозы, разрастающиеся плантации и поселки на месте нынешних кочевых машинно-тракторных станций... А проектировщики перечисляли скороговоркой: отсюда — цемент, огнеупоры, кирпич, сельское хозяйство... Правда, развитие угледобычи было предусмотрено довольно вдумчиво, но тут данные сами лезли на экономиста, как зверь на ловца: только в полосе непосредственного влияния трассы уже строилось десять новых шахт, но и это было далеко не все, ведь бассейн получал новый выход на север впервые после двадцатилетнего перерыва...

— Премного вам благодарны...—прошелестело у Гесса над ухом.

Женщина в старомодном пальто, порозовевшая от возни с багажом, протягивала ему свернутые трубочкой деньги.— Спасибочко, уж так выручили нас... Вот, за билетики-то вы платили...

— А, да, да... хорошо... — Не глядя, инженер сунул деньги в карман и продолжал чтение. Но женщина не отходила, и он сказал:

— Может быть, вам дорого в мягком? Но иначе мне было неудобно...

Что именно неудобно, он не договорил, — мимо купе шли люди. Но женщина улыбнулась понимающе:

— Ой, что вы, ничего... Даже очень приятно, хоть разок по-господски поедемся...

Гесс поднялся, чувствуя досадливое смущенье. Получалось какое-то нелепое, словно заговорщицкое сближение между ним и этой странной женщиной, и она своим тоном и взглядом как-то наивно и назойливо подчеркивала это.

— Ну, дело ваше, — сухо сказал он, запирая портфель, и вышел в кори-

дор. — Проводник, почему мы стоим все-таки?

Оказалось, ждали встречного, о котором с раз'езда сообщили, что он уже прибыл и сейчас же отправляется. Но время шло, а встречного все не было. Гесс вместе с другими пассажирами пошел опять к дежурному по станции, тот в тревоге вызванивал на раз'езд — оттуда отвечали кратко:

— Вышел по расписанию.

— Дьяволы!! — орал в телефон дежурный по станции; — да не прибыл ведь до сих пор! Обалдели вы, что ли?

— А ты не лайся, чорт... Говорят тебе, вышел. Гляди хорошенько — наверно подходит сейчас...

Так они переругивались часа два через четырнадцать километров, и только к сумеркам показались на шпалах засыпанные снегом пешеходы — кто с вещами, кто так. Дежурный, увидев их, кинулся навстречу:

— Что случилось, товарищи?

— То-то, что ничего... Стоит на месте, провалиться вам всем, людей морозите...

— Да что такое, с паровозом неисправность?

— А он у вас, поди, исправный-то и не бывает николи...

— Что и говорить... И горка-то махонька, а не берет, лядащий...

— Кабы знать, давно бы пехом доперли...

— А деньги берут...

Дежурный кинулся назад, на станцию — и почти сейчас же позвонил с раз'езда:

— Пришел обратно... Под'ем не берет.

— Занесло, что ли? А? Не слышу!..

Кончив разговор, дежурный вытер вспотевшее лицо:

— Садитесь, праждане, по вагонам. Поезд отправляется...

— Да ведь заносы...

— Каки там заносы... Не то паровоз, не то ищо что, дьявол их знает...

На перроне уже стемнело. Ветер затихал, опять пошел снег. Среди черных окон Гесс быстро нашел свой мягкий вагон — только он один во всем поезде был освещен. Проводница с фонарем возилась на ступеньках, помогая кому-то высокому протащить в угол тамбура ба-

гаж. В коридоре тускло горели свечи, Гесс открыл купе, и мягкая колеблющаяся полоса света упала на пустой диван. Чемодан лежал в углу — так, как оставил его Гесс, уходя к дежурному. Спутники, очевидно, уже спали. Инженер разделся и сел, привыкая к полутьме. С верхних коек слышался разноголосый мужской храп, оттуда к самой двери высывались серые валенки братьев. Женщина, следовательно, легла напротив, на нижней койке. Смутная догадка воровато мелькнула у инженера, но он сейчас же прогнал ее. Присмотревшись к темноте (электричество в вагоне не действовало), он различил теперь ватное пальто, которым она накрылась, тусклые старомодные пуговицы на нем и в самом углу белое пятно — не то лицо, не то укутанный платком затылок. В вагоне стояла сонная тишина. Из коридора тянуло холодом — проводница все еще возилась там, перешептываясь с кем-то, и хриплый старческий бас отвечал ей густым окующим шопотом:

— Хорошо и так, хорошо, тетка... Доеду с господом, спаси ты христос...

Гесс закрыл дверь, в купе стало совсем темно, и сейчас же вдали загудел паровоз. Вагон дрогнул, качнулся, закрипел — поезд тронулся. Донеслись с перрона удаляющиеся голоса, желтый блик высокого фонаря медленно проплыл за окном, осветив чемодан инженера, потом тусклые пуговицы в складках пальто — и тут Гесс увидел, что женщина не спит: немигающий, как у ребенка, не то испуганный, не то ждущий чего-то взгляд блеснул ему прямо в лицо, но свет фонаря уже ушел из купе, и в наступившем опять мраке быстрее и четче застучали колеса.

«Странная какая... Кто она? Наверное, неврастеничка какая-нибудь, деревенская поповна или в этом роде... И сколько ей лет — двадцать, двадцать пять? Во всяком случае, засидевшаяся девица...»

— Виноват, вы не спите? — поспешно, словно вспомнив что-то, спросил инженер.

— Нет, покудова... зябнется чтой-то. — Тихий голос звучал в темноте мягко и робко. Но по тону чувствова-

лось ясно, что она давно уже ждала, когда с ней заговорят, и опять та же вороватая тайная мысль скользнула у Гесса.

— Послушайте, — сказал он, — я ведь совсем забыл... Вы не сказали, куда вам ехать, а я забыл спросить, и взял до той станции, что и себе.

— Ничего, ничего, премного вам благодарны, — проговорила женщина, шевельнувшись на диване, — без вас бы пропали мы... Уж мне братцы наказали вас благодарить, не знай как величать по имя-отчеству...

«Вот еще, зачем это», — неприятно подумал инженер, а вслух сказал:

— Меня зовут Максим Робертович.

— Очень приятно, — сказала женщина. — А с билетами-то вы как-раз подгадали. Нам ведь только до городу... Куда вам, туда и нам, выходит.

Гессу по голосу показалось даже, что она улыбнулась в темноте.

— «Нет, замужня» — решил он.

Дверь визгнула, отодвигаясь, — проводница пришла отбирать билеты. Соседка Гесса отдала ей все три, и пока проводница рассовывала их по клеточкам своей служебной книжки, похожей на старинный бумажник, Гесс искоса смотрел на свою спутницу. Она приподнялась на диване, жмурясь на фонарь проводницы, бледное лицо опять казалось бескровным, глаза блестели неестественно, как у больного, черная тень от упавших гладких волос ложилась на губы и нежный детский подбородок. Но под серой бумазейной кофтой, видной из-под откинутого пальто и плохо запахнутой, ясно угадывалась тяжелая высокая прудь, и округлые выпуклости, плотно натянувшие серенькую матерю, казались еще неожиданней от тонкой, слабой шеи и выступающих косточками ключиц. Заметив пристальный взгляд Гесса, она потянула на себя торопливым жестом пальто, и опять то же выражение не то испуга, не то смущения, застенчивое и в то же время словно зовущее, мелькнуло в ее взгляде. В этот момент проводница уже закрывала за собой дверь, и в темноте инженер услышал только шорох пружин под укладывающимся телом и легкий осторожный вздох.

Кровь прилила у него к вискам, желание напрягло мышцы и сладостной немотой заструилось в горячих ладонях... Он кашлянул хрипавато и зашевелился на диване. Женщина вздохнула еще раз, глубоко, всей грудью. И вдруг слабым, как отдаленный ветерок, теплым запахом (или это только показалося?) повеяло в темноте на Гесса — чуть слышным запахом хлеба и лука...

Инженер резко откинулся к стене и, сложив на груди руки, прикрыл глаза.



Когда он проснулся, за окном уже брезжила белесая муть. Он крикнул и сел, морщась и поправляя шапку, сбившуюся от долгого упирания головой в стену. После сна в вагоне он всегда теперь чувствовал себя скверно. Ломило спину, болело в висках, ныл локоть, которым он опирался, задремав, на чемодан. Он гяжело встал и шагнул к окну, с хрустом потягиваясь всем своим большим застывшим телом. Женщина спала лицом к стене, укрывшись до шеи. Плечо и бедро у нее, мягко вырисовываясь под толстыми складками пальто, чуть заметно подрагивали в такт колебаниям вагона. На столике — очевидно, забытое ею вчера — лежало кругленькое зеркальце в старинной медной оправе. Гесс поднял его — покрасневшее измятое лицо глянуло на него, с набрякшими подглазьями, толстым носом и складками от носа к углам рта. Только рот был еще ничего, а остальное...

«Старость... Ничего не поделаешь, Максим».

Со вздохом он положил зеркальце и стал смотреть в окно. Белые поля кружились в рассветной полумгле, кусты и деревья возникали и отползали назад — седые от снега, шевеля заиндевельными ветками, мохнатыми, как побелевшие брови старика.

«Ничего не поделаешь. Но неужели... так скоро? Вот, теперь, сейчас, а не потом?.. Ведь еще всего сорок девять! Ведь в Брюсселе — всего три года назад — знаменитый инженер-академик, на седьмом десятке великолепно игравший в гольф, покровительственно называл его,

Максима Гесса, — «молодой человек»... Вздор, какая там старость! Просто, не брился вчера».

Он достал прибор и полотенце, вышел в коридор и, взяв у проводника за рубль чайник с недопитым кипятком, унес его в уборную. Пузатый холщевый мешок преградил ему путь, на нем лежали облезлая меховая шапка и суковатая толстая трость, похожая на дубинку. Все это явно принадлежало вчерашнему клиенту проводницы, старческий бас которого инженер слышал перед сном. Уборная оказалась занятой — вероятно, там и находился обладатель баса и мешка. Не то шопот, не то приглушенное густое бормотанье послышалось Гессу за дверью, но когда он дернул ручку — ему ответила полная тишина. Он подождал минуту, другую, дернул опять, постучал — за дверью висело безмолвие.

— Гражданин, вы живы? — тихо воззвал инженер, но тут ему пришло в голову, что, может быть, — там женщина, и он поспешно отступил в коридор.

Заспанное лицо проводницы высунулось из служебного отделения:

— Ище ждете? Экой старик, сейчас... — Она постучала в дверь уборной, приговаривая негромко:— Отец, а отец... выходи, слышь. Выдь покуда...

Гесс молча смотрел на нее. Но странный смысл этих увещаний остался явно непонятным и по ту сторону двери, из уборной не слышалось ни звука. Тогда, вставив ключ в замок, проводница быстро открыла дверь — и самое невероятное из всех зрелищ, возможных в подобном случае, открылось стоявшим в коридоре. Краснолицый рослый старик с нечесаной гривой, в огромном тулупе, едва втиснутом в тесное помещенье, стоял перед ними, держа в левой руке, тылом к зрителям, небольшую деревянную иконку. Правая рука, от неожиданности закаменевшая на подеме, явно готовилась сотворить крестное знамение, старик рывком дернул обе руки вниз, иконка полетела на пол, и Гесс едва успел подхватить ее. Старик шатнулся, охнул, дрожащие корявые пальцы поспешно приняли из рук инженера дощечку.

— Благодарствую... — сипло прогудел он, выдвигаясь из уборной. Это был вчерашний скандаливший у кассы дьякон.

Заняв его место, Гесс мылился, брился, умывался, а в коридоре долго еще слышалось конфузливое басовое гуденье и укоряющий шопот проводницы:

— Нашел место, прости господи... да нешто так можно? Сказано по правилу десять минут...

Через полчаса инженер вернулся в купе, свежий и бодрый, насухо растирая полотенцем шею и розовые щеки. Гладкая кожа приятно горела под холодными пальцами, твердый воротничок привычно обнял шею. Он аккуратно расчесал бороду. Он погладил ее ладонью, смоченной в одеколоне, провел пальцами по щекам — от подбородка и губ, еще пахнущих хлородонтом, до ушей, — и стал осторожно причесывать редеющие светлые волосы. Наверху оба храпели в полную силу, оттуда несло едким потом и давно невымытыми, разопревшими в валенках ногами. Гесс взглянул на часы: зверски опаздывает. Вероятно, ночью опять стоял. Паровоз загудел, застучали колеса — поезд подходил к станции. Вагон качнуло сильнее раз, другой — женщина глубоко вздохнула, повернулась во сне на другой бок, и пальто, сползая с койки, открыло ее почти до пояса.

Гесс невольно оглянулся на коридор, по которому уже топотали сходявшие на этой станции, и прикрыл дверь купе. Кофточка была расстегнута на все кнопки, он увидел до самой подмышки желтоватое смуглое плечо и высокие груди, до половины выпроставшиеся из-под грубой рубашки. Инженер смотрел, затаив дыхание, чувствуя, что у него горят уши, словно у виноватого школьника. Бесшумно, как вор, он убрал вещи в чемодан, вынул портфель и, осторожно приоткрыв дверь, протиснулся в коридор. Откидное сиденье у окна приглашало его. Он уселся и достал из портфеля недочитанную записку Гипротранса.

«... Постройка сверхмагистрали обеспечивает наконец капитальное разрешение проблемы топлива для мощнейших предприятий индустрии в областях Москов-

ской, Нижегородской, Иваново-Вознесенской и всех вообще промышленных районах, лежащих к востоку от Москвы до Волги. Если прибавить к этому охарактеризованное выше оборонное значение магистрали... а также и чисто-транспортную мощность... страна получит от севера до юга гигантский конвейер, пропускной способностью равный трем Турксибам...»

Инженер поднял глаза в окно. Стало светлее, начиналось утро. Поезд медленно отходил от станции, до города оставался последний пролет. Гесс рассеянно смотрел на плывущий мимо перрон, молоденький начальник станции стоял на морозном ветру, провожая поезд зорким взглядом, как командир войсковую колонну. Безусое лицо его со вздернутым носом запомнилось Гессу выражением спокойной сумрачной уверенности.

«Этот увидит и три, и десять Турксибов, — подумал Гесс. — Да, пожалуй, на десятом окажется директором дороги... А я? Сколько лет мне будет тогда?»



В городе он с вокзала позвонил в гараж строительства и долго ждал машину, молчаливо отклоняя крикливые приставанья извозчиков. Вчерашний дьякон прошел мимо со своим мешком, умытый и благообразный, волосы его были пригладены и спускались из-под шапки седоватыми влажными прядями. Трое попутчиков Гесса терпеливо торговались с извозчиком; они выбрали не обыкновенные городские санки, каких много теснилось перед вокзалом, а «ваньку» или «малая» — деревенские розвальни, крытые соломой, в которых можно было только лежать или сидеть с вытянутыми ногами, но за то умещалось втрое больше людей, чем в санках. Гесс издал следил за ними. Он видел, что вчерашняя соседка по купе напряженно оглядывается по сторонам — это было приятно ему, даже волновало слегка, и в то же время он не хотел, чтобы она увидела его, и отступил за дверь. Наконец братья взвалили поклажу на розвальни, сели сами, один из них с усмешкой

сказал что-то сестре, и она легко, как девочка, прыгнула на солому.

«Нет, не может быть, чтобы замужня», — подумал Гесс, в последний раз увидев ее удаляющееся бледное лицо. И горячая волна ночных воспоминаний поднялась в нем. «Но кто, кто она такая?»

Наконец сирена автомобиля взвыла за углом, и знакомый синеватый кузов «паккарда» показался на площади. Извозчицы кони — даже стоявшие далеко — испуганно шарахнулись от машины, когтистая, кляча в почтовых санях бешено рванулась с привязи и встала на дыбы, в смертном ужасе кося глазом, — видно было, что еще не очень привык областной город к автомобилям. Но Гесса за месяц здешней жизни это уже перестало удивлять. Он поздоровался с шофером и сел:

— На квартиру.

Широкие сугробные улицы понеслись перед ним. Мелькнуло низкое здание пожарной части с такой же приземистой облупленной каланчой; потом засыпанные снегом построечные леса, — здесь воздвигалась не то больница, не то школа, — за раз'езженным ухабом открылся древний постоялый двор, малочисленностью саней и народа повествовавший о неравной борьбе с видневшимся на углу квартала «Домом крестьянина»; на перекрестке выступил нарядный особнячок музея, показалось бревенчатое сооружение нескончаемой длины, все еще исполнявшее с незапамятных времен почтенную должность городских бань. Людей на улицах было немного в этот ранний час. Косым переулком машина выползла, барахтаясь в сплошных сугробах, на базарную площадь — каменные гробы торговых рядов, заколоченные досками и фанерой еще с времен ликвидации нэпа, глянули на Гесса ослепшими окнами. Сбоку вытянулись шеренгой кооперативные лавки — и тут же перед ними, расплескавшись людским гомоном, рядами саней, лотками, ржаньем, кудахтаньем, расторговался посередине площади колхозный базар. Тут народ шел густо, автомобиль рывкал непрерывно и все-таки подвигался с трудом; люди спешили с площади и на площадь, разговаривая и

перекликаясь, — это было самое шумное место города, место ежедневных встреч для доброй половины его населения, перманентный съезд окрестных колхозов, и последователь Роберта Оуэна с первого взгляда назвал бы эту площадь центром города — сердца черноземного края. Автомобиль выбрался наконец из этой гуши, шофер дал скорость, и в этот момент Гесс заметил у дверей кооператива фигуру в крупноклетчатой куртке.

— Стоп! — крикнул он шоферу и, поднявшись с сиденья, замахал человеку рукой. Куртка на минуту скрылась в толпе, потом пестрое пятно ее показалось ближе — человек пробирався к автомобилю. Это был пожилой субъект явно иностранного вида — в очень широких штанах до колен, в толстых шерстяных чулках с цветным узором и в яркожелтых штиблетах из такой толстой кожи, какую советские граждане в годы первой пятилетки привыкли видеть только на кавалерийских седлах. Приближаясь, он сделал инженеру «ручкой» — что-то среднее между воздушным поцелуем и пионерским салютом:

— Добри утро, господин Гесс. Отчень рад вас обратно повидеть.

— Здравствуйте, херр Лемке, как вы себя чувствуете?

— О, отшень хорошо — я, но не ваш фирма...

— Ну, что вы... — Инженер с улыбкой перегнулся через борт машины, протягивая руку. — Скучаете без дела? Ничего, скоро начнут поступать экскаваторы...

Херр Лемке покосился на шофера:

— Oh, nicht bald, herr Gess. Telegramm von Volksverkehrs-Kommissariats: bis zu Ende dieses Quartals varten¹⁾.

Инженер в изумлении уставился на него:

— Но этого не может быть! Я же сам из Москвы — только позавчера нам обещали совершенно твердо...

— О-о! — усмехнулся Лемке. Мясистый нос его морщился снисходительно, углы бритых губ опустились, выражая все возможное, в пределах вежливости,

¹⁾ О, не скоро, г. Гесс. Телеграмма из НКПС: ждать до конца этого квартала.

недоверие. — Als die russische Menschen versprechen ¹⁾...

— Sie sind im Irrtum, herr Lemke ²⁾! — строго перебил Гесс. — Ну, мне еще до- мой... Может быть, подвезу вас?

— О нет, благодарю, господин Гесс. Я еще должен искать, как это... зубочи- стилка. Мой запас весь кончал, и я ищу каждый магазин...

— Ну, да, здесь вы не найдете... — Гесс оглядел шеренгу вывесок. — А в «Торгсине»?

— Торгсин говорят: мы имеем толь- ко дефицитни товар, — Лемке беспомощ- но развел ладони. — Они никто не ожи- дал...

— Что, у нас и зубочистки дефицит- ный товар? — засмеялся Гесс. — До свиданья, херр Лемке...

Машина тронулась. Морозный ветер опять ударил в лицо, замелькали мимо дома, пешеходы, сугробы. Ноги стыли в коленях, машину встряхивало — Гесс почувствовал, что ему хочется есть и спать. Автомобиль мчался теперь по главной улице, мимо учреждений, аптек, кинотеатров, книжных и универсальных магазинов, мимо великолепного Дома Красной армии. Дальше шли дома пони- же, церковь, особнячки, опять церковь, оголенные старые ветлы потянулись вдоль тротуаров и — вдруг вознесся над переулком, как гигантская башня в кре- постной стене, многоэтажный серый небоскреб. Десятками промадных окон блистал он на все четыре стороны, вели- чественный и нарядный в светлой ка- менной облицовке, — он командовал над

окрестными кварталами, как стратегиче- ская высота. Инженер даже не взглянул на него, пролетая мимо, — это был для него «богатый дядя», которому и так приходится кланяться и улыбаться за каждый пустяк — это был дом дирекции большой железной дороги, приютивший пока в одном из этажей управление строительства. Оставив его позади, ин- женер пересел в автомобиле ближе к дверце — путь кончался. Шофер теперь почти не давал гудков, пешеходы опять попадались редко, гуще и выше пошли ветлы — старые, раскидистые. Шофер замедлил ход, слева плыл навстречу старинный зеленоватый особняк с простор- ными окнами.

Как-раз против зеленоватого особняка и находилась квартира главного инжене- ра строительства. Отпустив шофера на два часа, Гесс позвонил у клеенчатой с гвоздиками двери. Хозяйка сама от- крыла ему дверь:

— Максим Робертович, с радостью вас... К вам папаша приехали!

— Отец? — изумился Гесс. — Дав- но? Вчера? Как он чувствует себя — хорошо? А, только-что проснулся... Ну, спасибо вам, спасибо...

Он быстро раздевался в передней, за- глядывая в полутемный коридор, оста- вил в передней все — и чемодан, и порт- фель. Отряхнув снег, обтерев носовым платком бороду, он осторожно двинулся к своим комнатам, стараясь не скрипеть тяжелыми сапогами. Он даже шагал сейчас иначе — легко, по-юношески, с наклоном вперед. Это был уже не глав- ный инженер гигантского строительства, не пожилой известный специалист, — это был взволнованный, любящий, поч- тительный сын.

¹⁾ Когда русские люди обещают.

²⁾ Вы ошибаетесь, г Лемке!

(Продолжение следует)

СТАМБУЛ, АНКАРА, ИЗМИР

Л. НИКУЛИН

1. СТАМБУЛ

В Одесском порту грузится старенький пароход — тысяча четыреста тонн водоизмещения. Он почти мой ровесник и был чудом техники, когда мы начинали жить, когда по Черному морю ходили напоминающие омнибусы колесные пароходы. Он перевез хеопсовы пирамиды грузов, армии пассажиров к берегам Палестины и Египта. В полутемной кают-компании и прокуренном салоне больше морской романтики, чем в сорока шести тысячах тонн океанского пакетбота «Рекс». Там кораблестроители, архитекторы, художники сделали все, чтобы пассажир забыл атлантическую океанскую бездну под его ногами. Палубы похожи на мраморные пассажи Елисейских полей, салоны — на театральные фойе, люкс-кабины — на апартаменты лучших отелей континента. Даже каюты третьего класса похожи на хорошо оборудованные, образцовые ночлежные дома. Оторвавшийся от континента обломок, большой город плывет стремительно и почти бесшумно через океан и несет в себе страну, со всеми социальными контрастами, классовыми перегородками, роскошью и нищетой.

Ключок нашей страны пересекает Черное море; все запахи гавани, каменноугольный чад, запах смолы пропитали пароход от кормы и до руля, от верхушек мачт и до трюма. Старая машина сотрясает железный ящик, четыре десятка лет отважно плавающий в морях и проливах Востока.

Мы путешествуем, как путешествовали в конце прошлого века, не торопясь, с особым ощущением человека, оставившего привычную обстановку, человека, взволнованного переменой обстановки, быта и окружающего.

Зимнее, холодное, литое море лежит вокруг нас. Пограничники на береговой вышке видят нас в бинокль. Оттуда пароход выглядит водяным жучком на гладкой, сонной поверхности пруда. Почти нет ощущения движения, слабо звенят стаканы на буфетной стойке, тень занавески дрожит на полу. Чувство большого, счастливого отдыха, предвидения большого путешествия наполняют меня. Великая тишина спокойного зимнего моря, огромная пустота вокруг, — какая успокоительная, какая великая вещь путешествие, одиночество в море, одиночество человека среди стихий.

Континентальные жители, что вы знаете о серой, синей, голубой, зеленой стихии? В атласе, на географической карте вы привыкли видеть чертеж, плоский рисунок, напоминающий грубый башмак рыбака. Вы читаете надпись на рисунке: Черное море, по-турецки — Кара Дениз. Черное море, черное, хотя оно четырежды меняло цвет от утра и до полудня.

Лето, июль, молодость.

На отвесных, желтых берегах шумят дубы. Мы лежим на горячем камне. Впереди — пенистые, набегающие валы, и горизонт — лазурная стена, непроницаемая преграда.

Хороший пловец далеко уплыл в море. Трехмачтовый парусник проходит на

горизонте, флаг на мачте вьется, как свиток-надпись на старой гравюре. Пловец возвращается, — на горячем камне лежит его косоворотка, парусиновые штаны и фуражка с зеленым околышем. Трехмачтовый парусник входит в гавань. Старый, сильный человек стоит на борту и на оклик таможенника отвечает громко и важно.

— Трапезунд. Апельсины, лимоны.

И первым сходит на пристань. На круглом бритом черепе сдвинутая на лоб феска. Широкие штаны свисают сзади трехугольным мешком. На босых ногах туфли с загнутыми носами. Прохожие оглядывают его с головы до ног, но он смотрит только на женщин. Не торопясь, он идет по набережной и входит в греческую кофейную. Он садится под олеографией, изображающей мечеть в Адрианополе. Ему приносят розовую, напоминающую по форме улитку, чашечку и стакан холодной и чистой воды, кальян с упругим, свернутым спиралью мундштуком. Неподвижный и важный, он сидит до вечера, пьет кофе, курит и глядит на свой парусник, четыре дня назад оставивший Трапезунд. Мы проходим мимо, от него пахнет сладостным грузом — апельсинами Яффы, — и мы говорим с почтительным любопытством:

— Турок...

По табельным дням из губернаторского дома выходит высокий старик в расшитом золотыми листьями мундире, в медалях и звездах. Он едет в открытом экипаже по главной улице. На рукоятке сабли лежит спрятанная в замшевую перчатку маленькая, сухая рука. Голубые глаза глядят поверх тонкого, орлиного носа, редкая борода лежит седым, полукруглым валиком на розовом лице. Его превосходителство Кемальбей, генеральный консул Оттоманской державы, дипломатический представитель Блистательной Порты, едет из губернаторского дома.

Капитан парусника, которого мы видели в гавани, матросы и грузчики в испачканных нефтью чалмах не были представителями «Блистательной Порты». Но что мы знали в те годы о чу-

жой стране, что мы знали о Стамбуле, Константинополе?..

Мы видели его нарисованным на коробке восточных сладостей, мы знали о нем по рассказам матросов Добровольного флота или по рассказам паломников, возвращающихся из Иерусалима. Они выползали, пропахшие ладоном и блевотиной трюмов, ограбленные пароходными агентами, карантинными чиновниками, русскими и греческими попами.

В молодости я жил в большом приморском городе. Меньше двух суток отделяло меня от Стамбула. Я ел апельсины этой страны, я слышал ее язык,пил черный ароматный напиток, заставляющий сильно биться сердце. Но никогда меня так не привлекла эта страна, как в тот год, когда крейсер «Гамидиэ» стрелял по султанскому дворцу, когда портреты красивого офицера, его завитые усы появились на сигарных и конфетных коробках, когда имя «Энвер» и слова «единение и прогресс» облетели весь мир и с особым вкусом их повторяли либеральные адвокаты, журналисты и земцы. Господин Валентинов дирижировал опереттой «Гайны гарема», одалиски выступали в берлинском Винтергартене и евнухи Абдул-Гамида писали мемуары для парижских газет.

Но в то время я уже не жил в приморском городе, и ощущение близости Стамбула перестало тревожить меня.

Тишина. Надтреснутый бой склянок. Плеск воды под кормой.

Час назад я оставил город моей юности. Он еще виден на горизонте в кругу иллюминатора, как бы нарисованный акварелью на чечевице стекла. Купол театрального здания, дорические колонны на обрыве, в прежнем гимназическом саду, высокий берег и глубокий надрез фуникулера, бульвар и фасад гостиницы. Здесь я провел сутки в пустой и чистой комнате. Три окна дают столько света, что кажется, нет четвертой стены, и зимнее, холодное море входит прямо в комнату и лежит здесь же, у ног, за чертой пола.

Февраль. Тает снег на приморском бульваре. От внезапной оттепели сырость проступает пятнами на стенах домов. Я вырос из этого города, как

юноша вырастает из гимназической куртки. Он тесен и мал, и крыши его мне по плечо, и только море, товарищ юности, все еще неизмеримо, великолепно и огромно.

В салоне парохода полутемно. День блестит в четырех иллюминаторах, круглых и блестящих, как серебряные пуговицы. Давний запах крепких папирос, стук фигур о шахматную доску и приятная тишина читальни. Шаги вахтенного над головой, заглушенные обороты винта, день и ночь, и еще день и ночь, и я увижу Византию, Константинополь, Стамбул.

Звонко чихает шахматист — партнер корабельного врача.

— Исполнение желаний, — говорит корабельный врач и снимает пешку.

«Исполнение желаний»... Юношеские желания, мечты о странствиях, чужих морях, чужих берегах, дорожных случайностях сбываются через четверть века.

«Исполнение желаний», — чего же вам еще: море лежит перед вами не как непроницаемая лазурная преграда, а как широкая дорога в мир, в пять шестых чужого вам мира... Чего же вам еще, пожилой человек? Исполнение желаний. Идите же с миром обедать.

Черно-синие, шелкового блеска масляные, золотистые полукружия лимона, серебристая рыбка скумбрия — южная, черноморская пища. Тяжелые тарелки и стаканы в кают-компании, общительные, взволнованные путешеством спутники. Застольные беседы о море, весне и погоде. На брезенте тюремного люка еще белеет снежок, но люди Юга уже говорят о весне. Послезавтра мы войдем в Босфор. Северо-восточный ветер будет биться в турецкий берег, искать узкую щель пролива, но зима останется позади, у входа в Босфор.

Вечер застает нас в открытом море, в центре неподвижного, как бы застывшего круга, в центре синего полушария неба и совершенно слитого с небом моря.

Как мал клочок советской страны у меня под ногами! Я обошел его четыре раза. В кубрике рисуют диаграмму расхода топлива за шесть рейсов. Великие молчаливники-шахматисты побеждают и

гибнут на шестидесяти четырех клетках шахматной доски. Холодный зимний воздух, монотонный стук винта и тишина валят меня с ног.

В каютах говорят о Стамбуле, о шторме у берегов Яффы. Одесса передает по радио сводку о состоянии погоды. В Москве — двадцать один градус ниже нуля.

Мистер Джемс Кашук, гражданин Соединенных Штатов, разделяет со мной каюту. Родственники из Винницы пожаловались ему на советскую власть, они дали ему в руки полис страхового общества «Урбен», выигрышный билет третьего займа и письма к палестинскому дяде.

Мы укладываемся спать, не сказав друг другу ни слова. Иллюминатор остается открытым, холодный зимний воздух борется с сухим теплом батарей отопления. Море ласково, как большой ручной зверь, трется о борт парохода. Я засыпаю сном юноши и вижу юношеские сны, оттого что дышу воздухом морской зимней ночи.

Леденящий холод и плеск воды. Внезапное, отвратительное пробуждение. Что за глупая и грубая шутка? Открываешь глаза, видишь уходящий вверх наклонный пол и чувствуешь, что лежишь не на постели, а на холодной, скользкой стене каюты. Постель залита водой. Мистер Кашук пляшет дикий и странный танец у иллюминатора. С верхней койки валится чемодан. Джемс Кашук закрывает иллюминатор и ловит руками край койки. И вдруг его, взрослого, большого человека, поднимает, как куклу, и бросает, как куклу, в колыбель.

Медленно опускается пол. Пружины койки вдавливаются в спину, все опускается вниз — койка, каюта, корабль. Зимнее море — большой, ласковый ручной зверь — валит, поднимает и обрушивает вниз пароходик, играет с суденышком и ворочает его мягкой, могучей, бархатной лапой.

Шторм продолжается весь следующий день. Скрип, звяканье, треск наполняют уши, но особенно неприятны короткие интервалы тишины. То оглушительно-громко, то глухо, как сквозь вату, сту-

чит винт. Корма и кают-компания опи- сывают круги и эллипсисы на волне. В пустой кают-компании обедают только двое — капитан и корабельный врач. Рейки стола подняты, и вдоль стола ка- тается из стороны в сторону опрокину- тая солонка.

Мы идем на палубу. Два человека изо всей силы наваливаются на дверь, но ве- тер оказывается сильнее. Наконец, ме- жду двумя порывами ветра, мы открываем дверь и, наполовину задохнувшись, ползем вдоль борта. Черная, чернильно- черная вода вдруг оказывается на уров- не глаз, выше палубы. Сильный удар в грудь бросает нас на четвереньки, мы прячемся за люком и не видим ничего, кроме белой, дышащей холодом мглы и тусклого желтого огня на пляшущей мачте.

Резиновые сапоги проходят мимо ме- ня, человек пляшет невообразимо-смеш- ной танец, но у него злое и усталое ли- цо, и в ярости он вытирает рот и глаза рукавом.

И вдруг разрывается снежная завеса. Открывается нос парохода, бугшприт, как шпага фехтовальщика, наносит уда- ры в крутящуюся, свинцовую мглу. От- туда идет отсвечивающий металлом вал- чудовище, вал, похожий на водоскат большой плотины. Верхушка его надла- мывается, и, треснув пополам, вал ру- шится, распадается и убегает седыми, пе- гистыми бурунами в снежную мглу.

— Это называется шторм. Большая волна.

— Это называется десять баллов, — подтверждает корабельный врач.

Корма попрежнему пляшет, описывая круги и эллипсисы, винт стучит в пусто- те, зеленая влага приникает к стеклу и гнусно глядит в иллюминатор: «Вы еще здесь, дорогие мои?..» Джемс Кашук, желто-зеленый и жалкий, перекатывает- ся на койке, произвольно передвигаем- ый качкой.

— Немыслимая вещь, — говорит Джемс Кашук, — невыслимая вещь: я умираю...

Тиски сжимают переносицу и давят виски, от грохота и плеска падающей во- ды и лихорадочного стука машины тя- желеет голова, и снова клонит ко сну.

Шторм продолжается день и ночь и в шестом часу утра очевидно достигает высшей точки, и, когда ты изумляешь- ся, почему жалкий пароходик не идет ко дну и все еще танцует на волнах, пол- каюты принимает горизонтальное поло- жение, полотенце перестает раскачиват- ся на крюке, и пароход приходит в со- стояние полного покоя.

Я смотрю в иллюминатор и сквозь- стекающие по стеклу капли вижу желтое двухэтажное здание, низкий берег и про- зрачную зеленую воду у берега:

— Босфор, — говорю я и открываю иллюминатор.

Джемс Кашук лежит на спине с за- крытыми глазами. Однако губы его ше- велются.

— Но я все-таки умру, — говорит он, — запомните мой адрес: 243 Ист, 18 улица, 23 апартмент, Нью-Йорк Сити...

Зеленая лента бежит между бортом и берегом. Негромко стучит машина. На палубе быстро тает снег. Практикант морского техникума, юноша, с обветрен- ным лицом и розовыми бессонными гла- зами, стоит на борту, положив руки на поручни трапа. Чужой берег. Катер под флагом звезды и полумесяца идет нам навстречу. Через пролив от азиатского к европейскому берегу ветер гонит снеж- ные пелены. Точно полотнища знамен движутся с востока на запад, точно- воины султана Фатиха Магомета Второ- го штурмуют берег Европы.

Солнце светит холодным блеском на чисто вымытом, как голубая чашка, не- бе. Уходят растерзанные облака. Пропа- дают прозрачные, как тюль, снежные пелены. Открываются горы, на глазах тает их снежный покров, и, ниже гор, у прозрачно-зеленой воды, встают кипари- сы, лавры и мирты, мраморные балю- страды дворцов и вилл, как бы нарисо- ванные на театральном занавесе.

Пролив расширяется, круглый вы- ступ, — это Терапия, гостиница Зом- мерпалас и пустынная площадь. Цилин- дрические башни Румели-Гисар, ограда дворца Долма Бахче.

Галатская башня, высокие, узкие до- ма, узкие, как поставленные на ребро, папиросные коробки.

«Пера—зубья города торговцев, искателей золота...»

Берег идет на нас — пароходные конторы, баррикады из бочек и ящики, затянутые брезентом.

Пролет в машине по гористым, крутым улочкам Галаты. Повороты руля швыряют тебя из правого в левый угол машины. Это шофер Зиа показывает тот класс езды, за который его ценил прежний хозяин, вице-генералиссимус турецкой армии, Энвер-паша. И вот — монументальные железные ворота, старый дом в глубине асфальтового дворика, бывший дом императорского посла, построенный на русской земле. Говорят, землю для фундамента привезли из России; это символ, — посол русского самодержца жил на русской земле.

Мраморные, холодные плиты, Аполлон в вестибюле поднимает руку, не то приветствуя, не то изгоняя. Торжественная тишина парадных комнат, затем лабиринт коридоров и черных лестниц.

Солнце, влажный ветер и весенняя сырость охватывают меня на плоской крыше, я остававливаюсь, пораженный великолепным зрелищем, скачкой разноцветных крыш, сбегających к светлозеленым водам Босфора. Но все это, как в разрыве тоннеля, дальше — опять полутемные коридоры и лестницы, и вот нежилые комнаты, в которых селили челядь, камердинеров и поваров посольства. Как это характерно для старого времени — хрусталь и бронза парадных зал, тисненый шелк обоев и похожие на тюремные камеры мансарды челяди. Старый паркет скрипит под ногами, ветер сотрясает стекла окна, я вижу цветочную клумбу, асфальтовый дворик, я слышу ревущую в тысячу автомобильных рожков улицу Пера — grand rue de Pera. В глубине комнаты — другое окно. Здесь — тишина, в квадрате оконной рамы качается верхушка кипариса, мелодичный, надтреснутый звон колокола в католическом монастыре.

Ощущение качки, легкая усталость после морского путешествия еще не оставили меня.

Полчаса одиночества, раздумия и тишины.

Здесь я был в 1925 году.

— Вы нашли перемены?

Легкое смещение во времени. Оказывается, я уже внизу, в комнате Адама Адамовича, корреспондента нашего телеграфного агентства. Молодая женщина, сотрудница стамбульской газеты «Республика», повторяет:

— Вы были здесь в 1925 году? Вы были здесь восемь лет назад?

Это правда. К чему скрывать от читателей? Я был в Стамбуле в 1925 году. Я был транзитным путешественником, случайно промелькнувшим туристом. День и ночь в Стамбуле, — чего это стоит?

— И все же, вы нашли перемены?

Фотограф расставляет треножник, журналистка достает из сумочки перо.

В сущности, я ничего не видел. Из каких-то очень отдаленных глубин сознания, как незакрепленный, пожелтевший снимок, возникает Стамбул 1925 года, вагон галатского фуникулера, площадь Сераскирата, ослепляющее солнце, алые, как язычки пламени, фески, пышные, как распускающиеся бутоны, чалмы, клочки черного тюля на лицах женщин. Кофейни Галаты, угрюмые и сосредоточенные над чашкой кофе люди, о них говорят: это «лазы» — фанатическое племя. Солдаты в серых папахх кемалистских войск, с винтовками через плечо, медленно обходят насторожившийся, враждебный город...

Молодая женщина перелистывает записную книжечку.

— Но прежде всего я прошу вас ответить мне на следующие вопросы...

И она произносит очень отчетливо следующие слова:

— Расскажите о русской молодежи.

— Объясните мне, что такое комсомол, о котором говорит весь мир.

— Расскажите о комсомольской литературе.

— Не подавляет ли в вашей стране коллективизм личность художника?

(Слово «комсомол» она произносит с французским произношением, потому что разговор идет на французском языке.)

И, так как я не сразу отвечаю на дождь вопросов, мадемуазель Марсель

Албала, сотрудница газеты «Республик», возвращается к самому легкому:

— Вы были в Стамбуле восемь лет назад? Какие же вы нашли перемены?

Для начала я отвечаю первое, что приходит мне в голову:

— Восемь лет назад, мадемуазель, вряд ли вы могли беседовать со мной в качестве журналистки и сотрудника газеты «Республика»:

«Стамбул: муэдзины, наргиле, нежные кладбища. Прошлое, настоящее, по ту сторону — неподвижность. Элегия в форме призм».

«Стамбул: пленительная мелодия самых нежных форм».

«Стамбул: горячка минаретов, споконные священных куполов; аллах бдительный, по-восточному неизменный».

Это Стамбул из книги «Урбанизм» Ле-Корбюзье.

Так ли это?

Нет. Это не так.

Р. S. Из окон музыкальной школы я вижу кладбище, наклонные, поставленные стоймя, плиты, увенчанные выбитой из камня чалмой.

Трехэтажный дом наполнен музыкой, монотонными гаммами рояля, руладами флейты и стенаниями виолончели. Молодая девушка родом из Адрианополя, дочь моряка, турецкая девушка, держит под локтем скрипку. Смычок упирается, как шпага, в плечо подружки-аккомпаниатора.

— Она вам сыграет «Либесфрейд» — «Радость любви» — Крейсера, — говорит профессор по классу скрипки.

Из окон музыкальной школы я вижу древнее мусульманское кладбище. Как плакальщицы, раскачиваются над памятниками черные тени кипарисов.

Р. P. S. S. Годовщина «халкеви», народных домов. Зал народного дома полон, и в абсолютной тишине громкоговоритель передает из Анкары речь Исмета-паши, председателя совета министров. Четыреста человек слушают безмолвно и внимательно, без движения.

Через два часа мы возвращаемся из старого Стамбула в Перу. В путанице переулков возникает глухая стена и завеса из плотной ткани. Мы отдвигаем за-

весу и входим в мечеть. Двое молодых людей в беретах и спортивных штанах незаинтересованно беседуют со старцем в чалме. Один подходит к нам:

— Здесь нет ничего интересного. Ничего замечательного. Это просто мечеть.

— Что же вы делаете здесь? — спрашивает мой товарищ, — чего вы ищете здесь?

— Прохлады, — отвечает юноша, — в полдень уже жарко.

II. Урок истории

Я вижу восьмидесятилетнего поэта, Расина Турции, привлекательную для художника и литератора фигуру.

Я вижу величественного и в то же время благожелательного старика, дипломата Блистательной Порты, бывшего посланника Оттоманской империи в Брюсселе.

Он был молодым человеком в эпоху танзимата — реформ при султane Абдул-Меджиде. Он был современником отца турецкой конституции, Митхат-паши, которого задушили в Аравии в 1876 году, потому что победили реакционеры, потому что Европа хотела иметь дело с «закрученным тюрбаном», а не с мыслящей, умной головой просвещенного турка.

Восьмидесятилетний поэт был молодым человеком, когда в Берлине в присутствии честного маклера, князя Бисмарка, происходил ярмарочный торг между Дизраэли и князем Горчаковым. Сан-Стефанский мирный договор оказался только проектом договора и содержал не «повелительные грани», установленные Россией-победительницей, а «гостинодворское запрашивание» у Англии и Австрии. За «три Плевны», за гекатомбы русских гренадер, уложенных на плевенских высотах, за вымороженные на Шипке полки Россия получила жалкие крохи, и молодые дипломаты выдумали крылатое слово «*Vae victoribus*» — горе победителям, вместо «*Vae victis*» — горе побежденным.

Он был молодым человеком, когда была молода Сара Бернар, и ее voix d'or — золотой голос — доводил до

умиленных слез публику Французской Комедии.

Он помнит позолоченные бомбоньерки-салоны, пыльные штофные обои, багряные драпировки, стекляшки лампиров и люстр, железные винтовые лестницы и зеленое сукно игорных столиков, и нищую роскошь полусвета и света политических салонов империи Наполеона III.

Восьмидесятилетний поэт говорит о Саре Бернар и цитирует «парадокс об актере» Дидро: «Мы хотим, чтобы женщина, когда она падает, делала это красиво и нежно, чтобы герой умирал, как древний гладиатор, красиво и благородно, в позе изящной и живописной... умирать не так, как умирают в постели, — они должны изобразить нам иную смерть... голая правда была бы мелка и противоречила поэзии целого».

Просвещенный европеец, поэт, дипломат, жил в Европе парадоксов, либеральных идей, масонства, атеизма, в Европе Маркса и Коммуны и возвращался в Константинополь Абдул-Меджида и Абдул-Гамида, в Стамбул шелковых веревок, яда, тайных убийств, изысканного шпионства и коварства «ендерун» и «капу» «кулу» — внутренних и наружных служителей сераля.

И писал трагедии и поэмы о халифах Гранады, последнем вздохе мавра, покидающего Альгамбру; пышные и несколько тяжеловесные стихи, воскрешающие стихи Расина. И то, что этот просвещенный европеец, дипломат и поэт, был безмолвным и покорным слугой султана в Стамбуле, придавало поэту особую привлекательность в парижских салонах.

Он бывал и в России. В 1881 году, в год смерти Александра II, он был на черноморском побережье. Ялта была татарской деревней, по Черному морю ходили первые винтовые пароходы, а в Батуме, на закате, кричали с минаретов муэдзины совершенно так же, как в Стамбуле.

Я смотрел на этот живой и привлекательнейший из памятников старой Турции, на старческую руку, играющую шел-

ковой лентой монокла. Дом поэта мало отличался от конаков — особнячков оттоманских пашей, хотя это была квартира в современном жилом доме. Портрет последнего султана, Магомета VI, стоял на мраморной доске камина. Седобородый господин в широкой визитке с благодушным видом смотрел на нас с каминной полки. Если бы не феска, он походил бы на провинциального французского нотариуса, феска придавала ему сходство с рантье из Алжира. Что у него было общего с «великим турком», которому хотел продать свой гений Леонардо да-Винчи? Разве по плечу этому толстому, благодушному господину золотые одежды султанов, выставленные в старом дворце Топ-Капу, разве к лицу ему бриллиантовый аграф и тюрбан величиной с автомобильное колесо?

Да, что прошло, то прошло. И дочь низложенного султана Дюршевар, которую он выдал за самого богатого индийского князька, Низама Гайдерабадского, ничуть не похожа на принцессу из серала. Это невеселая, смуглая девушка; жених ее, в серебристо-белом мундире, напоминал балерину или белую птичку с бриллиантовым хохолком.

И вся семейная группа кажется фотографическим курьезом, — сенсацией иллюстрированного журнала, выставленной на забаву гостям.

Пять часов дня. Загримированные для вечернего освещения левантийские дамы безмолвно глядят на нас. Пальцы, унизанные камнями, выкрашенные в малиновый цвет ногти держат кофейные чашечки. Мадам Л., жена поэта, бельгийка по национальности, поддерживает нашу беседу и не дает ей спуститься с парнасских высот. Она вдвое моложе мужа, она — литератор, в стамбульских газетах напечатана ее интимная переписка с мужем. Двадцать лет назад, когда они встретились, мадам Л. была млада. Что же касается поэта, то двадцать лет для человека, родившегося в 1850 году, не имеют большого значения. Письма поэта и его подруги дали пищу для сомнительных острот, но кто знает, может быть, это сделано для того, чтобы напомнить о забытом поэте, кото-

рому трудно расстаться со славой в своей стране.

Я просил у старого мудреца
Рассказать о тех, которые ушли.
Он ответил: «Они больше не вернуться.
Вот все, что я о них знаю. Пей вино.»

Как видите, мы говорили о персидских поэтах, об Омер Хайама, который до сих пор может приводить в изумление наших современников:

Этот купол неба над нами
Я сравню с магической лампой, где
солнце — источник света,
А мир — экран, на котором мелькают
Наши бледные тени.

Он цитировал Омер Хайама напамять, по-французски, иногда мгновенно находя рифмы. Это был перевод-импровизация, волнующая слушателя потому, что стихи читал старик-поэт, сам напоминающий семидесятилетнего туркмена, поэта и астронома XI века.

Самое приятное в беседе со старым поэтом было то, что он не отрицал нового, что он отдавал должное таланту и темпераменту революционного поэта Назым-Хикмет. В этом признании права молодежи на искания и новую мысль, в этом признании поэта новой эпохи поэтом-классиком была мудрость и понимание духа времени.

Тень дерева на зеленом лугу
Похожа на остров. Между тропинкой, по
которой ты идешь,
И медленно поворачивающейся тенью,
Может быть, лежит пропасть.

Может быть... Солнце движется быстро, поворачивается тень, старый мудрец не находит в себе силы, чтобы следовать за солнцем, не имеет сил, чтобы перейти через пропасть, но он не осуждает тех, которые опередили его.

... Теперь мы едем по улице Пера, стиснутые машинами, оглушаемые криками продавцов и говором и гамом на семи языках. Полицейский в красном шлеме дирижирует круговоротом такси. На высоте четвертого этажа улыбается Норма Шерер, Лионель Баримор умирает, разрывая фразную сорочку, страшно выкатив глаза, и голый Тарзан борется со львом в девственном лесу

Экваториальной Африки. За стеклянной стеной отеля Токатлиан сидят аргентинские туристы с увеселительного парохода «Санкта схоластика», и запах их сигар проникает на улицу. Школьники французских, немецких и английских колледжей перебегают через улицу, показывая шоферам язык. Звонкий голос из окна третьего этажа окликает девушку у витрины музыкального магазина:

— Соня, ты идешь обедать уже?

Я все еще удивляюсь мудрости, жизненной силе и бодрости восьмидесятичетырехлетнего поэта. Мой приятель говорит:

— Наш народ живет разумно и долго, если не умирает на войне. Али Фуад-паша умер ста лет от роду. Ему было девяносто лет, когда он, прогуливаясь в парке, увидел ребенка и няньку. «Чей это прелестный мальчик?» — спросил Али Фуад. «Это ваш сыночек» — ответила нянька. Али Фуад был из черкесов, покинувших Кавказ после сдачи Шамиля. После него осталось столько детей, что дом его походил на школу или интернат.

Мы наконец выбрались из ущелья Перы и, повернув трижды, не убавляя хода, скатились к Галатскому мосту. Восемь лет назад цепь сборщиков, прижавшись локтями друг к другу, перерезала путь пешеходам и экипажам, и, ступив на мост, вы уже издали слышали побрякивание медных монет в кружках сборщиков. Рука путника непроизвольно шарилась в карманах и находила медную монетку, чтобы заплатить за право перехода по Галатскому мосту из Галаты в Старый Стамбул. И хотя сбор давно отменен, но у стамбульских старожиллов вероятно до сих пор сохранился рефлекс — непроизвольное движение руки в ту минуту, когда они вступают на Галатский мост.

За Золотым Рогом, как окаменевшие группы деревьев доисторического периода, возвышаются купола и минареты великих мечетей — Аяя София, Сулейманиэ, Ахмедиеэ. Сплюснутые купола — это шапки деревьев, минареты — оголенные, лишённые кроны стволы. Они действительно похожи на гигантские кущи деревьев каменноугольного периода.

и мы пробираемся к ним сквозь низкорослые заросли жилых домов, магазинов и банков.

Мы пробираемся в обход к Айя София. Море плоских, ржавых крыш, калитки, врезанные в глухие стены, крытые балконы, свисающие над улицей. Чинары, перебрасывая ветви через стену, простирают листву над плоскими крышами. Весенняя, свежая зелень деревьев подчеркивает прелесть архитектурных деталей. В сонной, ненарушимой тишине стучат каблуки пешехода. Вы начинаете постигать гипнотическую силу, сонное очарование старого Стамбула, нигде не повторяемое сочетание воды и деревьев, природы и созданных человеческими руками строений.

«Там, где строят, сажают деревья» — говорят турки. «У нас их срезают» — меланхолически замечает Ле Корбюзье, архитектор и литератор, автор книги «Урбанизм».

«Стамбул — это сад, наши города — кучи щебня».

Чинара, южное, напоминающее архитектурную деталь, дерево, растет во дворах великой мечети. Кафеджи торгуют инжирным кофе в тени чинары. Под чинарами во дворе бывшего министерства юстиции стрекочут пишущие машинки. Это — уличные писцы, рационализировавшие в духе времени свой труд.

Февраль, но уже жарко, — писцы с машинками ищут тени. Кафеджи бегают в одних жилетах, но толстый, приземистый господин в черном пальто с бархатным воротником, не торопясь, идет по солнцепеку. Против солнца он кажется черным кубом, поставленным на коротенькие ножки. Наконец он поровнялся с вами, вы видите его лицо — жирное, восковое, одутловатое лицо пожилой дамы. Но это не дама. Это — отставной евнух сераля султана Абдул-Гамида, автор занимательных мемуаров, напечатанных в свое время во французских газетах. Мемуары давно забыты, у автора были в свое время доходы, более значительные, чем литературный гонорар, и вот он делает свой предобеденный моцион, получасовую прогулку мимо ограды Айя София, и гид показы-

вает его шотландским туристкам, и старые девы глядят на него во все глаза, почти так же, как на Святую Софию.

Послушайте, вы у порога Айя София! Повремените, не входите, отойдите в сторону, испытайте еще раз разочарование перед тем, как раз на всю жизнь изумиться мощи человеческого гения. Посмотрите на сплющенное полушарие, положенное на куб легко и небрежно, как кладут металлическую покрывку на суповую чашку.

Затем приблизьтесь и суньте ноги в стоптанные туфли, не из уважения к догме ислама, а из уважения к старым, драгоценным коврам Айя София.

Отодвигается тяжелый, стеганый занавес, люди входят и сразу теряют твердость походки, и не только потому, что у них на ногах разношенные великанами туфли. Расставив ноги, люди неуверенно шагают по коврам Айя София. Над головой у них стеклянные розаны плоских, пронизанная солнцем необъятная масса воздуха и опрокинутая чаша купола, подвешенного неизвестно на чем, в воздухе, над головой. Под этой необъятной чашей на неизмеримом четырехугольнике ковра лежит скорченная фигурка, крохотная, как куколка для бутоньерки, фигурка муллы. Он лежит, прижавшись лбом к ковру, единственный экспонат правоверного мусульманина в этом музее — памятник зодческому гению человечества.

Листы коричневой бумаги, приклеенные на головокружительной высоте, там, где пролетают голуби, отмечают место работ реставраторов. Когда руки художников-реставраторов осмелились прикоснуться к росписям эпохи султанов-завоевателей, когда сняли штукатурки и обнажили древние византийские фрески, реакционеры потребовали прекращения кошунственных реставрационных работ. Будь это полвека назад, площадь перед Айя София покрылась бы десятитысячными толпами фанатиков, и неверных разорвала бы в клочья толпа. Сейчас, чтобы прекратить протесты, не понадобилось даже полицейского в красном шлеме.

Константинополь. Византия...

На земле и под землей Византия напоминает о себе запущенными и заброшенными сооружениями.

Подземный зал, называемый «тысяча колонн», цистерна питьевой воды для осажденного города. Над шестьюстами колоннами (их шестьсот, а не тысяча) — пустынная, мощеная бульжником площадка. Свободный дыру в сводачатом потолке цистерны прорывается солнце густым, пронизанным плотной пылью лучом. Поворачиваешься, и колонны сдвигаются и двигаются вокруг тебя, точно они, а не ты переменял место. Столетняя сырость пронизывает до костей, — здесь когда-то была фабрика, вырабатывающая шелк, и рабочие были приучены работать во мраке и вечной сырости. Так было при султанах, когда закон о труде еще не обсуждался парламентской комиссией, когда не было ни комиссии, ни медресе в Анкаре, ни самой Анкары — столицы республики. Когда не было пятницы, дня отдыха для рабочих, единственно реализованного пожелания конгресса в Смирне.

Семибашенный замок — византийская крепость, затем тюрьма послов Франции, Венецианской республики и России. Послы Петра I, Булгаков и Шафиров, оставили свои выбитые в стене автографы. В эти простые и грубые времена война начиналась с того, что султан отправлял послов неприятельской страны в семибашенный замок. Следовательно, право экстерриториальности и неприкосновенности посла понималось своеобразно. Служитель музейного ведомства убеждает вас в том, что заключенному здесь было несколько лучше, чем в иной современной тюрьме цивилизованной западной державы. Электричество, яркий, почти дневной свет несколько окрашивает тюремную келью, но человеку нашего времени душно и грустно в склепепещере, образованном стенами десятиметровой толщины. Он не привык к сложным из камня винтовым лестницам, к нависающей над головой тысячепудовой тяжести сводов. И человек нашего времени с удовольствием покидает тюрьму высоких особ. Он выходит на открытую ветрам и солнцу площадку башни, и Мраморное море открывается ему не-

правдоподобно синими, исчерченными зигзагами прибой, просторами. Деревья в три человеческих роста шумят на верхушке башни. Эти зеленые деревья и трава забвения говорят о том, что все кончено с византийской твердыней, что башни и стены — только памятник, иллюстрация к книге историка. Можете ли вы то же сказать о взорванных и разрушенных по Севрскому мирному договору, но странно, что эти разрушения несколько не приблизили мир. Скорее, они окрылили будущих нарушителей мира. Вот диалектика истории.

Иногда Византия напоминает о себе не руинами, не длиннолицыми и длинноглазыми святыми, глядящими из-под новых росписей — текстов корана и восточных орнаментов. Она напоминает о себе одним наименованием местности, скажем, словом «ипподром», вызывающим в памяти страницы давно прочитанных книг, имена византийских императоров и полководцев. Лучше Константинов, Юстинианов и Велизариев запоминаются имена двух: одного византийца и одного немца, Вильгельма Гогенцоллерна, — он подарил этой площади грузный и довольно безвкусный фонтан из черного мрамора.

Византиец именовался Михаил III и имеет в истории комическое прозвище — «Пьяница». Он знаменит тем, что приказал разрушить оптический телеграф, предупреждавший о наступлении турок на Византию. Сигналы телеграфа отвлекали внимание зрителей от состязаний на ипподроме.

Этот газон сквера и громоздкий фонтан из черного мрамора — надгробие и могильный памятник ипподрому Византии. Трибуны из драгоценного мрамора, бронзы и золота, мозаичные полы, скульптура и статуи, — все было разгромлено и разграблено, и притом не турками, а рыцарями-крестоносцами, разгромившими Византию на пути к Иерусалиму, святому гробу.

Не удивительно ли, что византийская цивилизация была в значительной степени уничтожена крестоносцами-христианами, а не мусульманами-турками.

«Тот, кто завладеет Константинополем, будет владеть миром».

Это из «Мыслей Наполеона», собранных Онорé Бальзаком.

«По трубному звуку начинается представление всякого рода греческих игр. Красавицы-гречанки увенчивают славян-победителей и пляшут с ними под звуки прелестной музыки. После представления двор сходит со своих ступеней, и Олег, в знак признательности за ласковый прием, прибывает свой щит с российским гербом к одной из колонн Гипподрома. Трудно представить себе что-нибудь прекраснее этого зрелища. Особенно относительно одежд».

Зрелище происходило в петербургском Эрмитажном театре 3 сентября 1791 года и называлось «Начальное управление Олега — подражание Шакспиру без соблюдения феатральных правил». Автор — Екатерина II. Музыка — Сарти.

«Начальное управление Олега» — маниакальная мечта русских самодержцев о новой Византии, в славянском царстве, щите Олега на вратах Цареграда, кресте на куполе мечети Айя София.

В 1853 году лондонский корреспондент газеты «Нью-Йоркская трибуна» писал следующее:

«Уже Петр I собирался укрепиться на развалинах Турции. Екатерина обращалась к Франции и уговаривала Австрию принять участие в предполагаемом разделе Турции и основать в Константинополе Греческую империю, которой должен был управлять ее внук; он получил в ожидании этого имя Константин. Николай I, гораздо более скромный, желал исключительно протектората над Турцией».

По странной случайности я приехал в Стамбул через сто лет после того, как маниакальная мечта русских царей была близка к осуществлению.

Сто лет назад, 20 февраля 1833 года, русский десант высадился вблизи Константинополя, чтобы защитить султана от мятежника — египетского паши Мехмет-Али.

Русские ушли из Константинополя после того, как британский флот обещал бомбардировать каждый русский порт

на Черном море. Всеславянское царство, мечту о начальном управлении Олега, вольное подражание Екатерине II на время сняли с репертуара. Щит и крест убрали в склады театральная бу- тафории.

Вы можете проследить историю русско-турецких войн по тысячам томов исторических исследований, по архивным документам, мемуарам военачальников и дипломатов, по стихотворным реляциям поэтов, по батальным картинам художников. Вы можете перечитать речи лорда Джона Рассель, Пальмерстона, Дизраэли и Гладстона, и, когда вы утонете в бездне материалов, обратитесь к двух томам, в которых собраны статьи и корреспонденции двух замечательных современников Крымской кампании. И тогда, сквозь прескотню речей и барабанов, сквозь артиллерийскую канонаду, стоны умирающих русских солдат и турецких аскеров, перед вами с полной ясностью предстанет то, что в течение двух веков называлось восточным вопросом. Почти все, что я приведу ниже, было написано почти восемьдесят лет назад, но до сих пор никто не определил правильнее и справедливее тот узел полигических и экономических отношений, который назывался на языке политиков «восточным вопросом». А некоторые страницы этих двух книг написаны так, как если бы они были написаны на другой день после Лозаннского соглашения 1922 года.

Другой великий современник Крымской кампании, Лев Толстой, написал в примечаниях к «Севастопольским рассказам»: русские солдаты так привыкли к крикам «алла» (так привыкли воевать с турками), что теперь рассказывают, будто французы тоже кричат «алла».

В течение трех столетий русский народ приучали воевать с турками, и, в сущности, дело заключалось только в том, когда выгоднее объявить войну. Предлог для войн был всегда под рукой, — постоянный и вечный предлог.

Коран и основанное на нем мусульманское законодательство сводят географию и этнографию народов всего мира

к простой и удобной формуле деления на две половины: правоверных и неверных. Неверный, это — гяур, это враг».

«Если какой-либо город капитулирует и его жители выразят согласие стать «райей», то-есть подданными мусульманского государя, не оставляя своей веры, тогда они обязаны платить «харадж» (подушную подать), за это они получают мир, и никто не смеет трогать их дома и имущество».

«Патриархи, митрополиты, епископы имеют право суда над «райей», право наказания палочными ударами и ссылки. Судьи (кадии) приводят в исполнение их приговоры. Каждая степень в духовной иерархии «райи» имеет свою покупную цену. Чтобы получить утверждение, патриарх платит Дивану громадную дань и со своей стороны продает своему клиру архиепископства и епископства. Эти последние пускают в розницу власть, купленную у начальства, и торгуют всеми священными актами: крещениями, бракосочетаниями, разводами, завещаниями».

Перед нами самый острый вопрос, вызывавший вражду между Россией и Турцией, предлог войн и распрей. Положение «райи», православных подданных султана, было предлогом дипломатических и вооруженных выступлений «покровителя православных» — русского царя. А соперничество наций, экономически заинтересованных в овладении Турцией, встает перед вами, когда вы обратитесь к той же статье «Христиане и мусульмане».

«Так как коран объявляет всякого чужеземца врагом, то никто не отважится выступать в мусульманской стране без мер предосторожности. Поэтому европейские купцы пытались обеспечить лично за собой исключительные условия и привилегии, которые потом распространялись на всю их нацию. Таково происхождение капитуляций».

От этих же капитуляций ведет свое начало право протектората иностранных держав не над христианскими подданными султана, райей, а над своими единственными, посещающими Турцию

или живущими там в качестве иностранцев».

Первая капитуляция была заключена между Турцией и Францией в 1535 году. Россия включила, составленную по примеру Франции, капитуляцию в Кучук-Кайнарджийский мирный договор. Если вспомнить еще вопрос о «святом гробе», Иерусалиме, где «религиозные отбросы различных наций живут обособленно, враждую и не доверяя друг другу, бродячее население из паломников, раз'едаемое чумой и нищетой», то понятно, что у императорской России был постоянный предлог для покушения на суверенитет Турции. Что же касается западных держав, то у них был тоже постоянный предлог для того, чтобы вмешаться в конфликт.

9 мая 1853 года посол Николая I, будущий главнокомандующий, Меншиков, пишет следующее характерное письмо министру иностранных дел Порты — Рашид-паше:

«... всякое действие, которое, сохраняя неприкосновенность чисто духовных прав православной восточной церкви, было бы все же направлено к тому, чтобы лишить силы признанные с незапамятных времен другие права, привилегии и иммунитеты религии и духовенства, будет принято императорским кабинетом, как акт враждебный по отношению к России и ее религии».

(Удивительно то обстоятельство, что русские самодержцы обвиняли турок в религиозной нетерпимости в то самое время, когда в России подвергали жестоким преследованиям раскольников, униатов, мусульман и евреев.)

Традиционная политика России заключалась в том, что царская Россия желала иметь перед собой ослабленную внутренними раздорами Турцию, раз'ращенную подкупами «Блистательную Порту». Всякое стремление турок «превратить закрученный тюрбан в настоящую живую голову» встречало яростное сопротивление русского правительства. Турция, по уверению русского царя, была «большим человеком», и если нельзя было целиком взять наследство, то можно было по крайней мере поделить его

между претендующими на это наследство.

— Должен вам сказать, — говорил Николай I сэру Джону Гамильтону Сеймуру, — что если ваше правительство верит в то, что у Турции еще сохранились некоторые элементы жизни, то ваше правительство получило неверную информацию. Повторяю: большой человек умирать. Соглашение в общих чертах, — вот все, чего я требую, этого достаточно между джентльменами. На сегодня довольно. Приходите завтра.

«Распад может произойти двадцать, пятьдесят или сто лет спустя, — меланхолически писал в секретной депеше лорд Джон Рэсселл тому же сэру Гамильтону, британскому послу при русском дворе, — при таких условиях вряд ли было бы совместимо с одушевляющими императора России, не менее, чем королеву Великобритании, дружественными чувствами по отношению к султану заранее распределять провинции его империи... Заключенное в подобном случае соглашение несомненно имеет целью ускорить те стечени обстоятельств, от которого оно должно оберегать. Было бы несправедливо держать Австрию и Францию в неизвестности об этом соглашении».

Приблизительно в то же время «Daily News», орган либеральной партии, пишет: «Раздел Турции при теперешних обстоятельствах должен привести русских в Константинополь, что было бы большим несчастьем для Англии». «Разве христиане в Турции не пользуются большей свободой, чем в Австрии и России? Разве Турция не рай по сравнению с Австрией и Россией?»

Словом, как у Пушкина:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят...

Современники русско-турецкого конфликта 1853 года, которых я цитировал, объяснят нам, как следует понимать «воодушевляющие императора и королеву дружественные чувства по отношению к султану и прославление Турции» при теперешних обстоятельствах:

«Западные державы начинают с того, что поощряют султана к сопротивлению царю из страха перед агрессивностью России, а кончают тем, что вынуждают султана к уступкам из страха перед всеобщей войной, которая приведет к всеобщей революции».

Эти строки были написаны 19 июня 1853 года, восемьдесят лет назад.

Но разве им можно отказать в актуальности в наше время, подставьте только другие именованья держав...

Итак, было установлено, что непременным условием мира всего мира является поддержание «статус кво» (неизменного положения) на Востоке. Когда же стало ясно, что Россия толкует Кучук-Кайнарджийский договор так, что все подданные султана христиане (двенадцать миллионов подданных) находятся под покровительством царя, Европа 1853 года поняла неизбежность войны с Россией.

Кулисы войны в Западной Европе были в общем те же, что и сейчас, — министерство иностранных дел, палата общин, палата лордов, биржа. Однако режиссеры театра военных действий не проявляли особой смелости перед миллионом штыков Николая I. Лучшие люди мира понимали, что «Константинополь — это мост между Востоком и Западом, что западная цивилизация не может обойти вокруг мира, не пройдя через этот мост, а этот мост нельзя пройти без борьбы с Россией». Лучших людей эпохи возмущали трусость и ничтожество политических деятелей Англии перед лицом жандарма Европы — Николая I.

«Билль о мерах борьбы с копытю, — пишет все тот же автор, корреспондент «Нью-Йоркской трибуны», — билль о мерах борьбы с копытю, внесенный лордом Пальмерстоном, прошел второе чтение. Если этот законопроект получит силу закона, столица Англии преобразится, и в Лондоне не будет больше ни одного грязного дома, кроме палаты лордов и палаты общин».

Маниакальная мечта о Царьграде охватывает императорскую Россию.

Олимпиец Тютчев, поэт-царедворец, печатает в «Современнике» написанное еще в 1850 году стихотворение:

... и своды древние Софии
Вновь осенит христов алтарь.
Пади пред ним, о царь России,
И встань, как всеславянский царь!

Николай I, с опаской поглядывая на Запад, пишет на полях тютчевских стихов: «Подобных фраз не допускать». Поздно. «Грязные дома» решились на войну. Начинается затяжная война, которая в истории получает название Крымской кампании, — «непостижимая война», «скучная война», как называют ее современники:

«Обильное красноречие наряду с ничтожной активностью; огромные приготовления и лишённые всякого значения результаты; предусмотрительность, весьма близкая к робости, сменяемая безумной смелостью, результатом полного невежества; полная посредственность генералов и, наряду с ней, исключительная храбрость войск; как бы умышленные поражения и победы, одержанные благодаря недоразумению... И все это так же характерно для русских, как и для их врагов».

Поражения на театре военных действий сопутствуют жестоким поражениям царской дипломатии. В 1853 году Австрия и Германия подписывают протокол о неприкосновенности границ Оттоманской империи, причем Австрия занимает угрожающую в отношении России позицию. Позже это повторяется в 1877 году. Какой убогий и страшный шаблон во всех войнах России и Турции, войнах XIX столетия! Бьют барабаны, маршируют полки, тонут по колена в грязи дунайских деревень и поют хриплыми голосами:

Пишет, пишет царь турецкий,
Пишет русскому царю...

И на Кавказе бьют барабаны, — русские солдаты форсируют горные проходы:

Кавказские долины —
Кладбище удальцов...

Так трижды в течение столетия встречаются русские солдаты и турецкие ас-

керы на берегах Дуная и в кавказских долинах, — две «немыслящие», «нечувствующие» силы, направляемые друг на друга придворными-главнокомандующими...

«По долгу присяги, а еще более по чувству человека, не могу молчать о зле, которое открыто совершается передо мной и очевидно влечет за собой гибель миллионов людей» — писал участник Севастопольской обороны артиллерийский офицер Лев Толстой в «Записке об отрицательных сторонах русского солдата и офицера». «В России нет войска; есть толпы угнетенных рабов, повинующихся вора́м, угнетающим наемникам и грабителям... Солдат — бранное, поносное слово в устах нашего народа, солдат — существо, движимое одними телесными страданиями... Вот кто защитники нашего отечества».

Почти в то же время другой гениальный современник Крымской войны пишет все в той же газете «Нью-Йоркская трибуна»:

«Хотя русский солдат в состоянии выдерживать более розог, чем всякий другой, но и он, как всякий другой, теряет свою стойкость, если постоянно должен отступать».

Два современника русско-турецкой войны — учитель пролетариата Карл Маркс и великий писатель Лев Толстой — сошлись в определении русского солдата, слепого оружия в руках Николая I.

Здесь я открыл читателю имя лондонского корреспондента нью-йоркской газеты и «Neue Oder Zeitung». Впрочем, я не старался возбудить любопытство читателя, я не старался его заинтриговать, когда умышленно не называл Маркса и Энгельса, которые восемьдесят лет назад дали абсолютно правильную характеристику состоянию войны и мира между Россией и Турцией.

Штуцера мы поджидали,
Да гвардейцы их забрали,
Видно, им нужней... —

пели севастопольцы сочиненную Л. Толстым песню.

«Пули Минье убивали пять-шесть человек в густой колонне, в то время как

русские пули убивали одного» — писал Маркс.

Преимущество в вооружении на море сначала было на стороне России, в особенности в то время, когда противником русского флота был один турецкий флот. Деревянный русский флот встретился у Синопа с одиннадцатью деревянными турецкими фрегатами. «Три святителя» открыли огонь по «Благодати аллаха» («Фазли Аллах»). Был 1853 год, и железные дороги, пароходы и телеграф уже прочно вошли в быт Западной Европы. Между тем на Черном море сражались парусные, деревянные суда. Победа русских под Синопом объясняется тем, что у турок не было «бомбических» пушек. Русские стреляли разрывными бомбами, и потому турецкие фрегаты горели и взрывались на воздух. Изрешетенные сплошными турецкими ядрами, русские суда все же держались на воде. Разрывная бомба дала победу русскому флоту. Даже по сравнению с Россией Турция оказалась отсталой страной.

Синоп был последним большим сражением парусных, деревянных флотов. На суше у союзных войск было преимущество вооружения, — пули Минье. На море они располагали паровыми судами. Сначала пароходы так же взрывались и горели от разрывных бомб, как и фрегаты. Но к концу Крымской войны появились первые броненосные корабли. Паровая машина получила броню, и первые же пловучие, бронированные батареи, в тысячу четыреста тонн водоизмещения, защищенные несовершенной броней, тихоходные и неповоротливые, решили судьбу парусного и деревянного военного флота. Они же решили и судьбу крепости Кинбурн 5 октября 1855 года. Три таких пловучих батареи бомбардировали и разгромили русскую крепость Кинбурн.

Так, со времени Крымской кампании, начинается непрекращающийся поединок между снарядом и броней. Можно сказать, со времени Крымской кампании приобретает особое значение военная промышленность. Англия и Франция, с мощной по тому времени металлопромы-

шленностью, подавили превосходством вооружения Россию Николая I.

Теперь о человеческом материале.

«Солдат наш, — писал Лев Толстой в «Записке об отрицательных свойствах русского солдата и офицера, — солдат наш особенно храбр, когда ведут его, — сам он итти не может, потому что не мыслит, не чувствует, — храбр, потому что мысль «авось все кончится» не оставляет его».

«Русские сражались с обычной для них пассивной храбростью» — подтверждает эту мысль двадцативосьмилетнего Толстого Карл Маркс.

Дальше у Льва Толстого есть, не имеющее равного по обличительной силе, описание порядков в русской армии:

«Офицер велел дать сто розог солдату за то, что он курил из длинной трубки, другой наказал его за то, что он хотел жениться, его бьют за то, что он смел заметить, как офицер крадет у него, за то, что на нем вши, и за то, что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, что у него есть лишние штаны; его бьют и пнут всегда и за все...»

И при всем том «пассивная храбрость», храбрость, несмотря на бездарность командиров, несмотря на позорные поражения, несмотря на позорный, похабный мир, который всегда, в конечном счете, был позорным для России миром, все равно, была ли она побитой, или выходила из войны победительницей. Такая армия была жалка и в то же время страшна для всего мира, для западной цивилизации, то-есть революционного прогресса, как понимали эти слова Маркс и Энгельс.

Русские цари протягивали руки к Константинополю, утверждая, что «больной человек умирает» и надо восстановить древнюю византийскую цивилизацию, но Маркс объясняет нам, что же, собственно, русские цари понимали под византийской цивилизацией:

«Царь дал бы византийской цивилизации то, что давали Восточной Римской империи в течение веков русские искатели приключений, — гвардейский корпус».

Публицист, философ, политик, Маркс находит поэтические сравнения и обра-

зы, когда говорит о городе-магните Константинополе — одном из чудеснейших городов мира:

«Константинополь, — это вечный город, это Рим Востока».

«Константинополь — это золотой мост между Востоком и Западом, и западная цивилизация, подобно солнцу, не может обойти вокруг мира, не пройдя через этот мост; а этот мост нельзя пройти без борьбы с Россией. Константинополь в руках султана, — это только залог, хранимый для революции, и нынешние номинальные представители Западной Европы, видящие, со своей стороны, последний оплот своего порядка на берегах Невы, не могут сделать ничего иного, как оставить вопрос нерешенным до тех пор, пока Россия не очутится лицом к лицу со своим настоящим противником — революцией».

Одна из удивительных особенностей гения Маркса — политическое предвидение. Это политическое предвидение делает его не только современником событий XIX века, но и современником нашего века. То, что писал Маркс за шестьдесят три года до Октябрьской революции, оправдалось с абсолютной точностью.

Восточный вопрос решился, по существу, в ту ночь, когда красногвардейцы и матросы штурмовали Зимний дворец, именно в ту ночь был разоблужен узел, перестал существовать восточный вопрос в понимании политиков империализма, — от лорда Пальмерстона до Милюкова. Театральная бутафория русской монархии, скипетры и короны были сломаны и брошены в мусор вместе с византийской бутафорией — щитами Олега и крестами Софии. Несколько позже перестало действовать то мусульманское законодательство, которое было предложено для вечных раздоров между Россией и Турцией. «Христиане или мусульмане», — вопрос о религиозных убеждениях перестал быть предметом обсуждения между Советским Союзом и Турецкой республикой.

Пока «номинальные представители» Западной Европы ссорились из-за наследства умершего «большого человека»,

в Анатолии родилась новая Турция. И «номинальные представители» увидели перед собой не «великого турка», не «Блистательную Порту», не «Диван», а вождей национальной революции, живую голову вместо закрученного тюрбана.

Что осталось в памяти наших современников от двухсотлетней распри между русской и турецкой державами? Отдаленные, давно забытые именованья «Чесма», «Наварин», «Синоп»... «Севастопольские рассказы» Толстого, «Четыре дня» Гаршина, памятник гренадерам, павшим под Плевной, панорама на Историческом бульваре в Севастополе, песня, сочиненная Толстым:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы забирать...

Поэтому, оглянувшись в прошлое, я счел нужным рассказать о нем не по архивным документам и мемуарам генералов и министров, а по страницам гениальных современников кровопролитной Крымской кампании.

Поразмыслив над уроками прошлого, начинаешь понимать, откуда и как возникли дружественные отношения между Союзом Советских Республик и республикой Турцией. Конец распри двух народов, установление новых, и действительно дружественных, отношений между народами нашей страны и турецким народом — это и есть начало той «западной цивилизации», о которой мечтали лучшие люди прошлого века.

Настоящая цивилизация придет, и мы, свидетели ее зарождения, будем свидетелями ее полной победы, что бы ни говорили об этом «номинальные власти» Западной Европы.

Сегодня я бродил по заповедному городу султанов, городу дворцов и музеев Топ-Капу. Старый, запретный город стоит на высоком мысу, кровли его дворцов и тройные кирпичные ленты оград спускаются к самому морю. Дворец выстроен так, чтобы стража могла отразить штурмовой натиск мятежников, путь к султану запирали кованые железные ворота, тройная цепь оград и скрепленные сабли телохранителей.

Сначала нас смущал резкий контраст европейского и восточного в архитектуре, убранстве комнат и утвари. Но все это сочеталось с чудесным, нигде не повторяемым пейзажем, — черными тенями кипарисов, зеркальными, отражающими небо бассейнами и перспективой Галаты и Перы на другом берегу Золотого Рога. И это было ошеломляющее и чудесное зрелище. Магический свет полуденного солнца оживлял, заставлял жить и сверкать скульптурные детали, резкая игра света и теней под куполами Багдадского киоска заставляла удивляться искусству турецких зодчих.

«... для своей выпускной речи Гегель избрал необычную и странную тему: «Печальное состояние наук и искусств у турок».

Речь Гегеля приводила к утешительному выводу, что в Штутгарте, при герцоге Карле, дело обстоит лучше, чем в Турции.

«Султан Баязет II, — пишет один авторитетный историк, — убил всех своих братьев, но был кротким и мирным человеком, покровителем ученых, зодчих и поэтов». И мы никак не могли верить в превосходство вкуса герцога Карла над вкусом «кроткого и мирного» султана Баязета II. Перед нами открывались низенькие двусветные розовые залы с хорами, зеркальные, прозрачные, похожие на фонарь маяка павильоны, чернильный мрак переходов и лестниц, где человек до сих пор проходит со странным, почти болезненным ощущением между лопатками, как бы ожидая удара ножа.

Есть видимое, осязательное различие между эпохой расцвета и падения Османского государства, резкая грань между изнеженностью и упадком вкусов эпохи султанской империи и суровой простотой, почти спартанской строгостью нравов эпохи султанов-завоевателей.

Немного хлеба, немного чистой воды,
Тень дерева и твои глаза.
Ни один султан не был счастливее меня...

Тень дерева, отливающий серебристым шелком ствол чинары, прохлада и тишина за толстой стеной дома с черепи-

чатой кровлей. Ковер на земляном полу, фонтан для прохлады и для слуха, — чтобы слышать меланхолический лепет струящейся воды... Стук копыт боевого коня во внутреннем двореике дома, кривая сабля в головах и кальян в ногах. Время завоевателей, зодчих, мореплавателей — время суровой и скромной подлой жизни.

Бекташи (религиозная секта в исламе), бекташи говорят, что военная добыча, обогащение развратило нацию победителей. Они говорят, что чувство собственности — позорное чувство и от него исходят все несчастья человечества. Они проповедывали равенство и отрешение от собственности, и султан Махмуд II, истребивший янычар, ревностных львов ислама, одинаково преследовал и секту бекташи. Теперь Салих-Назым, шейх секты бекташи, живет вблизи Анкары, окруженный учениками и слугами. Он все еще проповедует братскую любовь, презрение к земным благам и отказ от собственности. Никаких дурных последствий для секты проповедь бекташи не имеет, может быть, потому, что у них это только теория, безвредная теория, и только.

Из старых покоев дворца вы переходите в сравнительно новые пристройки. Европа пробирается в запретный город дворцов и сералей, — бронза и хрусталь, люстры и зеркала, вызолоченные кушетки и кресла, европейские изделия, рассчитанные на вкус богатого покупателя из страны Востока. Псевдовосточные орнаменты, стиль рококо, приобретающий восточный колорит, входит в султанский дворец вместе с искателями приключений, тайными агентами, шарлатанами-врачами, шпионами, проникавшими в сераль под видом учителей танцев. Вкусы этих людей оставили след в запретном городе султанов. «Тень дерева» и «немного чистой воды» уже не рай для падишахов, покровителей искусств, и вот — чудовищно-безвкусная роскошь, дикое сверканье драгоценных камней, орденов, звезд, султанских регалий, мундиров и парадных одежд, выставленных в стеклянных гробах музея Топ-Капу. Это музей редчайших образцов работы ювелиров и вместе с тем

собрание безвкусной буафории торжественных приемов и парадных выездов салямликов. Золотые рукоятки кинжалов и сабель, усыпанных чудовищными и довольно уродливыми изумрудами и рубинами, золотая сбруя, пучки перьев, перевитые жемчугом, — вот что кружило головы иностранцам и рождало сказки о сверхъестественном богатстве султанов...

А страна была нищей, пастушеской, голодной страной, и запутавшаяся в долгах «Блистательная Порта» торговала привилегиями для иностранцев, капитуляциями, должностями, кровью своих солдат, войной и миром.

И пожараща старого Стамбула, голые, обугленные плечи посреди деревянных лагуч были убедительным и страшным контрастом рядом с варварским великолепием дворцов и сералей.

... Странный памятник. Посреди пустынной, обширной площади — ствол дерева, обломок, напоминающий искривленный клык вепря. «Дерево янычар». Это несуществующее дерево было соборной виселицей янычар, когда султан Махмуд II истреблял султанскую гвардию, янычарский корпус. На гравюрах прошлого века от ствола векового платана отходят две могучие ветви, — сейчас перед нами только окаменевший, вделанный в бетонный постамент обломок — памятник жестокой расправе. Памятник стихийным солдатским бунтам, когда солдатчина вдруг осознает свою силу и, добравшись до власти, не знает, что с этой властью делать, — промит, свирепствует, сажает на трон своего ставленника, затем предаёт своих вожаков и тушит собственной кровью пламя бунта...

Эти размышления приходят нам в голову в ту минуту, когда мы ходим по военному музею среди восковых кукломулажей, грозных и усатых мужчин в долгополых одеждах с кривыми кинжалами за поясом. Мы видим янычар-знаменосцев, янычар-писарей, янычар-казначеев и мулл и, продолжая размышлять о прошлом, в конце концов приходим к несложному выводу: аппарат власти, машина принуждения осталась почти неизменной. Настоящий солдат тот, кто не мыслит, не чувствует, у кого нет

ни родственных чувств, ни чувства класса. Поэтому лучший солдат тот, кто взят насильственно из семьи в детские годы (янычары), или солдат, потерявший в детстве семью. Самые надежные кадры французской полиции на вербованы из бывших приютских детей, сирот и подкидышей, — вот опора власти. Николай I мечтал о профессиональных солдатах из детей-кантонистов, он обрекал каждого рекрута на двадцатипятилетнюю каторгу. Солдат расставался с семьей и родиной, и если не умирал физически под Севастополем, Эрзерумом или под палками унтеров, то через двадцать пять лет был инвалидом, пугалом, барабанной шкурой и презренным существом. Либеральные бары славили «серых героев» и «чудо-богатырей», один Лев Толстой мог написать с убийственной откровенностью: «В бою, когда сильнее всего должно бы было действовать влияние начальника, солдат столько же, иногда более ненавидит его, ибо видит возможность вредить... посмотрите, сколько русских офицеров, убитых русскими пулями, сколько легко раненых, нарочно отданных в руки неприятеля, посмотрите, как смотрят, как говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением...»

Однако наступило время, когда нечувствующий, немслящий солдат, «шкура», слепое орудие, оказался бессильным и беспомощным перед противником, знающим, во имя чего он идет в бой и для чего он проливает свою кровь и чужую. Это время наступило для старой Турции так же, как для ее вечного врага — старой России. В этом древнем византийском соборе, обращенном в военный музей, есть множество трофеев и реликвий, полковые знамена, шпаги и жезлы военачальников, но я имею смелость думать, что все эти трофеи Османской Турции не имеют никакой цены рядом с трофеями войны за независимость. Вот почему экскурсия школьников проходит почти равнодушно мимо портретов звездоносных пашей, ржавой тысячепудовой цепи, запиравшей вход в Золотой Рог, и останавливается надолго возле греческих знамен и греческих подбитых пулеметов, возле картины, изо-

бражающей наблюдательный пост кемалистов в горах Анатолии.

Восковые куклы янычар, знамена многих наций, слава султана Фатиха, Плевна, морские баталии, — все в прошлом, в книжном, полузабытом прошлом, а трофеи битвы при Думлу Пунаре в памяти у каждого стамбульского школьника.

Греки были обречены на поражение уже в тот день, когда турецкий аскер понял, что сражается за независимое существование своей родины, когда не «священная война», не вопли полкового муллы, не крики «алла» заставляли его идти в бой, а «национальный обет», право нации на независимость. Этот мыслящий и чувствующий солдат дал победу молодой Турецкой республике. Старая Европа, Европа Вильгельма II, Асквита, Сазонова, допускала, что аскера можно заставить мужественно умирать, зарывшись в окопы Галиполи. Но старая Европа не допускала мысли, что национальный, а не религиозный обет может бросить в победоносную атаку турецкого аскера. И потому победа турок над интервентами-греками есть победа национальной революции, революционного прогресса, той «западной цивилизации», которую мечтал увидеть в Турции Карл Маркс.

P. S. Терапия — резиденция военного атташе императорского русского посольства. Здесь однажды нашли прекрасно оборудованный наблюдательный пункт, род русского бастиона на берегах Босфора.

В посольской даче, летней резиденции посла Буюк Дерэ, князь Меншиков писал накануне Крымской войны оскорбительные письма Решид-паше. Мы бродили в пустынном парке. Кипарисы колыхались под ветром, как свернутые знамена. Ветер собирал прошлогоднюю, мертвую листву и кружил за забытыми могилами врангелевских офицеров, похороненных в парке. Среди кладбищенской зелени парков, среди мокрых лавров и мирт бродили тощие, как бы немые кошки.

С севера по Босфору шел пароход «Франц Меринг». Мы нагнали его уже в Галате, и носитель имени Мерин-

га уверенно и непринужденно стал на якорь у пристани, между неведомыми «Спиридоном Родоконаки» и «Николло Фатти», между греческим и итальянским флагами судов торгового флота.

Дверь капитанской каюты была открыта настежь. В голубом четырехугольнике неба летали визгливые чайки, вопили продавцы апельсинов, бряцали лебедки, пересвистывались «шеркеты», морские катера и морские трамваи... Обольстительный пар поднимался из тяжелой суповой чаши, пар золотистого украинского борща. Слезы умиления струились по стеклу прафина:

— Ваше здоровье...

— С благополучным прибытием. Ваше здоровье, товарищ Голубов...

III. Улица независимости

Вечер. Мокрый, мгновенно тающий снежок. В блестящем, как мокрая клеенка, асфальте — уличный фейерверк, огненные зигзаги реклам, растопленное золото автомобильных фар. Маски, маскарадные домино протискиваются между дождевиками и зонтиками пешеходов. Сегодня у греков масленица, молодежь бегаёт по костюмированным балам. Маски, домино, атласные туфли мокры насквозь. Пьеро и Пьеретты, маскарадные гусары и монахи сморкаются и чихают, улица быстро пустеет, но до полуночи не прекращается печальный маскарад на улице Пера.

Мы долго странствуем под дождем в котомке такси, пугаем адреса и попадаем вместо Каботажной набережной в место, называемое Бешикташ. «Каботаж» и «Бешикташ» в нашем произношении звучат совершенно одинаково. Говорят, что дома в Стамбуле не имеют принятой во всем мире порядковой нумерации. Стамбульский старожил рассказывает, что домовладельцы в старое время возражали против порядковых номеров, потому что бывают счастливые и несчастные сочетания цифр. Домовладельцы помирились на том, чтобы каждый тянул по жребию, вслепую, номер для своего дома. И получилось так, что номер «40» оказался рядом с номером «3», и так далее в том же роде. Не беру на се-

бя ответственности за этот анекдот и возлагаю ответственность на стамбульского старожилу. Итак, мы странствуем по бесконечной набережной вдоль Босфора. Справа от нас море и в море покачиваются огни парусных судов. Слева — дома, глухо запертые ставнями окна, тускло освещенные кофейни и бакалейные лавки. Благожелательные прохожие долго объясняют нам, где находится дом Селим-паши. «Каракол» — говорит с воскресающей энергией шофер. Каракол — участок, в полицейском участке должны знать, где находится этот дом. Но именно в эту минуту находится почтенный прохожий, у которого хватает терпения выслушать подробности о людях и доме Селим-паши.

Мы говорим, что нам нужен журналист, молодой человек, не так давно женившийся редактор газеты. Мы описываем его наружность, он носит роговые очки, голос у него звонкий и высокий. Затем мы описываем его жену: это — смешливая и жизнерадостная дама. Прохожий выслушивает нас до конца и молча садится рядом с шофером. Через десять минут мы под'езжаем к высокому четырехэтажному дому.

— Это здесь, — говорит прохожий, и, пожелав нам всех удовольствий, уходит.

И это именно здесь.

Если вы не знаете, что такое «конак», дом значительного лица, оттоманского вельможи, то именно здесь вы можете увидеть сорок семь комнат с расписными потолками, лабиринт коридоров, восьмиугольную восточную баню с мавританским окошечком из цветных стекол, мраморным полом и мраморными стенами.

Вы можете увидеть множество разнообразных и, по большей части, ненужных вещей — безделушек из стекла и мрамора, металла, дерева с инкрустациями, из слоновой кости и перламутра. Вы можете увидеть вышивки, вывезенные из стран Ближнего Востока, Аравии, Египта, Палестины, Триполи, кувшины и утварь с золотым узором по черни, чудеса каллиграфического искусства, надписи из корана, выписанные на пергаменте с таким искусством, что например слова «Бисмиллахи рахмани рахим» —

«Во имя бога милостивого и милосердного» образуют корабль... И все эти настоящие чудеса и безвкусные подделки — приношения благодарного населения умершему владельцу конака, наместнику Геджаса. Портрет хозяина дома в великолепном мундире, подрисованный акварелью и золотом, портреты друзей хозяина — звездоносных пашей — и наконец Омер Фарука, сына халифа Вахид Эдин-эффенди, молодого человека с фатовски-подстриженными усами, — вот последние штрихи убранства конака.

Под окнами конака покачиваются мачты парусников. Крытый балкон, кубом выступающий из фасада, как бы висит над самым Босфором. Сюда под'езжали убранные коврами кайки, отсюда женщины высматривали гостей превосходительного хозяина. Отсюда, при желании читателя, можно было пуститься в плаванье по бирюзовым водам Босфора и плыть вплоть до «сладких вод Европы», высматривая агатовые глаза, сверкающие в прорезах чадры... И затем ощутить очарование старого Стамбула, где не слышно стука железа о железо, где даже похожие на футляр виолончели гробы сколачиваются деревянными гвоздями при помощи деревянных молотков. Но прекратим эти странствия по страницам Лоти и Фарера, чтобы не слишком далеко уплыть от Стамбула 1933 года... Певица Люсьен Буае из театра Бобино в Париже нежно и трогательно поет в ящике граммофона:

Viens me trahir encore .

«приди, чтобы еще раз меня предать», аргентинская румба выщелкивает бешеный ритм. Родич свергнутой династии, утомленный безделием молодой человек, рассуждает о Барресе и Мориаке и о том, что самый большой поэт нашего времени, Поль Клодель, — ревностный католик. Он ничего не говорит об исламе, он прославляет католицизм и политическое искусство папы, и в этом своеобразный снобизм молодого человека, предки которого почти тысячу лет сражались с католиками. Он за господина Гитлера, который заставляет Европу XX века перечитывать историю средних веков. Он за Достоевского,

наконец за философа салонов графа Кайзерлинга, за Шпенглера и за виски, за чистое виски «Белая лошадь» и против виски с содовой водой...

Я умолкаю перед этой последовательностью мыслей и темпераментом родича свергнутой династии и, не произнося ни слова, слежу за разрушительным действием «Белой лошади» на почитателя Клоделя, Достоевского, Шпенглера и Гитлера.

За столом говорят о литературе, и литературный критик искренно грустит о судьбах турецкой литературы, о том, что на некоторых писателей Турции влияют не великие Бальзак и Флобер, а маленькие Фарер и Лоти, и еще хуже — Морис Декобра.

Но более всего говорят за столом о случае с мадемуазель Шор, дочерью богатого купца-эспаньола. Предки мадемуазель Шор бежали в Турцию из Испании, спасаясь от костров инквизиции. Они сохранили испанский язык средних веков, более чистый, чем язык современных кастильцев. Ничего трагичного, возвращающего дочь еврея-эспаньола ко временам Арагона и Кастилии, не произошло, хотя это все же романтическая история. Мадемуазель Шор бежала с премьером греческой оперетты, гастролировавшей в театре на Пера. Молодые люди не хотят расставаться, для них не играет никакой роли разница в общественном положении и наконец вопрос о религии жениха и невесты. Колония эспаньолов посыпала пеплом главу, господин Шор закрыл на время контору, дом его стал склепом и крепостью. Репортеры всех стамбульских газет занялись побегом мадемуазель Шор, ее биографией, биографией ее жениха. Фотографии героев, интервью с беглянкой на некоторое время вытеснили со столбцов стамбульских газет политические обзоры и рассуждения о будущем «Третьей империи» Гитлера.

Об этом событии главным образом говорили в «Черной розе», у «Максима», в фойе кинематографов и в салонах левантинцев-коммерсантов, и в конаке умершего паши, бывшего заместника Геджаса. Нынешний хозяин дома даже

не иронизирует над собственным благополучием и сорока семью залами конака. А не так давно он был известен левыми, радикальнейшими убеждениями. Он бывал в Москве, немного понимает по-русски, у него сохранилось кое-что от нашей терминологии, потому что он был в революционной Москве реконструктивного периода.

Бальзак (уже однажды упомянутый в тот вечер) написал историю двух друзей: Люсьена Шардон и д'Артэза. Первого увлек Париж, богатство, головокружительная карьера легкомысленного журналиста, второй сохранил чистоту убеждений, выдержал искушения славой и богатством, и между двумя дружьями юности стала глухая, непроницаемая стена.

В тот же день я перелистал книгу поэта, который в некотором смысле был двойником д'Артэза по сравнению с Люсьеном, владельцем конака и двух столбцов в каждом номере вечерней газеты. Д'Артэз (назовем его так) был большим поэтом, нашим товарищем. Он сохранял свои взгляды и в маленькой комнате в Кадикее, и на скамье подсудимых перед лицом суда в Бруссе. Там он ответил за резкие стихи, направленные против своего прежнего друга (назовем его, по Бальзаку, Люсьеном). Поэт, о котором идет речь, не изменил взглядам своей молодости и остался большим поэтом, человеком своего времени и первым поэтом своей страны. Что же касается Люсьена, то ему остается «Белая лошадь», пластинка, диск Люсьен Буайе и любовная песенка, в которой однако есть неприятные слова:

... приди, чтобы вновь предать...

Ночь. Набережные пустынно. Поют и плачут коты. Зеленые, плоские кошачьи зрачки отражают танцующие лучи автомобильных фар.

— Не забудьте упомянуть о собаках, — говорит язвительный спутник, — все писали о стамбульских собаках. Это литературная традиция. Вот необходимая документация: по пути на Принцезы острова, с палубы «ширкета», морского трамвая, вам непременно покажут Собачий остров, где нашли ги-

бель семьдесят тысяч константинопольских собак. Это одна из важных реформ младотурецкого правительства. Абдул-Гамид ни за что бы не расстался с собаками. Это штрих, характерная деталь старого Стамбула, так же, как уличные драки, большие константинопольские пожары и архаические пожарные. Кстати сказать, застрельщиками уличных драк были все те же собаки. Собаки одного квартала запылали на смерть чужого пса, дети заступались за собак, взрослые за детей, и начиналась драка.

— Все?

— Все. Здесь начинается Пера. Это площадь Таксим.

Здесь начиналась Пера, Бей-Оглу. Теперь улица называется «Istiklal Djadedessy» — улица Независимости.

Пера по-гречески значит «вне», «вне пределов», «за пределами». Так назывались эти кварталы в византийские времена и позже, в эпоху капитуляций, когда иностранцы пользовались правом экстерриториальности на территории Турции.

«Вне пределов» власти Дивана находились церкви, школы, монастыри, посольства, консульства и сами подданные аккредитованных при Блистательной Порте держав.

От бывшего русского посольства до бывшего консульства двести шагов. Мы можем взглянуть снаружи на невзрачное двухэтажное здание с колоннами, где консул Российской державы судил и сажал русских подданных в тюрьму, находившуюся тут же, в стенах консульства.

Это было в те времена, когда русский посол ездил к министру иностранных дел Порты в карете с эскортом кавалерии, когда русские ноты подкреплялись восьмидюймовыми орудиями русских крейсеров-стационаров.

Пера не велика. От Галатской лестницы до памятника героям освободительной войны, из конца в конец Перы, — полчаса неторопливого, равномерного шага.

Мы поднимаемся из Галаты по узкой, плохо замощенной улице, оглушаемые пронзительными криками уличных про-

давцов, шипением подержанных граммофонов и отдаленным рычанием автомобильных рожков. Это и есть Галатская лестница. В 1921 году по обе стороны улицы стояли русские офицеры и офицерши. Они продавали все, что успели увезти из Крыма. Греки, армяне, эспаньолы-евреи, левантинцы дымились, как мухи над людской свалкой, над убогим человеческим хламом. Самовары, фарфор, ордена, ковры, посольские сервизы, нательные кресты, дарохранительницы — все покупалось и продавалось на турецкие лиры, на франки, фунты и доллары. В ресторанах и барах пропивались и проедались последние прогонные, суточные и подъемные. Всероссийский земский союз публиковал на русском и французском языках отчет о помощи беженцам из большевистской России. Казаки и солдаты грузили уголь в порту, офицерши не отказывали в ласках простым матросам с иностранных судов, корабельные врачи называли некоторые болезни «русскими» болезнями. Полиция трех оккупировавших Константинополь держав сбилась с ног в этом человеческом, космополитическом муравейнике. В игорных и публичных домах недовольные начальством русские поручики стреляли в русских генералов. Капитан Армстронг, начальник английской полиции, собирал дань от благодарного населения и проводил часы в уединении с особами одного с ним пола. В то время он еще не был литератором и не проявлял никаких литературных способностей. Что же касается турок, прирожденных турок — жителей Константинополя, — то об их чувствах и настроениях лучше всего сказал человек, о котором впоследствии написал целую книгу упомянутый выше капитан Армстронг.

Вот что сказал об этом времени Мустафа-Кемаль, будущий президент Турецкой республики:

«Улицы Константинополя были полны вооруженными солдатами. Синие волны Босфора были покрыты вражескими кораблями, пушки которых были направлены вправо и влево (в сторону европейского и азиатского берегов). Люди покидали дом только в случае крайней необ-

ходимости. Люди двигались по улицам, прижимаясь к стене, избегая обид и оскорблений. Весь Константинополь и сотни тысяч его жителей казались умершими. Не слышно было никакой иной речи, кроме вражеской. Не видно было никаких иных знамен, кроме неприятельских.

Не удивительно ли, что в этой униженной обстановке нашлись люди, которые могли верить в возможность образования независимого национального правительства».

Известно, что такие люди нашлись.

... хозяин дома — приветливый и скромный молодой человек. Его область — промышленность, экономика новой Турции. Людей его образа мыслей называют этатистами, от слова «état» — государство.

«Последовательный этатист» — говорит о нем коммерческий атташе одной западной державы.

Этатисты полагают, что государство обязано активно руководить экономикой страны, регулируя отношения между классами. Последовательные этатисты понимают вопрос шире. Они понимают вопрос так: государство не только содействует развитию промышленности посредством льгот и поощрительных пошлин. Кроме существующих монополий на табак, соль и спиртные напитки, государство должно взять в свои руки хлеб, хлопок, шерсть и уголь. Транспорт и промышленность должны быть в руках государства. Государство постепенно придет к монополии внешней торговли. Турция, турецкое государство, уже держит в своих руках почти все железнодорожные линии, военную промышленность и часть текстильной. Государство контролирует через банки сахарную промышленность, производство цемента, оно же должно строить новые заводы и постепенно охватить всю экономику страны.

— Частный капитал, капиталисты-частники, — говорит последовательный этатист, — не создадут в Турции крупной индустрии. Они не пойдут на крупные вложения капитала, они предпочитают биржевую игру и спекуляции. В то же время нельзя допустить вторжения в

страну крупного иностранного капитала. Мы стоим за экономическую независимость нации. Индустриализация нашей страны — дело государства. Поговорим о вашем пятилетнем плане. Что мы видим...

Трудно охватить дистанцию между домом старого дипломата, который я оставил вчера, и домом человека у власти, нового человека современной Турции, которого я вижу сегодня. Здесь не вспоминают персидских лириков, ни Сары Бернар, здесь говорят о сахарных заводах, цементе, хлопке и угле и обсуждают наш пятилетний план.

— Япония, — замечает коммерческий атташе, — тоже начала с государственного строительства. В начале прошлого века Япония, государство, начало строить текстильные фабрики, верфи, военные заводы..

— Мы не претендуем на оригинальность идеи, — возражает этатист, — но Япония, создав, скажем, крупное судостроение, уступила его в значительной части частному капиталу. Мы не можем идти на это хотя бы потому, что государственная промышленность, по нашему мнению, решает в известной степени классовый вопрос.

— «Приближение к социализму». Ваше мнение?

Коммерческий атташе глядит на меня с любопытством, однако во взгляде и голосе его — оттенок иронии. Как выйдет из положения литератор-марксист в этом споре с последовательным этатистом?

Я отвечаю:

— Этатизм не устраняет буржуазные группы от участия в промышленности. Власть в государстве попрежнему принадлежит этим группам. Они же и строят промышленность, именно они, а не рабочий класс, как это происходит у нас.

— Вот видите, мы пришли к самой основе спора, и тут мы не сговоримся.

— Будем говорить об искусстве, — говорит хозяйка, — видели ли вы «Коварство и любовь» в Даруль Бедан. Вы можете увидеть влияние вашего театра.

— Почему же только театра? Поглядите на заголовок этой статьи в стамбульской газете. В переводе это значит: «сами себя критикуем», то-есть, проще говоря, ваше слово «самокритика».

Это слово хозяин дома произносит по-русски, и оно звучит немного странно в обстановке европейской квартиры, среди парижской конструктивной мебели из стекла и металла. Можно подумать, что вы находитесь где-нибудь в новых домах близ бульваров Мюрат, а не вблизи площади Таксим, в Стамбуле.

— Восемь лет назад здесь был пустьрь, ветхие домишки...

Мы глядим в окно и видим шестиэтажные новые дома, дома-близнецы и близнецы-кварталы.

— Самокритика, — повторяет либеральный адвокат, издатель нескольких об'емистых книг о Стране Советов. — На-днях я прочитал в одной смирнской газете горькие слова: «Когда у рабочего сломается рука, его увольняют, и он мытарствует до тех пор, пока не умрут его дети».

— Смирнские газеты, — с иронией произносит профессор, политический деятель, депутат парламента в прошлом, — не стоит ссылаться на смирнские газеты. Эти господа критикуют нас слева и в то же время это отъявленные реакционеры. Дайте им власть, и они продадут нашу страну тому, кто даст больше. Нет, это не пример самокритики, не правда ли...

Последнюю фразу он произносит по-русски, и дальше мы двое переходим на русский язык.

— Я родом из Шуши в Азербайджане и почти ваш земляк. Вы говорили, что в отрочестве бывали в Баку. Я провел там молодость и после революции пятого года эмигрировал в Турцию.

Я всматриваюсь в черты лица собеседника. Подбородок и тонкие губы выражают твердость и мужество. Резкие старческие морщины на лбу и глаза молодого человека, внезапно вспыхивающие молодым опнем, глаза политика, ученого и воина.

— Баку, — повторяю я, — пятый год...

Мне приходит на память все, что мы видели, и то, что мы слышали от взрослых. Пятый год, Баку — пожары нефтяных вышек, Черный город, Мордожяны, виллы нефтяных халифов, наемные убийцы, генерал-майор Толмачев — либерал в Баку и черносотенец в Одессе, — вопли и кровь в день шахсей-вахсей... Револьверные и ружейные залпы, резня, затем примирение, лицемерные об'ятия католикоса армян и мусульманского муфтия и опять выстрелы и резня. В русском театре идет пьеса «Труд и капитал». Она кончалась взрывом бутафорской бомбы в тот самый час, когда взрывались настоящие динамитные бомбы и на улице падал под пулями Петр Монтин, рабочий, большевик...

— Но вы были очень молоды тогда, — говорит профессор, — слишком молоды, чтобы все это помнить. Прошло почти тридцать лет. Родилось и выросло новое поколение. Оно не знает нас, тюркских интеллигентов, мечтавших об автономии в дни Дурново и Трепова...

— Вы были членом государственной думы, не правда ли?

— Будем говорить об искусстве, — перебивает нас адвокат, — видели вы наш фильм «Рождение нации»?

И мы переходим на французский язык:

— Будем говорить об искусстве, — соглашается профессор, — большое искусство показать рождение нации... — И он продолжает, закурывая фразы по привычке оратора и лектора: — Я покинул Баку за десять лет до гибели царизма и был свидетелем многих великих событий на берегах Босфора. Я был здесь, когда рождалась нация, когда родилась новая независимая Турция. Я жил в Стамбуле во времена оккупации. «Мой характер не позволяет мне выполнить приказание, осуществляющие вероломные действия англичан» — писал верховному командованию Мустафа-Кемаль. В заголовке этой депеши были слова: «Всякое задержание в передаче наказывается смертью». (Характер нации не позволил ей выполнить унизительные требования интервентов, именно х а р а к т е р н а ц и и.) Об этой нации как-то сказал Наполеон: «Турок нельзя победить, их надо уни-

чтожить». Характер нации проявлялся в каждом лодочнике. Ночью, с опасностью для жизни, он переправлял партизан на азиатский берег Мустафе-Кемалю. Отцы и дети прощались с близкими и пробирались в Анатолию через кордоны иностранных войск и полиции. Вот примеры высокого героизма, особенно поразительные рядом с предательством и трусостью султанского правительства, изменой великого визиря. Впрочем, я недолго оставался в то время в Константинополе. Я был арестован и выслан англичанами на остров Мальту...

— Продолжайте, не будем говорить об искусстве.

— Мы были заключены в древнем замке мальтийских рыцарей. Нас окружали стены в три метра толщины, и, кроме нас, турок, здесь были заключенные-индусы, заключенные-буры, буры из Южной Африки. Англичане предпочитали держать их подальше от родины, так же, как некоторых индусов. Нас кормили консервами, на которых стояла дата «1882 год». Никому не рекомендую есть консервы тридцатилетней давности. Никому не желаю пользоваться гостеприимством англичан. Мне приходилось говорить с офицерами и жаловаться на условия заключения. Лица этих джентльменов выражали скуку и пренебрежительное равнодушие. Один из них увидел у меня в руках номер «Таймса». «Вы, кажется, не одобряете английскую политику?» — спросил он. «Нет, — ответил я, — иногда я разделяю взгляды ваших соотечественников. Например, господин Уркарт, современник Крымской кампании, однажды произнес следующие слова: «Англия отличается двумя особенностями, она — маниак в собственной стране и маниак за границей, вооруженный маниак, подвергающий опасности собственную жизнь и жизнь окружающих...»

30 октября 1922 года Турция лишила султана власти. Юмористические журналы рисовали султана вылетающим в виде снаряда из стреляющей пушки. События развивались с головокружительной скоростью. Еще один выстрел, и из той же пушки вылетел Абдул Меджид-эффенди — калиф правоверных. У

людей моего возраста кружилась голова среди грома и грохота разрушающейся старой Турции. Я понимал, что реакция прячется под куполами мечетей, под чалмой муллы и под чарчафом-чадрой, но у меня замирало сердце при мысли о борьбе с духовенством. Когда Халидеханум, мужественная женщина, боец за независимость, в первый раз появилась в национальном собрании, впереди Халидеханум шел муфтий, как живой щит, ограждающий ее от насмешек и порицаний. В 1922 году я сам выступил против женского равноправия. Между тем наши газеты справедливо писали о колеблющихся: «Нужно выбросить всех тех, кто хромает, неся тяжесть республики».

— Вы хорошо рассказываете об этом времени, — сказал хмурый и небрежно одетый молодой человек, журналист по профессии, — в те годы я был подростком и ходил в немецкую школу, где меня обучали читать Клопштока и говорили, что Магомет VI — отец Турции, а Таалат-паша и вице-генералиссимус Энвер — верные ее сыны и защитники. Мне было десять лет, когда кончилась война за независимость. Теперь мне двадцать лет, я тоже хочу подвигов, борьбы, энтузиазма, как в те времена, а вместо этого я хожу в гости к добрым знакомым в пять часов дня и сочиняю фельетоны о спорте в вечерней газете. Наша молодежь живет в тихое время. Она тоже хочет драться за новую Турцию, но настоящей драки нет, и вот мы ломаем вывески со знаком султана Рашида и из принципа заказываем костюм из турецкого, а не английского сукна. Мы хотим деятельности, смелых опытов, что вы нам прикажете делать, профессор?.. Учиться, но...

Ранняя весна. Над Стамбулом — разорванные, плывущие облака, напоминающие неизвестные материка; голубые проливы между облаками повторяют цвета Босфора. Внезапные дожди, ветер и мгновенно высыхающие под ветром лужи. Мы находимся на улице Независимости. Улица говорит, по меньшей мере, на семи языках. Шесть языков, включая шведский, властвуют на афишах и вывесках:

Banque Franco-Asiatique | Thé turkisch Amerikan Trading Company

Nippon Ynsen Kaisha — Compagnie de navigation japonaise

Laster, Silberman et C^{ie} Deutsche Levant Linie

Compania Italiana Turismo

Fratelli Sperco

Au bar Chat Noir

Agency Svenska Orient

И над этим столпотворением языков скромно, но предостерегающе возвышается маленькая эмалированная вывеска «*Istiklal Djadessy*» — улица Независимости, новое название Пера.

Известно, что большая война за независимость кончилась взятием Смирны и соглашением в Лозанне. Театром военных действий была Анатолия. Малая война за независимость продолжается и сейчас. Один из эпизодов этой войны — сражение на улице Независимости.

Действие происходит в конторе «Общества спальных вагонов и европейских поездов-экспрессов» на бывшей улице Пера.

Директор конторы услышал из своего кабинета голос служащего Наджи. Наджи говорил по телефону с отделением конторы в порту, в Галате. Ничего удивительного в этом не было, исключая того, что Наджи говорил по-турецки. Директор конторы (назовем его хотя бы сеньор Жанони) прервал служащего и предложил ему продолжать разговор на общепринятом в пределах Перы французском языке. Кроме того, Жанони не знал турецкого языка, его слух (как он откровенно объяснял впоследствии) обеспокоила простая, грубоватая турецкая речь, неблагозвучный турецкий язык.

Наджи возразил директору. Он находится в Турции. Разве турецкий язык запрещен в стенах конторы? Оказалось, что турецкий язык, разговоры на турецком языке воспрещены. Кроме того, за пререкания с начальством директор оштрафовал служащего. Служащий отказался платить штраф. Тогда сеньор Жанони прогнал Наджи.

На этом кончается пролог этой довольно обычной истории. Ничего особенного не случилось. Все в порядке. Директор уволил служащего. Что же удивительного произошло на улице Независимости?

Допустим, старой, Оттоманской Турции не существует, и слово «истикляль» — независимость — написано на каждом углу улицы, но разве директор не вправе уволить развязного, непочтительного служащего?

Сеньор Жанони недавно приехал в Стамбул. Он не знает ни языка, ни обычаев страны. Он сам заявил об этом журналистам, сотрудникам стамбульских газет. Он знает, что Турция — независимая страна и даже республика. (Этих слов он не говорил, но тут я позволяю себе авторский домысел.) Итак, возможно, Турция — независимая страна, завоевавшая кровью народа независимость. И есть разнища между Триполитанией и Турцией, Марокко и Турцией. Может быть, за Галатским мостом, в старом Стамбуле, и есть независимая Турция, и там жители могут себе позволить роскошь из'ясняться на турецком языке. Наконец, для этого есть Анатолия, по ту сторону Босфора. Но здесь, на Пера, притом в «Международном обществе спальных вагонов», служащие-турки должны говорить на благозвучном западном диалекте, на языке Расина и Корнеля, по меньшей мере. И он вышвырнул на улицу служащего Наджи.

Наджи постоял некоторое время на улице перед конторой.

Улица говорила на пяти языках:

— *En tout cas nous sommes ici comme chez nous, mon vieux...*

— Bestie, sonno tutti besties, signore!

— ... the customhouse doesn't give us the licence...

— ... einen Schluk Märzbier, vie auf'n Prater!

— Calispera kiria Popandopulos!

Жизнь представлялась Наджи невеселой, запутанной историей. Был обеденный зал. Клиенты ресторана «Абдулла» приносивались к омарам, выставленным на мраморной стойке. Из скромного ресторанчика «Кемаль-бей» очаровательно пахло «донер-кябабом», и обращенная боком к огню баранина, подрумянившаяся и истекающая соком, представляла соблазнительное зрелище. Не такое сейчас время, чтобы бросаться службой, обеспечивающей скромный обед, холодную комнату, чашку кофе в кофейне и билет на американский фильм «Гранд-отель». Сколько Наджи ни размышлял над случившимся, он никак не мог сообразить, в чем, собственно, заключалась его вина. Очевидно в том, что он в родном городе и в своей стране говорил по-турецки. И, полный скорбных недоумений, он отправился в редакцию одной стамбульской газеты. Журналисты — умные люди, они сумеют понять и объяснить, кто виноват в этой истории.

Откровенно говоря, в то время редакции стамбульских газет занимались одним не очень значительным событием. Стамбульские журналисты разделились на два лагеря и спорили о том, которая из двух, Назире-ханум или Фериха-ханум, имеет право называться мисс Турция» и считаться первой красавицей страны. Они обсуждали профиль, фас и сложение Назире-ханум и Фериха-ханум, с жаром и вдохновением они спорили со своими противниками, поносили обеих девиц в ядовитых фельетонах и восхваляли их в патетических статьях. Казалось, ничто не могло отвлечь внимания увлекшихся ревнителей и ценителей женской красоты.

В разгар этой полемики смирнская газета «Ени Асыр» писала с негодованием и горечью:

«Если, по их мнению, кинозвезды, черные глаза, голые ножки, сказки о султанских дворцах, пикантные истории

являются пищей, удовлетворяющей все запросы, — мы молчим».

Но, оставив на время иронию, следует подумать о том, что даже в этой шумихе по поводу выборов красивейшей девушки Турции было нечто, ее объясняющее.

Сообразите, что дело происходит в Стамбуле, где всего восемь лет назад женщины сняли «чаршаф» — чадру, в стране, где религия вообще запрещала художнику воспроизводить лицо женщины. Поэтому в этом подражании быту Западной Европы, в карикатурном европеизме и стремлении не отстать от «Европы» было в своем роде колебание основ старой, агонизирующей Турции.

Таким образом среди полемики по поводу выборов «мисс Турции» журналисты едва не проглядели истории клерка Наджи и директора Жанони. Вскользь, мимоходом они высказали свое негодование по поводу того, что в Турции очевидно не везде можно говорить по-турецки. Но тут на сцене появляются читатели, вернее народ, внимательно читающий стамбульские газеты.

В четвертом часу дня, когда левантинские модницы посещают своих парикмахеров и портных, когда франты Перы готовятся к вечернему параду, в узкой щели улицы вдруг остановилось движение. Встали трамваи, такси образовали пробку, и улица на самой середине оказалась закупоренной толпой. Это была университетская молодежь и вообще молодежь, товарищи по профессии клерка Наджи. Эти люди окружили бюро «Общества спальных вагонов» и обрушили на него град булыжников. Не только зеркальные стекла, но и железные щиты оказались помятыми и разбитыми в этой бомбардировке. Сеньор Жанони не пробовал подражать капитанам гибнущих кораблей, он покинул мостик во время уличной бури и спрятался у друзей, в соседнем банке. Полиция явилась несколько поздно, ее встретили довольно сурово, и утверждают, что пострадал один полицейский чиновник. В ту же самую минуту в другой части города — Галате — разбивали стекла галатского «Общества спальных вагонов».

Через полчаса Пера приняла прежний вид. Напуганные до смерти жены нуворишей разбежались по домам и дома невнятно лепетали про случай на улице Пера и повторяли звучное слово «калабалык». (Калабалык по-турецки значит — тревога, волнения, беспорядки.) Они так и не поняли, что произошло в конторе «Общества спальных вагонов», не поняли хотя бы потому, что предпочитают язык Декобра и Клода Фарера своему родному языку. Кстати сказать, их отцы и деды тоже не понимали того, что произошло в четвертом часу дня на улице Независимости. Они помнили традиционные уличные драки, они понимали, почему в иных случаях били стекла в отеле Токатлиан (владелец армянин), но по какой причине пострадали стекла в «Обществе спальных вагонов», — этого старые люди понять не могли.

Молодежь сделала свое дело и отправилась в редакцию газеты «Джумуриэт», и там в довольно сильных выражениях молодые люди предложили журналистам оставить в покое «мисс Турцию» и подумать о Наджи и господах Жанони.

На следующий день газеты вышли с длинными описаниями «калабалыка» на Пера и в Галате. Затем появились фотографии, фельетоны, анкеты и статьи, и в один день два действующих лица истории в бюро спальных вагонов сделали известными всей Турции. Иностранные журналисты передали по телефону и радио в Париж, Рим и Лондон сообщение о печальной судьбе стекол в конторе сеньора Жанони. Но, откровенно говоря, мировая пресса отдала немного места этому эпизоду. Она занималась пожаром рейхстага, средневековыми новеллами Гитлера и падением курса доллара.

В кафе «Паризиана» корреспонденты иностранных газет два дня под ряд обсуждали события на Пера. Они сидели в оранжерейной атмосфере кафе, дышали сладкими запахами шоколада и пирожных и вспоминали довоенную и военную константинопольскую старину. Они вспоминали добрым словом вежливых, галантных младотурок, которые вели войну с Антантой, но оставили в Стамбуле

корреспондентов английских, французских и итальянских газет, и всю войну журналисты провели на берегах Босфора в полном спокойствии и при исполнении своих обязанностей. Корреспондент «Тан», константинопольский старожил и радикал, из традиционной французской симпатии к туркам слегка осуждал сеньора Жанони. Не следовало обустраивать положение в момент, когда идея независимости в такой степени владеет умами населения, но не думайте, что до сознания корреспондента одной берлинской газеты дошло право нации говорить в своей стране на родном языке. За чашкой турецкого кофе он глубокомысленно рассуждал о турецком шовинизме, о ксенофобии — ненависти к европейцам — и о том, что Жанони дал «честное слово офицера» в том, что не собирался оскорблять турецкой нации. Что же касается клерка Наджи, то это уже, простите, дело хозяйское, и нация тут не при чем. Немец был тоже константинопольский старожил и редактор немецкой газеты в этом городе. Он жил в Турции почти тридцать лет, англичанин за глаза называл его тайным политическим агентом, так же, как и он англичанина, тоже за глаза, разумеется. Немец находился в затруднительном положении. Еще три дня назад он склонялся к тому, что рейхстаг подожгли «наци». Сейчас «наци» укреплялись, французы не собирались переходить границы, итальянцы играли свою игру, англичане пакостили французам, и Веймарская республика очевидно скончалась без надежды на чудесное воскрешение. Поэтому журналист-немец загадочно молчал, когда другие говорили о пожаре. Он оживился только тогда, когда заговорили о мировом катаклизме с долларом. «Вчера его не меняли в банке, и левантинцы давали туристам одну лиру за доллар». И все пожалели туристов американского увеселительного парохода, попавших в такое затруднительное положение.

Константинопольские журналисты, сотрудники турецкой печати, однако не так скоро оставили тему о калабалыке на Пера. Пейям Сафа напечатал в газете «Джумуриэт» злую статью по поводу тех, кто никак не может забыть время

«капитуляций». Он обозвал сеньоров, месье, мистеров и «прочих господ» пивками, собаками, свиньями, питающимися соками его страны. Темперамент публициста и патриотический задор завели его несколько далеко, и эту статью можно было адресовать европейцам, не имеющим ничего общего с директором бюро спальных вагонов. Но это следовало отнестись за счет темперамента журналиста, особенно если вспомнить, что Пейям Сафа был не менее пылок и красноречив в защите достоинств «мисс Турции» — Назире-ханум — и собственноручно, в прямом смысле собственноручно, выводил и представлял красавицу и ее конкурентку зрителям-стамбульцам.

Но его коллеги в более серьезном тоне обсуждали событие. И, представьте, что с этого дня улица Пера действительно стала улицей Независимости, в том смысле, что англичане, французы, итальянцы, немцы и белые русские вынуждены были мириться с «простым и грубым» турецким языком. Хотя бы ради сохранения стекла, они стали понимать турецкий язык и отвечать на вопросы, обращенные к ним по-турецки.

Латинские буквы вывесок, «калабальк» на Пера — все это наступление на старую Турцию. Все это следует понимать как дерзкий и пока еще наивный вызов, открытое наступление на реакцию, притаившуюся в мечетях, медресе и конторах иностранных капиталистов.

«Grand rue de Pera» — цитадель капитуляций — находится в осаде. Эта осада, разумеется, выражается не в прямом штурме иностранных контор. Квартал капиталистов-импортеров переживает трудные времена. Ограничен ввоз предметов роскоши и некоторых товаров иностранного происхождения. В магазинах появилась продукция турецких фабрик. Принцип независимости принимает особое, глубокое значение. Турция строит свою промышленность. Турция добивается полной политической и экономической независимости. И она нашла самые резкие слова для ответа делегату фашистской Германии на всемирной

экономической конференции в Лондоне в начале июля 1933 года.

О чем говорил фашист:

«Стремление Турции создать по образцу общего экономического развития промышленность по обработке некоторых сельскохозяйственных продуктов и покровительствовать этой промышленности является катастрофой, угрожающей обострить мировой кризис».

Дальше было сказано, что нужно принять меры по отношению к «такого рода странам».

Трудно, вернее невозможно, западному империалисту расстаться с представлением о Турции, как рынке, о потребляющей, а не производящей стране.

«Кто является торговцем в Турции? Во всяком случае не турок» — почти восемьдесят лет назад писал Маркс. Спустя восемь десятилетий постепенно утрачивают свое самое актуальное значение слова, написанные Марксом, современником Крымской кампании и борьбы вокруг наследства «большого человека», то-есть Турции эпохи султана.

Я смотрю на Стамбул 33-го года и уже не вижу пунцовых фесок и знаков султана Рашида на вывесках и черных масках из конского волоса «чаршафа» — чадры. Я вижу открытые лица, румяные щеки, блестящие глаза, красные береты студенток-турчанок на площади Сераскерыта. Это они вместе со стамбульской молодежью громили контору на Пера, это они снимали арабские надписи и знаки Рашидие на улицах Смирны.

Этого не было восемь лет назад, когда я впервые увидел Стамбул.

Все меняется, работает, движется и живет на Ближнем Востоке.

... скромная квартира в Кадикее. Мы разыскиваем ее долго, потому что мой товарищ надеется на зрительную память и никогда не запоминает адресов. Только-что мы пересекли Босфор и, миновав вокзал Хайдар-паши, вышли на пристани Кадикей. Здесь мы долго и безнадежно ходили по улицам, напоминающим улицы приморского курорта. Ночь. Невозможно отличить дом от дома, улицу от улицы. И мой товарищ прибегает к

испытанному средству. Он обращается к прохожим, описывает внешность, рассказывает биографию, говорит о роде занятий особы, которую мы ищем. Один прохожий терпеливо выслушивает все, но, оказывается, он не знает французского языка, другой оказывается немцем и не знает турецкого, третий или четвертый уделает нам полчаса времени и приводит нас к цели.

Мы сидим в маленькой комнате у железной, накаленной печи. Против печки сидит маленькая женщина в черном, литератор, литературный работник, получивший образование в Америке. Она работает в издательстве, работает, как мужчина, вернее, лучше мужчины. Это обстоятельство не представляет ничего замечательного для человека нашей страны. Но я прошу вспомнить, что только десять лет отделяют эту женщину от затворнической жизни женщины султанской Турции. Я ставлю эту маленькую женщину рядом с дамами, обсуждавшими романтическую историю мадемуазель Шор, преимущества перманентной завивки волос и трудности настоящей аргентинской «румбы». И вы поймете, что заставило нас в эту ветреную ночь пересечь Босфор и долго странствовать по улицам Кадикея, разыскивая моего собрата по перу, доктора социальных наук, женщину новой Турции.

Я вижу Стамбул глазами советского путешественника, глазами человека нашего времени и вижу Босфор, Золотой Рог, панораму старинных мечетей, сто раз описанный константинопольский закат. Но я не слишком много пишу о бирюзовых водах, о минаретах, воткнутых, как копья султанов-завоевателей, в землю европейского берега.

Все меняется, движется, живет и работает на Ближнем Востоке.

Однажды я сидел в рабочем кабинете режиссера и директора театра Даруль Бедаи. В театре показывали «Коварство и любовь» Шиллера. То, что у нас называется оформлением спектакля, напоминало студии Московского художественного театра в ту пору, когда они еще не были самостоятельными театрами. В зале сидела молодежь и с симпатиями следила за страданиями Фердинанда и Луизы и смеялась над Кальбом, которого с врожденной техникой и прекрасным юмором играл прекрасный актер-комик. Комических актеров Турции, по-моему, нельзя превзойти. Это — славная культура народного театра, характерность, полноценность жеста, выразительность взгляда, которые есть у каждого жителя этой страны. Выразительность и характерность мимической игры турецкого крестьянина, рабочего, солдата, чувство юмора, увеличенное во сто раз, — вот что такое хороший комический актер в Турции.

Режиссер Эртогул Мухсин и поэт Назым Хикмет сидели в тесной, увешанной фотографиями комнате. Широкие плечи, золотая, светлая голова и мощный голос поэта наполняли комнату. Я слышал дважды этот голос во всю его силу, он придавал особую мощь и звучание стихам поэта. Ритм и содержание стихов были близки нам, помнившим Маяковского начала революции, и порой не было необходимости в переводе. Мы понимали смысл и чувствовали ритм стихов Назыма Хикмета, проникнутых боевым духом новой эпохи человечества.

А может быть, еще потому нас радовали эти стихи, что в них говорилось о Каспии и прибое каспийских волн, и это было приятно слышать на берегах Босфора, вдалеке от отечества.

Люди и факты

1. И. ГРОНСКИЙ. — Великая эпопея 2. Н. ИЗГОЕВ. — Кабарда

1. ВЕЛИКАЯ ЭПОПЕЯ

И. Гронский

Год назад наши газеты сообщили о выходе в плавание построенного в Дании ледокольного корабля, носящего имя одного из первых русских полярных исследователей — штурмана Семёна Челюскина. Перед командой «Челюскина» правительством была поставлена трудная и вместе с тем почетная задача — пройти северным морским путем из Ленинграда во Владивосток, из Балтийского в Японское море. Попутно корабль должен был доставить на о. Врангеля людей и продовольствие, научно-технические материалы и разобранные стандартные дома.

Великий Северный морской путь был открыт давно. Его впервые прошел швед Норденшельд в 1878 — 1880 гг. на корабле «Вега». Последний раз, и притом за одну навигацию, его прошел О. Ю. Шмидт в 1932 году на «Сибирякове». Но, несмотря на то, что путь этот доступен кораблям, он до сих пор еще не изучен как следует, и по нему до сих пор еще не организовано регулярное плавание морских коммерческих кораблей. А организовать его, это плавание, необходимо во что бы то ни стало. Северный ледовитый океан омывает огромные, богатейшие, но малонаселенные советские земли, лежащие в Азии, за полярным кругом. Организовав это плавание, мы установим более крепкую и постоянную связь с северными заполярными землями, обеспечим

приобщение живущих там народов к социалистической культуре и поможем развитию производительных сил Севера. Кроме того, организовав это плавание, мы можем совершенно по-другому поставить проблему использования мощных сибирских рек (Обь, Енисей, Лена, Колыма и др.), несущих свои воды на север — в Ледовитый океан.

Царское правительство эту проблему не ставило, да, собственно, и не могло поставить, не отказавшись от той политики, которую оно проводило в Азии, — политики империалистического грабежа и разбоя. Царское правительство, так же, как и правительства других империалистических государств, держало свои колонии в рабстве, в нищете, в темноте и невежестве. Оно посылало на Север урядников, попов и купцов, которые нагайкой, крестом и водкой вытягивали у населения пушнину и ввергали его в нищету и вырождение. Освобождение северным народам принесла Октябрьская революция. Победивший пролетариат, утвердив свою диктатуру, приступил к выполнению основной задачи Октября — к построению социалистического общества. Партия наша, выпестованная Лениным и Сталиным, со всей решительностью ставит проблему экономического и культурного подтягивания бывших колоний к бывшей метрополии, то-есть проблему более быстрого развития так-называемых окраин по сравне-

нию с центром. На Север идут одна за другой научные экспедиции, а следом за ними инженеры, техники и рабочие. За полярным кругом, в тайге и тундре, далеко от человеческого жилья, возникают заводы и промыслы, шахты и верфи, порты и радиостанции, совхозы и колхозы, фабрики и культбазы, школы и больницы, деревни и города, одним словом — жизнь, но жизнь новая, радостная, здоровая, социалистическая. И надо прямо сказать: чем дальше пробираются советские люди на север и чем основательнее они там закрепляются, тем больше открывает Север свои богатства и одновременно показывает возможности их эксплуатации. Кроме новых и новых месторождений золота и платины, угля и нефти, серебра, свинца и вольфрама, Север открывает и богатейшие возможности развития животноводства, огородничества и даже зернового хозяйства. Другими словами, земля Севера беременна не только минеральными богатствами, но и богатейшими урожаями трав, овощей и зерна. А это означает, что на Севере мы можем создать мощную производственную базу, то-есть можем создать все необходимые условия для бурного развития производительных сил этой богатейшей страны.

На примере Севера мы можем прекрасно вскрыть разницу в размещении и производительных сил капитализма и социализма.

Капитализм, развивая производительные силы метрополии, вынужден держать колонии в рабстве, в отсталости, в нищете и невежестве, ибо развитие производительных сил колоний, их индустриализация, неизбежно приведет к ослаблению связей между колониями и метрополией, то-есть к сужению возможностей эксплуатации и ограбления колоний со стороны метрополии, а затем и к потере колоний.

Социализм, развивая производительные силы бывшей метрополии, не может оставлять бывшие колонии в отсталом состоянии. Если бы мы оставили бывшие колониальные страны в отсталом состоянии, то мы тем самым сохранили бы резервы контрреволюции в виде капиталистических элементов, кото-

рые в своей борьбе против социализма безусловно воспользовались бы темной частью населения и, одурачив известную часть крестьянства, повели бы ее за собой. Как видим, отсталость выгодна не всякому строю, а только такому обществу строю, который основан на рабстве, независимо от того, какую форму это рабство принимает, — форму ли крепостничества, или форму наемного труда. Социализм не заинтересован в сохранении отсталости бывших колониальных стран. Наоборот, он заинтересован в возможно более быстром как технико-экономическом, так и культурном развитии этих стран. Развивая бывшие колонии темпами, значительно более быстрыми, нежели темпы развития бывшей метрополии, мы преодолеваем отсталость этих стран, что в свою очередь ведет к вытеснению до социалистических хозяйственных укладов социалистической формой хозяйства, к уничтожению нищеты, невежества, темноты и к созданию социалистических отношений, то-есть к укреплению братского союза народов, населяющих нашу страну.

Импералистическая буржуазия выступает против экономического и культурного развития колоний прежде всего потому, что это ослабляет связи между метрополией и колониями и грозит потерей колоний.

Социалистический пролетариат преодолевает экономическую и культурную отсталость бывших колоний и подтягивает их к бывшей метрополии прежде всего потому, что это ведет к укреплению братского союза народов и к созданию гармонически целостного социалистического общества, в котором нет и не может быть неравноправных народов.

Поэтому, когда говорят, что мы стремимся на Север только потому, что там имеются огромные залежи всякого рода природных богатств, то вскрывают только часть правды. Мы стремимся на Север, как и на другие окраины, прежде всего для того, чтоб помочь живущим там народам выйти из отсталости, из нищеты и темноты на широкую социалистическую дорогу развития. Добиться этого можно не посредством постройки

церквей, кабаков и острогов, чем занималось царское правительство и чем до сих пор занимаются правительства империалистических государств, а посредством постройки предприятий, городов, поселков и школ, то-есть всего того, что делаем на Севере мы, большевики. Но, развивая производительные силы Севера, создавая там угольные шахты, нефтяные промыслы, добывая цветные металлы и развертывая продовольственную базу в виде совхозов и колхозов, ферм и питомников, мы упирались и упираемся в отсутствие путей сообщения, в отсутствие транспорта. Транспортная проблема — это важнейшая народнохозяйственная и культурная проблема Севера, без решения которой мы не сможем закрепить и развить дальше тех успехов, которых мы добились за последние годы на Севере. И надо сказать, что транспортная проблема Севера не только поставлена, но и решается, и решается притом довольно успешно. Кроме авиационных баз, которые создаются в важнейших экономических и культурных центрах Севера, строятся грунтовые и шоссейные дороги, и налаживается по всем важнейшим сибирским рекам более или менее регулярное судоходство, то-есть мощные сибирские реки превращаются в тысячевеерстные водные магистрали, по которым уже сейчас перебрасываются люди и грузы. Наладив нормальное плавание морских кораблей по Ледовитому океану, мы тем самым связываем все важнейшие сибирские реки между собой, и, кроме того, через океан связываем Сибирь с портами Белого и Балтийского морей на западе и с портами Охотского и Японского морей на востоке. Вот, собственно, те основные причины, которые заставляют посылать в Арктику одну экспедицию за другой, которые в частности заставили послать туда «Челюскина».

Поход «Челюскина», несмотря на то, что он протекал в очень неблагоприятных условиях, можно считать успешным, ибо «Челюскин» всего лишь в одну навигацию прошел весь Северный морской путь и вышел уже в море Беринга, где он был подхвачен течением, отнесен на северо-восток, раздавлен льдами и затонул. Но

гибель корабля ни в какой мере не может снизить значения этого героического похода. Два раза подряд на совершенно различных кораблях был пройден великий Северный морской путь, а это означает, что по Северному ледовитому океану плавать можно, особенно если это плавание будет надлежащим образом обслужено авиоразведкой и ледоколами-проводниками.



Поход «Челюскина» и его борьба со льдами показали всему миру умение большевиков бороться за точное выполнение директив своего правительства; гибель «Челюскина» и последующая борьба за спасение его экипажа — величайшую организованность большевиков и их дисциплинированность. Наконец работа летчиков, пробившихся к лагерю, несмотря на чудовищные морозы, пургу и туманы, и спасших экипаж «Челюскина», является демонстрацией величайшего героизма, на который способны только большевики, только сыны социалистической родины — посланцы будущего человечества.

Вдумайтесь в эту величественную эпопею гибели «Челюскина» и спасения его экипажа, и вы поймете, в чем заключается секрет успехов большевиков.



Экипаж «Челюскина», руководимый испытанным большевиком и полярником О. Ю. Шмидтом, оказавшись на льду, не растерялся, не впал в панику, не ринулся в авантюрные «походы» на берег, а приступил к упорной работе по организации лагеря и созданию аэродромов для посадки и взлета аэропланов. Челюскинцы знали, что они члены социалистического коллектива, сыны великого Советского Союза, передовой отряд исследователей суровой Арктики, посланный правительством для выполнения труднейшего задания. Они знали, что партия, правительство и широчайшие трудящиеся массы сделают все возможное для спасения своего передового отряда, боровшегося за отвоевание у су-

ровой природы новых пространств и новых возможностей для социалистического строительства на Севере. Этот отряд потерял корабль, но он еще раз доказал возможность плавания морских кораблей по Северному ледовитому океану. Этот отряд потерпел поражение в борьбе с природой, но, потерпев поражение, он победил природу, пройдя в одну навигацию Северный морской путь. Знание Арктики, опыт плавания в тяжелых условиях Северного ледовитого океана, тренировка людей — все это, как известно, не дается даром, а приобретает в результате упорной работы, сплошь и рядом требующей довольно больших жертв, которые с избытком окупаются достигнутыми результатами — победами. В данном случае результатом похода «Сибирякова» и «Челюскина» является решение проблемы связи через океан всех сибирских рек между собою и с важнейшими портами Белого, Балтийского, Охотского и Японского морей. Основная задача, поставленная правительством перед командой корабля, выполнена, и поход «Челюскина» можно и нужно считать героической победой, придвинувшей нас к социалистическому освоению Севера, включающему в себя и задачу приобщения народов Севера к социалистической культуре.

Гибель корабля и тяжелое положение экипажа, оказавшегося на льдине, всколыхнули всю нашу страну. Партия и правительство создают специальную организацию по спасению челюскинцев и ставят во главе этой организации зам. председателя СНК СССР и председателя Комиссии исполнения тов. В. В. Куйбышева, обеспечивая тем самым условия для быстрого осуществления всех необходимых мероприятий, которые потребуются для спасения челюскинцев. Комиссия по спасению челюскинцев, выдвигая авиацию как главное и наиболее эффективное средство связи с лагерем О. Ю. Шмидта и переброски экипажа со льдины на материк, не отказывается и от других средств, которые могут в той или иной степени содействовать спасению челюскинцев. Комиссия правильно сделала, что двинула на помощь челюскинцам самые разнообразные сред-

ства спасения, как например собачьи нарты, морские торговые корабли, самый мощный ледокол Союза, дирижабли и авиацию. Ограниченность времени, обусловленная передвижкой и возможным таянием льдов, заставляла действовать быстро, решительно, используя буквально каждую минуту времени и всякую, хотя бы самую ничтожную, возможность связи с лагерем и снятия людей со льдины. Предпринятые комиссией тов. Куйбышева мероприятия по спасению челюскинцев явились прекрасной демонстрацией заботы советского правительства о людях, посланных им на борьбу за завоевание Арктики, на борьбу за развитие производительных сил Севера. Огромный размах работ по спасению челюскинцев превзошел все, что до сих пор знала история. Ни один народ, ни одно правительство не боролось так за спасение своих экспедиций, почему-либо попавших в бедственное положение, как Советский Союз боролся за спасение челюскинцев.

И это понятно.

В обществе капиталистическом экспедиции служат целям индивидуального обогащения, а сплошь и рядом целям самого настоящего грабежа отсталых народов. В экспедициях сказывается существо строя. И если какая-либо экспедиция попадает в тяжелые условия и терпит бедствие, то ей помогают лишь из «вежливости», и эта помощь очень часто похожа на ту «помощь», которую оказывают капиталисты своему собрату, попавшему в тяжелое положение, то-есть пускают на дно, помогают ему погибнуть, чтоб устранить лишнего конкурента.

(Всякого рода буржуазно-интеллигентские старушки обоого пола, привыкшие ползать на брюхе перед капиталистической «заграницей», будут возмущены этим моим заявлением, в котором они постараются найти «элементы неуважения к западной цивилизации». Что ж, пусть возмущаются старушки, у них должность такая. Но мы очень советуем бы этим старушкам задуматься над одним вопросом: почему это так повелось, что люди всех потерпевших крушение капиталистических экспеди-

ций на Север были спасены Советским Союзом, а не теми государствами, которые их послали в эти авантюрные экспедиции?)

В социалистическом обществе экспедиции служат целям познания природы, целям выявления природных богатств и условий развития производительных сил социализма, увеличивающих власть человечества над природой и поднимающих материальный и культурный уровень трудящихся. Экспедиции здесь не индивидуальное, а глубоко общественное дело; они преследуют не цели обогащения отдельных людей, а рост зажиточности рабочих и крестьян, то-есть всего народа. Наша экспедиция — это передовой отряд исследователей-храбрецов, в труднейших условиях выполняющий задание своей социалистической родины. И если почему-либо этот отряд терпит бедствие, социалистическое общество и отдельные его сыны считают долгом чести оказать ему, этому отряду, необходимую помощь и сделать все возможное, чтоб выручить своих товарищей из беды.

Поэтому когда радио принесло известие о гибели «Челюскина» и Правительственная комиссия двинула вперед всевозможные средства спасения членов экспедиции и команды затонувшего корабля, то все люди, принимавшие участие в спасательных работах, устроили между собою буквально состязание в доблести и показали себя истинными ударниками, достойными сынами своей великой родины. Но особую доблесть, особый героизм проявили наши летчики — товарищи Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Каманин, Водопьянов, Дорони и Слепнев. В неимоверно тяжелых условиях заполярной зимы, с ее совершенно исключительными морозами, туманами, снегопадами и метелями, наша гордость, наши летчики пробивались к лагерю О. Ю. Шмидта. В моторах застывало масло, самолеты заносило снегом, покрывало их коркой льда, измерительные приборы отказывались работать, — и все же наши летчики вели свои машины вперед, состязаясь в выдержке, в героизме, в умении преодолеть

сопротивление суровой природы. Эти люди срослись с машинами. Они откапывали их из-под снега, обогревали, делали дорожки для их разбега. Они были в каком-то чудовищной силы действии. Они забыли все, забыли себя, на каждом шагу рисковали жизнью, преодолевали препятствия и двигались вперед, к цели, к лагерю Шмидта, к советским людям, жизнь которых правительство отдало в их руки. И они не только достигли лагеря, но и спасли челюскинцев, то-есть выполнили приказ своего правительства. Весь мир считал невозможным, невыполнимым переброску людей со льдины на материк. Наши летчики невозможное сделали возможным. Они показали пример величайшего героизма, и звание героя Советского Союза является признанием их героизма со стороны партии и правительства, рабочих и крестьян, со стороны великой социалистической родины.

Слово герой — старое слово. Этим словом в течение веков называли людей, совершивших действия, заключающие в себе элементы личного мужества, доблести и подвига. Но, несмотря на то, что это слово имеет весьма почтенный возраст, оно впервые получило значение звания, присуждаемого государством за исключительные заслуги перед социалистическим обществом, связанные с риском для жизни и проявлением величайшего личного мужества, организованности, доблести, упорства и подвига. Спрашивается: почему звание героя не было установлено раньше, почему звание героя страны не установило ни дворянство, ни буржуазия, а устанавливает пролетариат, и то на определенном этапе развития социалистической революции? Ответ на этот вопрос надо искать в организации общества, в характере отношений людей в производстве, которые в значительной степени определяют собою и существо героизма.

Героем капиталистического общества является человек, стремящийся к личному обогащению, к своему личному благополучию и достигающий этого обогащения и личного

благополучия за счет разорения многих других людей и уничтожения их благополучия. Поясним это положение несколькими примерами.

1) Правительство Керенского издало закон о награждении солдат за особые военные заслуги офицерскими георгиевскими крестами, причем всякий солдат, награжденный офицерским крестом, производился в чин подпоручика и получал все те блага, которые данному офицерскому чину были присвоены, то-есть дворянское звание, довольно большое жалование и соответствующее положение в буржуазном обществе. Представьте себе крестьянина-бедняка, получившего таким порядком чин подпоручика и довольно кругленькую сумму денег. В обществе капиталистическом, в основе которого лежит частная собственность на орудия и средства производства, этот крестьянин сразу же превращается в кулака и даже в помещика. Из угнетенного и эксплуатируемого деревенскими мироедами бедняка он превращается в эксплуататора, ведущего одновременно борьбу и со своими новыми классовыми собратьями, стремясь столкнуть их в пропасть и через это укрепить свое положение в стане этих грызущихся волков — эксплуататоров.

2) Мелкий торговец с небольшим количеством дешевых товаров посредством совершенно исключительного напряжения, связанного с риском для жизни, добирается до малонаселенных и почти недоступных областей Севера, продает там свои товары по баснословно дорогой цене, скупает за мизерную плату туземные товары, доставляет их в центр, реализует по дорогой цене, делается сразу богатым человеком, то-есть крупным купцом. Будучи человеком незаурядным, он стремится сосредоточить в своих руках всю данную отрасль торговли, а затем и выработки данного товара, то-есть определенную отрасль промышленности. На его пути стоят другие, такие же, как он, торговцы, а затем и промышленники. Для того, чтоб достигнуть цели, он должен разорить своих конкурентов-врагов, пустить их в трубу, что он и делает. Достигнув цели, он крепко держит завое-

ванную с таким трудом «власть», безжалостно расправляясь со всеми, кто стремится ее отнять у него.

Из разобранных нами двух примеров видно, что герой капитализма — резко выраженный индивидуалист. Он борется за свои личные интересы, которые он ставит выше всего на свете. Но, скажут мне, капитализм знает и других героев. Да, знает. Это прежде всего участники различных экспедиций, перелетов и других предприятий подобного рода. Но эти люди сами, да еще публично, заявляли и даже писали в газетах, что целью их кругосветных перелетов является такая-то сумма долларов, необходимая для открытия «своего дела». Мой пример с купцом, как видим, прекрасно подходит и к объяснению героизма перелетов и экспедиций. Из сказанного ясно, что герой капитализма ведет борьбу не за интересы коллектива, класса, общества, а за свои личные интересы, которые довольно часто, но далеко не всегда, совпадают с интересами капиталистического общества. Кроме того, в обществе капиталистическом сегодняшний герой, сбросивший в пропасть своих конкурентов, завтра может быть сброшен туда же другим капиталистическим зубром и превращен в нищего или в простого уголовного преступника, как это например случилось с воспетым буржуазными трубадурами героем капитализма Иваром Крейгером.

Характер буржуазного героизма, его глубоко личное существо — вот что мешает буржуазному государству установить звание героя страны, присуждаемое в каждом отдельном случае особым правительственным актом.

Другое положение мы имеем у нас, в Советском Союзе.

Героем социалистического общества является человек, который ставит интересы своего коллектива, класса, общества выше своих личных интересов и который в борьбе за интересы общества, рискуя жизнью, проявил личное мужество, доблесть и совершил подвиг. Это положение настолько ясно и бесспорно, что в подтверждение его правильности едва ли нужно приводить ка-

кие-либо конкретные примеры. На самом деле: возьмем ли мы проявление героизма на войне, или в условиях мирного социалистического строительства, — это будет борьба за общественную социалистическую собственность, лежащую в основе советского строя.

Война между капиталистическими государствами является, по сути дела, борьбой между различными монополистическими группами за передел мира, как например во время последней империалистической войны шла борьба между англо-французским монополистическим капиталом, с одной стороны, и германским монополистическим капиталом — с другой. Виновники империалистической войны, как мы знаем, мало пострадали от нее. Капиталы монополистических объединений не только не сократились, но выросли и в странах победивших, и в странах, потерпевших поражение. Правда, капиталисты победивших стран выиграли больше (ведь они выбросили из колоний своих конкурентов), нежели капиталисты побежденных стран, но и эти последние оказались не особенно обиженными. Они заработали на войне новые миллиарды. От войны пострадали только народные массы, причем побежденных стран больше, чем стран-победительниц. Как видим, война империалистическая, чем бы она ни кончилась, влечет за собою ухудшение положения рабочих и крестьян, то-есть народа, а это значит, что народ не заинтересован в империалистической войне, и, следовательно, героизм этой войны носит антинародный характер. Герои империалистической войны — это борцы за укрепление капиталистического рабовладения, борцы за ограбление народных масс, за их нищету и за приумножение капиталов «королей золота». Военные герои капитализма являются поэтому самыми свирепыми псами, охраняющими денежные мешки современных рабовладельцев и защищающих этот подлый, давно сгнивший, рабовладельческий строй.

Нападение империалистических государств на Советский Союз положит начало совершенно новой войне — войне между капитализмом и социализмом.

Капиталистические государства будут стремиться в этой войне к уничтожению советского строя и к реставрации капитализма. Другими словами, они будут стремиться в этой войне к уничтожению общественной социалистической собственности и превращению рабочих и крестьян в рабов капиталистов и помещиков. Поэтому Красная армия, защищая свою социалистическую родину, будет бороться за сохранение общественной социалистической собственности, то-есть за кровные жизненные интересы народа — рабочих, колхозников и всех вообще тружеников нашей страны. Герои-бойцы Красной армии впервые в истории человечества будут вести борьбу за подлинные интересы народа, против действительных врагов народа, организованных в империалистическое государство рабовладельцев-капиталистов.

То же самое можно сказать и о героях мирного социалистического строительства. Участники наших геолого-разведывательных партий, обследовавших Кольский полуостров и открывших там огромные богатства, вероятно, и подумать не догадались о возможности личного обогащения. Что же, спрашивается, руководило этими подлинными героями, пробивавшимися в труднейших условиях, с риском для жизни, к богатствам Севера? Ими руководили интересы своего класса, интересы социалистического общества; они вели борьбу за развитие производительных сил социализма, что в наших условиях является одновременно и борьбой за улучшение материального положения рабочих, крестьян и интеллигенции, в том числе и участников геолого-разведывательных отрядов; они вели борьбу за приумножение общественной социалистической собственности и, следовательно, за зажиточную жизнь своего класса, своего народа и свою личную в том числе. Как видим, в социалистическом обществе, в отличие от общества капиталистического, благополучие каждого из его членов неразрывно связано с благополучием всех остальных его членов. Борьба за свое личное благополучие возможна только в рамках борьбы за укрепление и развитие

общественной социалистической собственности. Другими словами, работая добросовестно и относясь бережно к общественному добру, то-есть приумножая его, рабочие и крестьяне улучшают и свое личное материальное положение, то-есть прокладывают путь к зажиточной жизни. В обществе капиталистическом путь к благополучию лежит через обогащение, то-есть через борьбу с другими людьми. В обществе социалистическом путь к благополучию лежит через зажиточность, то-есть через дружную работу всего коллектива. Путь обогащения — это путь конкуренции; путь зажиточности — это путь социалистического соревнования.

Поэтому герой капитализма — победитель в конкуренции, человек, столкнувшийся других в пропасть; это — Стиннес, Крейгер и другие. Поэтому герой социализма — победитель в социалистическом соревновании, оказавший помощь своим братьям по работе; это — летчики, спасшие челюскинцев; это — многие рабочие и колхозники, инженеры и ученые, беззаветным трудом и подвигом которых создано величие и слава нашей страны.



Девятнадцатого июня герои-летчики и спасенные ими участники экспедиции О. Ю. Шмидта и экипаж «Челюскина» вступили на почву столицы социализма, и в тот же день их приветствовали члены Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с учителем и вождем мирового пролетариата товарищем Сталиным,

московские пролетарии, работники интеллектуального труда и наша изумительная Красная армия. По Красной площади прошли сотни прекрасных танков и броневозов, тяжелых и легких орудий, звукоулавливателей и прожекторов, и наконец над Красной площадью, закрывая небо, прошли прозные воздушные эскадры тяжелых бомбовозов, лучше всяких слов говорящие о неприступности и великой силе Великой Советской страны.

Эта прозная военная мощь социализма, сохраняющая мир на земле, удерживающая империалистов от авантюры, создана в результате осуществления лозунга нашего учителя об индустриализации Советской страны, создана усилиями и трудом лучших людей нашей страны — героев-ударников, лучшими представителями которых являются герои-летчики — товарищи Ляпидевский, Леваневский, Молоков, Водопьянов, Каманин, Дорнин и Слепнев.

Герои Советского Союза являются подлинными народными героями. Девятнадцатого июня сотни тысяч трудящихся вышли приветствовать своих героев. Демонстрация московского пролетариата превратилась в праздник победы, в праздник торжествующего социализма. В этот день Москва убралась цветами, и, празднуя спасение челюскинцев, она вместе со всей страной славилась жизнью — новую, радостную, повернутую в лучезарное будущее, праздновала весну исстрадавшегося человечества, заливающую своими горячими лучами пока одну шестую часть нашей планеты — страну Ленина и Сталина.

2. КАБАРДА

Н. Изгоев

ТМУТАРАКАНЬ

В те столетия, когда создавалась удельная Русь и славянские племена пробивались к морям, отставив торговый путь в Византию и в Индию, на привольях Кубани и Терека, от Черного до Каспийского моря, вдоль

северных склонов Кавказа, жил огромный народ — косоги. Мстислав Удалой единоборствовал с богатырем Редеем, косожским князем. Святослав — киевский князь — тысячу лет назад прошел на Тамань, создав там Тмутараканское княжество. Тмутаракань вошла в историю русской культуры, в сказания, в по-

говорки и в былины, оставшись синонимом отдаленных и черных, тяжелых краев. 200 лет оно простояло — княжество Тмутараканское — как заслон удельной Руси от полчищ народов, шедших через ворота Европы из пустыни Шамо. Железный шаг хромого Тимура, чингизхановы неумолимые орды, властные государственные начинания Золотой Орды растоптали Тмутараканское царство, разрушили единство косожских племен, и в горах Черноморья остались шапсуги, на плоскогорьях Кубани — адыгейцы, на пастбищах Терека и Кубани — черный народ — карахалки, кабардинские коневоды и скотоводы, размежеванные монгольскими племенами балкарцев, карачаев, ногайцев, кумыков, калмыков. Кабардинцы, наученные пятивековой борьбой с татарами, подчинили себе татарские ослабевшие племена, но Шамхальство Тарковское и Крымская Орда непрестанно бились с кабардинцами за пастбищные просторы, за дань и за пленников, татарские же мурзы возглавляли борьбу балкарцев и карачаевцев с кабардинцами, и в 1552 г. кабардино-черкесы прислали подарки Ивану Грозному, — просили о принятии их в подданство. Шла непрекращавшаяся война князей и дворян, страна разделилась на Кабарду Большую и Малую, Турция насаждала магометанскую веру, русские же цари, ведя двойственную политику, заигрывали с Кабардой и крымскими ханами, — всячески срамливали народы.

Потом пришло время, когда страницы «русской истории», являющейся историей колонизации, надолго заняли кавказские походы. Почти целый век обороняли кабардинцы свои нивы и пастбища, но дворяне, торгующаясь с царем, предавали народ. Князья становились российскими дворянами, дворяне были офицерами русской службы. Царь оставял за ними поместья. Росли крепости — Нальчик, Баксан, Чегем, Каменомостская, цепью окружали страну станицы линейных казаков. Они конвоировали народ на пути к рабству, к вымиранию, к голоду, ибо «политика царизма, политика помещика и буржуазии по отношению к горским народам состояла в том,

чтобы убить среди последних зачатки всякой государственности, калечить их культуру, стеснять язык, держать в невежестве и наконец по возможности русифицировать» (Сталин).

В 1867 г. в Кабарде освободили крепостных рабов. 15.000 человек получили официальную «свободу» от княжьего права на жизнь подвластных людей. Свобода человека была оценена для мужчины в возрасте от 15 до 45 лет в 200 рублей. Женщины получили свободу бесплатно, но калым за девушку, выходящую замуж, жених уплачивал не тестю, а бывшему владельцу невесты — помещику. Но денег, имущества у крепостных не было, — они выкупали свободу работой, то-есть продолжали находиться в рабстве. И, кроме того, за свободу крестьян Кабарда отдала помещикам четверть своих общинных наделов, и без того урезанных под казачьи станицы и поселения переселенцев из Украины.

Народ был нищим. Золото текло в его реках, энергия бурлила в быстрых течениях горных рек, драгоценные ископаемые хранили в себе горы, нефть залегала в недрах земли, — но разве помещичье государство было в силах использовать все эти богатства? Пастбища и поля были в руках дворянства — уорков, узденей. Народ жил в землянках, в каменных лачугах, в мазанках, — без полов, без кроватей, без света, — жил грязно, голодно, без больниц и школ. Мулла, помещик и пристав были хозяевами жизни. Коран и так называемые традиции были сводом законов страны.

Такова предыстория Кабардино-Балкарии. Она ничем, в сущности, не отличается от истории 186 народов, населяющих СССР.

История Кабардино-Балкарии начинается с Октябрьской революции, с гражданской войны, с партизанских отрядов Серго Орджоникидзе, Гикало, Бетала Калмыкова. В кровавых боях с дворянскими полками Кабардино-Балкария сумела победно пронести знамена социальной революции и, вместе с другими народами Кавказа, вошла в Горскую республику.

Кабарда была первой национальной областью, покинувшей Горскую федерацию и включившейся в состав РСФСР. Тов. Сталин, под чьим непосредственным влиянием и руководством это произошло, отметил значение перехода Кабарды в письме, до сих пор еще не опубликованном:

«Председателю с'езда советов Кабардинского округа т. Калмыкову¹⁾).

Передайте мой горячий братский привет делегатам с'езда и скажите им, что я, к большому моему сожалению, не могу принять участия в работах с'езда ввиду обострившейся болезни. Передайте членам с'езда, что, несмотря на невозможность присутствовать на с'езде, я душой с ними, с делегатами Кабарды, и желаю им полного успеха в нынешнюю трудную минуту, когда народы Великой советской федерации переходят к хозяйственному строительству, а маленькая Кабарда, отдавая дань общей строительной работе, старается, кроме того, выделиться в автономную область и теснее связаться с Центральной Россией для успешной борьбы за свое хозяйственное преуспевание. От всей души желаю вам, товарищи, дружной работы и полной победы на хозяйственном фронте.

С т а л и н».

12 июня — 21.

Ожесточенность классовой борьбы в Кабарде в обстановке гражданской войны подняла почти поголовно крестьянство области против денкинцев и феодалов. Крестьянство, руководимое большевиками, сумело найти общий язык с казачьей беднотой и украинскими переселенцами против помещиков, уничтожило феодальные гнезда и обеспечило возможность спокойной работы до нового этапа острого сопротивления капиталистических элементов социалистическому наступлению. Кабарда не знала массовых антисоветских движений. При переходе к массовой, а затем и сплошной коллективизации активное сопротивление кулачества здесь было значительно слабее, чем в соседних нацио-

нальных районах. Это объясняется значительно более высоким уровнем партийной работы в Кабарде, лучшим руководством, более крепкими связями с массами.

Кабарда знала и контрреволюционных изменников делу социализма в среде своих руководителей, знала немало людей, перешедших на позиции классового врага, но качество партийного и советского руководства в области было всегда так высоко, что вся история Кабардино-Балкарии есть история непрерывного подъема и расцвета, а работа ее — пример многим областям Союза. Этим Кабардино-Балкария обязана замечательному большевику сталинской складки, сыну своего народа, бывшему батраку Беталу Калмыкову.

Ниже рассказывается ряд эпизодов, характеризующих сегодняшнюю Кабарду и методы работы Калмыкова.

ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП (б)

Ульбашев, председатель областного исполкома, приехав в горное селение, увидел толпу колхозников, намеренно загородивших ему дорогу. Толпа окружала обыкновенный горный плужок. Ульбашев, горец, балкарец, знавший только деревянную соху и никогда не видевший этой «машины», сошел посмотреть, тем более, что руководители селения упорно упрасивали его остаться.

— Видишь, — сказали ему, — большая радость у нас! Плуг получили. Какой у него острый, широкий нож, как он силен и легок! Правду говорят: колхоз похоронит соху.

Председатель облисполкома воспользовался случаем сказать несколько слов о преимуществах коллективного строя.

— Но видишь ли, — сказали Ульбашеву, любезно выслушав его речь, — плуга не принимает наша земля. Не идет он. Бились, бились, ничего не выходит. Ты все знаешь, ты недаром председатель советской власти, покажи пожалуйста, что надо делать.

— Видите ли, товарищи, я очень занят, тороплюсь дальше в горы, — ответил сконфуженный председатель област-

¹⁾ IV с'езд советов округа.

ного исполкома. — На обратном пути все объясню.

Он спешно выехал за околицу, свернул налево, обогнул село и помчал обратной дорогой, пока не очутился в своем кабинете в Нальчике. Вызвав специалиста, он два дня изучал плужок, затем вернулся в селение, починил плуг, продемонстрировал восторженной толпе его работу, и хабар (слухи) разнесли по горам славу предоблсполкома и плуга.

Но когда Ульбашеву на пленуме обкома предложили запретить пару лошадей в телегу, он отказался.

— Не умею, — сказал он, и добавил: — В семнадцатом году мне не говорили, что надо уметь запрягать лошадей.

Он не встретил ни поддержки, ни одобрения на пленуме обкома, происходившем в совсем необычной для заседаний обстановке.

Пленум обкома, собравший 400 делегатов, — секретарей райкомов, предриков, начполитотделов и директоров МТС, секретарей ячеек, предколхозов и женоргов, — началась мартовским вечером на открытом воздухе в огромном дворе Ленинского городка в Нальчике. Бок-о-бок пленума заняли свои места, бесцеремонно подавая «реплики», английские и кабардинские жеребцы, полукровки-кобылы, пегие мерины, жеребята, двадцатипудовые бугаи, немка-корова, сивая украинка с белым кольцом вдоль ноздрей, бугайчики, нетели, племя кабардинских овец в обществе овец мериносовых и каракулевых, хряк-метис, семья английских свиней, гуси, куры — род-айленды и леггорны, пекинские утки и индюшки. Поодаль, под навесом, стояли комбайны, виндрузы, сеялки всяких типов, конный и тракторный инвентарь.

Пленум начался без доклада. Бетал Калмыков предложил участникам пленума выступить с сообщениями о мероприятиях мест в области животноводства. В краткую речь его врывались конское ржанье, мык бычков, гомонливая ссора птиц, устраивавшихся на ночлег, блеяние баранов, не привыкших к подобному многолюдью, свету прожек-

торов и вальсам, разыгрываемым оркестром в ближнем парке.

Начались выступления. В разгар речи секретарей райкомов, начполитотделов, предколхозов, женоргов, секретарей ячеек и предриков к трибуне, к столу президиума подвели то рысак-англичанина, который, кося глазом, похрапывал, рыл копытом землю, то оседланного кабардинского коня, то спокойного быка-швица, то разноцветных разнопородных коров. Иногда эти «ораторы» вносили некоторый беспорядок в работу пленума, — кабардинский жеребец даже презрительно обфыркал секретаря балкарского комитета, не сумевшего определить породу коня.

На трибуне менялись ораторы. Порой на помощь оратору выходил из рядов другой, третий, четвертый. Вместе с секретарем райкома появлялся начальник политотдела, и за ним поднимались с мест секретари ячеек, работники райкомов.

Шла речь об экстерьерах, о крупах коней, о шее, ногах, хвостах и копытах, о метизации крови, о горных пастбищах, о стойлах, о способах дойки коров и увеличении взятки пчелы, о яйценосности леггорнов и мясистости род-айлендов, о тяжести симменталов и производительности английских свиней. Шла речь о большевиках, об отряде партии, берущем в свои крепкие руки животноводство. Шла большевистская самокритика, являющаяся, как всегда, знаменем и орудием наступающего перелома в работе, в быту, в строительстве целого края. Незадолго перед этим пленумом происходило специальное совещание секретарей райкомов и политотделов. На совещании Калмыков, отказавшись от докладов, предложил товарищам попросту побеседовать о положении в области животноводства. Беседа застенографирована:

КАЛМЫКОВ. — Тов. Налоев, расскажи нам, как обстоят у вас в районе дела с животноводством.

НАЛОЕВ (секретарь нальчикского райкома партии). — Я не взял с собой нужных сведений о животноводстве, — не успели составить. Без них ничего не могу доложить здесь.

КАЛМЫКОВ. — Как же так? Выходит, что вы зависите от учетчика, который у вас в аппарате — все? Какой же ты секретарь райкома? Учетчик не приготовил сведений, и ты не можешь нам на совещании ничего сказать о животноводческом хозяйстве района. Выходит, ты ничего не читал о том, что говорил тов. Сталин на партийном съезде о животноводстве?

НАЛОЕВ. — Я читал.

КАЛМЫКОВ. — А понял?

НАЛОЕВ. — Понял.

КАЛМЫКОВ. — Хорошо. Скажи нам: какой породы у вас в районе скот? За счет какой породы думаете улучшать его качество? Какие производители у вас? Сколько их?

НАЛОЕВ. — Этого я не скажу.

КАЛМЫКОВ. — А говоришь, читал Сталина и понял. Послушаем теперь тов. Сохова.

СОХОВ (секретарь баксанского райкома партии). — Я тоже не имею цифровых данных и подробно не могу доложить здесь о состоянии животноводства в нашем районе.

КАЛМЫКОВ. — Так, так. Значит, второй секретарь райкома нашей области без учетчика ничего не может сказать о животноводстве. Тов. Мирзоев, тебе слово.

МИРЗОЕВ (секретарь урванского райкома партии). — По сравнению с прошлым годом в нашем районе поголовье скота, за исключением овец и коз, уменьшилось. Мы провели учет животноводства, но итоговые данные забраковали, так как учет оказался неточным. Сейчас этим делом занимается специальная комиссия. Я не имею под руками сведений о том, сколько у нас бескоровных хозяйств и скольким хозяйствам колхозников мы помогли приобрести корову. Надо откровенно сознаться, что мы пока не приняли особых мер к сохранению молодняка и у нас были случаи, когда его резали и продавали. За это дело мы теперь взялись крепко и сами чувствуем, что в колхозах заботы о сохранении поголовья стало больше.

КАЛМЫКОВ. — Сколько у вас в районе производителей, и хватит ли их для покрытия всего маточного состава?

МИРЗОЕВ. — Мы примерно знаем, сколько надо жеребцов, бугаев и других производителей. А сколько у нас в районе маточного поголовья, я не скажу, цифр у меня нет.

КАЛМЫКОВ. — Сколько в районе коров, племенных быков, и какой они породы?

МИРЗОЕВ. — Не могу сказать.

КАЛМЫКОВ. — Значит, и тебя тоже учетчик заел? Как говорят, «писарь подвел». Послушаем тов. Мольбахова. Он — кабардинец, местный человек, работал секретарем райкома и предобколхозсоюза. Должен знать животноводство области и своей МТС.

МОЛЬБАХОВ (нач. политотдела Урванской МТС). — Цифр у меня нет. После решений XVII партсъезда мы развернули в своих колхозах огромную работу...

КАЛМЫКОВ. — А не похоже ли это, тов. Мольбахов, на факт, рассказанный тов. Сталиным в докладе на съезде: «Мы мобилизовались. Вопрос поставили ребром. Перелом есть?»

МОЛЬБАХОВ. — У нас нет ни единого колхоза, ни единой бригады, где бы не был проработан вопрос о животноводстве.

КАЛМЫКОВ. — Хорошо. Ну вот, расскажите нам как следует и подробно о животноводстве хотя бы одного колхоза своей МТС. Сколько у него маток? Сколько жеребцов, какой породы матки и жеребцы? Как вы собираетесь улучшить лошадь, за счет какой породы? Какой процент вы оставляете местного скота, какой процент немецкого? Сколько у вас будет метизированного поголовья? Какие недочеты в этой части имеются на ваших фермах?

МОЛЬБАХОВ. — Ответить не могу. Так подробно не занимался.

КАЛМЫКОВ. — Почему? Почему вы сразу можете сказать, сколько у вас в МТС тракторов, какой марки, как они отремонтированы, сколько и каких семян нехватает, какая посевная площадь в МТС и по культурам в отдельности, и почему не можете рассказать так же подробно о животноводстве?

МОЛЬБАХОВ (молчит).

КАЛМЫКОВ. — Давай теперь ты, Камбиев?

КАМБИЕВ (секретарь нагорного райкома партии). — Цифр у меня тоже нет. Не взял с собой.

КАЛМЫКОВ. — Ты, тов. Камбиев, бывший зав. облзу. Сейчас ты секретарь райкома животноводческого района. Ты кабардинец, хорошо знаешь область. В облзу в прошлом году сам планировал животноводство. О каких цифрах ты говоришь? Зачем они? Расскажи без «писаря».

КАМБИЕВ. — Я могу рассказать о том, какие мероприятия мы проводим сейчас по животноводству. А как обстоит дело в отдельных колхозах, — цифр у меня нет, сказать подробно не могу. Доклад тов. Сталина по вопросам животноводства мы проработали на бюро райкома и среди актива...

КАЛМЫКОВ. — Это нам понятно. Расскажи все-таки о животноводстве в районе.

КАМБИЕВ. — Дело с животноводством у нас обстоит очень плохо. Количество поголовья скота в районе систематически сокращается. По колхозному сектору за год поголовье сократилось на 17 процентов.

КАЛМЫКОВ. — Расскажи о животноводстве одного колхоза в районе. Можешь взять любой колхоз на выбор.

КАМБИЕВ. — Могу сказать о Ха-базе.

КАЛМЫКОВ. — Только помни, что мы, сидящие здесь, из восьмилетнего школьного возраста давно вышли. Мы хотим послушать толковый рассказ о состоянии животноводства в конкретном колхозе.

КАМБИЕВ. — В колхозе селения Хабаз — 2.175 овец, из них 75 — кастрированные бараны. Часть их продали. На вырученные деньги куплены матки. Овцы в этом колхозе местной породы — горные, кабардинские. Овец-маток — 560. В обобществленном секторе — 1.160 голов крупного рогатого скота. Из них 240 дойных коров и 75 нетелей, которые нынче пойдут на случку. Рогатый скот в этом колхозе одной породы, больше всего — метисы

швицы. Лошадей в колхозе 200. Маток из них 83. Жеребцов 4. Жеребцы — кабардинской породы. Они в приличном состоянии и, по нашим подсчетам, сумеют обеспечить покрытие.

КАЛМЫКОВ. — Жеребцы занесены в племенную книгу?

КАМБИЕВ. — Не знаю.

КАЛМЫКОВ. — Не знаешь? Ну, ну, продолжай. Только поподробнее.

КАМБИЕВ. — Я уже сказал, что мы сейчас переключились на животноводство, и весь маточный состав в предстоящую случку будет покрыт хорошими производителями.

КАЛМЫКОВ. — Подтверди это конкретными цифрами. У меня например нет уверенности, что маточный состав будет полностью покрыт. Ведь если бы у вас в районе было 20 тысяч га земли, вы бы сделали точный подсчет, сколько нужно механического тягла, сколько живого, сколько надо рабочих рук. Вы бы точно подсчитали, сколько дней нужно на пахоту, на сев. Дайте такой же подсчет по животноводству. Иначе какая гарантия, что вы проведете случную кампанию?

КАМБИЕВ. — Такого подсчета у меня нет. Скажу по совести: мы плохо занимались и сейчас еще как следует не занимаемся животноводством.

КАЛМЫКОВ. — Ну вот, признался-таки. Значит, еще один секретарь райкома провалился. Шандилов, как у вас дела?

ШАНДИРОВ (секретарь малокабардинского райкома партии). — Сведений точных и у меня нет. Цифровыми данными я сейчас не располагаю.

КАЛМЫКОВ. — Расскажите, что интересного в животноводстве делается у вас в районе?

ШАНДИРОВ. — По району за год мы имеем такое резкое снижение поголовья скота, что вынуждены были послать специальных людей для проверки этого дела в колхозах. Мы признаем, что со стороны руководителей района не было достаточного внимания к вопросу о животноводстве.

КАЛМЫКОВ. — Как вы собираетесь улучшить рогатый скот в районе и каким порядком?

ШАНДИРОВ. — Мы хотим улучшить породу.

КАЛМЫКОВ. — Как?

ШАНДИРОВ. — Нам надо иметь хороших производителей.

КАЛМЫКОВ. — Каких, какой породы?

ШАНДИРОВ. — Говорят, для горной части района нужна одна порода, для плоскостной — другая.

КАЛМЫКОВ. — Какая?

ШАНДИРОВ. — Симментал.

КАЛМЫКОВ. — Почему? Объясните.

ШАНДИРОВ. — Не знаю, так говорят.

КАЛМЫКОВ. — А какая разница между симменталом и швицем?

ШАНДИРОВ. — Разница есть.

КАЛМЫКОВ. — В чем именно?

ШАНДИРОВ. — Не знаю.

КАЛМЫКОВ. — Насчет овец расскажите.

ШАНДИРОВ. — Об овцах ничего сказать не могу, не знаю хорошо.

КАЛМЫКОВ. — Ну, расскажите, как вы думаете улучшать в районе птицу и каким порядком. Как думаете работать над пчелами?

ШАНДИРОВ. (Молчит).

КАЛМЫКОВ. — Решения партии, доклад товарища Сталина вы лично как секретарь райкома читали?

ШАНДИРОВ. — Читал.

КАЛМЫКОВ. — Представьте теперь себе: подходит к вам рядовой колхозник и спрашивает у вас как у секретаря райкома: что надо сделать, чтобы улучшить рогатый скот в колхозе? Он, рядовой колхозник, говорит вам, что колхозная масса хочет выполнить ваши, секретаря райкома, указания. Что вы этому колхознику скажете?

ШАНДИРОВ. (Молчит).

КАЛМЫКОВ. — Давай теперь вы, тов. Лукожев. Расскажите, как человек, долгое время работавший секретарем колхозной ячейки: какой масти швиц? Какой масти симментал? Какую породу птицы надо завести в вашей МТС?

ЛУКОЖЕВ (зам. начполитотдела Гнаденбургской МТС). — Не знаю.

КАЛМЫКОВ. — Теперь вам слово, Бураков.

БУРАКОВ (секретарь прималкинского райкома партии). — Цифр у меня нет. К 10 марта мы должны будем развернуть конкретную работу в отношении роста поголовья...

КАЛМЫКОВ. — Это понятно. Вы лучше расскажите, что вы собираетесь делать?

БУРАКОВ. — Хотим отобрать и особо выделить маточный состав, который подлежит случке.

КАЛМЫКОВ. — «Ребром вопрос поставили»?

БУРАКОВ. — Поставили.

КАЛМЫКОВ. — «Перелом есть»?

БУРАКОВ. — Есть.

КАЛМЫКОВ. — «Закрутили»?

БУРАКОВ. — Закручиваем... (Громкий смех в зале).

КАЛМЫКОВ. — Ну, а все-таки, каким порядком и на какой породе скота вы думаете остановиться в Прималке?

БУРАКОВ. — На немецкой породе.

КАЛМЫКОВ. — А как будете это делать?

БУРАКОВ. — Скот, который есть, хотели бы ликвидировать и закупить породистый.

КАЛМЫКОВ. — Хотите, значит, ликвидировать свой скот и завести немецкий?

БУРАКОВ. — Маточный состав общественного скота думаем покрыть племенными бугаями красной немецкой породы.

КАЛМЫКОВ. — А если у вас серые матки, тогда как?

БУРАКОВ. — Будем проводить случку.

КАЛМЫКОВ. — Как вы предполагаете улучшить лошадей?

БУРАКОВ. — Лошадь у нас должна быть кабардинской породы.

КАЛМЫКОВ. — Как думаете создавать эту породу?

БУРАКОВ. — Подобрать хороших кабардинских производителей.

КАЛМЫКОВ. — А потом?

БУРАКОВ. — Подберем маточный состав, который ближе подходит к кабардинской породе.

КАЛМЫКОВ. — Дайте теперь ответ на такой вопрос. В колхозе сто свиноматок. Для них есть в колхозе очень хорошие племенные производители. Хряки проработали два-три года и от них хороший приплод. Что надо делать дальше? Как должны работать эти хряки и что будет, если хряки будут продолжать работать?

БУРАКОВ. — Не знаю.

КАЛМЫКОВ. — Какая птица должна быть в вашем районе, и как предполагаете улучшать породу?

БУРАКОВ. — Должны быть леггорны и род-айланды.

КАЛМЫКОВ. — Как думаете завести эту птицу?

БУРАКОВ. — Лучше всего перерезать имеющуюся.

КАЛМЫКОВ. — Значит, по-вашему, вырезать местную и завести леггорнов? Так я понял?

БУРАКОВ. — Я сказал — по мере замены.

КАЛМЫКОВ. — Вы сказали: вырезать птицу и местный скот, съесть их и завести породистых. Знаете ли вы, чья это точка зрения? Так ведь «промпартия» говорила.

БУРАКОВ. (Молчит).

КАЛМЫКОВ. — Тов. Осипову дадим слово.

ОСИПОВ (начполитотдела Прималкинской МТС). — Я считаю, что это совещание должно явиться переломным моментом к тому, чтобы мы concretamente начали заниматься животноводством. По-большевистски надо сознаться, что мы этим делом как следует не интересовались...

КАЛМЫКОВ. — Расскажите все-таки: какой скот думаете завести в своем районе?

ОСИПОВ. — Мы намечаем конкретные мероприятия.

КАЛМЫКОВ. — У меня к вам, тов. Осипов, прямой вопрос: какой породы вы хотите завести скот в районе?

ОСИПОВ. — Не занимались этим делом.

КАЛМЫКОВ. — А какой породы должна быть у вас лошадь?

ОСИПОВ. — Не скажу.

КАЛМЫКОВ. — А птица?

ОСИПОВ. — Не скажу.

КАЛМЫКОВ. — Давайте теперь вы, тов. Хашхожев.

ХАШХОЖЕВ (начполитотдела Прохладненской МТС). — Я, тов. Калмыков, к докладу не готовился.

КАЛМЫКОВ. — Доклада нам и не надо. Вы просто скажите: какие мероприятия намечаете в своей МТС по животноводству?

ХАШХОЖЕВ. — Вы давайте вопросы, я буду отвечать.

КАЛМЫКОВ. — Какой скот хотите оставить у себя в районе? Какой породы птицу? Если не ответите на эти вопросы, отвечайте тогда: какие огородные культуры хотите иметь в своих колхозах, какие можете завести фруктовые деревья и что может произрастать в районе МТС?

ХАШХОЖЕВ. — Этими вопросами я подробно не занимался.

КАЛМЫКОВ. — Абрикосы и персики могут расти в ваших колхозах?

ХАШХОЖЕВ. — Ей-богу, не знаю.



Прошло две-три недели после этого совещания, и Калмыков созвал уже весь областной актив, собрал все областное руководство на дворе среди коров, лошадей, птиц, мешочков с семенами — и устроил экзамен.

— Коммунист, работающий в деревне, должен знать технику сельского хозяйства. Давайте посмотрим, знаем ли мы, и определим, кто у нас может руководить хозяйством и кто не может. Но кто не может, пусть знает, что партия не будет терпеть на ответственной работе неграмотных людей. Она их снимет и отправит на рядовую работу в колхоз — работать и учиться. В обкоме с утра тревожно зазвенели телефоны:

— Заболел секретарь райкома...

— Что с ним? — озабоченно спрашивали из обкома.

— Коровья болезнь.

— Какая? — удивленно переспрашивали из обкома.

— Коровы не знает...

Звонили:

— Пленум состоится?

— Да.

— А у нас беда: секретарь ячейки хворает.

— Чем?

— Куриной слепотой.

Или просто сообщали:

— Председатель рика болен септиемией.

День был полон самых неожиданных афронтов.

Например секретарь нальчикского горкома, оказалось, и не подозревал, что в городе есть лошади, коровы, овцы и птица—огромное поголовье, требующее внимания. Он понес было околесицу общих фраз, но был сбит с ног на первом раунде смехом аудитории.

Иной такой работник, уподобляясь фонвизинскому Митрофанушке, рассуждал: зачем мне знать признаки болезней животных, когда есть врач, — зачем изучать географию, когда есть извозчики? Гонорный вельможа, он один раз пробежал глазами речь тов. Сталина и решения XVII съезда и не заметил там прямых для себя указаний. На проверке, на пленуме, он предстает перед партией голеньким, куценьким и ничтожным.

Четыре заведующих отделами обкома, люди, днюющие и ночующие в колхозах, провозившись добрые полчаса, не сумели запретить лошадей. Они стояли меж дышлами и лошадьми, совещались и дискутировали.

КАЛМЫКОВ. — Тов. Звонцов, зав. культпропом обкома, и тов. Амиров, зав. торговым отделом обкома. Соберите это седло и оседлайте им этого жеребца.

ЗВОНЦОВ. — Я никогда не разбираю седла.

КАЛМЫКОВ. — А верхом ездешь?

ЗВОНЦОВ. — Еще бы!

Возле собирающих седло сидит на корточках инструктор обкома, Чмырев.

— А ты, Чмырев, почему ведешь себя, как лодырь?

ЧМЫРЕВ. — А что мне делать?

(Непрерывный смех со стороны членов пленума. Амиров и Звонцов ча-

сто в недоумении не знают, куда пристегнуть ту или иную часть седла).

ГОЛОСА: Если что-нибудь у вас лишнее, вы в карманы спрячьте. Может быть, нож нужен? Без ножа, видно, дело не обойдется.

АМИРОВ (сердито). — Ножа нам не надо. (Смех).

(Сбор седла закончен. Начинается спор между Амировым и Звонцовым — правильно или неправильно собрано седло. Подводят жеребца, Амиров и Звонцов надевают седло на жеребца).

КАЛМЫКОВ. — Что надо делать, если лошадь несмирная?

ЗВОНЦОВ. — Надо ее поглаживать. Посвистывать надо.

КАЛМЫКОВ. — В древнее время в Кабарде был такой случай. Одна девушка засунула руку в кувшин, а вытащить ее не смогла. Собрался народ и стал решать, что делать. Решили девушку похоронить, так как не могли вытащить ее руку из кувшина. Когда ее несли хоронить, навстречу попался человек, который спросил, зачем несут живого человека хоронить, и когда узнал, в чем дело, попросил отдать ему девушку и с ней уехал... Вот и у нас так частенько бывает. Только результатом нашего невежества пользуется классовый враг. Ну, что ж вы остановились? Может быть, ремень с брюк для вас снять? Вообразите, что вам нужно ехать на этом жеребце, а на дворе грязь. Что нужно делать?

АМИРОВ. — Надо завязать хвост.

ЗВОНЦОВ. — Я не знаю, как это делать. Я видел, как завязывают, но не смогу завязать.

КАЛМЫКОВ. — Принесите сюда гребницу и щетку. Зав. отделами покажут нам, как надо чистить лошадь. Расскажите, как нужно снимать седло для того, чтобы, если конь вырвался, когда вы развязали подпругу, седло не стало бить коня.

Калмыков подробно рассказывает, как нужно снимать седло, как нужно успокаивать лошадь, когда она не смирная.

Начинает чистить Чмырев. (С мест: Неправильно чистит. Это кулацкая чистка).

После Чмырева чистит Амиров. (Голоса с мест: Неправильно).

Затем чистит Камбиев, секретарь нагорного райкома. Он берет щетку в левую руку и начинает чистить. Забракoвана и его чистка.

КАМБИЕВ. — Чистить лошадь надо начинать с головы, но предварительно необходимо успокоить лошадь.

КАЛМЫКОВ. — Хотя ты и был зав. земельным отделом, но в чистке ты оскандалился. С самого начала надо прочистить глаза, ноздри, посмотреть нос, уши. Одним словом, надо привести в порядок всю голову, а затем уже начинать общую чистку. Как дальше чистить? Ты расскажи.

Камбиев продолжает чистку.

(С мест: Неправильно! Дальше осматривают ноги, копыта).

КАЛМЫКОВ. — Что нужно делать, чтобы сохранить копыта?

КАМБИЕВ: — Если лошадь—производитель, то надо, чтобы в конюшне было все время сухо. Самое лучшее, если в конюшне пол будет глино-бетонный, и притом нужна конечно соответствующая подстилка.

КАЛМЫКОВ. — Увы! Ты знаешь меньше о лошади, чем рядовая колхозница.

Четверо заведующих отделами обкома, тт. Амиров, Чмырев, Хуламханов и Звонцов, на себе подвозят бричку и подводят пару совершенно распряженных лошадей. Начинают запрягать лошадей, не зная, куда прицепить ту или иную часть сбруи. Их неуверенные и неумелые действия неоднократно вызывают взрывы смеха со стороны участников пленума.

КАЛМЫКОВ. — Вы сейчас точно в таком положении, в каком бывают секретари райкомов, над которыми смеются рядовые колхозники. Правда, в лицо колхозники не смеются, это неудобно. Но в душе обязательно смеются, и вас руководителями не признают.

Звонцов и Хуламханов надевают хомут на лошадь, но надевают его так, что шлея остается впереди лошади.

КАЛМЫКОВ. — Что, если бы колхозники видели, как вы запрягаете?

(С мест: Они и видят).

ХУЛАМХАНОВ. — Если бы это был ишак (осел), я знал бы, как это нужно сделать.

ЗВОНЦОВ. — Если бы я сам запрягал, никто бы этого позора не видел. Оно конечно лучше бы получилось.

Со стороны участников пленума все время слышатся указания, как надо запрягать.

ХУЛАМХАНОВ. — Нас запутали и сами себя спутали...

Чмырев, заложив руки в карманы, спокойно следит, как трое остальных зав. отделами заканчивают упряжку.

КАЛМЫКОВ. — Чмырев, ты и здесь, как лодырь... Мы хотим, чтобы все заведующие сели на эту повозку и поехали бы по двору. Чмырев может за пассажира в крайнем случае поехать. Один из вас будет кучером. (Заведующие садятся на повозку и едут.) Такой работой вы, четверо, не выработаете и одного трудодня. Разве можно так долго запрягать одну повозку?

Когда повозка отъехала от места работы пленума, одна из лошадей распряглась. Ее не засупонили.

Общий хохот.

КАЛМЫКОВ. — Видите, товарищи, как руководители наших отделов «здорово» взялись за овладение техникой. Кто из секретарей ячеек покажет нам чистку?

БЕКЕТОВ (секретарь производственной ячейки станции Екатеринбургской, начинает чистить лошадь). — Начинать чистить лошадь нужно с головы.

КАЛМЫКОВ. — Если лошадь пугливая, постоянно вздрагивает, что нужно удалить, чтобы она была спокойней?

БЕКЕТОВ. — Если мешает волос, надо его отстранить. Если у лошади большие ресницы (нижние), то надо их выдернуть, так как они раздражают глаз лошади, отчего она пугается. При чистке главное значение придается глазам, рту, ноздрям. Нужно посмотреть уши. Эти части обязательно нужно осмотреть — будь это лошадь, корова или бык. (Рассказывает подробно о чистке).

КАЛМЫКОВ. — Этот знает, — видно, что кавалерист и хозяин. А какое внимание вы обращаете во время чистки на состояние сердца? Как определить, есть ли у коня запал, или нет? В первой стадии запал на-глаз определить нельзя.

СОХОВ (секретарь баксанского райкома). — Надо задержать дыхание лошади и по состоянию лошади определить, есть ли у нее запал, или нет.

КАЛМЫКОВ. — Можно ли точно определить в таком случае, есть ли запал, или нет? Бывает, что у лошади кашель. Попала в горло пыль. От куриного помета, который попадает с пищей в горло лошади, лошадь себя чувствует неспокойно.

Сохов начинает рассказывать, но сбивается. Калмыков досказывает за него и снова спрашивает, как надо купать и мыть лошадей.

КОЖАНОВ (пом. нач. политотдела МТС). — Ранней весной надо лошадь на пять минут вводить в воду по колено. Кроме того, необходимо лошадь обливать водой до половины корпуса. Для того, чтобы грива и хвост хорошо росли, были красивыми, необходимо два раза, помимо зеленого мыла, помыть их соком из-под сыра.

КАЛМЫКОВ. — Все это верно. Но вообще же, товарищи, тот способ, каким у нас чистят лошадей, неправильный. Выступавшие здесь товарищи не смогли показать правильные приемы чистки. Покажите вы, товарищ, классическую чистку.

КОЖАНОВ (чистит коня безукоризненно). — Так я учу чистке колхозных конюхов.

КАЛМЫКОВ (к пленуму). — Вы не думайте, товарищи, что пленум будет продолжаться постоянно и что вы на пленумах будете учиться тому, чего не знаете. Всем нам необходимо заняться учебой, практикой, чтобы уметь показать рядовым колхозникам, как надо ухаживать за лошадью. Мы знаем, что т. Звонцов может забросать вас замечательными постановлениями и засыпать цитатами, а пару лошадей запречь не умеет и почистить коня не умеет. Амиров, Хуламханов, Чмырев тоже мо-

гут вам о многом рассказать — о радио, об электричестве, о высокой технике, а запречь и они не могут. Мы не можем мириться с тем пренебрежением, с тем высокомерием, какое наблюдается у нашего руководящего состава к делу овладения техникой даже простейших средств производства нашего хозяйства. Я бы очень хотел, чтобы ту картину, которая прошла сегодня перед нами, видел бы сам товарищ Сталин. Я могу с уверенностью сказать, что одна треть или даже две трети работников пошли бы отсюда в деревню рядовыми колхозниками. Руководители наши — люди грамотные и имеют все возможности овладеть, и в короткий срок, техникой производства, но этого они не делают.

Мы спрашиваем у работников, у руководящих работников, которым сорок-пятьдесят лет от роду и которые семнадцать лет уже работают как руководители, как хозяева области: неужели нельзя от нашего руководящего состава требовать таких же хотя бы знаний, какие имеет рядовой колхозник?!

УЛЬБАШЕВ (председатель облисполкома). — Я теперь сделаю это.

КАЛМЫКОВ. — Как приятно было бы, если бы секретари райкомов, секретари производственных ячеек и территориальных ячеек, начполитотделы, члены бюро обкома, непосредственные руководители области собрались здесь на пленуме и продемонстрировали свои производственные знания. Это было бы самым лучшим показателем положения хозяйства области. Как было бы красиво, как было бы хорошо! Я лично готов стать на экзамен перед пленумом областного комитета партии и готов ответить на любой вопрос, который мне здесь зададут. То, что я знаю, я расскажу здесь. На все вопросы, может быть, я и не отвечу, но я уверен, что на 99 процентов вопросов я отвечу положительно. А наши руководители, не умея рассказать о производстве (а не умеют рассказать потому, что не знают), впадают в амбицию, когда им говорят, что они производства не знают, что они должны овладеть техникой дела. Мы требуем и заставим всю организацию знать производство, и знать его не

хуже рядового ударника—колхозника и рабочего. (Реплика Сохова: «Я знаю только плуг»). Я уверен в том, что и Сохов и Гейфман плуга не знают, не знают его настолько, чтобы они могли его отрегулировать как следует.

СОХОВ. — За 100 процентов я не ручаюсь.

ГЕЙФМАН. — В основном я знаю.

КАЛМЫКОВ. — Когда пашут, не говорят: «в основном». Надо отрегулировать плуг так, чтобы пахать не по-кулацки. Во время пахоты «основное» не годится. Надо в совершенстве знать плуг, чтобы показать пример и регулировки и работы плугом. Мы должны откровенно признать то, что у нас на 99 процентов плуги работают варварски, некультурно. Мы портим землю и душим тягло, рвем сбрую, а в это время наши руководители продолжают говорить: «В основном знаю».

Я высказываюсь за «драку», за решительную «драку». Я за большевика, который обеспечил бы своими знаниями тот участок работы, который ему поручен, который крепко овладел бы производством, и овладел так, как это умеет делать товарищ Сталин. А если люди не знают курицы, то как же они хотят управлять сельским хозяйством?

Калмыков был целиком прав. Действительно, ответственные работники оказались не в состоянии отличить гусака от гусыни, селезня — от утки. Один товарищ с высшим образованием, взявшись определить состояние беременности барана-самца с развесистыми рогами, заявил уверенным тоном:

— Эта овца окотится через пять месяцев.

Речь шла не только о знаниях. Недаром перед столом президиума стояли живые объекты страстных прений — индейский петух, гордый своим рубиновым ожерельем, хлопотливые куры, драчливые петухи и пр.

Чем дальше шли прения, тем больше обнажалась пропасть между директивами партии и конкретными представлениями в головах тех, кто призван осу-

ществить боевую задачу в области животноводства. Тов. Черкесов, секретарь животноводческого Балкарского района, сообщил например с гордостью свои планы роста поголовья к концу пятилетки, не заметив, что по этому плану корова должна приносить примерно восемь телят в год. Выяснилось, что овцеводческие районы не знают своих овец, что они вообще не знают рогатого скота, овцы, свиньи, птицы. Недавний секретарь ячейки колхоза «Урожайный», нынешний руководитель народного образования области т. Максидов, рассказал, что прошлогодней весной он одобрил бригадиров, не дававших маток для случки, чтобы не ослаблять темпов пахоты. — Только сейчас я понял, какому преступлению потакал, — заявил Максидов.

Его заявление лучше всего иллюстрирует причины зияющих ран в животноводстве, — безграмотные и инертные руководители «работали» на основе «самотека». Вот почему недоуздки коней так часто оказывались в руках кулака, так много гибло и гибнет еще и теперь коров, телят, свиней, поросят.

Чему удивляться, когда председатели колхозов, руководящие огромными птицеводческими хозяйствами, понятия не имеют о кормлении птицы, о птичьей нагуле, когда животноводы не знают ни сроков охоты у коровы, ни сроков случки, когда находятся руководители, которые вдруг узнают, что лучшие, хваленые жеребцы после анализа крови оказались больны подседалом — конским сифилисом. Нашлись работники, сознательно обеспечившие колхозных свиней сверхдостаточным количеством хряков, а свиньям колхозников дали самых худших хряков с физически невыполнимым производственным заданием.

Бетал Калмыков, выступая на пленуме, рассказал:

— В мальчишеские годы мы пасли телят. Оставив телят пастись, мы считали себя взрослыми пастухами, таскали хворост и сено, строили балаганы. Влезть в эти балаганы нельзя было, а хотелось залезть всем, и мы засовыва-

ли внутрь их головы, выставив остальные части тела наружу. Проголодавшись, мы воровали яйца, варили и жарили. Наевшись, начинали играть — связывали кушаки, застилали кого-нибудь пиджаками и шапками, били друг друга и рвали свое барахло. Коровы шли домой, когда мы спохватывались, что телят нет, и целые ночи бродили за селением, разыскивая их. Не напомним ли мы сами себе этих телячьих пастухов?

Была ночь. Со двора уводили коров, быков, лошадей, баранов, увозили птицу. На дворе расставляли плуги, бороны, сеялки, на двор выносили ложки, мыло, пслотенца, фонари «летучая мышь», сорта семян, гаечные ключи, товары сельпо, патефон, — утром пленум должен был заняться вопросом о ходе весеннего сева. Мы долго бродили с Беталом по двору. Он внимательно вспоминал пленум и, вспоминая, перечислял тех, кто с большевистской дисциплинированностью принял к исполнению директивы партии, взялся за учебники, посоветовался со стариками, с опытниками, заразив колхозы собственным энтузиазмом. Жадно, тепло и страстно, — так, как говорят о любимых людях, рассказывал он о тех, кто ночует на скотных дворах, изучая «язык» лошадей, думает, читает, подбирает заново животноводческих бригадиров, — о тех, кто от крестьянского опыта перешел к обобщениям техники и экономики животноводства, создал крепкие фермы растущего поголовья, скота, обеспечил коровой, свиньей, овцой и птицей каждый колхозный двор, — о тех, кто выстроил новые конюшни, скотные дворы, птицефермы и свинарники, кто добился выдачи мясо-молочных продуктов по трудодням, кто поставил на ноги художонку, кто вывел на поля весеннего сева косяки крепких, упитанных лошадей.

Калмыков говорил о земле, о скоте, о живых людях, обо всем, что так крепко любит он любовью большевика.

Он готовил программу весенней работы области.

ЦЕНА ЗНАМЕНИ

Утром в баксанских садах защелкал, засвистал соловей, посыпался скворечий гомон. Пришла всамделишная весна.

Еще два дня назад люди не верили, что можно пахать, что тракторам пора выбираться в поле, что пора заселять полевые станы. Но весна, прорвавшись сквозь мартовские метели, сразу распахнулась жарой, столбами пыли за автомобилем, расцвятилась свежей робкой зеленью придорожных трав, разбросала в степи пахучие фиалки. Метеорологические сводки настойчиво обещали двадцать жарких солнечных дней. Ночи были черны и звездны.

Степь запылала со всех сторон. Соревнуясь с белыми облаками, серые тучи дыма стояли на голубом небе. Степь проходила через огонь очищения, и сухие бодылья, стебли, трава оставались на поле серебристым налетом пепла.

Еще кое-где, на глубине восемнадцати сантиметров, плуг встречал ледяные комки и скрипел по льду. Еще в затененных низинах попадались белые лунки снега. Но солнце жгло, и, пройдя бороздой длинный гон, плугарь не узнавал борозды: недавно отливавшая жиром влаги, она под солнцем, под теплым ветром подернулась серой, сухой пылью.

Шли плуги. Прошли севацы сверхраннего сева.

Испуганно и гулко взвивались фазаны. По терновнику текла женская песня, грудная, залихватая.

В тучах сизого дыма подымалось над степью высокое разноцветное пламя — желтое, розовое, багровое. Горел терновник, искрами прожигая платки и шапки. Сквозь терн пробивались колхозы, расчищая земли, — хозяйствовать стало уже тесно. Огороды, животноводство, птица отняли много земли, колхозы искали целинные земли, чтобы сеять сверх плана по яри.

Степь горела. Шли ударники, как ныне в колхозах зовут субботники. Шли ударники, дружные и веселые, напористые и жаркие. Трещал хворост, полы-

хая огнем по степи. Ночь приходила морозом, но, растопив мороз в кострах, новые утра поднимали, как знамя, горячее, бодрое солнце.

Быстро сохла земля.

В бригадных дворах стояли заботливо выкрашенные женщинами плуги. Солнце играло на зубьях борон. Кони, упитанные, чистые, крепкие, стояли в терновых лесах, возили терновник в избы колхозников, жадно тянулись ноздрями в сторону степи, где волнующе дышала отогревшаяся земля. Добротная упряжь висела на специальных, заботливо сделанных, крашеных охроу, вешалках-амуничниках. Семена — очищенные, проверенные, превосходные семена — лежали уже в бригадах. Колхозы выступали в степь таборами, станами, вводили в борозды сеялки. На второй день кабардинской весны, так похожей на наше среднерусское лето, когда жгло солнце и земля уже стала рыхлой, бригады ра'ехали по давно высмотренным, вымеренным, изученным бригадами участкам.

Всю зиму в колхозах шла страстная подготовка к часу первого выезда, к первому дню выхода на поле. Заготовили плугов втрое больше потребности, учитывая не только запас, но и нужду огородов каждой бригады, необходимость вспахать приусадебные участки колхозников. Каждая деталь инвентаря была предусмотрена и запасена. Расписными фаянсовыми тарелками, металлическими ложками, клеенкой, скатертями, полотенцами, мылом обеспечена была на зиму каждая бригада сверх меры. Зубные щетки и пудра, патефоны с набором пластинок, картины, плакаты на выкрашенных культфургонах, передники для поварих, домотканый холст для скатертей, окрашенные плуги, попоны, заботливо расшитые звездами, — все возникло в азарте соревнования. Женщины делали чудеса. Взяв над конями шефство, они чистили лошадей, мыли их теплой водой, вели ожесточенную войну с ревнивыми конюхами. Пряли рядно, мешки, — на старых громоздких ткацких станках, на древних пряхках. Столяры в бригадах соревновались, изобретая

складные разборные полевые обеденные столы. С невинными лицами заходили разведчики из одной бригады в другую — подглядеть, подслушать инициативу.



Внешне все обстоит превосходно. В степи — оживленные группы людей. Стоят новые таборы, и ветер натягивает, как паруса, их малиновые знамена. На линии горизонта, вдоль дорог, за увалами, на косогорах, идут тракторы, и степь доносит слабые отзвуки их взволнованного говора. Идут бороновальщики, и звеновой тянет песню. Идут сеялки, и сеяльщики поют песню. Едут девчата жечь сорняки, — девушки одеты пестро и нарядно.

Бригадирь довольны: все плуги в работе, план выполняется. Сонный учетчик, поднявшись с соломы, заложит руки в карманы и вяло скажет:

— Норма 0,75 га в день выполняется. Дают иные и по гектару. Только на мелких загонках множество поворотов поедает немало силы и времени и срывает выполнение норм.

Но почему так натужно идет четверик сытых, вычищенных лошадей? По стерне, распахивая ее поперек, четверик с трудом тянет однолемешный плуг. Почему, выходя на пригорок, кони останавливаются вздохнуть и под посвист, под понуканье погонщика рвут с места — и снова стоят?

Почему борозда идет рваной, изрубленной линией, словно рвут ее, а не срезают? Почему в борозде осыпь, почему на дорожку полевого колеса насыпается через чересло земля?

— Стой, плугарь!

Плуг, как плуг. Окрашен заботливой женской рукой, как везде здесь в колхозах. Лемех отточен, отвал нов. Ключ висит. Чистик с металлическим наконечником в руках плугаря. Но почему так высоко задран и скошен нож? Он неизбежно упирается в землю, затрудняя движение коням. Он не обрезает стенки пласта, и лемех не подсекает пласт, а рвет его. Плуг не идет, а ползет, как раздавленная ящерица. Силой коней

отрывается слой в борозде и, разрушаясь, ползет по отвалу. Э-эх, неровно идет плуг. Он переходит с одной глубины на другую, и только там, где влажнее земля, он пашет на глубине 16—18 сантиметров. Нет, плуг не отрегулирован. 5 минут работы над ним — и совсем иной выглядит борозда. Стенка ее словно выстругана, внизу она ровно срезана, кони идут легко и бодро, и только ты, плугарь, не зевай, веди свой инструмент, как скрипач смычок, — бережно перебирая пласты многогострунной земли. Иди, как и прежде, распевая и посвистывая, и пусть погонщик не бьет коней кнутовищем, — им легко: плуг как бы плывет в борозде. Пусти плуг — не шевельнется.

Бегал Калмыков целыми днями ездил по бригадам и звеньям в разных районах, пахал, сеял, проверял регулировку плугов и сеялок, уход за конями, чистоту таборов. Возвращался он злым. Он разыскивал секретарей райкомов, политотдельцев, колхозных работников и говорил им:

— Земля выжжена плохо, можно сказать, формально. Сгорела сухая трава, мусор кукурузных рубашек, а стебли остались несбитыми, несгребенными, несожженными, невыволоченными, и их запахивают. Пашут вредительно мелко. У вас много плугов на степи, много борозд проведено, идет пахота без огрехов, но если урожай будет плох и низок, причины его придется искать в предпосевной обработке почвы, в работе плугатарей прежде всего. Пахарь — это не человек, приставленный к плугу. Пахарь — это водитель плуга, искусный мастер. На самых легких землях, на мягких, неумелый человек повышает напряжение тяговой силы на 25—50 процентов, он снижает качество пахоты вдвое. У вас пахарь, как правило, плуга не знает, не умеет регулировать его, а когда плуг отрегулирован, тогда конь не бывает усталым и изнуренным и земля не знает неурожая. Ни сами вы, ни колхозники пахоты не знаете, не боретесь за урожай!

Осыпью, зигзагами срезов, мелкодонной бороздой по полям проходил след единоличных привычек хозяйствования,

след хозяйства, не имевшего плуга, след супряг, след деревенского кузнеца — главного конструктора и инженера инвентаря.

И вот пахарь пашет мелко, неровно и плохо. Норму перевыполняет. Все довольны: и сам плугарь, и учетчик, и бригадир, и инспектор по качеству, и начальник политотдела, и секретарь райкома. «План выполняется».

— Земля еще скажет свое. Она отмстит, — говорил Калмыков, и узкие глаза его загорались злостью — Я видел у Баксаненка «СТЗ» с трехлещным плугом. Плуг прошел так мелко, что кажется — здесь лучше вали стерню, а не пахали. Кое-где 5—8 сантиметров, кое-где 10—12, кое-где 15—16 сантиметров. Законная глубина, 18—20 сантиметров, остается лишь в каких-то «планах». Кто же совершает здесь преступление? Как оно совершается? Кто обкрадывает страну и колхозников?

Калмыков идет за трактористом, сжимая кулаки от ярости. Плуги без опорного колеса, без дисков ползут, забитые землею. Силой трактора они царапают землю, сдирают сухую верхнюю корку ее. Автоматы не действуют. Шайбы разболтаны. Все шатается и визжит, несмазанное, неподвернутое.

Это Нальчикская МТС выпустила плуги. Если остановить трактор и отрегулировать этакий плуг на глубину пахоты в 18—20 сантиметров, тракторист переводит трактор на запрещенную первую скорость, — на второй не тянет.

Шли сеялки, рассеивая подсолнух. Сытый, довольный колхозник сидит на передке, управляя четверней коней. Он мурлычет песню и не оглядывается: впереди — полтора пуда на трудодень, а он за день получает 2—2^{1/2} трудодня. А секции забиты сором, шелухой обрушившихся подсолнушков. Идет сеялка, диск прорезает землю, но семена неподвижны в ящике, — забитый высевной аппарат их не пропускает.

— Отвратительно пашут и сеют в краснознаменном районе, — говорил Калмыков своим товарищам. — Я отберу у нальчикцев знамя.

— И как бы они хорошо ни сеяли, мы должны придраться, добиваться лучшего, — отвечал он на возражения.



Весна была беспримерной. Никогда еще столь подготовленно и дружно не выходили колхозы на сев. Никогда не были так сплочены бригады. Никогда подавляющая масса колхозников не была так крепко, внутренне (сердцем!) убеждена в необходимости самой высокой трудовой дисциплины, самого ревностного отношения к колхозному делу. Именно сейчас, как никогда раньше, стало видно колхознику, как дорог и близок ему колхоз, видно, какая готовность яростно биться за урожай, за культурный зажиток живет в широчайших массах, требующих высокого качества руководства.

Качество сева и пахоты было в Кабарде небывало высоким. Плуг обычно в звеньях бригад колхозов «Старой крепости», Баксаненка, Психурей, Второго Кизбуруна был отремонтирован и отрегулирован безукоризненно. Поле лежало, как легкая, чистая, прибранная чистоплотной хозяйкой постель.

Хорошо шла весна на Баксане! Хорошо проторили дорогу весне в кабардинских колхозах. Я видел везде пронумерованный инвентарь; на плуге, на бороне, словно визитные карточки, были таблички с фамилией прикрепленных людей, с указанием норм выработки и оплаты в трудоднях; на фургонах, на бричках, на сеялках красовались гордые надписи: прикреплена к такому-то.

Чувство огромного удовлетворения охватывало при виде взрослых людей за плугом и бороной. Сколько огрехов, просеивов, плешин нагородили юнцы на полях 1933-го, особенно 1932 года!.. Сколько натертых конских спин, побитых холок, ран, рубцов, измученных лошадей породили неумелые руки подростков в прошлые годы! Теперь зрелые и проверенные люди вели коней, пахали, сеяли, борошили. Молодежь, даже восемнадцатилетние парни, продолжали учиться.

На дворах колхозников громоздились холмы сапеток (сараяв для кукурузы), — по 500—700 пудов кукурузы получили колхозники Кабарды в 1933 году. На бригадных дворах стояли по три, по пять, по семь коров, — собственность бригады, закупленная сообща колхозниками для общественного питания. На бригадных дворах я видел стаи кур, уток, гусей, — тоже бригадная собственность. Было полно фуража в бригадных амбарах, и тысячи тонн кормовой соломы и сена нетронутыми ометами громоздились в стени, как форты невиданной, небывалой колхозной крепости. Каждый колхозник знал свое место, свою производственную задачу, — он сам участвовал в составлении плана колхоза, он строил дорогу весне. Исток этой силы становился ясен, когда на равнине или за косогором возникал белый, недавно построенный крепкий, просторный дом под черепичной крышей. В доме — деревянный пол, у дома — телефонный столб. В доме женщины мазали стены и потолок, мыли полы, прибирали. Здесь — полевой штаб. Все сельское руководство — партиячка, сельсовет и правление колхоза со своей бухгалтерией — с весны перебрасовь в степь, расположившись в самом центре работы бригад.

Но и в штабах я не находил сельских работников. Секретарь ячейки и председельсовета, а тем более предколхоза с рассветом были в степи — на конях и пешком, настороженные и веселые, внимательные и вдумчивые. Они жили в бригадах. Шли за плугами, одновременно следя, чтобы тракторы не стояли, чтобы хватало тары под масло или бензин, чтобы чистили коней, чтобы завалившийся тын вокруг дома какого-нибудь колхозника не помешал ему выйти в степь, чтобы большая его жена была на селе окружена вниманием и обеспечена нужным уходом. Даже тяжеловесную кооперацию сумел крепкой рукой повернуть Бетал Калмыков, — в полевых станах бригад стояли разездные лавки в типовых полевых вагончиках.

Весна шла по широкой степи разливом тепла, уверенно и весело. Цепкий глаз стариков следил за каждым ша-

гом работы, крепкие руки женщин напружинились, чтобы тянуть отстающие звенья; красные флаги на упряжи лошадей ударников маячили над бороздами будущего урожая; школяры вприпрыжку бежали из школ в поля — выводить послед прошлогоднего урожая. Все жило колхозом. Раздольная песня звенела над степью. Я взволнованно видел могущество социализма, заливавшего равнины и горы половодьем засеянных и запаханных га.

Но Калмыков был недоволен ходом сева, качеством посевных работ. Он упрямо ездил по селам и по полям, ища недостатков.

Живы старые навыки, цепкие, жилистые. Одна бригада забыла культфургон, над приготовлением которого работали денно и нощно. Другая забыла попоны, те самые, что трудом и напряжением добывали женщины. Одна бригада привезла попоны, но забыла, что ими надо пользоваться. Так и висели попоны без толку на стану. Другая, — распрягая лошадей отдыхать, оставляла на них хомуты.

И каждый отдельный отрицательный факт, каждый неотрегулированный плуг Бетал Калмыков встречал, как когда-то встречали личное оскорбление. Он неистовствовал. Он кипел негодованием. Лицо его становилось черным, словно начинался незнакомый Беталу сердечный припадок.

И однажды ночью он предложил Налоеву — секретарю нальчикского райкома — сдать красное знамя первенства, завоеванное райкомом еще два года назад. Калмыков сказал:

— Красное знамя такие районы, как твой, не увидят три года. Вы перестали ценить знамя, а вас уже обгоняют, вас уже обогнали. Вы пашете хуже других.

— Нет, Бетал, — возражал Налоев, — я тебе ручаюсь, что нигде в области лучше нашего не работают.

— Этого мало. Что вы нового сделали по сравнению с другими районами? Первый агрогород строится у прималкинцев, лучший табор — у баксанцев, лучшие трактористы — у Мирзоева. Нет, нечему у вас учиться.

— Бетал, мы подтянемся. Мы уже взяли разгон.

— Я вижу, ты толстеешь с каждым днем. Такой толстяк, как ты, не может быть поворотливым. Ты видел пахоту в Первом Чегеме, за балкой? Видел? Если у вас в районе только один квадратный метр так вспахан, вы недостойны знамени.

И в полночь Налоев принес в обком знамя. Но Калмыков не принял знамени. Он сказал:

— Нет, знамя сюда доставит целая делегация. Бригадир, секретари ячеек, старухи, дети, ударники пусть пронесут это знамя в последний раз по колхозам, над мелкими бороздами вашего руководства. Пусть район облачится в траур. Пусть ярость масс разгорится с такой силой, чтобы новые ударники и новые руководители, честные, не умеющие успокаиваться и втирать очки, руководящие из борозды, из борозды бы и поднялись и отбросили вас, старых руководителей, предавших красное знамя!..

Высокий, грузный Налоев стоял, глотая слезы. Была холодная ночь, в кабинете было зябко. На красном мясистом лице Налоева густо выступил пот.

— Район стал топтаться на месте, — твердил Калмыков. — Вы забыли, что в других районах живые люди стремятся завоевать первенство.

— При каких условиях район может вернуть себе знамя, Бетал? — осторожно спрашивал Налоев.

— Боюсь, что вам никак не удастся взять его снова, — отвечал Бетал и, прищурившись, вглядывался в лицо Налоева, в растерянные и отчаявшиеся его глаза. — Условия ты сам знаешь.

— Если вы хотите иметь знамя, вы должны так работать над животноводством, чтобы быстро поднять качество и количество поголовья скота. Направление работы по животноводству в нашей области продумано и решено. Мы ведем работу в основном на улучшение поголовья «самого в себе», путем правильного подбора производителя и матки, путем освежения крови кабардинской лошади за счет английской, рога-

того местного скота — за счет швица, овцы — за счет горной каракулевой, местной свиньи — за счет английского хряка, местной птицы — за счет петуха род-айланда, местной пчелы — за счет абхазской и итальянской пчелы, местной охранной собаки хапара (волкодава) — за счет тушинского кобеля. Такая метизация может освежить кровь поголовья, но такая метизация ничего не даст, если не будет сделано главное, а именно поставлено дело кормления. Качество приходит через рот. Без обеспечения хорошим кормом и правильным кормлением метизация не улучшает поголовья, а предрасполагает его к вырождению и рахиту и прочее, решает качество кормов, кормление, уход и содержание. Помните: качество приходит через рот!

Чтобы получить красное знамя, надо любовно заняться подбором производителей и маточного состава, случкой, воспитанием молодняка, приростом, приплодом. В каждом вашем колхозе обязательно должны быть образцовые культурные коневодческие, молочные, овец и свиньи фермы.

Агротехническая культура у вас еще не стоит на должной высоте. Наша программа — воспитать у руководящих работников сверху донизу и у всех колхозников любовное и культурное отношение к земле. Если человек хорошо знает землю, которую ему надо обрабатывать, и орудия обработки, если он умеет видеть, как сложилась осень и какая идет весна и как ему в сегодняшних климатических, метеорологических, почвенных и прочих условиях нужно пахать, если человек имеет перед собой не только план севооборота на этом участке земли, но и представляет себе глубину вспашки здесь в следующем году, и через два, и через три года, тогда такому человеку можно доверить землю, он сумеет сохранить ее плодородие, поднять его, он будет холить эту землю, как мать — свое дитя. Вот почему, введя обязательное изучение агротехники для всего состава партийной организации, мы обязали каждого коммуниста обучать колхозный актив с тем, чтобы в самый короткий срок каждый

колхозник и каждая колхозница были у нас агротехнически грамотными, были культурными хозяевами, достойными труда на социалистической земле. Руководящий состав района, колхозов, бригад должен овладеть техникой производства в течение 1934 г., все трудоспособные колхозники и колхозницы — к концу второй пятилетки.

МТС — рычаг перестройки сельского хозяйства, организатор колхозного производства — должна в дальнейшем еще больше расширить свои задачи. Трактор не только пашет, сеет и убирает, трактор становится знаменосцем всего нового в колхозе, он несет новую культуру хозяйства, организованность, качество работы. Руководители МТС должны знать, как распределить земли под посев, как и где пахать и сеять. МТС должна вооружиться метеорологией, должна взять на себя заботу о садовых питомниках, стать организатором животноводства, рассадником племенного дела. Трактор — сердце МТС, и если мы не будем его беречь, разве весь организм сумеет исправно работать? А тракторист заставляет сердце работать. Что будет, если мы его забудем? Забота о трактористе — дело всего колхоза. Колхозы должны между собою соревноваться на то, чья тракторная бригада находится в лучшем состоянии.

Нам, борющимся за социалистическое изобилие, требуется не только высокое качество работы, но и высокое качество продукции — хлеба, овощей. В каждом колхозе должен быть обязательно колхозный сад, засаженный саженцами самых лучших сортов фруктовых деревьев. Надо поднимать товарность наших колхозов, от нее идет все, в том числе и возможность перестройки сел в агрогорода, к чему мы и приступили. Нальчикский район, строящий агрогород в колхозе им. Андреева в Кенже, должен не только построить город первым, но и развернуть колоссальную работу по подготовке к перестройке всех колхозов района и в 1934—1935 гг. закончить возведение культурных полевых производственных построек по всему району.

Калмыков умолкал, думал и, оживившись, снова начинал перечислять условия получения знамени:

— В районе не только основные дороги и мосты, не только межселенные дороги, но и полевые бригадные дороги между стогектарками должны быть благоустроены и образцово содержаться, — их следует обсадить деревьями. Не должно быть ни одного неблагоустроенного населенного пункта, ни одного неблагоустроенного общественного колхозного двора и общественного здания, совета, правления, школы, кооперации, больницы, медпункта и других, ни одного неблагоустроенного двора колхозника.

В нынешнем году Кабарда ничего особенно нового не внесла в свою массовую работу. Силы, поднятые колхозным движением, велики и неистощимы. Все дело было в том, чтобы правильно их расставить, направить, руководить ими. На борьбу за колхозное дело в Кабарде подняты и старики, и старухи, и люди среднего возраста, и молодежь, и дети. Всеми ими требовалось руководить очень внимательно, применительно к положению каждой группы людей. Зимой эту могучую силу бросили на дело так называемой инвентаризации. Инвентаризация — это значит обеспечение культурно-бытовых потребностей колхозной бригады, колхоза и колхозника абсолютно всем необходимым для перепервой работы на поле. Эта задача очень тяжелая и чрезвычайно важная. Надо было доставать множество вещей, которых раньше не было ни в быту крестьянина, ни в его производственном обиходе. Теперь стояла задача — научить колхозника пользоваться всеми предметами культурного обихода и средствами культурного хозяйствования. Когда колхозник, после работы на поле, умывается мылом и меняет рабочую одежду на чистую, ест вкусную и питательную пищу, спит на удобной постели, на чистой простыне, на чистой наволочке, — его отношение к производству круто меняется. И мы видим, что, как только наши колхозы стали расправлять крылья, начало все кругом меняться. Меняется степь. Силой

людей и тракторов раскорчевываются леса, расчищаются кустарники, прочищаются канавы, проводятся дороги. Меняется самая деревня. Колхозник показывает свою любовь к ней тем, что обсаживает дороги деревьями, обмазывает эти деревья, окружает дворы хорошими плетнями, содержит двор и улицу в чистоте, старается везде одеться лучше и наряднее. Человек начинает жить по-новому, думать по-новому, ходить новой походкой. Но только начинает. Мы стоим на дороге величайшей эпохи формирования нового человека. Это должен быть трудолюбивый, здоровый и культурный человек, неустанно думающий о том, как еще лучше поставить дело, как еще красивее, еще обильнее сделать нашу жизнь.

— Совершенно обязательно начать чутко и любовно заботиться о матери и ребенке, — диктовал Калмыков Налоеву. — Руководители обязаны знать о житье-бытье колхозной семьи, повседневно заботиться о нуждах живого человека. Для руководства не может быть безразличным, как мать питается, как она одевается, как живет, ибо это — мать нашего потомства. Забота о детях — прямой показатель силы и состояния колхоза. Отсюда вытекают вопросы культурного воспитания детей, организации детских садов, площадок и школ.

Надо больше думать о живых людях, — говорил Калмыков. — Помещичье-кулацкий строй оставил нам очень тяжелое наследство в виде неуважения к личности, пренебрежения к насущным интересам живого человека, неумения почувствовать нужду и обиду отдельного конкретного человека, как свою личную. Мы преодолеваем это наследство. Мы внушаем работникам милиции, низовым административным работникам и всему активу обязанность чуткой заботливости, внимания к людям. Мы учим сельского работника жить одинаковой жизнью с крестьянином — трудовой жизнью, трезвой и культурной. В первом ряду ударников обязаны идти коммунисты. Каждый секретарь парторганизации в селе и в колхозе, каждый

предколхоза, каждый председатель сельсовета должен выработать физическим трудом не менее половины трудодней лучшего в колхозе ударника. Трудоспособные родственники коммуниста, комсомольца и активиста, работающие в хозяйстве, на колхозных полях, должны работать ударно, а не укрываться за спиной своих ответственных родичей. За это тоже отвечают коммунист и комсомолец.

— Вот, Налоев, чего хочешь от тебя обком, как от руководителя района. Подумай: можешь ты обеспечить все это или не можешь? И рассчитай сам, когда при этих условиях ваш район может получить красное знамя...

Калмыков искоса, щуря свои узкие, отливающие золотым теплом глаза, глядел на Налоева.

Налоев молчал.

— Все? — наконец спросил он.

— Мало тебе? — удивился Бетал.

— Нет, дела хватит...

Налоев вытер рукавом пот с лица, повернулся и вышел, не попрощавшись.

Мы услышали, как внизу, в переулке, зацокала лошадь. Налоев понесся в степь.

Бетал выглянул на балкон. В упор на него с черного неба глядел Орион-охотник. Бетал, прислушиваясь к замравшему цокоту, повел плечами и сказал:

— Ну, теперь завернет! Но я ему покоя не дам. Не слезу с района. За весну Налоев станет вдвое тоньше.

И вернулся в свой кабинет. Постучал по стеклу барометра. Стрелка была неподвижна.

— Беда! Сухо!.. Надо мобилизовать реки...

И в полночь стал созывать работников, чтобы выяснить возможность замены дождей.

Он начинал борьбу с засухой.

За рубежом

1 Л. КАЙТ — Марка Геринга 2. ЛЕВ ВАРШАВСКИЙ. — Германские большевики в подполье

1. МАРКА ГЕРИНГА

Л. Кайт

Что делают и чем занимаются в Третьей империи руководители «восстания» непосредственно перед осуществлением своего замысла, удача которого зависит от того, удастся ли справиться штурмовикам с объединенными силами рейхсвера, полиции, «Стального шлема», защитных отрядов (СС) и полевой полиции (белые СА)?

Главный начальник коричневорубашечников-штурмовиков, Рем, шумит по поводу навязанного ему четырехнедельно отпуска «для поправки здоровья», который является несомненным признаком ограничения его прежней власти, но в конце-концов уединяется и выжидает в своей вилле на берегу маленького баварского горного озера. Его заместитель фон-Краусер продолжает переговоры со «Стальным шлемом» по поводу непрекращающихся инцидентов: в последних числах июня из бюро печати начальника штурмовых отрядов поступает во все редакции подписанное Краусером и составленное в энергичных тонах опровержение утверждения представителей «Стального шлема», будто бы недавнее убийство штурмовика где-то в провинции вызвано не политическими, а исключительно личными мотивами. Никому неизвестно, примет ли бумажная перестрелка между штурмовиками и «Стальным шлемом», которая затихла почти год назад, прежний хронический характер.

Гейнес, который якобы хотел в течение следующего дня начать «вторую революцию», передает заместителю свои полномочия (а также и силы, на которые он опирается) в качестве начальника бреславльской полиции и руководителя силезских штурмовых отрядов. Свое недовольство по поводу вновь выявившейся жизнеспособности «Стального шлема» он стремится позабыть в интимных удовольствиях специфического оттенка, которые могут быть предоставлены ему, на уже указанной вилле Рема. Перед тем как отправиться туда, он, будучи «воспитанным» человеком, посылает, бросив взгляд на календарь, поздравительное письмо в редакцию журнала «Дер дейче» в связи с предстоящим юбилеем этого журнала в качестве органа «германского рабочего фронта».

И наконец Эрнст, начальник берлинских штурмовых отрядов, предусмотрительно — за пять недель до начала общего отпуска штурмовиков — приобрел для себя и для своей молодой жены билеты на пароход, отправляющийся в Мадейру. Последнюю ночь перед отъездом — ночь на 30 июня — он проводит в первоклассной гостинице в Бремене.

Если бы проследить, как провели день 29 июня остальные «заговорщики», получилась бы такая же мирная картина.

Когда германский читатель знакомился по национал-социалистской печат-

ти с декларацией Краусера, направленной против «Стального шлема», Краусер и Рем уже были трупами. Журнал «Дер Дейче» поместил в своем юбилейном номере от 1 июля (!) приветствие только-что «казненного» (к тому же факсимиле!). Каюта Эрнста на океанском пароходе осталась неиспользованной, — владеец ее был расстрелян офицерами защитных отрядов в бывшем кадетском корпусе Лихтерфельде около Берлина, главной квартире полиции Геринга.

То, чего не могли представить даже самые злые враги национал-социализма, — нового издания кровавого фарса о поджоге рейхстага, закончившегося катастрофическим фиаско для фашистского режима, — повторилось снова. Рука Геринга опять орудует за кулисами. Однако декорации и круг лиц, откуда берутся жертвы, переменились. Герингу на этот раз послужили уроком ошибки его прежней постановки. Он не пожелал второй раз в условиях открытого судопроизводства, на глазах всего мира, превращаться из обвинителя в обвиняемого. Участники «заговора» Рема из предосторожности были убиты почти в момент их ареста: благодаря этому одновременно исчезли и опасные свидетели, посвященные во все тайны поджога рейхстага!

Перед лицом всеобщего отвращения, бойванного этой беспощадной кровавой гейней, которое отнюдь не связано с какими-либо личными симпатиями к таким существам, как Гейнес и Рем, была задним числом в спешном порядке сфабрикована легенда об осуждении «изменников» «военным судом». Однако в деле со Шлейхером подобная версия представлялась невозможной. Фактическая обстановка, при которой был застрелен в своей вилле Шлейхер, немедленно получила столь широкую огласку, что в этом случае пришлось отказаться от попытки сослаться на приговор «военного суда». Поэтому пришлось прибегнуть к другому излюбленному маневру: стали утверждать, что генерал Шлейхер оказал сопротивление при аресте и поэтому был застрелен, вместе с женой.

Метод, который применяет Геринг при своих непрестанных усилиях «спасти государство и народ», чрезвычайно примитивен. Так как он давно уже всем хорошо известен, его нельзя применять с успехом. Однако это не мешает Герингу снова и снова прибегать к этому методу, пока соотношение сил ему это позволяет.

Этот план заключается в том, что потенциальные угрозы, которые могут приобрести реальное значение только в более или менее близком будущем, он изображает в виде острой непосредственной опасности для того, чтобы получить таким образом право и даже быть «обязанным» отразить «врага» путем безоговорочного применения всех мер государственного аппарата. А какое облегчение создаст все это для пропагандистской работы, которая постоянно наталкивается — при объяснении необычных правительственных мероприятий — на исключительные трудности!

Настроение рабочего класса после прихода к власти Гитлера 30 января 1933 года было в высшей степени обостренным и возбужденным. Отдельные горячие головы могли играть с идеей вооруженного восстания и только ждали соответствующего «сигнала». Однако коммунистическая партия, руководящая революционным пролетариатом Германии, не допускала подобных путчистских настроений в своей среде. Она не думала и не могла повести германских рабочих на авантюру, которая могла кончиться только поражением. Упорно, систематически, с готовностью к жертвам, но вместе с тем с ясной головой и марксистским анализом тогдашней ситуации и соотношения сил подготавливает КПГ германский Октябрь, понимая, что, с другой стороны, предоставление фашизму власти означает не что иное, как то, что монополистический капитал Германии все больше и больше теряет почву под ногами.

Для того, чтобы провести свой крестовый поход против коммунизма в самых широких масштабах, чтобы убить сотни лучших революционных борцов и послать десятки тысяч в концентрацион-

ные лагеря и тюрьмы, Геринг нуждался в легенде о поджоге рейхстага, который якобы должен был послужить сигналом к коммунистическому вооруженному восстанию против гитлеровского режима. Конечно Геринг не смог нанести смертельный удар коммунизму. Компартия решительно и твердо собирает в подполье свои силы для боя с обреченной на смерть капиталистической Германией. Геринг еще раз применил в 1933 г. свой «план»: в один прекрасный день изумленные берлинцы узнали из газет, какой страшной опасности подвергались они накануне. «Вражеские самолеты неизвестного происхождения» были замечены среди бела дня над столицей Германии. 150 работавших тогда в Берлине иностранных корреспондентов были как-раз в это время — все в полном составе — в отеле «Адлон», на внешнеполитическом докладе Альфреда Розенберга. Какое совпадение! Ни один из них, таким образом, не мог поместить в своей газете выражение своего изумления по поводу того, что он не был свидетелем этого вторжения иностранных самолетов... Весь мир смеялся. Однако внутри страны многие принимали это за чистую монету. Ведь это было еще в начале режима! Геринг во всяком случае хорошо использовал подстроенную им самим «махинацию с «вражескими самолетами над Берлином». Ссылаясь на свою ответственность в качестве министра авиации и выступая под лозунгом «обеспечения гражданского населения от воздушной опасности», он чрезвычайно энергично требовал постройки германского воздушного флота, а также подготовки населения к воздушным атакам. От абстрактного требования «предохранительных мероприятий» на случай будущих воздушных угроз он конечно не мог бы ожидать подобного эффекта. Пропаганде должна была быть придана убедительность посредством «инцидента», производящего сильное впечатление на обществу.

Кровавые события в июне — июле представляют собой третий случай применения «метода Геринга» — в еще более расширенном масштабе.

Штурмовые отряды, по крайней мере в том виде, в котором они существовали до сих пор, должны были быть распущены. Это было неоспоримой истиной для большинства членов кабинета, к которому относятся Бломберг, Геринг, Папен, Зельдте, Нейрат, Шверин-Кроссигк и Шмидт. Необходимость роспуска штурмовиков диктовали внешнеполитические, внутреннеполитические, финансовые и экономические мотивы. Не противившийся этому по понятным причинам Рем или его тогдашний подручный Геббельс навязали постоянно колеблющемуся Гитлеру свою волю, а Геринг — свою.

О роспуске штурмовых отрядов за последние недели уже было много всяких разговоров. В ряде пунктов у штурмовиков уже начали отбирать оружие. Как однако можно было объяснить широким национал-социалистским кругам необходимость нанесения смертельного удара маховому колесу движения, — тем самым штурмовым отрядом, которым Гитлер и Геринг так часто публично выражали свою благодарность за то, что они привели их к власти?

Разве можно было сказать, что этого хотят иностранные державы, например Франция, что на этом настаивает и «друг» Муссолини? Разве можно было сказать, что члены штурмовых отрядов в значительной части перестали быть теми, кем были год назад, что они перестали быть верным орудием в руках враждебного рабочему классу диктаторского правительства? Можно ли было сказать, что государство настолько обанкротилось, что больше не может себе позволить роскошь содержать двухмиллионную армию коричневорубашечников? И разве можно было наконец рассказать о новых серьезных попытках на жизненный уровень германского рабочего класса, которые проектирует в ближайшем будущем финансовый капитал, желающий чувствовать себя свободным при совершении этой операции от давления находящихся за его спиной разложившихся, радикализовавшихся и к тому же вооруженных штурмовых отрядов?

Конечно все это было невозможно. Как же можно было найти подходящую мотивировку для роспуска штурмовых отрядов? Очень просто. Снова должна была быть найдена какая-либо «острая» опасность, которую можно было бы запугать обывателя. Эта опасность должна была быть отражена «в последнюю минуту» благодаря бдительности государственных органов. Да здравствует наш незаменимый Геринг и его Гестапо (тайная государственная полиция)! Путч штурмовиков? Не совсем. Это было бы признанием того факта, что «яд Шерингера» (который также находится среди жертв 30 июня) оказал свое воздействие на штурмовиков. Нет, «молодцы»-штурмовики конечно и не думают о возмущении. Они верны вождю Гитлеру и идее, однако честолюбивые, морально разложившиеся, извращенные начальники штурмовиков хотели устроить восстание. Они хотели свергнуть Гитлера и убить его, чтобы занять его место. Они связались с «реакцией», с г-ном Шлейхером и через его посредство вступили в заговор с кровавым врагом Германии, — с Францией. Однако, как только преступление было раскрыто, немедленно последовало наказание. Все они уже вычеркнуты из списка живых. Следствие и суд продолжают. Генеральная реорганизация и чистка штурмовых отрядов при таких обстоятельствах, естественно, является необходимой и т. д., и т. д.

Чем длиннее становится список убитых (а в настоящее время еще никто не знает полного списка), тем сильнее надеются Геринг и Гитлер на всеобщее принятие и признание тезиса о «заговоре» Рема. Ведь нельзя себе представить, — и честные сторонники национал-социализма действительно не могут себе представить, — что сотни товарищей по партии и старых соратников фашистского движения должны были лишиться жизни в самых ужасных и позорных условиях только для того, чтобы дать повод для такого административного мероприятия, как роспуск штурмовых отрядов. Психологический просчет! Гримасы национал-социализма сейчас до-

статочно хорошо известны всему миру, чтобы можно было именно в событиях 30 июня и последующих дней узнать типичные черты этого движения.

«Заговор» должен был быть инсценирован. Он и был инсценирован. Роль деятеля, бросающего лозунг, выпала на долю Папена. В своей знаменитой марбургской речи 17 июня он ополчился против постоянных разговоров о «второй революции». Он предупреждал этих революционеров, что тот, кто «угрожает другим гильотиной, легко сам становится жертвой топора» и что за второй революцией может последовать третья. Странно! Когда Геринг вечером 30 июня принимает представителям иностранной прессы для того, чтобы «информировать» их о событиях, он прибегает как-раз к тем же самым выражениям, что и фон-Папен 13 дней назад. «Они (т.-е. Рем и другие заговорщики), — заявляет Геринг, — хотели устроить вторую революцию, мы же устроили сейчас же за ней третью». До сих пор никто не знал за г-ном Папеном пророческого дара.

И вообще где выискал вдруг Папен эти слова о «второй революции»? Уже в течение двух месяцев развертывалась кампания Геббельса против «смутьянов и шептунов». Ораторы так называемого «радикального» направления, представители молодежной организации национал-социалистской партии, «германского рабочего фронта», а также штурмовых отрядов, и в первую очередь сам Геббельс сделали несколько выпадов против «реакции», которая не должна и думать о том, чтобы снова осмелиться показаться из своих мышиных нор. Таким образом, эти национал-социалисты огнюдь не чувствовали себя в положении обороняющихся, отнюдь не чувствовали себя доведенными до непосредственной необходимости думать об устройстве «новой революции». Где же раздавались слова о «второй революции»? Вы их не найдете ни в одном отчете германской и иностранной печати. Папен с определенной целью вытаскил эти слова из арсенала лозунгов стеннесовской эры движения штурмовиков для того, чтобы «при-

шить» этот лозунг Рему и Эрнсту в тот момент, когда они уже будут не в состоянии ответить на обвинение в устроительстве «второй революции».

Не случайно операция Геринга была произведена 30 июня. Это был, так сказать, самый последний срок для нее. 1 июля начинался общий отпуск всех штурмовиков, и многие высшие начальники штурмовиков, которых хотели устранить, собирались, как Эрнст, провести время отпуска за границей, т.-е. оказались бы за пределами досягаемости. В глазах не критически настроенной общественности официальная версия имела известное правдоподобие. Она верила, что штурмовики, по приказу своих вождей-изменников, должны были выступить как-раз в тот день, когда штурмовикам, впервые после времен Брюнинга, было предложено снять свои коричневые рубашки (ведь во время отпуска им строго запрещалось носить форму). Почему же в кабинете Геринга не назначили «заговор» Рема на более ранний срок? Причину этого довольно легкомысленно выдает национал-социалистский лидер и прусский государственный советник Герлицер в своем публичном выступлении 5 июля в Марбурге. «Удар по крамольникам и стоящим за ними людям, — сказал Герлицер, согласно отчету органа Геринга «Национальцейтунг» от 6 июля, — подготавливался уже давно и только по внешнеполитическим причинам откладывался до известного времени».

Действительно, в июне Гитлер развил чрезвычайно энергичную внешнеполитическую деятельность, так же как и его чрезвычайные эмиссары. Роббен-троп продолжает свои лондонские переговоры по вопросу о вооружениях — в Париже, с Барту. Геббельс спешит в Варшаву. Гитлер едет на свидание с Муссолини в Венецию. Нет никакого сомнения, что во время всех этих бесед речь касалась и штурмовых отрядов. С германской стороны были сделаны известные заверения. Казалось довольно неплохим ходом освободиться от штурмовиков, являвшихся — в то время — потенциальным социальным фактором опасности, и одновременно

изобразить это перед границей как жест, свидетельствующий о готовности к соглашению в области вооружений.

Внутри германского кабинета уже довольно давно работал в этом направлении военный министр Бломберг. Это объясняется следующими причинами: 1) военное значение штурмовых отрядов в качестве боевой силы было ничтожно, а о политической верности этого отовсюду набранного человеческого материала не приходится и говорить; 2) предусмотренные в государственном бюджете на содержание штурмовых отрядов 270 миллионов марок мог бы хорошо использовать сам рейхсвер; 3) Рем становился все несноснее со своими попытками использовать тайно производящуюся реорганизацию рейхсвера в 300-тысячную армию (с сокращенным сроком военной службы) для того, чтобы включить организации штурмовых отрядов в ряды регулярной армии, обеспечив высшим начальникам штурмовиков командные посты в рейхсвере, и, опираясь на столь мощную силу, приведенную с собой, самому занять пост военного министра.

Уже 7 мая берлинский корреспондент лондонской «Таймс» сообщает:

«Процесс военной реорганизации является решающим пунктом политического развития в Германии как в области внутренней, так и внешней политики... В боях между штурмовыми отрядами и рейхсвером побеждает все больше последний. Советы Бломберга имеют большой вес у Гитлера. Сперва между ними обсуждались претензии старших начальников штурмовиков, из которых многие служили в старой армии, на занятия постов в увеличенной армии при краткосрочной службе, на создание которой решила Германия, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение о вооружениях, или нет. Вопрос этот разрешен не в пользу штурмовых отрядов. Руководство рейхсвера не намерено отказаться от высоких требований, которые предъявляются в армии к командному составу. Бывшие офицеры, безразлично от того, какие посты они занимали в штурмовых отрядах, не имеют никаких шансов на возвращение в рейхсвер, не пройдя предварительно основательного повторительного обучения. Самое большее, на что могут рассчитывать начальники штурмовиков, так это на зачисление их, после соответствующего обучения, в резерв в ожидании

того дня, — если он когда-либо наступит, — когда Германия получит право открыто содержать резервную армию».

«Вторым спорным пунктом, — гласит далее отчет «Таймс», — является вопрос, будут ли штурмовики приниматься в новую армию в индивидуальном порядке, или целыми частями. Рейхсвер снова отказался отступить от своего принципа тщательного индивидуального отбора, и снова Гитлер стал на сторону рейхсвера, а не на сторону начальника штурмовиков Рема».

«Начальники штурмовиков и «радикалы» внутри партийной организации, — продолжает английская газета, — не признали себя окончательно побежденными. Формальное введение арийского параграфа в рейхсвере, которое на практике имеет там малое значение, оставленная штурмовикам возможность устраивать блестящие собрания и парады, разрешение им, так сказать, иметь собственное маленькое военное министерство с имперским министром без портфеля г. Ремом во главе, — все это представляет попытку позолотить пилкою штурмовикам».

«Таймс» комментирует сообщения своего берлинского корреспондента с чувством глубокого удовлетворения. Гитлер не откажется от своих военизированных организаций, так же, как Муссолини не откажется от своей фашистской милиции. Однако они будут «сокращены до размеров, которые будут отвечать французским требованиям. Штурмовые отряды в значительной мере осуществили те задания, для которых они были в свое время организованы. Они привели партию к власти, они помогли полиции после победы движения восстановить порядок».

Нельзя было сказать более ясно, чем это сделала «Таймс», что мавр сделал свое дело и может уходить.

В области вооружений все разворачивается именно так, как это писала накануне «Франс милитер», заявившая, что «не армия коричневорубашечников, а профессиональная армия будет той армией, которая будет увеличена или реорганизована в связи с проблемой вооружения».

«Друзья» Германии в Лондоне и Риме мотивировали свое требование о роспуске штурмовиков не только соображениями из области вооружений («нужно лишить Францию важного предлога, позволяющего ей упорствовать в своей

крайней неуступчивости в вопросе вооружения»), но и указаниями на опасное разложение, которое становится все более заметным в рядах штурмовиков. Путем устранения так называемых «радикальных элементов» Гитлер и Геринг хотели также показать иностранной дипломатии и своим германским заказчикам, что движение «нормализовалось». «Стабильность» режима и тем самым его значение в качестве внешнеполитического союзника, а также кредитоспособность, без сомнения, являлись целями, к которым стремились Гитлер и Геринг.

Однако как глупо, совершенно не учитывая психологических результатов, вели себя фашистские лидеры при проведении своего плана. Если бы были устранены только Рем, Гейнес, Эрнст, Шмид и другие известные и неизвестные начальники штурмовиков, за границей относительно скоро перешли бы к очередным вопросам дня. Однако жуткие и фантастические условия, в которых была произведена эта бойня, и прежде всего то обстоятельство, что режим воспользовался случаем для того, чтобы беспощадно и коварно убрать с дороги сотни известных политических деятелей из различных правых групп, — все это вызвало во всем буржуазном мире (а не только в антифашистски настроенных буржуазных слоях) такую огромную волну отвращения и протестов, а также столь серьезные опасения иметь таких безумных партнеров на международной арене, что изоляция, в которой находилась Германия, в эти дни усилилась еще больше. Джон Саймон и Муссолини совсем не так представляли себе переход Третьей империи к более «нормальному» режиму!

Однако и в этом безумии, которое, казалось бы, без выбора умерщвляет одного за другим таких людей, как Шлейхер, Грегор Штрассер, генерал Лоссов, Кар, Клаузнер, ближайшие сотрудники и секретари Палена, известные деятели «клуба господ», летчики, доценты, редактора, — и в этом безумии есть определенная система. Они должны были быть устранены, потому что они когда-нибудь и где-нибудь могли

стать на дороге Геринга. (Внезапное появление Брюнинга в Лондоне в середине июня произвело уже тогда некоторое впечатление. В течение 18 месяцев бывший рейхсканцлер никуда не уезжал из Берлина, где он жил в католической больнице, совершенно отказавшись от внешнего мира. Как сообщает «Нейе цюэрингер цейгунг», Брюнинг получил своевременное предостережение и вовремя спасся.) Остальные пали жертвой мести за прошлое. (Кар, Лоссов например осенью 1923 года стали на пути выступлению национал-социалистов.)

Устранение всех этих людей имело к тому же целью заставить поверить массы, идущие за национал-социалистами, что удар главным образом нанесен правым, что он направлен по преимуществу против «реакции». Для национал-социалистских масс воплощением понятия «реакции» является Папен, в особенности после его марбургской речи. Геринг очень охотно воспользовался бы этим случаем для того, чтобы убрать со своего пути и Папена, выразив ему в такой форме «благодарность» за существенную помощь, которую представляло марбургское выступление вице-канцлера. Однако в данном случае победило влияние других, более сильных лиц, нежели Геринг, и он должен был ограничиться тем, что приказал расстрелять настоящего автора марбургской речи, публициста Юнга, и начальника бюро печати Папена фон-Бозе (последнего — в служебном помещении вице-канцлера), бросив, таким образом, грубейший вызов самому Папену. О затруднительном положении Папена достаточно ясно говорит то, что он в течение нескольких дней не выходил из своей квартиры и еще сейчас у его дверей стоит тяжело вооруженная стража. Вице-канцлер был единственным членом правительства, — кроме расстрелянного Рема, — который отсутствовал на заседании рейхстага 13 июля.

Когда разразится борьба за власть между Герингом и Гитлером, между Герингом и Бломбергом и как это случится? Грызня «вождей» между со-

бой является только одним, и не самым важным, моментом в той хаотической картине, которую представляет современная Германия. По коварному совету Геринга, Гитлер согласился отстранить штурмовые отряды, что в результате крайне сузит его прежнюю базу в широких мелкобуржуазных массах и делает его в будущем зависимым от подчиненных Бломбергу и Герингу представителей вооруженной силы — рейхсвера, защитных отрядов и полевой полиции. Такие маневры, как реорганизация штурмовиков в августе-сентябре, назначаются специально для того, чтобы замаскировать это положение. Впрочем далеко не невозможно, что Гитлер попытается повернуть вспять колесо истории и снова сделать штурмовиков, несмотря на все, что произошло, своей опорной силой. Однако теперь это ему не удастся. История не повторяется.

Обострение экономического положения, совершенно конкретные проблемы, перед которыми стоит диктаторское правительство, не позволяют никаких новых экспериментов. Демагогия, от помощи которой ни при каких обстоятельствах нельзя отказаться совсем, все же должна будет все более и более уступать место грубому насилию. Финансовый капитал предписывает теперь более короткий, хотя и более опасный, путь. Положение не оставляет никакого выбора.

В фашистской экономической политике под все более невыносимым давлением обстоятельств подготавливается поворот. Прежний курс в области рынка труда, внешней торговли и валютной политики завел в безнадежный тупик. Может быть, с помощью новых мероприятий удастся выйти из тупика? Как и всегда, издержки должны будут оплатить трудящиеся.

Средняя заработная плата германского рабочего составляет, даже по официальным данным, только 26 марок в неделю. Этот уровень, без нарушения существовавших до сих пор тарифных ставок, достигнут в результате того, что то же количество работы делится между большим количеством рабочих. Со-

кращение безработицы, которое, само собой разумеется, далеко отстает от хвастливых утверждений национал-социалистской печати, объясняется главным образом увеличением количества рабочих, занятых на производстве неполный рабочий день. Это совершенно ясно видно из годичных отчетов крупных предприятий, как АЭГ, заводы Сименса и др. Эти отчеты показывают увеличение количества рабочих при прежней сумме выплаченной зарплаты. Если, кроме того, всю безработную молодежь в возрасте до 25 лет удаляют с рынка труда принудительными мерами (отправка в лагеря трудовой повинности или в деревню в качестве батрака); если, затем, представителей этой молодежи, еще имеющих работу, удаляют из предприятий и учреждений, чтобы поставить на их место женатых безработных, то конечно с помощью таких методов можно добиться «успеха» кампании за предоставление труда безработным при Гитлере. Если германские металлисты приносят домой только 26 марок в неделю, а рабочие-табачники (большинство среди них — женщины) — только 13,5 марки, то эти цифры в сопоставлении с постоянно возрастающим уровнем цен являются цифрами, о которых «*Нейе цюрихер цейтунг*» недавно выразилась, что они кричат о «крайней нужде германского рабочего класса».

Продукты питания в Германии не только становятся дороже, но и количество их все уменьшается и уменьшается. Снова на улицах Берлина и других городов появились длинные картофельные очереди — картофельные полонезы, как их называют в Германии. Впервые правительство устанавливает для крестьян обязательную сдачу зерна. Во многих районах наблюдается крайняя нужда в кормовых средствах. Это влечет за собой распродажу за гроши и массовый убой скота. Опасаясь обесценения марки и недостатка в товарах, население вновь начало запасаться во всей стране. Для успокоения населения и в качестве тактического хода по отношению к иностранным державам, которые ведут с Германией переговоры о трансферном и

торговом соглашении, недавно официальные германские инстанции подчеркнули, что отдельные отрасли промышленности обеспечены значительными запасами сырья иностранного и германского происхождения. Однако отчеты торговых палат и промышленных союзов говорят совершенно обратное. Все чаще встречаются сообщения о том, что предпринимаются крупные увольнения рабочих или что подобные увольнения неминуемы в ближайшем будущем. К тому же в гаванях и таможенных складах на сухопутной границе лежат горы иностранного сырья, которые не могут попасть в Германию, так как Рейхсбанк не может предоставить германским покупателям иностранной валюты для оплаты этих закупок.

К мероприятиям, с помощью которых фашистские руководители хозяйства надеются вызвать перемену положения, относятся форсирование производства национальной сырьевой промышленности и одновременно сильнейший экспортный демпинг. И то, и другое требует крайне низких ставок зарплаты. Низкая зарплата в суррогатной промышленности необходима для того, чтобы сократить значительное в настоящее время расхождение цен между ввозимым до сих пор сырьем и производимыми теперь внутри страны суррогатами, — расхождение, которое делало до сих пор в большинстве случаев нерентабельным производство суррогатов. Сокращение заработной платы в отраслях промышленности, работающих на экспорт, является само собой разумеющимся следствием острой конкуренции на мировом рынке.

На этих днях имперский министр хозяйства Шмидт получил генеральные полномочия, которые впервые встречаются в экономической истории Германии. До 30 октября он имеет право управлять по собственному усмотрению. Каждое его распоряжение, какой бы радикальный характер оно ни носило, становится законом с той минуты, как он его отдаст. Не прибегая к помощи юстиции, он, на основании собственных полномочий, может наказывать денежными штрафами и лишением

свободы всех нарушителей его постановлений. Как же он использует свои огромные полномочия? В какой области он применит их в первую очередь? Национал-социалистская печать пока говорит, что дело будет идти о постановлениях в области внешней торговли, сырьевой политики и политики создания работ для безработных. Очевидно Шмидт не собирается заниматься мелочами!

Гитлер прокламировал в январе этого года знаменитый закон «об охране национального труда», закон, который признан во всем мире законом, безоговорочно отдающим рабочего на милость предпринимателя. Основу этого закона составляла замена ранее действовавшего коллективного тарифного договора новым индивидуальным договором, содержание которого зависит исключительно от воли предпринимателя. Этот основной пункт должен был вступить в силу 1 мая. Однако накануне первоймайской комедии братания между предпринимателями и рабочими введение закона в силу было отложено до 1 июля. Наступило 1 июля, но момент опять оказался недостаточно подходящим для проведения в жизнь этого пункта, одно оповещение о котором уже вызвало невероятное возбуждение на всех предприятиях. Замена старых тарифных договоров новыми отложена до 1 октября.

Теперь дело принимает серьезный оборот. Тиссен и Феглеры предъявляют Гитлеру свой счет. Они настаивают на его погашении. Уполномоченный в области хозяйства Шмидт знает, что ему делать. Приходится определенно считаться с тем, что осенью неизбежен этот удар, влекущий за собой новое сокращение и без того голодной зарплаты. Чувствуется уже подготовительная «психологическая» работа: стали выступать против непрерывных денежных сборов в пользу национал-социалистской партии. Если раньше кто-нибудь осмеливался заикнуться об этом, его отправляли в концентрационный лагерь. Теперь же национал-социалистские газеты, по приказу экономических заправил, вынуждены выступать против невыносимого «обременения» на-

селения посредством всяческих сборов. Деньги не должны литься потоком в кассы национал-социалистских организаций, а должны удерживаться предпринимателями в форме сокращения зарплаты. Это означает конечно иное использование этих сумм. В настоящее время курс направлен не на укрепление национал-социалистского партийного аппарата. Дальнейшую подготовку к новому сокращению заработной платы представляет отказ от тезиса, по которому государственные заказы предоставляются только тем предприятиям, которые для сокращения безработицы установили у себя 40-часовую рабочую неделю. Фактически на очень многих предприятиях вообще работают только от 24 до 30 часов в неделю, что позволяет хвастаться большим количеством безработных, которым предоставлена работа на данном предприятии. В связи с этим появилась известная тенденция к уравниловке — конечно в смысле общего снижения жизненных условий. Тиссен и Крупп далеко не являются сторонниками этой системы. Наоборот, они признают достоинства максимально возможной дифференциации зарплаты, так как это позволяет сталкивать интересы отдельных рабочих категорий друг с другом. Перед лицом предстоящих великих сражений с рабочими они возвращаются к этой старой политике разделения и ни на минуту не тревожатся по поводу того, что это представляет собой дезавуирование с треском прежней политики Гитлера в области создания работ для безработных. Еще совсем недавно, — это было во всяком случае до 30 июня, — Геббельс на открытом собрании проливал в своей речи крокодиловы слезы по поводу плохих жизненных условий германского рабочего, пытаясь одновременно представить это как своего рода добровольный акт солидарности. Национал-социализм еще не может, лицемерно заявляя он, предоставить рабочему достаточную зарплату, зато он возвращает все большее и большее количество безработных на работу.

Теперь, когда вопрос о валюте и сырье, так же как и обострившаяся си-

туация международного хозяйства вообще, снова ставят германское хозяйство перед необходимостью произвести массовые увольнения рабочих, — все то, о чем Гитлер, Геббельс и Лей в течение 18 месяцев болтали рабочим, оказалось мыльным пузырем. Однако они не стесняются сразу переменить свой курс. Рабочего, если только он сохранит за собой свое место, заставят работать больше, чем когда-либо, и при увеличении проделываемой им работы он должен будет в лучшем случае зарабатывать столько, сколько он зарабатывает теперь при неполном рабочем дне. Для предприятий это рентабельнее, чем производить то же количество товаров силами большего количества рабочих, которое отнюдь не требуется состоянием дел. Само собой разумеется, что многие средние и мелкие предприятия при этой реорганизации останутся за бортом. Лишний выигрыш для трестовского капитала!

Штурмовиков отстраняют, потому что нельзя больше рассчитывать на их преданность, тем более, что в течение последних 18 месяцев они послали сотни тысяч членов своей организации на предприятия, где эти сотни тысяч не напрасно ежедневно и постоянно прикасались с коммунистическими рабочими. Поэтому финансовый капитал снова вспоминает о своей старой и верной организации «Техническая помощь». В последние годы она совсем отступила на задний план и была совсем забыта. Она казалась пройденным этапом. Не потому, что рабочим при Папене, Шлейхере и Гитлере так хорошо пришлось, что они перестали думать о забастовках, но потому, что для подавления «беспокойных элементов» теперь уже имелись организации защитных и штурмовых отрядов.

Теперь обстановка снова изменилась. Процесс возрастающего разочарования национал-социалистских масс в политике их вождя, рост влияния нелегальной коммунистической партии, увеличивающаяся экономическая нужда и безвыходность положения и наконец новое наступление на рабочий класс, — все это заставляет финансовый капитал учитывать возможность серьезных событий

этой зимой. Организация «Техническая помощь» представляет собой орудие, в верности которого не приходится сомневаться. В эту организацию, в отличие от штурмовых отрядов, никогда не было доступа пролетарским элементам. Она рекрутировалась и рекрутируется исключительно из представителей промежуточных слоев населения, из студентов, будущих чиновников, доцентов, инженеров и т. д. Ее задачей не является вооруженное сопротивление возмущившимся рабочим, — для этого существуют еще защитные отряды, геринговская полиция, полевая полиция и, если понадобится, рейхсвер,—она должна играть роль штрейкбрехера и организатора, а также вождя штрейкбрехерских колонн. Организация «Техническая помощь» не должна допускать, в случае забастовки, — как это бывало в прежние времена, — остановки транспорта, должна не допускать нарушения нормальной работы водопровода, газовой и электрической станций. Газеты сообщают, — после большой паузы! — о демонстрации организации «Техническая помощь» в Ганновере, где начальник организации, по словам «Берзенцейтунг» от 10 июля, произнес весьма знаменательные слова о том, что, как он слышал из уст имперского министра хозяйства, «организацию «Техническая помощь» ожидают еще великие задачи».

Так завершается картина — от выстрелов на вилле Рема и в кадетском корпусе в Лихтерфельде, которые, будучи направлены в псевдорадикалов и, по существу безвредных людей, должны были на самом деле попасть в радикализирующиеся и все более опасные штурмовые отряды, до этой демонстрации фашистской штрейкбрехерской гвардии в Ганновере, которая без сомнения, является только прелюдией к подобного рода демонстрациям в общеперском масштабе.

«Барометр показывает бурю. Фашистскую Германию ожидают чрезвычайно тяжелые времена», — так гласят изумительно единодушные отклики мировой прессы на последние события в Третьей империи.

2. ГЕРМАНСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В ПОДПОЛЬЕ

Лев Варшавский

«Спартак подавлен!»

Потише! Мы не бежали. Мы не разбиты. И если даже они закуют нас в цепи, мы все же здесь, и останемся здесь, и победа будет на нашей стороне.

... К самому небу взметнулись волны событий. Мы призывали с вершины падать в глубину. Но наш корабль, вопреки всему, гордо держит свой прямой курс к намеченной цели.

Останемся ли мы еще в живых, или нет, когда эта цель будет достигнута, но наша программа будет жить и господствовать в мире освобожденного человечества! Невзирая ни на что!»

Карл Либкнехт.

«История — это политика, опрокинутая в прошлое» — сказал как-то М. Н. Покровский. Когда 56 лет тому назад «железный канцлер» Бисмарк, введя «исключительный закон против социалистов», объявил священный поход против коммунизма, буржуазная пресса, захлебываясь от радости, вопила, что «красным» пришел конец. Полицейская дубинка и кнут надсмотрщика царили в Германии. Рабочее движение, понеся тяжелые жертвы, было загнано в подполье. Но прошло немного времени и, как легендарная птица феникс, воскресшая из пламени и пепла, рабочее движение возродилось с новой силой, принеся грандиозный триумф бессмертным идеям коммунизма.

Выступая 20 марта 1884 г. в рейхстаге по вопросу о продлении «закона против социалистов», Август Бебель заявил:

«... Во всей Германии партия нигде не организована лучше, чем в округах, находящихся на осадном положении; во всей Германии партия нигде не добывает больше средств, чем в этих округах; во всей Германии нигде партийный орган не читается больше, чем в этих же округах... Чего же вы добились вашим законом? Абсолютно ничего. Наряду с агитаторами, действующими открыто, которых вам угодно называть профессиональными, по всей Германии существуют сотни, тысячи простых рабочих, которых никто не знает, которые даже нам известны в самых редких случаях и которые с неуто-

мимой энергией отдаются этого рода деятельности — распространению запрещенной литературы и т. д.»

В жесточайшей борьбе с реакцией германский пролетариат не растерял свои силы, — он закалился еще больше, еще непреклоннее стала его воля к борьбе и победе. И, отмечая это, Фридрих Энгельс писал в своем письме к Бебелью:

«Относительно наших пролетарских масс я никогда не заблуждался. Это уверенное в себе и в своей победе и именно поэтому бодрое и полное юмора движение вперед великолепно и несравненно. Ни один пролетариат в Европе не перенес бы так блестяще испытания исключительного закона и после многолетних гонений не ответил бы таким доказательством роста своей мощи и укрепления своей организации; ни один не смог бы добиться такой организованности, как германский пролетариат, и притом без всякой напыщенной болтовни о конспирации».

50 лет тому назад — 11 декабря 1884 года — были написаны эти слова. Но, когда читаешь их сегодня, кажется, что написаны они только вчера: так злободневно звучат они!

Год кровавой фашистской диктатуры в Германии еще раз показал величие духа героического германского пролетариата. Внуки оказались достойными своих дедов. Ни жесточайшие преследования, ни оголтелый фашистский террор, превративший всю страну в чудовищный застенек пыток, — ничто не

сломило боеспособности германских большевиков, стальных солдат армии пролетарской революции.

Она живет и крепнет — героическая партия германского пролетариата. И ее работа, не прерываемая ни на одну минуту, ввергает в трепет фашистских палачей, еще недавно хваставшихся, что коммунизм в Германии будет искоренен ими до конца.

Французский буржуазный журналист Жюль Зауэрвейн писал недавно:

«Когда попадешь в восточные или северные кварталы Берлина, граничащие с так называемым «Красным городом», где черный картуз сменяет коричневый головной убор наци, атмосфера становится злобнейшей. В Берлине есть улицы, на которых — если бы ненависть могла убивать — не остался бы в живых ни один национал-социалист...»

Вожди фашистов прекрасно отдают себе отчет в том, что фашистская диктатура — это колосс на глиняных ногах, что она «действует» на вулкане, ежечасно грозящем взрывом невиданной силы. В многочисленных интервью с иностранными корреспондентами они неоднократно вынуждены были отметить, что коммунизм в Германии не сломлен, что германская компартия попрежнему стоит на своем боевом посту.

Так, например, б. начальник германской тайной полиции Дильс (теперь он в отставке), выступая 8 марта 1934 г. перед представителями иностранной печати в Берлине, заявил:

«Хотя усилиями тайной полиции коммунизм в Германии перестал быть политической проблемой, а сделался только проблемой полицейской, я должен признать со всей откровенностью, что порой приходится поражаться, с какой самоотверженностью и героизмом германские коммунисты продолжают свою нелегальную работу. Романтизм их работы можно сравнить только с романтизмом русских революционеров в период царизма. Я никогда не предполагал, что наши немецкие коммунисты окажутся способными на что-либо подобное. Они великолепно усвоили технику нелегальной работы — тайнопись, шиф-

ры и т. д. У них хорошо организована курьерская связь, и именно за этой связью мы следим больше всего.

Коммунисты, в особенности коммунистические рабочие, составляют главный кадр обитателей наших концентрационных лагерей».

Заявление Дильса прекрасно иллюстрируется материалами секретного доклада германской тайной полиции, опубликованного в конце марта швейцарским телеграфным агентством «Рунга». Из 43 страниц доклада 38 посвящены деятельности германской компартии. Доклад начинается следующими знаменательными словами:

«Государственная тайная полиция за последнее время намеренно не выступала в печати со сведениями о мерах, предпринятых против коммунистов. Секретные полицейские сводки не дают никакого основания для оптимистического мнения, что нелегальная деятельность коммунистической партии Германии ослабела или прекратилась... Из ряда областей Германии, и в частности из густо населенных промышленных районов, поступает за последнее время ряд полицейских донесений о подымающейся кривой коммунистической деятельности».

Доклад указывает, что важнейшие промышленные центры страны, в особенности Берлин, Западная Германия и Силезия, наводнены агитационными коммунистическими материалами. В докладе приводятся подробные данные о широкой и разнообразной работе компартии. Из этих данных с несомненной ясностью вытекает, какие блестящие успехи имеет компартия в массах. Недаром, выступая 18 марта в Эссене, Геринг заявил, что «коммунизм в Германии продолжает гореть в подполье, и было бы безумием закрывать на это глаза».

Через два дня — 21 марта — Геринг снова сделал подобное же заявление берлинскому корреспонденту французской газеты «Ле Жур». Он сказал: «Коммунизм остается скрытой опасностью. Каждый третий или четвертый день полиция раскрывает тайные коммунисти-

ческие типографии, тайные места собраний».

Наконец 21 апреля в беседе с корреспондентом телеграфного агентства Рейтера Геринг еще раз должен был признать, что «коммунистическая опасность является вечно актуальной».

Можно было бы привести еще десятки и сотни подобных высказываний.

«Пожалуй, во всей истории не найти второго примера подпольного революционного движения, с организацией, совершенно готовой к бою, пользующейся действительным влиянием, которое развивалось бы за столь короткое время», — писал о германской компартии корреспондент руководящего английского либерального журнала «Нью Стейтсмен энд Нейшен» — Эрнст Генри. Действительно, ни одна из коммунистических партий капиталистических стран не сумела провести такую быструю и коренную перестройку партийного аппарата в условиях нелегальности, как германская. И все это — несмотря на колоссальные жертвы!

Основным вопросом, ставшим перед германской компартией в деле ее организационной перестройки в условиях подполья, была необходимость обеспечения политической самостоятельности низовых парторганизаций. В связи с этим встал вопрос о разукрупнении ячеек. Еще в легальный период была дана директива о разбивке ячеек на пятерки. Теперь эти пятерки сделались основной организационной единицей партии. Вышеупомянутый Эрнст Генри в своей статье пишет:

«Сердцевину всего движения составляют так называемые «революционные пятерки», являющиеся новой формой антифашистской организации под руководством коммунистов. Сетью таких «пятерок» пронизана в настоящее время вся германская индустрия: ответвления этой сети идут почти через все фабрики и через большую часть важнейших учреждений. В состав каждой пятерки входят рабочие или служащие, работающие по возможности в каком-нибудь одном цехе или отделении; до переворота люди эти нередко примыка-

ли к различным политическим группировкам или же стояли вне организаций и были политически индифферентны. Каждая такая группа в силу крайней своей малочисленности становится почти абсолютно незаметной и неуязвимой.

На более крупных предприятиях сформированы целые дюжины подобных пятерок, работающих независимо одна от другой; члены разных пятерок часто даже не знают друг друга. В случае обнаружения и ареста одной из таких групп или увольнения ее участников со службы в данном предприятии все остальные попрежнему продолжают свою работу. Деятельность всех этих ячеек направляется сверху; центральное руководство всеми пятерками данного города или данного промышленного предприятия сосредоточено в руках ячейки следующего высшего ранга, еще более тщательно законспирированной, — так называемого «подрайонного комитета», в состав которого входит небольшая группа особенно опытных революционеров».

Система «пятерок», несмотря на отдельные промахи и ошибки, в целом себя несомненно оправдала. Нужно отметить, что в большинстве округов сейчас уже работает четвертая или пятая смена, так как предыдущие были раскрыты полицией или преданы провокаторами.

Как работают коммунистические организации в условиях подполья?

Интересные подробности были недавно опубликованы в фашистской печати о работе парторганизации Дрездена (Саксония), раскрытой в результате предательства.

Все примыкающие к организации производили регулярные взносы в кассу партии: безработные — по 10 пфеннигов в неделю, остальные — по 35. Дрезденский райком партии издавал свой нелегальный ежемесячник «Рабочий Голос», который продавался по 10 пфеннигов за номер в большом количестве экземпляров. Одновременно райком распространял другой нелегальный журнал — «Большевик» — и иллюстрированный революционный журнал «АИЦ», издающийся сейчас в Че-

хо-Словакии. Зимой начал выходить еще один журнал — «Боец», предназначенный для Хемницкого района, где полиции удалось однако открыть местную коммунистическую типографию. Во многих местностях вокруг Дрездена были организованы подпольные отряды «рабочей армии», занявшие место запрещенного еще в 1929 году Союза Красных Фронтвиков.

В связи с опубликованием этих материалов центральный орган национал-социалистов в Саксонии (газета «Фрейхейтскампф») вынужден был признать:

«Коммунистическая партия Германии далеко не умерла, как это предполагают некоторые люди на том только основании, что на улицах больше не развеваются советские флаги. Компартия продолжает жить подпольно».

Особую активность германские большевики проявляют на фронте агитмассовой работы, в частности в деле распространения нелегальной коммунистической печати.

Несмотря на запрет, коммунистическая печать существует и выходит значительно чаще и в значительно большем количестве, чем раньше. Первый номер нелегальной «Роте Фане» разошелся трехсоттысячным тиражом, превысив тираж прежней легальной «Роте Фане». По внешнему виду она в течение первых месяцев подполья ничем не отличалась от легальных газет. И только за последнее время, когда условия ее печатания стали особенно трудными, газета выходит дважды в месяц, обычно на папиросной бумаге, отпечатанная мелким, четким шрифтом, форматом в 1/8 обычного.

Но, помимо «Роте Фане», в Германии выходят еще десятки других печатных коммунистических газет, частью в печатном, частью в гектографированном виде. Так, более или менее регулярно выходят: «Рур Эхо» в Эссене, «Фрейхайд» — в Дюссельдорфе, «Гамбургер Фольксцейтунг» — в Гамбурге, «Арбейтер Цейтунг» — в Бремене, «Нейе Цей-

тунг» — в Баварии, газеты в Кельне, Штутгарте, Галле и других крупнейших центрах. Кроме того, в большинстве округов выходят также «бюллетени печати» или «политическая информация», предназначенные для низовых парторганизаций и низовых ячеек газет. Вся фашистская Германия покрыта сетью заводских нелегальных газет, печатающихся на шапирографах, стеклографах, на машинке, написанных от руки. По сегодняшний день такие газеты выходят почти во всех районах Берлина и на всех крупнейших заводах.

Под заголовком «Роте Фане» напечатан призыв к читателям:

«Читайте и передавайте дальше!»

Товарищ читатель! Среди твоих знакомых есть десятки людей, стремящихся включиться в боевой фронт пролетариата. Скажи своим друзьям и знакомым, что они должны подписаться на «Роте Фане».

Товарищ читатель! Помни, что эта газета издается за спиной тысяч ищущих фашистской реакции. Прочти ее внимательно! Передай ее своим товарищам по работе!»

Этот призыв находит широчайший отклик в массах. Маленькие номера «Роте Фане» зачитываются до дыр, переходя из рук в руки, вооружая рабочих революционной теорией, революционным словом, указывая им путь к боевому действию.

О чем пишут подпольные газеты?

Они помещают важнейшие политические документы — решения XIII пленума ИККИ, постановления и резолюции ЦК КПГ, дают богатый фактический материал агитаторам и пропагандистам, разоблачают на ярких и показательных примерах лживую национал-социалистскую демагогию и гнусное предательство социал-фашистских лакеев гитлеровской реакции. Они знакомят своих читателей с важнейшими событиями на фронте международной классовой борьбы, с успехами социалистического строительства в СССР, неустанно, из номера в номер, призывают германский пролетариат к созданию

крепкого единого фронта снизу — для решительной борьбы с фашизмом. В специальном отделе помещаются письма рабкоров с предприятий, рисующие отдельные эпизоды антифашистской борьбы и рабские условия, царящие на фашизированных фабриках и заводах. Особое внимание отводят газеты конечно и вопросам техники подпольной работы. Помещаются небольшие статьи, рассказывающие, как нужно держать себя при аресте, при допросе, в тюрьме или в концентрационном лагере, как нужно работать в фашистских профсоюзах, какой должна быть квартира подпольщика и т. д.

Учитывая, что германские рабочие в течение многих лет и десятилетий систематически отравлялись социал-фашистами духом легализма, все эти указания имеют исключительно актуальный и ценный практический характер.

Вот например как излагает содержание выпущенной к 1 мая нелегальной коммунистической газеты «Фридрихсгаймер Роте Фане» (Берлин) фашистская газета «Берлинер Берзенцейтунг». Фашистский орган со злобой констатирует, что газета по своему тону ничем не отличается от того тона, которого держалась коммунистическая печать во время своего легального существования.

«Коммунистическая газета, — пишет «Берзенцейтунг», — все так же призывает массы к борьбе против капиталистической эксплуатации, против аккордной зарплаты, фашистского террора на предприятиях, за свободу стачек и собраний, за создание нелегальных боевых профсоюзов».

Далее «Берзенцейтунг» подчеркивает, что газета ведет борьбу за освобождение тов. Тельмана.

«Все так же прославляется Советский Союз, повторяются пресловутый лозунг о диктатуре пролетариата и призывы к борьбе за диктатуру пролетариата в Германии».

В связи с этим «Берлинер Берзенцейтунг» бьет тревогу, требуя, чтобы государственные власти приняли решительные меры против коммунистов.

«Тот факт, — пишет газета, — что все еще существуют коммунистические ячейки, которые в состоянии изготовлять и распространять пропагандистскую разлагающую литературу, доказывает, что со стороны государства необходимо самое энергичное противодействие».

Газета приветствует новые террористические мероприятия правительства, направленные против компартии. Как известно, по этим новым законам всякая нелегальная пропаганда: изготовление нелегальных печатных изданий, производство граммофонных пластинок с революционным содержанием, оборудование недовольных радиоустановок, выпуск листовок и т. д., направленных против существующего режима, карается смертью. Другими словами, любое проявление нелегальной коммунистической пропаганды влечет за собой смертную казнь для ее организаторов. Создаются особые суды, так называемые «трибуналы смерти», для разбора дел всех лиц, обвиняемых в деятельности, направленной к свержению государственного строя и к государственной измене, под которой подразумевается всякая нелегальная коммунистическая деятельность.

Новая волна фашистского террора свидетельствует раньше всего о растущем страхе гитлеровской реакции перед ростом компартии, о неуверенности фашистов в своих силах.

Это признает и наиболее здравомыслящая часть иностранной буржуазной прессы. Так, влиятельная голландская буржуазная газета «Нейе Роттердамше Курант», комментируя издание новых реакционных законов, пишет «о большом страхе правительства Гитлера перед крупными успехами нелегальной германской коммунистической партии».

«Постоянно арестуется большое число коммунистов, — пишет газета. — По этому можно судить не только о том, что органы общественной безопасности хорошо работают, но и о том, что рост коммунистической опасности уже нельзя задержать. Массы германского народа хотя и терпят сейчас национал-социалист-

ский строй, однако распространяемая повсюду коммунистическая пропаганда подготавливает почву, из которой потом произрастет противодействие этому режиму».

Никакими репрессиями, никаким самым иступленным и утонченным террором фашистским палачам не удастся заглушить мужественный голос подпольной германской печати. Этот голос звучит бодро и уверенно, неустанно призывая массы на борьбу.

Техника подпольной печати исключительно сложна и трудна. Достаточно сказать, что, по изданному этой зимой приказу, во всех типографиях, во всех писчебумажных магазинах и складах, во всех магазинах и складах типографских красок введен строжайший и бдительный контроль над продажей и отпуском бумаги и красок. Продавая бумагу и краски, владелец магазина обязан навести точнейшие справки, кому, зачем и для чего отпускаются эти предметы. Все пишущие машинки, все множительные аппараты, все типографии взяты на точный учет. И тем не менее все это мало помогает фашистам: коммунистические газеты и листовки выходят попрежнему в огромных тиражах.

Как же делается подпольная газета?

Очень любопытная заметка об этом была помещена прошлой осенью в журнале «Антифашистический фронт» в Праге:

«В течение двух месяцев после пожара рейхстага мы издавали информационный листок. Сначала он выходил раз в три дня, а потом с несколько большими промежутками (вследствие технических затруднений), но зато на трех-пяти листах, исписанных с обеих сторон.

В нашем распоряжении был один множительный аппарат и еще один, который мы держали про запас, на случай конфискации первого. Пока что мы хранили запасный аппарат в надежном месте. Кроме того, мы поддерживали контакт с восемью партийными работниками, у каждого из которых имелось по одному и по несколько множительных аппаратов; мы сохраняли также связь с крупными промышленными пред-

приятиями и пунктами регистрации безработных. Все товарищи были нам известны как многолетние работники партии и могли считаться вполне надежными. Таким образом, у нас получился довольно многолюдный аппарат. Требовались самые тщательные меры предосторожности...

Во многих случаях мы поражаемся инициативе низовых работников организации и многому научились у них. Например один из них организовал службу самокатчиков. Он сговорился со своим другом, состоявшим в кружке любителей велосипедного спорта. Тот подобрал надежных ребят и создал курьерскую службу самокатчиков, которые всегда были в нашем распоряжении в этой части города для распространения нашей продукции, передачи извещений и т. п.».

Какой огромный интерес питают массы к печати своей партии, видно из того, что небольшие заводские ячейки в составе 5—10 коммунистов распространяют газеты в количестве 200—300 экземпляров.

Отчет одного из среднегерманских райкомов партии отмечает, что за два месяца (текущего года) он продал на 1.300 марок нелегальной литературы и, кроме того, распространил около 6.300 экземпляров «Роте Фане», 900 экземпляров «Импрежора» и массу листовок. Районное руководство, жалуюсь на слишком малое количество получаемой литературы, заявляет, что могло бы свободно распространять 20.000 экземпляров «Роте Фане». Характерно, что ни один из работников, распространявших литературу и газеты, не был пойман полицией. Это показывает, что наши товарищи освоили уже трудную технику подполья, освоили условия нелегальной работы. Это тем более важно, что распространители листовок и газет подвергаются огромной опасности, постоянно рискуя своей жизнью. Самый мягкий приговор за распространение коммунистической литературы—это два-три года каторжных работ, не говоря уже о многомесячном предварительном заключении в концентрационных лагерях. Понятно, что к распро-

странению коммунистических газет, листовок и воззваний — последних в особенности — важно привлечь как можно более широкие массы. Одним из таких методов является размножение листовок и воззваний самими читателями. В одной из самых волнующих листовок, выпущенных германской компартией, — в листовке, написанной двумя смертниками накануне их казни, — указывается путь к этому. Вот эта листовка, которую ввиду ее исключительного интереса мы приводим полностью:

«Если ты — друг народа, перепиши это письмо четыре раза. Измени почерк или напечатай на машинке. Пошли его по почте по четырем адресам в городе и в деревне, только не пользуйся своим почтовым отделением. Если у тебя нет денег, сунь письма под двери или опусти в ящик для писем. Помни, что письма превратятся в 16, в 128, в 512 и так далее, до 4.194.304 и до 16 миллионов, если все выполнят свой долг.

Передай всем наши последние слова:

«Они убили нас, но коммунизм живет. Ему принадлежит будущее, ему принадлежит новая Германия. Соединяйтесь! Подрывайте Третью империю капиталистических паразитов и палачей рабочего класса! Не допускайте, чтобы пролетарии истекали кровью и принимали на себя все удары! Отомстите за нашу смерть, за смерть тысяч классовых бойцов! Мы умираем в надежде на вас, братья. Прощайте! Этим письмом мы продолжаем бороться в ваших рядах. Несмотря ни на что, мы победим. Рот фронт!»

Конечно путем переписывания можно распространять в большом количестве только листовки. Значительно труднее, понятно, распространять таким путем газеты, зачастую состоящие из четырех-восьми полос. И мы видим, как зачастую распространители газет — большей частью безвестные и безымянные пролетарии, часто беспартийные, — рискуют головой, проявляя подлинные чудеса изобретательности и геройства.

Фашисты буквально сбиваются с ног в поисках. Так, накануне 1 мая по распоряжению самого Геринга по всей

Пруссии были произведены массовые облавы. В первую очередь этими облавами были охвачены все рабочие поселки на окраинах Берлина и других прусских промышленных центров. Тысячи полицейских и целая армия штурмовиков и членов охранных дружин искали коммунистические листовки, газеты и рабочих, печатавших и распространявших их. Еще за два дня до этого был установлен тщательный контроль над всеми автомобилями, проезжающими по улицам промышленных городов, над всеми поездами, над всеми пароходами, во всех трамваях, на всех вокзалах и людных местах. И все это не помогло: рабочие районы Берлина и других городов были буквально наводнены коммунистическими воззваниями, листовками, лозунгами и газетами. Интересно отметить, что исключительно большое количество первомайской литературы распространялось как-раз в районе Темпельгофа, где состоялся митинг, организованный фашистами.

Смелость распространителей коммунистической литературы поистине не знает никаких границ и зачастую ставит фашистов в тупик. Так, на одной из улиц Берлина группа комсомольцев среди бела дня организовала продажу подпольной «Роте Фане». Окружив пикетами ряд домов в рабочем районе, они стали входить в квартиры и в течение 10 минут в семи домах ими было продано 260 экземпляров газеты. Полиция узнала об этом только через несколько часов, и все ее розыски оказались безрезультатными.

Корреспондент одной датской газеты в Германии сообщает: «Часто находишь в своем ящике для писем экземпляр «Роте Фане» или коммунистическую листовку».

Конечно бывают и провалы. Но в большинстве случаев распространение газет проходит удачно.

Один германский коммунист-подпольщик, в очерке о работе своей ячейки № 1117 (в журнале «АИЦ»), пишет: «При распространении всякого рода листовок, частью напечатанных, частью изготовленных нами самими на ротаторе в большом количестве экземпляров,

каждая ячейка и каждая пятерка пользуется собственными испытанными методами.

Не желая давать противнику наводящих сведений, упомяну здесь только об одном из этих методов, — не потому, что он типичен как метод, а потому, что он типичен для эластичности, с которой мы теперь научились работать. В районе с чисто пролетарским населением его едва ли можно было бы применить.

Иоганна, — так назову товарку, с которой нам довелось вместе работать, — представляла собой особый случай. Дочь протестантского пастора, студентка, маленького роста, блондинка с голубыми глазами. Имеет меховую шубу.

Она несла пачку газет и доходила с ними до верхнего этажа. Я следовал за нею на расстоянии одного шага, брал у нее по две газеты и засовывал их в ящики направо и налево. Так мы начинали сверху и медленно спускались вниз.

Три раза дело сошло гладко. В четвертый раз, когда мы находились в последнем из обслуживаемых нами домов и у нас почти не оставалось листовок (содержавших преимущественно материал о зверствах наци), внизу открылась дверь. Мы услышали шум подбитых гвоздями сапог штурмовиков.

Как было условлено, я стал громко ругаться и сбегал вниз по лестнице, навстречу коричневым бандитам: «Скорее! скорее! Она на втором этаже! Скорее, пока она не вошла в квартиру!»

И штурмовики пронеслись мимо меня, наверх, где стоит дрожащая молодая «дама» и смотрит удивленными, наивными глазами на пачку газет.

Шум. Штурмовик, остановившийся было сначала около меня, тоже бежит наверх — из любопытства. А Иоганна бормочет: «Вот, вот этот человек только что сунул мне их в руку. Я испугалась — он так на меня закричал!»

Штурмовики испугались тоже... Они побежали за «чужим человеком», который конечно давно уже исчез и успел предупредить товарищей, работавших на той же улице.

Особенно хорошо поставлено дело распространения листовок и плакатов компартии на предприятиях. Рабочие, приступая к работе, находят на своих станках коммунистические листовки, причем абсолютно неизвестным остается, кто их сюда положил.

Коммунистические листовки влетают в открытые окна рабочих квартир, «забываются» в трамваях, в метро, в парках, их можно найти в корзинах входящих на рынок торговцев. На картинках папиросных коробок, которые вкладываются для рекламы табачных фабрик, часто написаны коммунистические лозунги.

Одно время с крыш универсальных магазинов в крупных городах (например с крыши магазина Карштата в Берлине) разбрасывались листовки, причем сыскная полиция никак не могла установить виновных лиц. Оказалось, что рабочие установили на краю крыши одного магазина так называемые качели: на одном конце доски положили пачку листовок, а на другом — поставили ведро с водой, просверлив в его дне дырку. Вода вытекала из ведра, равновесие нарушилось, и листовки стали падать на улицу. Широко используются мощные вентиляционные установки, которые при пуске их в ход разбрасывают заготовленные уже заранее вблизи листовки и т. п.

Коммунистические листовки и брошюры часто очень ловко маскируются. Они печатаются с бросающимся в глаза рекламным текстом какого-нибудь магазина, театра, туристского бюро. Для рассылки их широко используются конверты различных фирм и учреждений. В одном городе ячейка центрального почтамта много месяцев под ряд рассылала нелегальную литературу под видом официальной ведомственной корреспонденции.

Новые методы агитации и пропаганды возникают стихийно, сотнями, тысячами, показывая огромную волю к борьбе и неистощимую инициативу германских большевиков. Так например строжайше запрещенная в Германии «Коричневая книга» вышла под видом известной трагедии

Шиллера «Валленштейн». Под видом каталога издательства «Инзель» появилась в свет брошюра тов. Пятницкого «Положение в Германии». Отчетный доклад тов. Сталина на XVII съезде ВКП(б) вышел под названием «Волшебный рог». Рекламный проспект, на обложке изображено большое колесо, вокруг надпись — «Оппель — это лучшее колесо. Оппель — германское производство. Оппель — это для тебя! Покупай Оппель!» Кажется, достаточно невинно? Однако — это не что иное, как обложка брошюры тов. Фрица Геккерта: «Что делается в Германии». Речь тов. Пика на XVII пленуме «укрылась» в томике стихов Готфрида Келлера; речь тов. В. Кнорина — в «Рассказах из ларчика рейнского друга домашнего очага». Под «Историей Рима» благонадежнейшего Моммзена спрятался очередной номер «Коммунистического Интернационала», а «Постановления XIII пленума ИККИ» вышли под видом рекламного проспекта новых фотографических матовых стекол «Роллей-флекс». Понятно, как трудно фашистам бороться с замаскированной таким образом литературой компартии.

В Берлине местная партийная организация издала очень остроумную листовку, в которой было опубликовано постановление, якобы изданное Гитлером, об осуществлении всех данных им в свое время демагогических обещаний. Эта листовка была разослана заводским работникам национал-социалистской партии с требованием расклеить на предприятиях «приказ вождя». На многих заводах этот фиктивный «приказ» был действительно расклеен и тотчас же вызвал оживленнейшую дискуссию среди рабочих. Пока фашисты спохватились, в чем дело, цель была достигнута.

В агитационных целях компартия широко использует граммофоны, патефоны, радио и даже кино. Пользуясь темнотой в кино, коммунисты зачастую разбрасывают листовки, производят демонстрации. Неоднократно фашисты, услышав неожиданно звуки «Интернационала» или других революционных песен, метались, как сумасшедшие, по залам

крутных универсальных магазинов, ресторанов и вокзалов. «Смельчаком» был скромный патефон, установленный где-нибудь в особенно укромном уголке.

Коммунистические плакаты развешивались даже на стенах полицейских участков и фашистских казарм. Коммунистические лозунги неоднократно появляются на домах и улицах, написанные яркими несмывающимися красками, так, что фашистам подолгу приходится их соскребать, в то время как прохожие читают их. Коммунистические воззвания разбрасываются с воздушными «змеями» и т. д.

Недавно в центре Берлина на одной станции надземки царил невероятное возбуждение: при подходе к станции каждого поезда кипами разлетались листовки. Это продолжалось несколько часов, пока полиция наконец не открыла, что коммунисты положили пачку листовок рядом с рельсами надземки так, что каждый раз при подходе поезда порыв ветра сносил их вниз.

Другой пример еще ярче показывает изобретательность германских большевиков.

В одном городе Южной Германии, где через горную реку была устроена электропередача высокого напряжения, коммунисты, применив искусный технический прием, прикрепили к ней огромный транспарант с боевыми революционными лозунгами. Властям не удалось снять этот транспарант, так как нельзя было выключить ток. Наконец через три дня, при попытке снять транспарант, был разорван кабель, что вызвало короткое замыкание и остановку электрического железнодорожного движения. Этот случай наделал много шума и привлек огромное внимание масс к мужественной работе германских большевиков.

Потребовались бы целые тома для подобных примеров исключительной изобретательности революционных рабочих масс.

Словом:

«С агитацией в Германии дело обстоит не так уж плохо, если даже буржуазная пресса многое замалчивает и только время от времени издает произволь-

ные стоны, обнаруживающие страх из-за того, что партия стремительно завоевывает почву, вместо того, чтобы ее терять. Полиция сама открыла наше превосходное поле: повсеместную и непрерывную борьбу с самой полицией. Эту борьбу ведут постоянно и повсюду с большим успехом и, что всего лучше, с большим юмором. Полицию побеждают и еще к тому же высмеивают. При настоящих обстоятельствах я считаю эту борьбу самой полезной. Она поддерживает в нашей молодежи прежде всего неослабевающее презрение по отношению к врагу. Худших полков, чем немецкая полиция, против нас не могли выставить. Даже там, где полиция в большинстве, она терпит моральные поражения, и уверенность в победе нашей молодежи растет изо дня в день. Эта борьба приведет к тому, что, как только давление наконец ослабеет, мы будем исчислять своих сторонников уже не сотнями тысяч, а миллионами. Говори, что хочешь, но мы не видали еще пролетариата, который научился бы в такое короткое время так хорошо коллективно действовать и сообща выступать».

Эти слова Энгельса, написанные им Беккеру 14 февраля 1884 года, получают сегодня особый смысл. Политическая атмосфера в Германии накаляется с каждым днем. Политический горизонт уже начинают прорезать зарницы грядущих бурь.

Очень показательными в этом смысле явились состоявшиеся накануне 1 мая выборы «советов доверия»¹⁾, которые дали убийственный для фашистов результат. По словам берлинских корреспондентов пражских газет, за фашистские кандидатуры на предприятиях была подана всего лишь треть голосов. Две трети рабочих и служащих германских предприятий, подав пустые записки, фактически выступили против фашистов. На отдельных берлинских предприятиях на-

ционал-фашистские кандидатуры собрали только 17 процентов голосов.

Даже фашистская печать не может скрыть скандальный провал выборов. Так например выходящая в Эссене «Национал-Цейтунг» выболтала, несмотря на запрещение публиковать какие-либо данные об итогах голосования на выборах, следующие выразительные цифры:

«На руднике Вольфбанк из 1.357 лиц, имеющих право голоса, за фашистские списки голосовал только 241 человек. На текстильной фабрике Безмат, в Нордгорне, фашистские кандидатуры получили 30 процентов голосов. В типографии Рейсман—Гроне (Эссен) из 319 лиц, имеющих право голоса, голосовало за официальный список 102 человека. На электростанции Сименс-Шукерт результаты голосования оказались столь печальными для фашистов, что, за исключением 9 голосов, поданных против фашистских кандидатов, все остальные голоса против официального списка были признаны «недействительными».

Взбешенные таким отпором рабочих, фашисты нашли выход в том, что предложили предпринимателям воспользоваться своим правом и назначить по своему выбору лиц в «советы доверия» из кандидатур, выдвинутых национал-социалистами. Понятно однако, что это вызовет еще большее возмущение рабочих, еще больше усилит классовую ненависть масс.

Мощная антифашистская демонстрация в связи с выборами в «советы доверия» ярко показала, насколько слаба база фашистов в рабочих массах.

Весьма наглядное представление о том, какое настроение царит на предприятиях, дают письма рабкоров, напечатанные в первомайском номере подпольной «Роте Фане».

Они настолько красноречивы, что всякие комментарии к ним излишни:

«В одном крупном торговом доме фашистский докладчик, взойдя на трибуну, приветствовал общее собрание служащих возгласом: «Хайль Гитлер!»

В ответ — ни звука. Все молчат. Тогда ошарашенный фашист обращает-

¹⁾ Так называется совещательный орган, организованный на предприятиях, согласно вступившего с 1 мая с. г. в силу закона о «национальном труде», созданный для оказания помощи предпринимателю взамен упраздненных национал-социалистских фабзавкомов.

ся к собранию и говорит: «Добрый вечер!» На это присутствующие отвечают: «Добрый вечер!»

Понятно, это было не случайно. В нашей ячейке мы решили добиться того, чтобы обязательное приветствие гитлеровцев было демонстративно встречено молчанием масс. Таков был лозунг, который мы сообщили хорошо известным нам товарищам, а они, со своей стороны, распространили его дальше. И дело увенчалось полным успехом».

«Недавно в одном крупном промышленном предприятии администрацией был отдан приказ, которым предписывалось каждому рабочему и служащему сообщить, сколько он «добровольно» согласен отчислить из своей зарплаты в фонд фашистской «зимней помощи» безработным. Всем были розданы специальные бланки. На другой день они были развешаны во всех уборных с надписью: «для соответствующего употребления».

Предложение таким образом ответить фашистам исходило от одного нашего товарища партийца и было передано из уст в уста всем рабочим, охотно на него откликнувшимся».

«На нашем заводе в наш спаянный хоровой кружок был назначен, в целях контроля, специальный фашистский комиссар. По его приказу мы должны были разучивать фашистские песни. Но каждый раз мы до такой степени фальшивили, что вынудили комиссара отказаться от своего намерения. А теперь уже мы открыто отказываемся от пения фашистских песен и недавно провели сбор в пользу одного нашего товарища, арестованного несколько месяцев тому назад фашистскими собаками».

«Когда на этих днях утром мы явились на завод, мы узнали, что отсутствует наш бывший председатель заводского комитета. В 9 часов утра на завод с плачем прибежала его жена и сообщила, что ночью он был арестован, ви-

димо, по чьему-то доносу. Немедленно в нашем цеху мы остановили моторы и выбрали делегацию к дирекции. Угроза стачки так подействовала на администрацию, что по ее требованию наш Фриц был выпущен фашистами из концентрационного лагеря и снова стал на работу».

Эти письма говорят главным образом, о замаскированных, пассивных методах борьбы.

Однако германский пролетариат, постепенно оправляясь от поражений, вновь берется за испытанное оружие классовой борьбы — за стачки, — вновь открыто выходит на улицу. Последние месяцы отмечены значительным ростом стачек и других массовых революционных выступлений германского пролетариата.

Так, в области нижнего Рейна в течение марта—апреля имел место ряд забастовок. На фабрике Натермана в Каршенбруке рабочие забастовали из-за предполагаемого снижения зарплаты, причем забастовка окончилась победой рабочих. Большая забастовка происходила также на фабрике «Ахтер и Эбельс» в Гладбахе. Несколько стачек закончились победой и в Ганновере. На многих угольных копях в Руре подавляющее большинство горняков подписалось под коллективным протестом против отчислений зарплаты в фонд фашистской «зимней помощи».

Но наибольшее значение имела, пожалуй, стачка рабочих сталелитейных цехов знаменитых металлургических заводов Круппа в Эссене. Здесь в начале апреля рабочие провели пятичасовую итальянскую забастовку против сокращения зарплаты. Эта забастовка, закончившаяся победой рабочих, произвела огромное впечатление на широкие массы крупновских рабочих. Революционное брожение в цехах заметно усилилось. Так, спустя две недели после стачки в помещении одного цеха во время обеденного перерыва один из рабочих выступил с революционной речью. Затем через несколько дней на собрании, созванном фашистским профсоюзом, несколько рабочих выступили с резкой критикой условий труда на заводе, под-

черкивая, что фашистские профсоюзы активно поддерживают предпринимателей. Немедленно после собрания полиция арестовала 18 молодых рабочих, однако это лишь усилило негодование крупновских рабочих. По словам подпольной «Роте Фане», сейчас во всех цехах крупновских заводов имеются революционные ячейки, возглавляемые общезаводским антифашистским комитетом. Такие же ячейки существуют и на ряде других крупнейших германских заводов. Оживила свою деятельность и красная профоппозиция (РПО). Это обстоятельство надо особо отметить, так как фашистский террор, обрушившийся на революционное рабочее движение Германии, гораздо сильнее отразился на организациях РПО, чем на парторганизации. В то время как германская компартия в условиях подполья сохранила 45 процентов своего состава, РПО сумела сохранить только 10—15 процентов своего состава, и лишь в отдельных округах 20—25 процентов (по данным тов. Костаньяна, приведенным им на XIII пленуме ИККИ).

Теперь ячейки РПО восстанавливаются, и нечего говорить о том, какое огромное значение имеет их работа на предприятиях.

Еще более важно то, что за последнее время отмечен ряд случаев, когда рабочие, несмотря на ожесточенный фашистский террор, открыто выходят на улицу. Так например, в день 1 мая этого года в различных частях Берлина революционные рабочие, под руководством компартии, провели несколько открытых демонстраций и антифашистских выступлений. Внушительная первомайская демонстрация, в которой участвовало свыше трехсот рабочих и работниц, состоялась в пятом районе Берлина. Демонстранты с революционными песнями прошли от начала Штрассманштрассе до конца Франкфуртской аллеи и разошлись прежде, чем подоспели штурмовики и полиция. Стены многих домов и мостовые в Берлине были исписаны революционными лозунгами. На Питенштрассе в Нейкельне были развешаны большие лозунги:

«Долой национал-социалистов!»

«Да здравствует красный фронт!»

Можно было бы привести еще ряд подобных примеров, свидетельствующих о начинающемся подъеме массового рабочего движения в Германии.

«Сила большевиков, сила коммунистов состоит в том, что они умеют окружать нашу партию миллионами беспартийного актива».

Эти замечательные слова товарища Сталина великолепно учла германская компартия. Миллионные массы трудящихся Германии видят в компартии своего вождя, который приведет их к победе, освободив их от цепей фашистского рабства.

Особое значение имеет то, что к компартии стихийно примыкают социал-демократические рабочие, так позорно преданные своими вождями. Еще год назад венская «Арбейтер Цейтунг» вынуждена была признать, что в Германии:

«потеря престижа социал-демократии настолько велика, что для миллионов партии попросту перестала существовать».

Сейчас, после неслыханного ренегатства Пауля Лебе, Зеверинга и других социал-фашистов, перешедших на службу к Гитлеру, после всех неисчислимых предательств социал-демократии, эту фразу можно повторить с еще большим основанием.

Огромное большинство социал-демократических рабочих прекрасно понимает гнуснейшее предательство своих вождей. Полностью оправдались замечательные слова Энгельса, сказанные им Беккеру в 1884 г. во время эпохи «исключительных законов».

«То-то и хорошо у наших ребят, что массы гораздо лучше, чем почти все вожди. И теперь, когда закон о социалистах заставляет, чтобы сами массы действовали, а влияние вождей сводит к минимуму, теперь массы лучше, чем когда-либо».

Да, теперь социал-демократические «массы лучше, чем когда-либо!» Об этом свидетельствует массовое вступление социал-демократических рабочих в

компартию, совместные выступления их на фабриках и заводах с коммунистами. В компартию переходят целые социал-демократические организации, не говоря уже об ячейках и отдельных лицах. В качестве иллюстрации приведем один лишь пример. По сообщению агентства Рунга, «в Гамбурге почти по всему городу происходят встречи коммунистов с рабочими — бывшими членами с.-д. партии и союза «Имперский флаг». Большинство групп с.-д. рабочих в Гамбурге, преданных и брошенных на произвол судьбы своими вождами, обратилось к коммунистическим организациям и вместе с ними организовало распространение коммунистических листовок. В гамбургской гавани отряд союза «Имперский флаг», охватывающий две улицы, примкнул к КПГ. Около половины членов отряда улиц «Х» и «У» также перешли к коммунистам. В другой части города 18 членов союза «Имперский флаг» организовались в кружок и обратились к коммунистам за руководством».



Такова работа германских большевиков в их суровом подполье. Условия этой работы исключительно трудны. Предчувствуя свою неизбежную гибель, фашисты развивают неудержимый террор. 3.000 коммунистов убито, тысячи ранены, искалечены на всю жизнь, 170.000 революционных рабочих и коммунистов брошены в тюрьмы и концентрационные лагеря. Среди них — вождь

германского пролетариата товарищ Тельман, за освобождение которого идет сейчас напряженная борьба во всем мире.

Нашим лучшим товарищам угрожает смерть. Она подстерегает их на каждом шагу. Но революционный дух и воля к борьбе пролетариата и его авангарда — компартии — не сломлена.

Через несколько дней после запрета компартии министр пропаганды Геббельс хвастливо заявил по радио:

«Мы нанесли марксизму смертельный удар... Пройдет немного времени, и в Германии не останется ни одного приверженца сумасшедших коммунистических идей».

Но прошло уже больше года — и мы, наоборот, видим, что силы германского пролетариата растут с каждым днем, что под знамена коммунизма приходят все новые и новые тысячи бойцов, встающие на смену павших, бесстрашно и смело продолжающие их дело.

Пусть фашисты не торжествуют победы. В своей предсмертной статье, написанной в разгар классовых боев в Германии и названной «Порядок царит в Берлине», Роза Люксембург писала:

«Порядок царит в Берлине. О, тупые палачи! Ваш «порядок» построен на песке. Завтра революция с грохотом снова подыметесь на вас и вам на страх возвестит трубным гласом: «Я была, я есть, я буду!»

Пусть фашисты вспомнят эти замечательные слова.

Из прошлого

ОБЫСК У ЛЕНИНА

(По неопубликованным материалам)

Ф. Раскольников

I

В июне 1898 года в далеком Верхотурьском уезде Иркутской губернии застрелился из револьвера Николай Евграфович Федосеев. Владимир Ильич очень ценил его как революционера и ученого.

Молодой и талантливый историк-марксист изучал классовую борьбу в эпоху падения крепостного права. Его взгляды на дореформенное помещичье хозяйство и на причины падения крепостного права отличались свежестью и новизной. К сожалению, за исключением исторической справки и одной короткой заметки, его рукописи не дошли до нас. Погиб и фундаментальный труд по истории крепостного права, способный обогатить марксистскую науку. Из его писем к народнику Н. К. Михайловскому видно, что еще в 90-х годах он стоял за коллективизацию сельского хозяйства. Убежденный революционер, Федосеев был превосходным агитатором и пропагандистом. Он впервые обнаружил свои достоинства на работе в кружках Казани и Владимира. В декабре 1888 года он создал первый марксистский кружок в Казани и образцово руководил им. Он прекрасно владел чистой русской речью и умел подойти к рабочим, которые отлично понимали и высоко ценили его. Многих из них ему удалось обратить в марксизм. Царское прави-

тельство немилосердно преследовало и ссылало его все дальше на северо-восток, а он, едва обосновавшись на месте новой ссылки, тотчас же заводил связи, создавал кружки и разворачивал кипучую политическую активность. Неумимый, живой, словно весь сотканный из нервов, с худощавым, подвижным лицом и зачесанными назад недлинными волосами, он производил чарующее впечатление на редкость симпатичного, обаятельного человека. Обладая огромной эрудицией, он неустанно работал над собой, пополняя запас своих знаний. Федосеев обещал стать в будущем крупнейшим теоретиком марксизма, и вдруг молодая жизнь этой яркой, талантливой и многообещающей натуры оказалась подкошенной накануне ее расцвета.

Как все нервные люди, Федосеев обладал обостренной чувствительностью. Он принадлежал к породе тех чутких и впечатлительных революционеров, о которых политический ссыльный Крыльцов в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» говорит, что у них «все нервы наружу». Всякая грязь, как острая заноза, больно колола и ранила его.

И надо было случиться, что вместе с Федосеевым оказался в ссылке кондуктор путей сообщения И. А. Юхоцкий, «отратительный скандалист», по определению Ленина. Еще в московской пересыльной тюрьме он начал травить

Федосеева, обвиняя его в присвоении общественных сумм, собранных в пользу ссыльных. Это нелепое обвинение сильно нервировало честного и чистого Федосеева. В дороге Юхоцкий тоже не давал покоя своей несчастной жертве. «Вот они, баре, интеллигенты; посмотрите, сколько у него вещей. Одних чемоданов-то сколько!» — демагогически повторял он, сидя вблизи Федосеева в арестантском вагоне.

А в этих чемоданах не было ничего, кроме потрепанных книг и поношенного, заштопанного белья. Наконец, очутившись вместе с Федосеевым в верхоленской ссылке, Юхоцкий за отсутствием других, более высоких интересов и там продолжал неустанно преследовать и чернить его. Многообещавший марксистский историк, не разгибая спины сидевший за книгами и рукописями, был подавлен этой житейской грязью. Он был скромный и непритязательный человек. Потребности его были невелики. В ссылке весь бюджет Федосеева состоял из 9 рублей казенного пособия. Он ходил в поношенном пиджаке и вместо обуви носил на ногах истертые обмотки. По бедности он отказался от папирос и заменил их дешевой и вонючей махоркой. До крайности щепетильный, он под разными предлогами отклонял помощь товарищей. Самое большее, что он позволял себе, — это выпить у кого-нибудь из товарищей стакан чая в прикуску. Андрей Матвеевич Лежава и его жена были друзьями Федосеева. У них он изредка обедал и ужинал. Но все их попытки обновить его костюм, белье или обувь наткнулись на бешеное сопротивление Федосеева: он не хотел одолжаться даже у самых близких друзей. Отзывчивый, чуткий, внимательный, он как-то умудрялся из скудного казенного пособия уделить рубль или два нуждающемуся товарищу. Он оказывал свою помощь так, что никто не знал, откуда получены в самый нужный момент дозарезу необходимые деньги. Обвинение в эгоизме, стяжательстве и присвоении общественных денег больше всего оскорбляло и угнетало на редкость бескорыстного Федосеева. Но Юхоцкий не унимался. Он травил его,

как охотник преследует и добывает дичь. В ссылке, где люди варятся в собственном соку, все пропорции и перспективы легко сдвигаются с места. Муха вырастает в слона. Ничтожный эпизод, на который в других условиях никто не обратил бы внимания, в ссылке принимает прозрачный облик большого события. Вздорные сплетни грязного склочника ранят и мучительно терзают сердце чуткого и впечатлительного человека. Юхоцкий достиг своей цели: он травил и затравил Федосеева. Обостренные, туго натянутые, как тетива, нервы Николая Евграфовича не выдержали.

Однажды в ясный, солнечный июньский день, когда почти все верхоленские ссыльные ушли на прогулку за город, он попросил девочку, дочь хозяина, отнести записку Андрею Матвеевичу Лежаве, которого он любил за его ум, открытый характер и жизнерадостность.

— Ты передай ему записку, когда он вернется с прогулки. Поняла? — испытующе посмотрел Федосеев на девочку и успешно вышел вон из избы.

Показалось ли девочке что-то недоброе, или она не поняла поручения, только она стремглав кинулась к Лежаве и застала его еще в городе.

Высокий, широкоплечий Андрей Матвеевич, громко и оживленно разговаривая с женой, неторопливо шел на прогулку за город. Босоногая девочка подбежала к нему и, часто моргая глазами, передала записку. Андрей Матвеевич пробежал ее глазами и побледнел. Преждевременно переданная записка наполнила его тревогой. Федосеев просил его передать товарищам, что поступить иначе он не мог. Лежава сразу понял, что Федосеев задумал самоубийство. Его жена кинулась за доктором, по дороге стуча в окна одноэтажных избушек и вызывая на помощь оставшихся в городе товарищей. Сам Лежава, узнав от девочки, в какую сторону пошел Федосеев, стремглав побежал вдогонку за ним. Выбежав за околицу небольшого Верхоленска, он увидел сутулую спину Федосеева, быстро удалявшегося от него падью между горами, окружающими Верхоленск. Когда расстояние между Лежавой и Федосеевым сократилось,

уставший и запыхавшийся Андрей Матвеевич на берегу окликнул шедшего впереди Федосеева:

— Николай Евграфович!

Федосеев вздрогнул, оглянулся и, увидев стремительно бегущего Лежаву, опрометью кинулся в сторону и скрылся в густой чаще придорожных кустов. Прозвучал громкий и сухой выстрел. Подбежавший Лежава, раздвинув кусты, увидел мрачную картину. На траве лежал раненый Федосеев, из груди его струилась по пиджаку кровь, а рядом лежал дымящийся револьвер. Федосеев был еще жив, но находился без сознания и тихо стонал. Подошедшие товарищи на руках перенесли его домой. Николай Евграфович, придя в себя, восторженно говорил товарищам, столпившимся полукругом возле его кровати:

— Мы переживаем исключительно интересное время. Революционное рабочее движение начинает крепнуть. В процессе своего развития оно будет вовлекать все более широкие массы не только в экономическую, но и в политическую борьбу. Крестьянство пойдет за рабочим классом.

Затем наступила пауза. Федосеев тяжело вздохнул. Ему стало хуже. Мучаясь от боли в груди, он шопотом повторил:

— Не надо бы... Не надо бы...

Повидимому, он раскаивался в своем поступке. Затем он испустил последний вздох, вытянулся во весь рост и умер.

У Федосеева была невеста — Мария Германовна Гопфенгауз. Царская жандармерия разлучила их, бросив обоих в ссылку: Федосеева — в Верхоленск, а Гопфенгауз — в Архангельск.

Они упорно добивались соединения друг с другом. Но черствые тюремщики, чиновники и жандармы противились этому. И лишь после смерти Федосеева на его имя пришла радостная, но уже запоздавшая телеграмма с извещением, что Марии Германовне наконец-то разрешено ехать в Верхоленск. В ответ на эту телеграмму друзья Федосеева с горестью сообщили ей о печальном самоубийстве. 28 июля она получила это сообщение, а через день, 30 июля, ее

не стало. Она покончила счеты с жизнью, как и жених, застрелившись из револьвера.

Владимир Ильич долго не мог примириться с тягостной мыслью об этом двойном самоубийстве.

Он жалел Федосеева и осуждал его поступок. Он жалел его потому, что высоко ценил его умственные и моральные качества, ценил его безграничную идейную преданность делу освобождения рабочего класса. Он жалел, что такая крупная и одаренная фигура, не развернув всех заложенных в ней возможностей, выпала из рабочего движения. И он осуждал его поступок, считая, что самоубийство никогда и ни при каких обстоятельствах не может служить выходом из положения, тем более для марксиста-революционера: мыслителя и борца.

Но в то же время Владимир Ильич переживал чувства сильнейшего негодования против нездоровых, отравленных ядовитыми испарениями условий ссылки, где отвратительный скандалист и склочник, оказавшийся политическим ссыльным, мог безнаказанно травить и затравить до смерти кристально чистого Федосеева.

«Подальше, подальше от этих ссыльных историй» — сделал для себя вывод Владимир Ильич.

II

В конце того же 1898 года политический ссыльный Иван Михайлович Зобнин возвращался из верхоленской ссылки. Его друзья воспользовались удобной okazji и надавали ему кучу писем с просьбой сдать их на почту в Иркутске. Таким путем письма доходили гораздо скорее.

Зобнин аккуратно исполнил поручения друзей и, проезжая через Иркутск, сдал в местной почтово-телеграфной конторе пять писем, в том числе письмо Ляховского Владимиру Ильичу Ульянову, письмо в Верхнеудинск Р. Залкинду и наконец третье письмо кому-то в Вильно. Бдительное око полиции заинтересовалось этими письмами. Полицейским властям было известно, что вер-

холенские ссыльные собирают деньги на памятник Н. Е. Федосееву.

18 февраля 1899 года Зобнин проехал Курган. В этом маленьком городке на правом берегу Тобола жандармы неожиданно произвели у него обыск и отобрали иркутскую почтовую расписку за № 4.027 на заказное письмо Ульянову. Сибирские жандармы были поставлены на ноги. Ротмистр Воняцкий, ретивый помощник начальника тобольского губернского жандармского управления, сделал вопросом чести расследование этого дела и решил непременно выяснить личности адресатов, а в случае сомнения в их политической физиономии произвести у них внимательный обыск. Заказной характер письма облегчал работу жандармов. Помощнику начальника енисейской губернской жандармерии подполковнику Николаеву без труда удалось установить, что в первых числах декабря навлекшее на себя подозрение письмо доктора Ляховского было в Минусинске выдано под расписку почтарю села Ермаковского Шульгину для доставки Владимиру Ульянову. Жандармы решили произвести на квартире Ульянова обыск. Кроме жандармов и полицейских, при обыске по закону должен был находиться представитель прокурорской власти. Но в Минусинске такого не было. Окружной суд находился в Красноярске. Приходилось выписывать прокурора оттуда. Без этого никак нельзя было произвести обыск.

30 марта 1899 года жандармский подполковник Николаев попросил назначить лицо прокурорского надзора для наблюдения за обыском в квартире Ульянова.

7 апреля прокурор красноярского окружного суда уведомил жандармское управление Енисейской губернии, что наблюдение за производством обыска у Владимира Ульянова поручено товарищу прокурора Н. И. Никитину, постоянно живущему в Красноярске. Но Никитин не торопился с отъездом в скучную командировку и под предлогом мелководья Енисея всячески оттягивал свой отъезд. Старая от служебного рвения, жандармский подполковник Николаев

всей душой хотел произвести обыск у Владимира Ильича, но по закону никак не мог его сделать без прокурорского недреманого ока. Он боялся, что весть о предстоящем обыске могла дойти до Владимира Ильича, наконец за это время он просто-напросто мог уничтожить все компрометирующие его документы. Нетерпеливый жандармский офицер, считавший, что нужно ковать железо, пока горячо, тревожился, волновался, выходил из себя, бесновался.

«Это ни на что не похоже», — говорил он себе, расхаживая из угла в угол своего маленького кабинета в Минусинске.

«Ничего не поделаешь, Ульянов близко, всего в полусотне верст, но сделать у него обыск ты не смеешь. Таков закон, закон», — с раздражением, как щедринский помпадур, повторял про себя Николаев. Чувствуя, что он не может ждать дольше, настойчивый минусинский жандарм 15 апреля обратился в Красноярск с умоляющей телеграммой ускорить приезд Никитина. На другой же день просьба Николаева была сообщена товарищу прокурора.

Но даже телеграмма не заставила торопиться привыкшего работать с лентой и прохладцей еще не старого судебного чиновника. Лишь через три недели он собрался в дорогу. 9 мая истрадавшийся и уже потерявший надежду Николаев был внезапно обрадован телеграммой из Красноярска: «Выезжаю сегодня. Николай Никитин».

По злой иронии судьбы товарищ прокурора Никитин ехал на обыск на том же небольшом и неуклюжем колесном пароходе «Святой Николай», на котором прибыл в ссылку Владимир Ильич.

14 мая, в 9 часов вечера, в запертые ворота избы Прасковьи Петровой громко постучались приехавшие из Минусинска представители власти: жандармский подполковник Николаев и товарищ прокурора Никитин в сопровождении двух крестьян: первого заседателя Шушенской волости по хозяйственной части Прокопия Соловьева и крестьянина Василия Степановича Потылицына, приведенного в качестве понятого. Приход

незванных вечерних гостей смутил и встревожил все село, за исключением Владимира Ильича и Надежды Константиновны, привыкших ко всем превратностям жизни профессиональных революционеров. Жандарм и товарищ прокурора приступили к детальному обыску. Они старательно искали письмо Ляховского, отправленное Зобниным из Иркутска. Наконец в их руках очутился конверт, после долгих поисков найденный в бумагах Владимира Ильича.

На круглом почтовом штемпеле четко выделялась надпись: «Иркутск. 20 ноября 1898 г.» (по старому стилю). С радостным волнением жандармский подполковник белыми, холеными пальцами вынул из конверта два маленьких листка почтовой бумаги; это и было роковое письмо Ляховского из Верхоленьска.

Задыхаясь от волнения, жандарм и товарищ прокурора прочитали его. В этом письме Яков Ляховский сообщал Владимиру Ильичу, что корзину с бумагами и рукописями покойного Федосеева он отправил в Красноярск, но, не получая ответа, беспокоится о судьбе драгоценной посылки. Ляховский извещал Владимира Ильича, что выслал ему «2—3 интересных документика», и сообщал о прибытии новой партии ссыльных. Далее он делился с Владимиром Ильичом радостной вестью о рабочих волнениях на Брянских заводах. В августе 1898 года на Брянском заводе в Бежице, ныне носящем имя Профинтерна, произошла забастовка. Причины забастовки коренились в тяжелых условиях экономического быта. Заводоуправление и цеховая администрация своим безудержным произволом окончательно истошили терпение рабочих. Директору завода Ильину был предъявлен длинный список требований относительно отмены сверхурочных работ, замены марок, которыми частично оплачивался труд, полновесными деньгами, улучшения рабочих жилищ, отмены штрафов, прибавки жалованья, увольнения нескольких лиц из администрации, изъятия судебных дел из рук заводоуправления и так далее. На следующее утро под окнами конторы механического цеха собралась многочислен-

ная толпа рабочих, которая дружной массой хлынула к главной конторе завода. Ей преградил дорогу отряд вооруженных солдат. Вооружившись попавшимся под руки железом, рабочие смяли солдат, силой прорвались к главной конторе и с ее крыльца, обнесенного резными перилами, объявили стачку. На третий день забастовки начались массовые аресты. Для усмирения бастовавших рабочих прискакали два эскадрона кавалерии, блистая на солнце доспехами и обнаженными саблями. Но и вооруженной силе не удалось сломить храброго и упорного сопротивления рабочих. Дружная забастовка длилась почти три недели, и требования рабочих были частично удовлетворены.

Ляховский оказался недурно информированным о бурных событиях на Брянских заводах. Жандармы, читавшие его письмо, не без основания сделали вывод, что Ляховский систематически получал из России новости о революционном движении. Из его письма жандармы увидели, что он и народоправец Геденовский собирали деньги на памятник Н. Е. Федосееву и Владимир Ильич посылал Ляховскому какие-то деньги.

Находка письма польстила служебному честолюбию рьяного жандармского подполковника. Ободренный этой первой удачей, он с удвоенной энергией приступил к обыску большой библиотеки Владимира Ильича. В азарте служебного рвения он перерыл и перешарил все верхние полки, заставляя утомившихся понятых просматривать и перетряхивать каждую книгу.

Товарищ прокурора Никитин, уставший после долгой и утомительной пятидневной дороги из Красноярска, наконец не выдержал и предложил ретивому подполковнику прекратить бесплодные поиски на книжных полках. Николаев, которого после тряски на лошадях тоже немилосердно клонило ко сну, не стал возражать и, сладко зевнув, согласился прекратить обыск. Найдя злополучное письмо Ляховского, он был обрадован и упоен добычей, как бывает обрадован и упоен охотником, убивший на току давно подстерегаемого глухаря. Так дело и не дошло до осмотра нижней полки, где

у Владимира Ильича хранилась вся нелегальная литература: зарубежные издания группы «Освобождение труда», отдельные, разрозненные номера газеты «Рабочая мысль» и письма его друзей из-за границы и ссылки.

Владимиру Ильичу было объявлено, что он привлекается в качестве свидетеля. Никитин и Николаев приступили к допросу. Владимир Ильич сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и набросал короткую отписку:

«Зовут меня Владимир Ильич Ульянов. От роду имею 29 лет, звание мое—помощник присяжного поверенного, постоянно живу в селе Шушенском. На предложенные вопросы объясняю, что взятое у меня письмо со штемпелем в г. Иркутске 20 ноября 1898 года написано ко мне административным ссылкой по политическому делу Яковом Максимовичем Ляховским, который сослан был из Петербурга одновременно со мной и проживает в городе Верхоленске.

Ближайшим предметом переписки служила смерть товарища Николая Евграфовича Федосеева; Ляховский писал мне о подробностях события и о постановке памятника на могиле покойного. Письмо это передано мне почтарем Шушенской волости, насколько я помню, в первых числах декабря прошлого 1898 года. Что касается до Ивана Зобнина, то эту фамилию я слышу в первый раз. Больше ничего по данному делу показать не имею. Владимир Ульянов».

Подполковник Николаев и товарищ прокурора Никитин заверили протокол допроса и, как полагалось, составили протокол обыска. «Протокол обыска читал и ничего добавить не имею»—расписался Владимир Ильич.

Через две недели, 27 мая, в Кургане был допрошен Зобнин.

По поводу Владимира Ильича он дал показания, целиком выгораживающие его: «Передавал ли Ляховский мне письмо для отправки его из Иркутска в

Минусинск на имя Ульянова, я не помню. Фамилия последнего мне неизвестна, и в Верхоленске об этой личности мне слышать не приходилось». Зобнин сознательно вводил в заблуждение жандармов. Имя Ульянова было отлично известно всей политической ссылке. Зобнин помнил, что одно из писем Ляховского было адресовано Владимиру Ильичу. Но он не знал, что при обыске у Владимира Ильича письмо Ляховского попало в руки жандармов, и поэтому старался не запятнать товарища. Но когда жандармы вынули из письменного стола и показали ему отобранный у Ленина конверт, Зобнин понял, что им все известно, и признал, что предъявленный ему конверт по цвету действительно похож на одно письмо, отправленное им из Иркутска. Но, не желая выдать Ляховского, он снова прибег к благодетельному обману жандармов, к этой спасительной лжи, и с наивным видом заявил, что определить по почерку автора письма никак не может. Прожив некоторое время в ссылке с Ляховским и приняв от него письма, он хорошо знал его почерк, но не желал выдавать его.

Как-то в мае 1899 года политический ссыльный М. А. Сильвин, сидя дома в селе Ермаковском, получил тревожную записку от Владимира Ильича: «Все ли у вас благополучно? У меня был обыск». Дальше Владимир Ильич извещал товарищей о постигшем его жандармском набеге.

Взволнованный Сильвин на лошадах стремглав помчался к Ульянову. Владимир Ильич красочно описал ему, как, утомленный дорогой и обыском, флегматичный прокурор настойчиво удерживал энергичного и пылкого подполковника от осмотра всей библиотеки.

— Так и не дошли до нижней полки, — со смехом рассказывал Владимир Ильич, — а там-то все и было.— И они еще долго потешались над легкомыслием производивших обыск чиновников.

Литература и искусство

Н. ПИКСАНОВ — Отрочество Горького. 2. Н. ИВАНОВ. — Жан Жюно

1. ОТРОЧЕСТВО ГОРЬКОГО

(Первое становление художественного и социального сознания).

Н. Пиксанов

1

Советский читатель, любящий Горького и неотрывно следящий за его деятельностью, знает современно-го, новейшего Горького часто до малейших подробностей его общественной биографии.

Но надо знать и Горького давнего, молодого: ведь в зрелом Горьком сказывались и раскрывались итоги его прошлого, столь насыщенного всяческим опытом. «Явление можно постигнуть только в его развитии», — сказал Энгельс, и это как нельзя более применимо к осознанию Горького.

В предлагаемой статье я хочу изложить читателям итоги своих изучений всего только одного, небольшого и дальнего, периода развития Горького — его отрочества. Это всего пять лет, с 1877 по 1884 год, когда Горькому было одиннадцать — шестнадцать лет.

Основным материалом для познания этого периода является автобиографическая повесть Горького «В людях».

Повесть создавалась Горьким в эпоху зрелого мастерства писателя, около 1915 — 1916 гг. (впервые отрывками печаталась в газете «Русское слово», 1915, ноябрь-декабрь, потом полностью — в журнале «Летопись», за весь 1916 год). Это — высокохудожественное произведение, одно из лучших у Горького. При всей скупой сжатости

повествования здесь даются широкие и яркие картины жизни в большом поволжском городе восьмидесятых годов прошлого века — в Нижнем-Новгороде, — жизни городского ремесленного и торгового мещанства, мелкого и среднего купечества, мелкой интеллигенции, сезонных рабочих, чернорабочих, босяков, солдат, паровой публики, матросов и т. д. Многие образы даны здесь с большой обобщающей силой, в типичных чертах. Таковы например образы «королевы Марго», денщиков Ермохина и Сидорова, кочегара Шумова, иконописца Жихарева, старообрядческих начетчиков, кровельщика Ефимушкина, прачки Натальи. Эти образы художественно ценны каждый сам по себе, они воспринимаются нами независимо от того, в каком отношении их подлинные прототипы стояли к жизни мальчика Пешкова. То же следует сказать и о многих групповых образах, и о бытовых картинах. Жестокие забавы гостинодворских купцов, жизнь иконописной мастерской, мещанское гулянье на окраинной улице, сцены в трактире на Ямской — все эти и другие полотна бытовой живописи также имеют самостоятельное значение и просятся в обширную галерею Окуровского цикла. Замечательны картины природы Приволжского края, перемежающие повествование и самоценные в своей красоте; таковы описания леса и Волги.

И все произведение в совокупности представляет собою стройное художественное целое, которое увлекает нас безотносительно к тому, знаем ли мы, или не знаем, кем стал впоследствии его герой, мальчик Алеша Пешков.

Но мы знаем, что мальчик Пешков стал прославленным писателем и революционным деятелем Горьким, известным во всем мире и составляющим гордость советской литературы и общественности.

Поэтому интерес к повести «В людях» сразу обостряется и углубляется, так как она дает нам возможность ближе узнать и понять Горького и его мощный рост.

Такому познанию и пониманию сильно помогает сам автор: он, наряду с общенными бытовыми типами и картинами, излагает в своей повести массу точных, конкретных сведений о своем собственном отрочестве, о своих родственниках и хозяевах, о своей работе, о своей учебе, о событиях своей личной жизни.

Все то, что мы знаем об отрочестве Горького по другим данным, — по документам, по показаниям современников и т. д., — удостоверяет, что Горький свою биографию рассказывает в повести очень фактично, точно, хронологически последовательно, по годам.

Повесть эта широко известна. Она, с 1916 года, многократно переиздавалась, она введена в школьное изучение и напечатана в школьном издании. Это издание показательное для популярности повести, но, пожалуй, именно оно всего нагляднее иллюстрирует то утверждение, что Горький изучен мало: издание не снабжено тем необходимым детальным комментарием, в каком нуждаются десятки, сотни пунктов в этом автобиографическом повествовании.

Повесть дает высокохудожественное, обобщенное, типизированное изображение жизни, творческую обработку drobных биографических фактов. Многие, существенно необходимое для точного историко-биографического познания, приходится выявлять из художественного повествования путем тщательного анализа, в сопоставлении с другими материалами.

К числу таких материалов принадлежит, во-первых, целая группа иных, тоже художественных, произведений Горького, образующих вместе с повестью «В людях» особый цикл — цикл «Отрочество». Из этих произведений кое-какие включены в собрание сочинений Горького, но не рядом с повестью «В людях», а где-то на отшибе, в других томах, так что нужны поиски и изучения, чтобы сомкнуть их вместе. А другие вовсе не допущены в собрание сочинений строгим автором, и их еще приходится разыскивать по старинным газетам или редким, ускользающим от внимания, отдельным изданиям.

Сюда относятся: 1) «Как я учился». Рассказ Максима Горького, отдельное издание 1917 г. (недавно вновь перепечатано); 2) «Рабселькорам и военкорам. Как я учился писать», отдельное издание 1928 г.; рассказы из цикла «По Руси», включенные в собрание сочинений: 3) «Ледоход», 4) «На пароходе», 5) «Гривенник», 6) «Клоун», 7) «Зрители», 8) очерк «В театре и в цирке» («Русское слово», 1914, № 298, 25 декабря); 9) «Встряска». Страничка из Мишкиной жизни («Нижегородский листок», 1898, № 237, 30 августа); 10) «Как я первый раз услышал о Гарибальди» («Биржевые ведомости», 1907, № 9978, 4 июля). Отдельные высказывания об отрочестве встречаются и в других художественных произведениях Горького.

Неожиданным и очень ценным дополнением к этому циклу явились воспоминания Горького, включенные им в свои недавние «Беседы о ремесле» («Литературная учеба», 1931, №№ 7 и 9). Здесь находим существенное — для становления социального сознания молодого Пешкова — сообщение, как он «присматривался» к купечеству, к «хозяевам, противоставляя их «тем, кто работает на них». В зарисованных здесь же беседах подрядчиков строительных работ и сектанта-беспоповца излагается тема: «За что царя убили?» Еще существеннее эпизод, развернутый в целую главу автобиографического рассказа, об участии, в возрасте лет пятнадцати, в «а-родническом кружке».

Эти новые припоминания сильно помогают ближе понять рост и формирование социально-политического сознания юного Пешкова.

Документально-биографических материалов за этот период мы не имеем. Имеются материалы мемуарные — воспоминания Н. Евреинова и А. Кортиковско-го; мы воспользуемся ими в своем месте.

2

Повествование свое Горький начинает с 1879 года, когда его, в одиннадцатилетнем возрасте, отдали мальчиком в магазин «модной обуви», и кончает 1884 годом, когда он, шестнадцатилетним юношей, уехал из Нижнего в Казань учиться.

Эти пять лет были годами труднейшей работы, тяжелейшей борьбы. Алексей Пешков перепробовал за эти годы много видов труда. Он служил в магазине обуви «мальчиком» и исполнял, с утра до вечера, много мелких работ. В частности он должен был разогревать и носить для приказчиков обед, и однажды опрокинул себе судок со щами на руки, жестоко обварив их. После магазина он хаживал со своей бабушкой в лес, собирал дрова, грибы и орехи — в беличьих дуплах, лазая по деревьям. Потом стал «ветошничать» — собирать кости, тряпки и разный хлам, причем грязь так вьдалась в кожу рук, что они уже не отмывались. Потом был отдан в услужение к чертежнику и здесь «исполнял обязанности горничной — чистил самовар и медную посуду, по средам мыл пол в кухне, по субботам мыл полы всей квартиры и обе лестницы, колот и носил дрова для печей, мыл посуду, ходил с хозяйкой по базару, таская за нею корзину с покупками, бегал в лавочку, в аптеку, подтирал пол за ребенком, каждый день мыл пеленки, каждую неделю ходил на ключ полоскать белье» (и в зимнее время!). Потом служил «посудником» на волжском пассажирском пароходе «Добрый», и опять мыл посуду, чистил вилки и ножи — с шести часов утра и почти вплоть до полуночи; второй раз служил

на пароходе «Пермь» — «кухонным мужиком». Еще — служил мальчиком при иконной лавке и в иконописной мастерской. Потом три летних сезона прослужил «десятником» по ремонтным работам на Ярмарке, неся не по-отрочески ответственный труд по наблюдению за работой плотников, каменщиков, кровельщиков, землекопов и других сезонных рабочих, получая пять рублей в месяц и по пятаку на обед, — и часто недоедал.

В какой тяжелой бытовой обстановке протекал этот труд, узнаем из такого, например сообщения о жизни у чертежника: «спал я в кухне, против двери (в клозет), и у двери на парадное крыльцо: голове было жарко от кухонной печи, в ноги дуло с крыльца; ложась спать, я собирал все половики и складывал их на ноги себе».

Но еще тяжелее было обхождение хозяев. Брат чертежника, молодой лодырь Виктор, бил мальчика; Горький в повести вспоминает: «он издевался надо мною, заставлял по три раза в день чистить его сапоги, а ложась спать на полати, раздвигал доски и плевал в щели, стараясь попасть мне на голову». Когда мальчик пытался учиться черчению, старуха-мать его хозяина-чертежника с тупой враждой мешала этому. Однажды было так: «схватив за волосы, она ткнула меня лицом в стол так, что я разбил себе нос и губы, а она, подпрыгивая, изорвала чертеж, сошвырнула со стола инструменты и, уперев руки в бока, победоносно закричала: «На, черти! Нет, это не сойдется!» Однажды она облила мне все чертежи квасом, другой раз опрокинула на них лампаду масла от икон».

Еще был такой случай. «В одно из воскресений, когда хозяйевая ушли к ранней обедне, а я, поставив самовар, отправился убирать комнаты, — старший ребенок, забравшись в кухню, вытащил кран из самовара и уселся под стол играть краном. Углей в трубе самовара было много, и когда вода вытекла из него, он распаялся». «Меня избили. Старуха действовала пучком сосновой лучины; это было не очень больно, но оставило под кожей спины множество глубоких заноз; к вечеру спина у меня вспухла по-

душкой, а в полдень на другой день хозяин принужден был отвезти меня в больницу». Доктор выгащил сорок две щепочки. Можно было возбудить дело в суде по обвинению в истязании, но сам пострадавший не захотел этого.

Немудрено, что при таком каторжном труде, в таких тяжелых бытовых условиях, среди этих побоев и оскорблений, мальчик нередко испытывал отчаяние, тоску, «невывразимую тоску», с ужасом ощущая, что ему «нечем жить». Ему хотелось бежать, куда глаза глядят. И однажды он, действительно, убежал от чертежника. «Дня два-три я шлялся по набережной, питаюсь около добродушных крючников, ночуя с ними на пристанях». Но нашелся добрый человек, один из крючников; он сказал: «Ты, мальчишка, зря треплешься тут, вижу я! Иди-ка на «Добрый», там посудника надо».

Убежал Алеша Пешков от чертежника не только потому, что ему самому плохо жилось, но и потому еще, что его окружала нелепая, дикая, звериная жизнь мещанства и городских низов. Горький рассказывает: «Весною я все-таки убежал: пошел утром в лавочку за хлебом к чаю, а лавочник, продолжая при мне ссору с женой, ударил ее по лбу гирей, она выбежала на улицу и там упала; тотчас собралась люди, женщину посадили в пролетку, повезли ее в больницу, я побегал за извозчиком, а потом, незаметно для себя, очутился на набережной Волги с двугривенным в руке».

Побои были обычным, повседневным делом. На пароходе например, пассажиры поймали двух воров и «били их почти целый час». Однажды, на глазах у Пешкова, дворник, стаскивая с извозчика бесчувственно пьяную девицу, схватил ее за ноги: «он дергал ее, плевал на тело ей, а она стучалась спиною, затылком и синим лицом о сиденье пролетки, о подюжку, наконец упала на мостовую, ударившись головою о камни». Пешков вступился за девицу и нажил в дворнике врага. При встречах тот постоянно гступал с ним в драку, а однажды, зная жалость мальчика к животным, дико

отомстил своему противнику: «схватил кошку за ноги и сразмаху ударил ее головой о тумбу, так что на меня брызнуло теплым, — ударил, бросил кошку под ноги мне и встал в калитку, спрашивая: «Что?»»

Наряду с побоями, с бесцельной, слепой жестокостью, постоянной чертой окружающего быта являлось пьянство. В главе десятой Горький дает яркое описание пьянства денщиков, живших в том же доме, что и Пешков, у чертежника; пьянство вело к дракам, к калечению, доводило до убийств.

Жестоки были и забавы в этом «темном царстве». Когда Пешков служил в иконной лавке, он наблюдал нравы купцов и приказчиков. «Весь Гостинный двор, все население его, купцы и приказчики, жили странной жизнью, полною глуповатых по-детски, но всегда злых забав. Если приезжий мужик спрашивал, как ближе пройти в то или иное место города, ему всегда указывали неверное направление, — это до такой степени вошло у всех в привычку, что уже не доставляло удовольствия обманщикам. Поймав пару крыс, связывали их хвостами, пускали на дорогу и любовались тем, как они рвутся в разные стороны, кусают друг друга; а иногда обольют крысу керосином и зажгут ее. Навязывали на хвост собаке разбитое железное ведро, собака в диком испуге, с визгом и грохотом, мчалась куда-то, люди смотрели и хохотали. Было много подобных развлечений, казалось, что все люди — деревенские в особенности — существуют исключительно для забав Гостиного двора. В отношении к человеку чувствовалось постоянное желание посмеяться над ним, сделать ему больно, неловко». И дальше Горький рассказывает отвратительную сцену, как обжора-приказчик на пари сѐдает, к потехе и удивлению купечества, десять фунтов ветчины.

Угнетало мальчика и тупое равнодушие к чужой беде, к чужому страданию. В примыкающем к циклу «Отрочество» очерке «Зрители» Горький рассказывает, что он наблюдал однажды на Прядильной улице в Нижнем в свои юные годы. «Я наблюдал все это из окна подвала,

из темной норы, где жила старушка Смурыгина. Утром, накануне этого дня, работая на пристани, я упал в трюм, вывихнул себе правую руку и разбил колено» — рассказывает Горький. По улице шла процессия, хоронили генерала. Лошадь конного жандарма испугалась выскочившего из-за угла дурачка Игоши, метнулась в сторону, ударила копытом в живот сироту Костю Ключарева, ученика у переплетчика Гуськова, и раздавила ему пальцы ноги. Несчастный мальчик «ползет к забору, волоча за собою раздавленную ногу, а за ней в серенькую пыль улицы течет ручей яркой алой крови». И вот что наблюдал из окна юноша Пешков, сам искалеченный и бессильный двинуться с места. Мальчик «храбрился, перемогаюсь, а зрители предвещали ему: «Задаст тебе Гуськов...», «Ах ты, разиня чортова! Чего тебе хозяин сделает за это, а?» Является хозяин, переплетчик, и обращается к истекающему кровью мальчику со словами: «Я тебя, сукин сын, куда послал? Я тебя за кожей послал, али нет?.. На что ты мне без ноги?» А мальчик, прикрывая руками голову от предполагаемого удара, слезно молит: «Дяденька, я завтра выздоровлею...» Отобрав от Кости деньги, данные на покупку кожи, хозяин исчезает. «Кругленькое личико ребенка было измазано кровью, мокрые от слез, вылинявшие от боли глаза его уныло смотрели на изуродованную ногу, он трогал пальцами руки раздавленные косточки... пробовал встать на ноги, но, вскрикнув и схватившись за живот, упал». На просьбу Пешкова о помощи один из зевак-прохожих ответил: «А я не с этой улицы». А другой, подойдя к мальчику, напутственно сказал: «Добавался, подлец? Тебя не в больницу надо, а в пруд, куда дохлых кошек кидают». «А мальчик все жарился на солнце...» «Мне тоже было не очень хорошо, — продолжает Горький, — мучила боль в плече и колене, и невыразимо терзало сознание бессилия. Так странно: в пятнадцати шагах от меня лежит человек, нуждаясь в немедленной помощи, мимо него ходят подобные ему и — не хотят помочь. Не хотят...» Только после новых упрасиваний Пешкова один из

прохожих снес Костю в больницу. На другой день по той же улице ломовик ъез, в сопровождении полицейского, гробик, а обыватели обменивались мнениями: «Братцы, это Коську Ключарева хоронить!» — «А ведь смиренный был!» — «Больница! Туда только попади, а уж на кладбище они сами отвезут...» — «Им что, докторам? Им бы жалованье в срок получить...»

Естественно, что среди такой дикости, тупости и равнодушия вырастала вражда к знанию, к просвещению. Мы уже знаем, как жестоко преследовала Пешкова мать хозяина за попытки обучиться чертежному делу. Она же «несколько раз уничтожала книги», какие мальчик с величайшим трудом доставал для чтения. И даже сам хозяин, чертежник, то-есть человек с некоторым образованием, поучал мальчика: «Вот видишь, к чему они ведут, книжки-то! От них — так или этак — непременно беда... Книжки брось!»

А рядом с темнотой, невежеством, враждой к знанию пышно расцветали религиозное мракобесие, всяческие суеверия, восходящие к древнему язычеству. Так, знающая девочка объясняла Алеше свою хромоту: «Меня соседка заколдовала, поругалась с мамой, и заколдовала меня, на зло ей». Даже бабушка Алеши, выско одаренный человек, и та жила во власти демонологии, верила, что бесы могут справлять свою бесовскую свадьбу, запрягая вместо лошадей грешников, что рогатый и хвостатый чорт может сидеть на крыше дома и нюхать, как пахнет скромным, что бесенята водятся в бане и т. д. И Алеша с огорчением видел, что «эта прекрасная душа ослепледа сказками».

Для зоркого, чуткого мальчика была уже заметна связь религиозного дурмана с корыстью, с материальными интересами. Он уже знал, что, например, пойти в монахи — выгодное дело: можно иметь легкие доходы, можно понравиться богатой купчихе и жениться на ней. Он понимал, что религиозность легко сочетается с эгоизмом, бессердечием, лицемерием, что окружающее его мещанство отлично приспособило свою религиозность к своей недоброй, корыстной, жестокой, темной жизни.

Сытая, ленивая, самодовольная жизнь мещанства создавала свою особую мораль, свои законы поведения, такие же темные и жестокие, как и сама жизнь. «Мне было ясно, что хозяева считают себя лучшими в городе, они знают самые точные правила поведения и, опираясь на эти правила, неясные мне, судят всех людей безжалостно и беспощадно. Суд этот вызывал у меня лютую тоску и досаду против законов хозяев; нарушать законы — стало источником удовольствия для меня».

3

«Нарушать законы» мещанской морали, мещанского поведения, мещанского быта «стало удовольствием» для крепнувшего юноши. В этом сказалась его сильная, боевая, богато одаренная натура. Звериный быт мещанства тяготил его, доводил до тоски, но не сломил. В Алеше оказалось слишком много энергии, силы сопротивления, жажды иной, лучшей, светлой, свободной, справедливой жизни. «Наблюдая победную силу буднично-страшного, я чувствовал, как легко эта сила может оторвать мне голову, раздавить сердце грязной ступней, и напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки, всегда готовый на всякий спор и бой».

Отталкиваясь от косного, темного, ненавистного мещанства, Алеша жадно искал — и умел находить — иное, высокое, светлое.

Великим утешением и успокоением была для него природа. Она тогда была ему доступна еще в узких пределах — в пригородных местностях да на Волге. Но чуткий мальчик сумел взять и отсюда много прекрасных впечатлений. Вот как запомнилась ему картина Волги: «А май на земле. Волга-то морем лежит, и волна по ней стайно гуляет, будто лебеди тысячами в Каспий плывут. Горы-то Жегули, зеленые по-вешнему, в небо взмахнули, в небушке облака белые пасутся, солнце тает на землю золотом». Вот описание цветов на пути из города к лесу: «Встает, не торопясь, русское ленивенькое солнце. Тихий ветер сонно веет с тихой, мутной Оки, качаются золотые лю-

тики, отягченные росой, лиловые колокольчики немотно опустились к земле, разноцветные бессмертники сухо торчат на малоплодном дерне, раскрывает алые звезды «ночная красавица» гвоздика... Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели, как большие птицы; березы, точно девушки».

Два лета, вырываясь из города, Алеша Пешков ходил в лес, то с бабушкой, с дедом, с приятелями — собирать грибы, то один — для ловли певчих птиц. Лесная тишина оказывала на него успокаивающее влияние, а красота леса приводила в восхищение и запоминалась навсегда. В повести «В людях» Горький закрепил картины леса в прекрасных описаниях. «Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица — щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их, щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше. Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зеленой густоте, сквозь нее просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пыльным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костянка сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом».

Или еще: «Только-что поднялось усталое сентябрьское солнце, его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряными веером падают в овраг ко мне. На дне оврага еще сумрачно, оттуда поднимается белесый туман, крутой глинистый бок оврага темен и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой, густым кустарником, в желтых, рыжих и красных листьях, свежий ветер срывает их и мечет по оврагу... Чем выше солнце, тем больше птиц, и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музы-

кой, ее основной тон — непрерывный шелест кустарника под ветром, задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум, — я слышу в нем прощальную леснь лета, он нашептывает мне какие-то особенные слова, и они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстанавливает картины прожитого».

Или вот еще описание восхода солнца осенью: «В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне, сквозь сероватую мглу чуть видны под горою широкие луга, они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко за лесами луговой стороны восходит, не торопясь, посветлевшее солнце, на черных гривах лесов вспыхивают огни, и начинается странное, трогательное движение; все быстрее встает туман с лугов и серебрится в солнечном луче, а за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена, луга, точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато-золотые. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, — кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя все выше, оно, радостное, благословляет, греет оголенную, озябшую землю, а земля кадит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плывет в даль и манит дойти до синих краев земли. Я видел восход солнца в этом месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый... Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них; люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит лучом сквозь щель забора или между ветвей».

Замечательна любовь Алеши к лесным птицам и тонкое знание их нравов и обычаев. В повести Горький дает образные характеристики лесных пернатых, и одно перечисление их имен показывает, как близок был мальчику этот мир: щеглы,

синицы, чижи, сорокопуд, щур, снегири, клесты, аполлоновки — «длиннохвостые белые птички редкой красоты», — москочки, поползень, дятлы и другие.

С такой же чуткостью и жадностью, с какой Алеша, будущий писатель, впитывал в себя красоту природы, овладевал он и культурой.

Даже в его ближайшем кругу, среди родни, знакомых, среди обширного круга горожан, — не все же были звероподобные мещане, — было немало одаренных, душевно тонких людей, создававших или бережно хранивших своеобразные культурные ценности.

Здесь на первом месте необходимо поставить бабушку Алеши, Акулину Ивановну Каширину. В своих двух автобиографических повестях: «Детство» и «В людях», Горький воздвиг ей «памятник нерукотворный», ярко обрисовав эту замечательную, высокоодаренную женщину. Ее природный, ясный ум, ее щедрое, чуткое сердце, ее доброта и любовь к людям, ее самоотверженность, достоинство и мужество — все это нам теперь знакомо и мило, словно мы лично встречались с Акулиной Ивановной.

Но особо следует отметить, что бабушка Алеши была народной поэтессой. Она любила, знала, собирала, хранила и передавала другим в своем исполнении произведения устной народной поэзии, располагая огромным народно-поэтическим репертуаром. Несомненно, она обладала и сама поэтическим даром и вносила в свое исполнение немало творческих переработок. Щедрее всего она делилась своими богатствами с любимым внуком, и Алеша в отрочестве «был переполнен ее стихами, как улей медом».

Художественной одаренностью был отмечен в семье Кашириных и дядя Алеша, Яков, — певец и музыкант-гитарист. А затем и широко вокруг встречались даровитые представители «простонародного» искусства. В повести Горький вспоминает мастерские песни одного казака в казармах около Печорской слободы. «Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая; когда слушаешь ее, то забываешь, день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь все!.. А сердце ра-

стет, и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле».

Другим талантливым певцом оказался живописец Капендюхин — в той мастерской, где «мальчиком» работал Алеша. Пение Капендюхина увлекало всех его товарищей. «Опьяненные звуками, все забылись, все дышат одной грудью, живут одним чувством... Пел он редко, но власть его буйных песен была всегда одинаково неотразима и победна».

И еще одного народного певца увековечил Горький: шорника Клещова, певавшего в трактире на Ямской улице, куда Алеша заходил, когда был десятилетним у чертежника¹⁾.

4

Восприятия музыкально-поэтического народного искусства своеобразно сочетались в сознании Алеша с впечатлениями от иного искусства, тоже сберегавшегося в народной среде. В иконной лавке, где одно время он служил, торговали старинными иконами, старопечатными церковными книгами, древней церковной утварью. Это, в сущности, был антикварный магазин, и уверенно можно сказать, что через него проходили иногда древности высокого художественного и исторического значения. В повести Горький пишет: «Весьма часто старики и старухи приносили продавать древне-печатные книги дониконских времен или списки таких книг, красиво сделанные скитницами на Иргизе и Керженце, списки Миней, не правленных Дмитрием Ростовским, древнего письма иконы, кресты и медные складни с финифтью, поморского литя, серебряные ковши, даренные московскими князьями кабацким целовальникам». И такие ценности не проходили мимо внимания чуткого мальчика. Дело в том, что своеобразным экспертом или консультантом при лавке был старообрядческий начетчик Петр Васильевич — «знаток старопечатных книг, икон и всяких древностей», а также и церковной истории. Так вот с этим

начетчиком Алеша вступал в долгие беседы и конечно многое от него узнавал. Запомним этот замечательный эпизод: приобретение Алешей в отроческом возрасте художественно-археологических сведений. Они обогащали его эстетическое сознание.

К беседам с Петром Васильевичем и к знакомству с древностями в иконной лавке присоединились однородные впечатления от иконописной мастерской.

В иконописной мастерской Алеше, повидимому, жилось легче, чем в других местах. И самый вид работы его сильно интересовал. В мастерской работало до двадцати иконописцев — из Холуя, Мстеры и из Палеха, славящегося и поныне своими художественными работами. Среди мастеров были несомненно даровитые люди, любившие свое мастерство. Таков был, например, сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч. Алеше на всю жизнь запомнился этот незаурядный человек: «серые глаза как-то особенно глубоки и печальны, он хорошо улыбается, но ему не улыбнешься, неловко как-то». «Я смотрел на Ларионыча, недоуменно соображая: почему эти крепкие, буйные люди так легко подчиняются ему? Он всем показывал, как надо работать, даже лучшие мастера охотно слушали его советы, Капендюхина он учил больше и многословнее, чем других: «Ты, Капендюхин, называешься живописец, это значит, ты должен живо писать, итальянской манерой. Живопись маслом требует единства красок теплых, а ты вот подвел избыточно белил, и вышли у Богородицы глазки холодные, зимние. Щечки написаны румяно, яблоками, а глазки — чужие к ним. Да и неверно поставлены — один заглянул в переносье, другой на висок отодвинут, и вышло личико, не свято-чистое, а хитрое, земное. Не думаешь ты над работой, Капендюхин».

Еще даровитее был иконописец Жихарев. «Он лучший мастер, может писать лица по-византийски, по-фряжски и «живописно», итальянской манерой. Принимая заказы на иконостасы, Ларионыч советуется с ним: он — тонкий знаток иконописных подлинников, все дорогие копии чудотворных икон — Феодоров-

¹⁾ О влиянии на Горького народной поэзии см. в статье «Горький и фольклор».

ской, Смоленской, Казанской и других — проходят через его руки. Но, роясь в подлинниках, он громко ворчит: «Связали нас подлиннички эти... Надо сказать прямо, связали!» Этот человек был способен на артистическое увлечение, на творческий подьем. «Его трудно понять; вообще невеселый человек, он иногда целую неделю работает молча, точно немой, смотрит на всех удивленно и чуждо, будто впервые видя знакомых ему людей. И хотя очень любит пение, но в эти дни не поет и даже словно не слышит песен... Он согнулся над косо поставленной иконой, доска ее стоит на коленях у него, середина опирается на край стола, его тонкая кисть тщательно выписывает темное, отчужденное лицо, сам он тоже темный и отчужденный».

В Жихареве бродили какие-то силы, назревали беспокойные запросы и искания. Он хотел бы осветить ремесленную иконописную работу художественными и историческими знаниями, освободить ее от рутин, вдохнуть в нее энтузиазм. «Жития надо знать, а кто их знает, жития? Что мы знаем? Живем без окрыления... Где душа? Душа — где? Подлиннички... да! — есть. А сердца — нет...» «Помню, — пишет Горький в повести, — закончив копию Феодоровской Божией Матери, кажется, в Кунгур, Жихарев положил икону на стол и сказал громко, взволнованно: «Кончена Матушка! Яко чаша Ты — чаша бездонная, в кою полются теперь горькие, сердечные слезы мира людского... И, накинув на плечи чье-то пальто, ушел — в кабак». Один из молодых мастеров, тоже одаренный, чуткий человек, Ситанов, «подошел к работе, внимательно посмотрел на нее и объяснил: «Конечно он запьет, потому что жалко сдавать работу. Эта жалость — не всем доступна...»

В других условиях, освобожденный от пут религиозной традиции, получив правильное художественное образование, Жихарев мог бы наверно стать настоящим художником и создать крупные произведения. Теперь от него для истории осталось только то, что его одаренная личность оказала свое влияние на Алешу, будущего славного деятеля искусства. Кстати сказать, Жихарев хорошо

относился к Алеше и к другому ученику, Павлу: «несмотря на важное свое положение в мастерской, он заносчив менее других, ласково относится к ученикам, — ко мне и Павлу, — хочет научить нас мастерству, — этим никто не занимается, кроме него».

Впоследствии А. М. Горький горячо интересовался живописью. Известно например, как тщательно изучал он в 1907 году итальянскую живопись⁴⁾. И доселе Алексей Максимович интересуется работами наших палехских мастеров и поддерживает их.

Об этом мы в самое последнее время узнали из автобиографических статей палехских художников в альманахе «Год шестнадцатый» (М. 1933). Мастер Иван Голиков здесь рассказывает: «Весной 1932 года пришлось впервые видеть лично А. М. Горького в Москве. Было нас четверо: Я, Буторин, Зубков и Глазунов. Приняты мы были хорошо. А. М. расспрашивал об искусстве и о нуждах артели и вспомнил наших отцов, иконописцев. Некоторых он знал с детства, когда был учеником в иконописной мастерской в Нижнем. Рассказал нам, какой интерес имеет наше искусство за границей, какой упадок искусства наблюдается на Западе».

Горький расспрашивал о материальном положении палехских мастеров и обещал свое содействие, подарил ряд художественных изданий и книг по искусству. Мастер Дмитрий Буторин рассказывает, что для своих композиций он берет мотивы у Пушкина и Горького. «Я избрал двух великих художников слова — Пушкина и М. Горького, — как-то у них проще найти тему: когда читаешь, чувствуется картина. От них я взял немало тем для писания своих миниатюр. Много я писал сцен из «Руслана и Людмилы». Пролог «У лукоморья дуб зеленый» мной написан гесь по заказу Пушкинского дома в Ленинграде. Эта картина очень подходит к нашему старому письму... Стал читать произведения М. Горького. Тут еще больше нашел я тем, и они современнее, как например «Рассказ стару-

⁴⁾ См. письма Горького к К. Пятницкому.

хи Изергиль» о смелом Данько, как он жертвовал собой, чтобы вывести людей из мрака к свету. Это мне очень напоминает нашу коммунистическую партию, которая тоже ведет нашу республику и пролетариат всего мира к социализму. Рассказ «Зазубрина» навел меня на мысль написать, как царское правительство держало в тюрьмах арестованных и как издевались над ними. И много есть других произведений у М. Горького, которые писаны и еще не написаны мною».

Замечательно, что и другие палехские мастера постоянно берут темы для работ из произведений Горького: Иван Вакуров — «Буревестник», Николай Зиновьев — портрет Горького на фоне «Песни о Буревестнике», Алексей Котухин — «Старуха Изергиль» (похищение орлом девушки), Иван Маркичев — «Мать» (мать и Софья у дегтярей в лесу) и др.

Так, через сорок лет, состоялась новая встреча Горького с своеобразным и тонким живописным мастерством Палеха — в лице его нового, советского поколения.

Новому поколению не приходится губить свои дарования, как старому мастеру Жихареву, в борьбе с мертвой традицией, с «подлинниками», и гибнуть в тисках беспросветного мещанства. Новые палехские мастера могут дать своему искусству иное, широкое, свободное приложение. И тот же Горький помогает даровитейшим из них изучать сокровища русской живописи и даже совершать поездки на Запад.

Так щедро отблагодарил Горький Палех за то доброе, что дали его молодому художественному сознанию старинные мастера в нижегородской иконописной мастерской.

5.

Если мальчик так чутко и жадно впитывал в себя всё лучшее из старой, отмиравшей культуры, то тем сильнее тянуло его к культуре новой, современной.

Среди всякой нечистоты, грязи, неряшества, в которых вынуждала мальчика жить мещанская среда, трогательны его

стремления к чистоте, порядливости, культурности. После собирания тряпок маленький Алеша тщательно моет руки — по собственному побуждению, так как окружающим до этого дела не было. Работая у чертежника за пять рублей в месяц и недоедая, Алеша все-таки «одет чистенько, не по-здешнему», как заметила с удивлением его знакомая, прачка Наталья Козловская. Встречаясь со своим отчимом, человеком культурным (с высшим образованием), Алеша запоминает, с его слов, что «крошки надобно чаще сметать со столов, мухи, дескать, разводятся от крошек», что платье надо чаще чистить щеткой, «чтобы — ни пылинки!», что надо чистить ногти, — и это в то время, когда даже подобные элементарные правила выводили из себя тупых мещанок, — молодую хозяйку, жену чертежника, и его старуху-мать. Разумная женщина, прачка Козловская, для полосканья белья зимой в студеном ручье «обшила себе рукава кофты рыжей кожей от голенища сапога, — это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я, меня осмеяли» — рассказывает Горький. Такова была бытовая косность окружающей среды.

Приходилось тратить огромные усилия, чтобы выбиваться отсюда вверх, к тому уровню внешней культуры, который давался детям высших классов даром, без усилий.

Напитанный впечатлениями народного искусства и художественной старины, Алеша жадно тянулся к новому искусству, искусству высокого культурного уровня. В повести Горький описывает тот случай, когда ему впервые пришлось услышать виолончель. Однажды весной, бродя вечером по улицам, Алеша подошел к дому на углу Тихоновской и Мартиновской улиц. «Из квадратной форточки окна, вместе с теплым паром, струился на улице необыкновенный звук, точно кто-то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; слов не слышно было, но песня показалась мне удивительно знакомой и понятной, хотя слушать ее мешал струнный звон, надоед-

ливо перебивая течение песни. Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке, чудесной мощности и невыносимой... — потому что слушать ее было почти больно. Иногда она пела с такой силой, что, казалось, весь дом дрожит и гудят стекла в окне. Капало с крыши, из глаз у меня тоже закапали слезы. Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, спрашивая: «Ты чего тут торчишь?» — Музыка», — объяснял я. «Мало ли что! Пошел!..» Я быстро обежал кругом квартала, снова воротился под окно, но в доме уже не играли, из форточки бурно вытекал на улицу веселый шум, и это было так не похоже на печальную музыку, точно я слышал ее во сне. Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды, весной, снова услышал там виолончель — она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколо-тили».

Как видим, «необыкновенный звук» виолончели не сразу был понят мальчиком; он переводил его на знакомые иные звуки — звуки песни; не понял он и аккомпанемента рояля, того «струнного звона», который «надоедливо перебивал течение песни». Но поразительна сила восприятия игры на виолончели и жажда вновь и вновь ее слышать. Мальчик счел виолончель «скрипкой чудесной мощности»; очевидно, он уже слышал раньше игру на скрипке, может быть, от уличных музыкантов.

Но это было доступно ему и в том доме, где он служил у чертежника. В доме жила богатая и знатная молодая дама, «королева Марго», как называл ее Алеша. У нее в квартире нередко бывали музыкальные вечера. «Реже других к ней приходил высокий, невеселый офицер, с разрубленным лбом и глубоко спрятанными глазами; он всегда приносил с собою скрипку и чудесно играл, — так играл, что под окнами останавливались прохожие, на бревнах собирался народ со всей улицы, даже мои хозяева — если они были дома — открывали окна и, слушая, хвалили музыканта. Не помню, чтобы они хвалили еще кого-нибудь кроме соборного протодьякона, и знаю,

что пирог с рыбьими жирами нравился им все-таки больше, чем музыка. «Королева Марго» и сама играла — на рояле. «Мне было приятно смотреть на мою даму, когда она сидела у рояля, играя одна в комнате. Музыка опьяняла меня, я ничего не видел, кроме окна, и за ним, в желтом свете лампы, стройную фигуру женщины, гордый профиль ее лица и белые руки, птицами летавшие по клавиатуре».

Сильное впечатление произвело на мальчика первое посещение цирка: «Все, что я видел на арене, слилось в некое торжество, где ловкость и сила уверенно праздновали свою победу над опасностями для жизни».

А еще сильнее было пережито первое знакомство с драматическим театром — на ярмарке в Нижнем. Об этом Горький рассказывает не в повести «В людях», а в особом очерке. Он вспоминает: «Первый же спектакль заставил меня почувствовать страшную силу театра... Я пережил нечто неопишное. Алеша видел в тот раз известного талантливого провинциального артиста Андреева-Бурлака, в роли Кина. Впечатления были так сильны, что мальчик по окончании спектакля не мог заснуть и всю ночь пробродил за городом. «Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений». Дело кончилось тем, что Алеша проник в театр и прослужил летний сезон статистом в драматическом ярмарочном театре. Ему тогда было пятнадцать лет. Так завязались те отношения с театром, какие потом завершились драматургическими произведениями Горького, начиная с «Мещан» и «На дне»¹⁾.

6

Но самую крупную роль в овладении культурой сыграло для Алеша Пешкова чтение книг.

Из ранних отроческих впечатлений, когда Алеша по вечерам убегал от все-

¹⁾ См. мою статью «Становление драматурга» в сборнике «Горький и театр» Л. 1933 г.

нощной и бродил по улицам, наблюдая в освещенные окна жизнь людей, он запомнил один особый случай. «Видел я в подвале, за столом, двух женщин — молодую и постарше, против них сидел длинноволосый гимназист и, размахивая рукой, читал им книгу. Молодая слушала, сурово нахмурил брови, откинувшись на спинку стула, а постарше — тоненькая и пышноволосяя — вдруг закрыла лицо ладонями, плечи у нее задрожали, гимназист отшвырнул книгу, а когда молоденькая, вскочив на ноги, убежала, он упал на колени перед той, пышноволоосой, и стал целовать руки ее». То, что видел Алеша, осталось неясно ему. Но — виденное было совсем иным, чем любое событие в знакомой мещанской жизни. Это был совсем другой мир, и в нем книга играла какую-то особую, важную роль.

Школа не привила мальчику любви к книгам. Зато, когда он попал на пароход, к повару Смурому, тот сумел приохотить его к чтению. Горький потом с благодарностью вспоминал: «Он постоянно внушал мне: «Ты читай! Не поймешь книгу — семь раз прочитай, семь не поймешь — прочитай двенадцать». У самого Смурого в сундуке было много книг. Правда, многие из них вовсе не годились для детского чтения: старинные, еще прошлого века, книги. Но доводилось Алеше читать одному или вслух Смурому и хорошие книги. Были прочитаны из Гоголя «Страшная месть», «Тарас Бульба». «Тарас Бульба» нравился обоим и взволновал Смурого, старого солдата: «Хорошая книга! Просто праздник!» Потом были прочитаны: роман Вальтер-Скотта «Иванго» («Айвенго»), роман Фильдинга «История Тома Джонса, найденыша».

Горький вспоминает: «Незаметно для себя я привык читать и брал книги с удовольствием». Настоящим руководителем повар Смурый конечно не мог быть. На пароходе, да и долго потом, Алеша читал много всякой всячины — бульварные романы, так называемые «лубочные», дешевые, рыночные книжонки. Но, частью по указанию случайных знакомых интеллигентов, ча-

стью руководясь собственным глубоким инстинктом, Алеша постепенно прочитал много хороших книг. Горький тепло вспоминает помощь в чтении провизора аптеки, Павла Гольдберга, к которому мальчик решил обратиться с вопросом: кто такие гунны? Провизор Гольдберг сказал ему и потом нередко помогал в разъяснении трудных слов и мест в читаемых книгах. «Этот человек знал простой смысл всех мудрых слов, у него были ключи ко всем тайнам. Поправив очки двумя пальцами, он пристально смотрел сквозь толстые стекла в глаза мне и говорил, словно мелкие гвозди вбивая в мой лоб: «Слова, дружище, это — как листья на дереве, и чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться! Книга, дружище, — как хороший сад, где все есть: и приятное, и полезное...» Я часто бегал к нему в аптеку за содой и магниезией для взрослых, которые постоянно страдали «изжогой», за бобковой мазью и слабительным для младенцев. Краткие поучения провизора внушали мне все более серьезное отношение к книгам».

Помогла еще в книжном чтении молодая женщина, жена закройщика, жившая в том же доме, как и Пешков. Правда, ее собственный культурный уровень был невысок, но то был добрый, благожелательный человек; она охотно давала Алеше книги, какими сама располагала. При ее содействии он прочел «Подлинную историю маленького оборвыша» Гринвуда, «Евгению Гранде» «чудесного» Бальзака, романы Вальтер-Скотта, рассказы Ауэрбаха и другие хорошие книги.

Еще более признателен остался Алеша «королеве Марго»; он «много получил доброго от нее». Она давала ему читать хорошие книги, классиков: Пушкина, Беранже, «Семейную хронику» Аксакова, «В лесах» Мельникова-Печерского, «Записки охотника» Тургенева, стихотворения Тютчева и другие. «Эти книги вымыли мне душу, очистив ее от шелухи впечатлений нищей и горькой действительности, я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в

душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!» Так записал Горький свои отроческие настроения в повести «В людях». В другом произведении, мало известном, в брошюре: «Как я учился» (1918), Горький говорит еще подробнее и горячее: «Нередко я плакал, читая, — так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они. И мальчишка, задержанный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту. Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели и говорили мне, как заключенному в тюрьме, пели о том, как многообразна и богата жизнь, как дерзок человек в своем стремлении к добру и красоте. И чем дальше, тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее, увереннее в себе, более толково работал и обращал все меньше внимания на бесчисленные обиды жизни».

Из многих прочитанных тогда книг Горький особенно выделяет Пушкина и Диккенса. Однажды «королева Марго» вынесла мальчику «маленький томик в переплете синего сафьяна». «Это были поэмы Пушкина. Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место... Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной, и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напоминал мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли меня своей чеканой правдой:

Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей —

мысленно повторял я чудесные строки.. Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они, это делало меня счастливым, жизнь мою — легкой и приятной, стихи звучали, как благовест новой жизни».

Другим любимым писателем оказал-

ся Диккенс, которого Алеша перечитывал «по два, три раза одну и ту же книгу». «Диккенс остался для меня писателем, перед которым я почтительно преклоняюсь, — этот человек изумительно постиг труднейшее искусство любви к людям».

7

Результаты жадного, страстного чтения не замедлили сказаться. Лишенный законченного — не только среднего, но даже низшего, — образования, но обогащенный чтением, а также огромным, исключительно богатым житейским опытом, Алеша Пешков бурно развивался и созрел.

Это невольно сказывалось, когда он сталкивался и сопоставлял себя с интеллигентской молодежью. Когда он был десятником строительных работ и жил у чертежника (ему тогда было лет тринадцать — пятнадцать), Алеша стал встречаться с гимназистами и гимназистками. Горький об этом времени рассказывает: «Дома у меня есть книги, в квартире, где жила «королева Марго», теперь живет большое семейство: пять барышень, одна красивее другой, и двое гимназистов, — эти люди дают мне книги... По вечерам на крыльце дома собиралась большая компания: братья К. и сестры-подростки, курносый гимназист Вячеслав Семашко, иногда приходила барышня Птицына, дочь какого-то важного чиновника. Говорили о книгах, о стихах, — это было близко, понятно и мне, я читал больше, чем все они... Мои товарищи были старше меня, но я казался сам себе более взрослым, более зрелым и опытным, чем они; это несколько смущало меня — мне хотелось чувствовать себя ближе к ним. Я приходил домой поздно вечером, в пыли и грязи, насыщенный впечатлениями иного порядка, чем их впечатления, в сущности — очень однообразные. Они много говорили о барышнях, влюблялись то в одну, то в другую, пытались сочинять стихи; нередко в этом деле требовалась моя помощь, я охотно упражнялся в стихосложении, легко находил рифмы».

Зная, какой тяжелой и богатый трудовой опыт был уже за плечами юного Алеши Пешкова, мы конечно понимаем, что он чувствовал себя зреее, старше своих знакомых гимназистов и гимназисток. Но замечательно, что он уже чувствовал себя сильнее и в той области, которая считалась монопольной для интеллигенции, — в области литературы. Здесь конечно сказались его огромная начитанность, но — сказались и талант, который еще не раскрылся, но уже внутренне созревал. Сказались и та особая, народная культура, в которой вырос мальчик Пешков: народная поэзия, песня и музыка, какими он был окружен с самого раннего детства, особенно — воспитательное воздействие талантливой личности, бабушки Акулины Ивановны Кашириной, да и такие явления, как беседы в антикварной лавке и в иконописной мастерской.

Исключительная литературная одаренность юного Пешкова сказались также в одном эпизоде его тогдашнего общения с интеллигенцией. У него был еще один знакомый гимназист: Николай Евреинов, тот самый, который уговорил его в 1884 году уехать учиться в Казань. Именно в этом 1884 году, как потом вспоминал в печати Н. Евреинов, он часто беседовал с Алешей, еще в Нижнем, о книгах. «В один из наших разговоров, — пишет Евреинов, — Пешков показал мне рассказ Антона Чехова в каком-то юмористическом журнале, попавшемся ему под руку, восхищался этим рассказом и высказал желание научиться самому так писать. Не будучи знаком сам с произведениями Чехова, я, прочитав рассказ, подписанный «Антоша Чехонте», согласился с А. М. в его оценке, но сказал, помнится, что юмористические журналы не имеют большого значения, что есть много книг с серьезным содержанием» и т. д. Рассказанный эпизод замечателен. В 1884 году еще не было Антона Чехова, известного и любимого автора рассказов и драм. Был только Антоша Чехонте, безвестный сотрудник юмористических еженедельников. Но он уже перерастал из мелкого фельетониста в настоящего писателя-художника. В 1884 году в «Ос-

колках» уже печатались такие его рассказы, как «Ванька», «Хирургия», «Хамелеон» и другие, потом ставшие широко популярными. Если Алеша Пешков, юноша, «задерганный дурацкой работой, сбигаемый дурацкой руганью», восхищался рассказами безвестного, но растущего писателя, желал научиться сам так писать, это свидетельствует об изряде вон выходящей одаренности и чуткости.

8

Юноша и сам начинал тогда писать. В повести «В людях» Горький неоднократно упоминает, что мальчиком он много и охотно слогал стихи. Мы только-что читали, что в стихосложении он был уже опытнее и способнее своих приятелей-гимназистов.

Стало быть, отсюда, с отроческих лет, и начинается писательский путь Горького.

Он готовился к писательству разнообразно, — не только писанием стихов, не только чтением художественной литературы, но и иными способами.

Страстная любовь к чтению, к книге искала появиться и в общении с людьми. Алеша начинает читать книги вслух, своим знакомым и тростым трудовым людям и достигает в этом больших успехов, умея заинтересовать слушателей, взволновать их читаемым. Мы уже знаем, как он читал «Тараса Бульбу» повару Смурому. Вот еще один подобный эпизод, — в иконописной мастерской. Мальчик однажды попробовал почитать вслух. Это понравилось. Заведующий мастерской Ларионич сказал: «Чтение отмечает ссоры и шум — это хорошо!» Тогда, пишет Горький, «я стал усердно искать книг, находил их и почти каждый вечер читал. Это были хорошие вечера. В мастерской тихо, как ночью, над столами висят стеклянные шары — белые, холодные звезды, их лучи освещают лохматые и лысые головы, прикившие к столам, я вижу спокойные, задумчивые лица, иногда раздаются возгласы похвалы автору книги или герою. Люди внимательны и кротки, непохожи на себя, я очень люблю их в эти часы,

и они тоже относятся ко мне хорошо, я чувствовал себя на месте... Трудно было доставать книги, записаться в библиотеку не догадались, но я все-таки ухитрился и доставал книжки, выпрашивая их всюду, как милостыню. Однажды пожарный брандмейстер дал мне том Лермонтова, и вот я почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей. Помню, уже с первых строк «Демона» Ситанов заглянул в книгу, потом — в лицо мне, положил кисть на стол и, сунув длинные руки в колени, закачался, улыбаясь. Под ним заскрипел стул. — Тише, братцы, — сказал Ларионч и, тоже бросив работу, подошел к столу Ситанова, за которым я читал. Поэма волновала меня мучительно и сладко, у меня срывался голос, я плохо видел строки стихов, слезы навертывались на глаза. Но еще более волновало глухое, осторожное движение в мастерской, вся она тяжело ворочалась, и точно магнит тянул людей ко мне. Когда я кончил первую часть, почти все стояли вокруг стола, тесно прислонившись друг к другу, обнявшись, хмурясь и улыбаясь». «Ужинали вяло, без обычного шума и говора, как будто со всеми случилось нечто важное, о чем надо упорно подумать».

Других цитат о чтениях не привожу. Но отмечу иную форму общения, в какой еще ярче, еще активнее отобразилась литературная, творческая одаренность Пешкова — рассказывание, — в той же иконописной мастерской. Заметив, что иконописцы тяготеют «раздробленным на куски мастерством, не любят его и страдают мучительной скукой», Алеша решил развлекать их. «Вечера мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, рассказывал разные истории из книг и незаметно для себя занял в мастерской какое-то особенное место рассказчика и чтеца. Я скоро понял, что все эти люди видели и знают меньше меня, почти каждый из них с детства был посажен в тесную клетку мастерства и с той поры сидит в ней... Когда я рассказывал им о том, что сам видел, они плохо верили мне, но все любили страшные сказки, запутанные истории; даже пожилые люди явно предпо-

читали выдумку правде; я хорошо видел, что, чем более невероятны события, чем больше в рассказе фантазии, тем внимательнее слушают меня люди».

Несомненно в рассказах Алеши (его уже начинают звать «Максимычем») еще тогда проявлялась творческая фантазия; часто это были своеобразные импровизации, подготовлявшие юношу к будущему писательству. «Я начинал рассказывать и разыгрывать внезапно создававшиеся фантазии, — уж очень хотелось мне вызвать истинную, свободную и легкую радость в людях!»

«Разыгрывать» — это словечко надо пояснить. Алеша не только рассказывал просто, но нередко рассказывал «в лицах», драматизировал свой рассказ, именно «разыгрывал» его. «Я умел рассказывать о купцах Нижнего базара, представляя их в лицах, изображал, как мужики и бабы продают и покупают иконы, как ловко приказчик надувает их, как спорят начетчики. Мастерская хохотала, нередко мастера бросали работу, глядя, как я представляю».

Бывало, особенно в зимние вьюжные вечера, когда работа казалась особенно утомительной и скучной, «в такие вечера книги не помогали, и тогда мы с Павлом старались развлечь людей своими средствами: мазали рожи себе сажей, красками, украшались пенькой и разыгрывали разные комедии, сочиненные нами, героически боролись со скукой, заставляя людей смеяться. Вспомнив «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», я изложил эту книжку в разговорной форме, мы влезали на полати к Давидову и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам; публика хохотала. Ей особенно нравилась легенда о китайском чорте Цинги-Ю-Тонге. Пашка изображал несчастного чорта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — всё остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа, даже камень, на котором отдыхал китайский чорт в великом унынии после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро».

В переложениях книжного рассказа в драматическую пьесу нельзя не видеть прямых опытов писательства.

Если мы припомним, что Алеша уже писал стихи, если мы к этому присоединим сообщение, что он вел тогда и свой дневник, то его раннее писательство станет вырисовываться перед нами все ярче.

Следует еще знать, что Алеша завел себе особую тетрадь, куда вписывал как свои собственные стихи, так и понравившиеся стихотворения и изречения из книг. И вот замечательно, что в ту же тетрадь Алеша вносил и иное — не из книг, а из живого общения с людьми. Так, он записывал туда речи гачетчика Павла Васильевича. Когда однажды вотчим сказал: «У всех людей, которые долго живут в одном доме, лица становятся одинаковыми», — Алеша записал в свою тетрадь это изречение.

Но в тетрадь записывалось, конечно, не все, что вызывало особое внимание Алеши. Многое собиралось и сберегалось просто в памяти, которая, кстати сказать, была у Пешкова огромна.

Будущий писатель сказывался в том, что Алеша чрезвычайно интересовался не только книгами, но и живыми людьми. Так, например, его остро интересовал кочегар Яков Шумов на пароходе «Пермь». «Он стоял перед мною, как запертый сундук, в котором, я чувствовал, спрятано нечто необходимое мне, и я упрямо искал ключа, который отпер бы его». «Рассказывал он много, я слушал его жадно, хорошо помню все его рассказы». Впоследствии Горький живо изобразил Якова — именно в повести «В людях». Позже Алешу сильно заинтересовал плотник Осип. «Как в свое время кочегар Яков, — Осип в моих глазах широко разросся». «Он казался мне гораздо умнее всех людей, когда-либо встреченных мною, я ходил вокруг него в таком же настроении, как вокруг кочегара Якова, — мне хочется узнать, понять человека, а он скользит, извивается и — неуловим. В чем скрыта его правда? Чему можно верить в нем?.. Мое самолюбие задето, но во мне задето больше, чем самолюбие, — для меня жизненно необходимо понять старика».

И опять: образ Осипа ярко воссоздан впоследствии в повести «В людях», а также и в рассказе «Ледоход».

В период увлечения цирком подросток Пешков особенно заинтересовался клоуном-англичанином, почти не говорившим по-русски. Горький вспоминает: «Он гораздо больше нравился мне за ареной, чем на глазах публики... В антрактах я вертелся около двери его уборной, наблюдая, как он мажет себе лицо и все время оживленно разговаривает со своим отражением в зеркале...» Пешков наблюдал его всюду, на мосту через Оку, на горе против ярмарки. «Гулял он всегда один, а я ходил за ним, как сыщик, и мне казалось, что этот человек живет особенной, таинственной жизнью и смотрит на все так, как я никогда не сумею. Иногда я пробовал представить себя в Англии, никем не понимаемый, страшно чужой всему, оглушенный могучим шумом незнакомой жизни; сумел ли бы я жить, так же спокойно улыбаясь, в дружбе только с самим собою, как живет этот крепкий, стройный щеголь?» «Я выдумывал разные истории, в которых англичанин играл роль благородного героя, уснащал его всеми известными мне достоинствами и любовался им. Он напоминал мне людей Диккенса, упрямых в злом и добром. Когда этот человек уехал из цирка, я был очень опечален, как будто потерял хорошего друга».

Образ этого англичанина воссоздан потом Горьким в очерке «Клоун» (1918).

Так собирал будущий писатель бытовые и психологические материалы, еще сам не зная, какое именно употребление даст он своим заготовкам, но инстинктивно подчиняясь особой писательской любознательности. В отрочестве Горького эта любознательность проявлялась совершенно незаурядно.

9

Однако в юном Алексее Пешкове созрел не рядовой писатель-бытовик, а писатель - революционер, пролетарский писатель.

Поэтому для нас важно знать, что подготавливало этого пролетарского писателя в его детстве и отрочестве.

Алеша Пешков родился и рос в темной мещанской среде, пропитанной религиозностью и монархизмом. Из этой среды легко выделялись погромщики и черносотенцы, религиозные фанатики и изуверы.

Дед Алеши, старик Каширин, был типом обрядовой религиозности, сухой и формальной, тесно связанной с политической черносотенностью. Впрочем, такая религиозность не влияла на мальчика, чутко избегавшего всего рассудочного, мертвенного, принудительного. Гораздо влиятельнее оказалась религиозность бабушки, вся пропитанная эмоциональностью, поэтической образностью, полужызыческим пантеизмом. Бабушкина религиозность увлекала мальчика-поэта также и связями с народной словесностью, с духовными стихами, религиозными легендами. В «Детстве» Горький повествует, как бабушка сказывала наизусть «Сон Богородицы», чтобы женщины заучивали его на счастье. А в «Людях» Горький о себе сообщает, как в отрочестве он, под влиянием бабушки и народно-религиозной легенды, «любил Богородицу» и «трепетно целовал ее икону». Своеобразный артистизм сказывался у мальчика и в отношениях к церкви, к богослужению. Наличие музыки — вокальной: пения хора, пластики: иконописи и церковных украшений, драматизация службы — все это, в условиях скудной мещанской обстановки, привлекало артистическую натуру подростка. Мальчик «обязан был ходить в церковь: по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне». Потом Горький вспоминал: «Мне нравилось бывать в церквах, стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас: он точно плавится в огнях свеч, стекая густозолотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон, весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые плети, а головы женщин и девушек похо-

жи на цветы. Все вокруг гармонично слито с пением хора, все живет странной жизнью сказки, вся церковь медленно покачивается, точно люлька, — качается в густой, как смола, темной пустоте. Иногда мне казалось, что церковь погружена глубоко в воду озера, спряталась от земли, чтобы жить особенно, ни на что не похожую жизнью. Вероятно, это ощущение было вызвано рассказом бабушки о граде-Китеже, и часто я, дремотно покачиваясь вместе со всеми окружающими, убаюканный пением хора, шорохом молитв, вздохами людей, твердил про себя певучий, грустный рассказ». И дальше Горький приводит народный стих о граде-Китеже. Даже молитвы мальчик поэтически перерабатывал на свой лад: «в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то, или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы». И дальше читаем: «в церкви было хорошо, я отдыхал там так же, как в лесу и поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпачканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах».

Таким сладким угаром забиралась религиозность в сознание мальчика. Были и иные пути влияния. В той иконной лавке, где Пешков служил мальчиком и где он видел так много неприглядного в бытовой жизни религиозных людей, он мог наблюдать и иное: самоотверженных ревнителей «древлего благочестия», гонимых старообрядческих (и сектантских) «учителей жизни». Горький вспоминает: «Слова — полиция, обыск, тюрьма, суд, Сибирь, — слова, постоянно звучавшие в их беседах о гонении за веру, падали на душу мне горячими углями, разжигая симпатию и сочувствие к этим старикам; прочитанные книги научили меня уважать людей, упорных в достижении своих целей, ценить духовную стойкость». К этому Горький еще добавляет: «в то время, когда я впервые встретил учителей жизни среди скучной и бессовестной действительности, — они показались мне людьми великой духовной силы, лучшими людьми земли. Почти каждый из

них судился, сидел в тюрьме, был высылаем из разных городов, странствовал по этапам с арестантами». Готовность пострадать за убеждения сильно действовала на моральное сознание, связывала его и пролагала пути религиозным настроениям. Впоследствии — и вскоре, почти одновременно — пытливый юноша стал видеть иные, неприглядные стороны у ревнителей веры (нередко — у тех же самых «учителей жизни»). Вдумываясь в существо веры у религиозных людей, Пешков начинал убеждаться, что «огонь этой веры — фосфорический блеск гниения». Но, говорит Горький в автобиографической повести, — «но для того, чтобы убедиться в этом, мне пришлось пережить много тяжелых лет, многое сломать в душе своей, выбросить из памяти».

Необходимо было остановиться на этой стороне развития подростка-Пешкова. Зная позднейшего Горького, Горького-революционера, антирелигиозника, писателя на вершинах творчества, и не зная условий его жизни в юности, мы рискуем поверхностно понять ход его развития, недооценить трудности пройденного пути, упростить, огрубить диалектику его внутреннего развития. Но путь был труден, диалектика сложна. Освобождение от пут старого мира давалось нелегко. В частности борьба с религиозностью у Горького напоминает нам такую же трудную, сложную борьбу у Чернышевского, у Добролюбова.

Однако молодой Горький не был в этой борьбе одинок. Неожиданно оказывается, что еще в иконописной мастерской один из лучших мастеров, Ситанов, был атеист. «Он не верил в бога... Садясь обедать и ужинать, все крестятся, ложась спать — молятся, ходят в церковь по праздникам. Ситанов ничего этого не делает, и его считают безбожником. — «Бога нет», — говорит он. — Откуда же все? — «Не знаю». Пешков тревожно присматривался к этому отрицателю бога, расспрашивал его. «Когда я спросил его: как же это — бога нет? — он объяснял: — Видишь ли: Бог—Высота! И поднял длинную руку над своей головой, а потом опустил ее на аршин от пола и ска-

зал: — Человек — низость! Верно? А сказано: «Человек создан по образу и по подобию божию», как тебе известно! И дальше, ссылаясь на примеры из окружающей жизни, заключал: «люди — свиньи, — значит, и бога нет».

Атеистом оказался и вотчим Пешкова, человек с университетским образованием. О нем Горький вспоминает: «Как-то раз я спросил его о боге, — не помню, что именно; он взглянул на меня и очень спокойно сказал: — «Не знаю. Я в бога не верю». Я вспомнил Ситанова и рассказал о нем, а вотчим, внимательно выслушав меня, заметил все так же спокойно: «Он рассуждает, а рассуждающий все-таки верит во что... Я просто не верю! «А разве это можно?» — «Почему же нельзя? Вот видите — не верю...»

Как убеждаемся, и вотчим был не более вразумителен, чем иконописец Ситанов. Но он импонировал мальчику спокойной убежденностью. Умирая от чахотки, он отказался принять священника, несмотря на все упрощения любившей его девушки.

От эпизодов с Ситановым и вотчимом следует вести начало религиозного свободомыслия у Горького.

10

На ряду с проблесками религиозного свободомыслия в эту глухую мешанскую среду доходили и отзвуки политической борьбы: ведь детство Алеши Пешкова совпало с деятельностью революционных народников и народовольцев. Однажды на исповеди отец Доримедонт «вдруг строго спросил: — Не читал ли книг подпольного издания? Запрещенных книжек не читал ли?» Правда, мальчик таких книжек не читал и даже вопроса не понял. Но вопрос запомнился и встревожил его. Когда иконописец Жихарев наивно заявил, что «Демон» Лермонтова — эта книга «конечно запрещенная», то Алеша обрадовался: «так вот о каких книгах спрашивал меня священник на исповеди!» Но настоящих «книг подпольного издания» Алеше так и не пришлось видеть вплоть до переезда в Казань.

Смутным отголоском долетали в мешанскую среду обрывки слухов о старинном масонстве, о декабристах. Когда Алеша, после работы на пароходе, явился к своему деду, тот начал ворчать: «Что, козел? Опять бодаться пришел? Ах ты, разбойник! Весь в отце! Фармазон, вошел в дом — не перекрестился, сейчас табак курить». Тот же дед Каширин рассказывал внуку: «А при благословенном государе Александре Павлыче дворянишки, совратясь к чернокнижью и фармазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, езуиты! Тут Аракчеев генерал изловил их на деле, да, невзирая на чины-звания, — всех в Сибирь в каторгу; там они и исхизли, подобно тле». Как видим, здесь всё перепуталось: чернокожие, масоны, иезуиты, декабристы. И явственно проступают монархизм и вражда к освободительному движению.

Однажды на вопрос Алеши: кто таков был Бонапарт, дед «памятно ответил»: «Был он лихой человек, хотел весь мир повоювать, и чтобы после того все одинаково жили, ни господ, ни чиновников не надо, а просто: живи без сословия! Имена только разные, а права одни для всех. И вера одна. Конечно это глупость: только раков нельзя различить, а рыба — вся разная, осетр сому не товарищ, стерлядь селедке не подруга. Бонапарты эти и у нас бывали, — Разин Степан Тимофеев, Пугач Емельян Иванов; я те про них после скажу». Опять в рассказе откликнулась беспросветная реакционность. Но мальчику «памятно» осталось то, что в словах деда было смутным откликом Великой французской революции и русских крестьянских революционных движений.

В «Беседах о ремесле» Горький рассказывает: «Петр Васильев, сектант-беспопеец, известный в Заволжье «начетчик», сидя в лавке Головастика, дает купцам гостиного двора урок «политграмоты». Он говорит, что дворяне всегда убивают царей, если цари пытаются нарушить права дворянства. Так они убили трех лучших: Петра третьего, Павла и Александра второго, всех имен-

но за то, что они хотели ограничить права дворян в пользу купечества и крестьянства».

Убеждая Алешу, что «читать вредно и опасно», хозяин-чертежник в доказательство сообщал: «Вон они, читатели, железную дорогу взорвали, хотели убить». Это было отголоском террористического покушения на царя Александра II. А когда Алеше было уже тринадцать лет, свершилось 1 марта 1881 года. «Гулко прозвучал удар соборного колокола», и обыватели заговорили: «Царя убили». Горький вспоминает: «Я очень старался понять, — что случилось? Но хозяева прятали газету от меня, а когда я спросил Сидорова — за что убили царя, он тихонько ответил: «Про то запрещено говорить».

Впрочем, кое-что все-таки просачивалось в сознание чуткого мальчика.

Не в повести «В людях», а в отдельном рассказе Горький например сообщает, как он впервые услышал о знаменитом итальянском революционере Гарибальди, — будучи тринадцати лет и служа на пассажирском пароходе кухонным мальчиком. «Когда высадил свободный часок, я шел на ют. Там собирались пассажиры третьего класса: крестьяне и рабочие. Кто сидя, кто стоя, плотной кучкой слушали они тихий и спокойный рассказ одного пассажира. Я тоже стал слушать. — Звали его Джузеппе, по-нашему Осип, а фамилия его была Гарибальди, и он был простой рыбак. Великая у него была душа, и он видел горькую жизнь своего народа, который одолели враги. И кликнул он клич по всей стране: «Братья, свобода выше и лучше жизни! Подымайтесь все на борьбу с врагом и будем биться, пока не одолеем!» И все послушались его, потому что видели, что он скорей трижды умрет, чем подастся. Все пошли за ним и победили... Потом я много читал о Гарибальди, титане Италии. Но короткий рассказ неизвестного крестьянина глубже укоренился в моем сердце, чем все книги».

А года через два, в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет, Алексей Пешков уже вошел — впервые — в народ-

нический кружок молодежи. Об этом Горький рассказал нам недавно в особой статье. Сын руководителя кружка во второе же свидание сообщил Алеше: «Когда буду офицером, составлю заговор против царя». А отец нового знакомого в кружке внушал молодежи, что «преступно сидеть на шее мужика, а надобно делать всё для того, чтобы мужику легче жилось». «Я отлично чувствовал, — вспоминает Горький. — что жить тяжело, и мне очень понравилось, что я, оказываясь, живу в стране, где есть возможность жить легко и хорошо, а осуществить эту возможность очень просто: все люди должны войти в сельские общины, я — тоже»...

Связи с этим народническим кружком были случайны и скоро порвались. Но отсюда для Горького начинается новый путь — через нелегальные кружки и организации, сначала — народнические, потом — марксистские, к революционной деятельности.

11

Как мы теперь знаем, Алексей Пешков не легко и не сразу выбрался на этот путь из дебрей темной мещанской среды. Но вместе с тем нам уже известно, что многое начинало тянуть юношу на этот путь протеста, борьбы, революции.

Замечательно, что, будучи рожден и вырастая в мещанской, мелкобуржуазной, эгоистической среде, мальчик сберегал в себе и затем развивал глубокие социальные чувства.

В Алеше с детства жило сильное тяготение к людям, к обществу, к коллективу.

Мы помним, что даже песни будили в мальчике не только эстетическое удовольствие, но и социальное чувство — любовь к людям: «сердце растет и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям». В другом месте Горький говорит: «Хотелось плакать и кричать поющим людям: — Я люблю вас!» Читая книги, Алеша «давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им».

Юному Пешкову часто бывало жалко людей. «Жалость к людям меня все более беспокоит». И ему хочется активно помочь людям — чем он только тогда мог: шуткой, чтением, рассказом, лицедейством.

Мы помним, что и перед писателем Диккенсом он начал «почтительно поклоняться» за его «труднейшее искусство любви к людям». Когда Алеша наблюдал, что интересовавший его плотник Осип, как и кочегар Яков, равнодушен к людям, мальчик внутренне оскорблялся этим, и в нем «вскипали черные мысли»: «все люди — чужие друг другу».

Читая книги, Алеша «давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им».

Долгие годы около Алеша не было сильного человека, который помог бы ему укрепиться в любви к людям и разобратся в причинах их взаимного отчуждения.

Но в сознание развивающегося мальчика все же поступали такие впечатления, которые постоянно держали в возбуждении его мысли о социальных вопросах.

Так, однажды в иконной лавке Алеше довелось познакомиться с одним сектантом, принадлежавшим к секте «бегунов», Александром Васильевым. Мальчику навсегда запомнились его жаркие слова: «Освободись, человек, ото всего, за что люди бьют и режут друг друга, — от золота, серебра и всякого имущества, оно же есть тлен и пакость!»

Вращаясь среди трудовых людей, Алеша постоянно наблюдал среди них глухую вражду к правящим классам. Когда за Волгой горели леса, плотник Осип говорил ему: «Леса — пустое дело, это именье барское, казенное; у мужиков лесов нет. Города горят—это тоже не великое дело, — в городах живут богатые, их жалеть нечего! Ты возьми села, деревни, — сколько деревень за лето сгорит!» Мальчик и сам уже охотно употреблял такую поговорку: «От трудов праведных не нажить палат каменных», и Горький поясняет: «Мне легко было сказать так, я слышом часто слышал эту поговорку и чувствовал ее правду».

Рабочие-сезонники, сами тесно связанные с деревней, с мужиками, сами тяготевшие к мелкособственническим взглядам, выделявшие из своей среды хозяйчиков — мелких подрядчиков, не очень энергично помогали юному Пешкову осознавать антагонизмы труда и капитала. Но и у рабочих-сезонников нередко обострялись эти антагонизмы, да и социальная чуткость Пешкова была исключительна. Один мало известный рассказ Горького, примыкающий к циклу «Отрочество» — «Ледоход» — помогает нам проследить, какими путями входили в сознание юноши мысли о вражде капитала и труда, хозяина и рабочего.

Когда Пешкову было пятнадцать лет и он служил у подрядчика по ремонтным работам на ярмарке, ему пришлось быть десятником на ремонте ледореза на Оке, где работало семеро плотников со старостой Осипом во главе. «У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И — если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело. Мне с ними неловко, стыдно, я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности». «Мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет». Умный, хитрый староста Осип ведет двойственную дипломатию. С одной стороны, он прикрывает грешки плотников, заступается за них: «мокро, холодно, работенка тяжелая — надо людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть?» — и настаивает, чтобы Пешков не записывал в книжку мелких растрат строительных материалов. А с другой стороны, откликаясь на заявления растерявшегося десятника: «Уйду от подрядчика, ну вас всех к

чертям!», — Осип иронически вступает за интересы подрядчика: «Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяйство, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела — молод-пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергенчу, как ты нам мирволишь, — он бы те в тую самую одну минуту по шее, — вполне решительно! — Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергенча? Стало быть — пододать тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой!» Случилось так, что внезапный ледоход грозил отрезать маленькую плотничью артель от города — перед праздником. Под руководством того же Осипа плотники и Пешков отважились переправляться по тронувшимся льдам с ярмарочной стороны на городскую, — с риском погибнуть. Осип при этом проявил много смелости, находчивости, умелости. Общая опасность объединила кучку трудовых людей. И, когда они счастливо выбрались на берег, Пешков «швырнул далеко в реку» подрядчикову штрафную книжку — символ власти хозяина над работниками.

Сама суровая жизнь, вдвигавшая юношу в ряды трудящихся, понуждала его чуткую мысль работать над проблемой труда и капитала — еще до какого-либо вмешательства пропагандистов или нелегальных книг. В «Беседах о ремесле» Горький вспоминает: «Я очень рано, еще в отрочестве, почувствовал, что хозяин считает меня существом ниже его, получеловеком, отданным во власть ему. Но в то же время я нередко видел себя грамотнее хозяина, а иногда мне казалось, что, как будто, и умнее его»... И еще о «хозяевах»: «Я очень внимательно присматривался к ним, к их «нормальному» быту, прислушивался к их разговорам о жизни, — мне нужно было понять: какое право имеют они относиться к тем, кто рабо-

тает на них, и, в частности, ко мне, как к людям более диким, более глупым, чем они сами? На чем, кроме силы, основано это право? Что их мещанская «нормальность» в существе своем — тупость ума, ограниченность сытых животных, — это было совершенно ясно, это вытекало не только из отношения к рабочим, но и к женам, детям, книгам, об этом говорили весь их «быт», поразительная малограмотность и врожденный скептицизм невежества по отношению к разуму, к его работе».

Рано оторвавшись от мелкособственнического, торгово-промышленного мещанства, годами неся тяжелое бремя рабочего труда, Алеша Пешков сблизился, роднился с рабочим людом. Когда однажды интеллигент-вотчим сказал ему: «Вы бы лучше ушли отсюда, не вижу здесь смысла и пользы для вас», Алеша ему ответил: «Мне нравятся рабочие... Интересно с ними».

В те же годы Алеше случилось узнать об одном поразившем его факте (об этом Горький рассказывает в брошюре «Как я учился»): «Я был совершенно потрясен, когда увидел в каком-то журнале портрет знаменитого ученого Фарадея, прочитал непонятную мне статью о нем и узнал из нее, что Фарадей был простым рабочим. Это крепко ударило меня в мозг, показалось мне сказкой. «Как же это? — недоверчиво думал я. — Значит, который-нибудь из земляков тоже может сделаться ученым? И я могу?» Не верилось. Я стал доискиваться — нет ли еще каких-нибудь знаменитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не нашел; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди были сначала рабочими, и назвал мне несколько имен, между прочим — Стефенсона».

Потрясение, какое пережил Алеша Пешков, узнав, что ученый Фарадей был рабочим, свидетельствует, что юноша начинает сознавать себя рабочим, пролетарием. Это отрывало его от мещанской среды. Но это же клало грань между ним и интеллигенцией, к которой его тянуло за наукой, за культурой. Когда кающийся интеллигент поучал его в

кружке, что преступно сидеть на шее мужика, Алеша воспринимал это своеобразно, не так, как интеллигентская или барская молодежь: «я не чувствовал себя сидящим на чьей-то шее, мне уже казалось, что это моя шея служит седалищем разным более или менее неприятным людям».

12

«Я не чувствовал себя сидящим на чьей-то шее»; «это моя шея служит седалищем разным более или менее неприятным людям...» Замечательные формулы!

Первая из них кладет грань между молодым Пешковым и кающейся народнической интеллигенцией. Пешков начал свое сближение с интеллигентами-народниками еще подростком, лет пятнадцати. Позднее, в Казани, он много вращался в интеллигентских кружках. Он уважал интеллигентов, одушевленных народолюбием, и многому у них научился. Но никогда он не мог испытывать покаянных переживаний народников-разночинцев, как не мог разделять и народнических идеализаций мужика. В отроческие годы, работая в Нижнем и на Волге, Пешков еще не имел случая пожить в деревне и видеть мужика в его обычной, бытовой и трудовой жизни. Но он уже наблюдал и слушал мужиков на пароходах, он много общался с рабочими-сезонниками, приходившими на работу в город из деревни и обратно туда возвращавшимися. Наконец, с детских лет он много читал о мужиках — у Гл. Успенского, у Григоровича, у Тургенева. Однажды он сделал смелый опыт: прочел «Плотничью артель» Григоровича своей ярмарочной артели плотников — и в ответ наслушался интереснейших суждений. И замечательно, что личные наблюдения и размышления Пешкова уже тогда, в юные годы, начинали расходиться и с народническими книгами, и с живыми народниками. В повести «В людях» Горький пишет: «Я уже много прочитал рассказов о мужиках и видел, как резко не похож книжный мужик на живого. В книжках все мужики несчаст-

ные, добрые и злые, все они беднее живых словами и мыслями». Пешков уже тогда отталкивался от обуженного, тенденциозного, идеалистического изображения мужика в филантропической и народнической литературе. Впоследствии, когда он, в свое казанское время, пожил в деревне, это отталкивание еще более усилилось.

А параллельно намечалось и отталкивание от интеллигенции — в силу социальной инородности, в силу иной бытовой и трудовой выучки. С детства проходя свой трудовой, рабочий стаж, Пешков с полным правом мог сказать: «Это моя шея служит седалищем неприятным людям». Он никак не мог чувствовать себя принадлежащим к эксплуататорским классам, не мог переживать покаянных настроений дворянской и разночинской интеллигенции.

В отношении к интеллигенции много тогда было у него неясного, смутного; ведь перед нами еще подросток, только начинающий свой путь, да и встреч с интеллигентами было еще мало. Отношения могли бы проясниться, если бы отчетливее были связи с другой средой, с рабочим классом. Но связи были пока слабые.

Для своих юных лет Алеша Пешков знал необычайно много категорий трудящихся: грузчиков, землекопов, шерстобитов, плотников, каменщиков, кровельщиков, маляров, матросов, парходной прислуги и многих еще иных. С ними Пешков сталкивался не как стороний наблюдатель, а как близкий участник совместных работ. Но ему недоставало общения с рабочими фабричными, с индустриальным пролетариатом. Жизнь подростка Пешкова пока так складывалась, что таких встреч не случилось. Рядом с Нижним-Новгородом был расположен большой промышленный городок, знаменитое Сормово. В восьмидесятые годы, то-есть как-раз в то время, к которому относится отрочество Пешкова, в Сормове кипела фабрично-заводская деятельность. В 80-е годы там уже началась и революционная пропаганда. Однако юному Пешкову не довелось встретиться ни с революционерами-пропагандистами, ни даже

с сормовскими рядовыми рабочими. Впоследствии, около 1901—1902 гг., Горький тесно сблизился с Сормовым и потом увековечил одно из революционных выступлений сормовских рабочих в романе «Мать». Но это пришло двадцать лет спустя. А в юные годы Пешкову не довелось испытать возбуждающих влияний фабричного пролетариата.

Верный, но смутный инстинкт проводил некоторое, самое первичное, размежевание с крестьянством, с интеллигенцией. Но третья сторона, — пролетариат — еще была в отдалении.

Зато четвертая сторона — мещанство — обнажилась до предела.

Со всею определенностью мы должны утверждать, что самое глубокое, самое острое, что взял в свое социальное сознание и самочувствие Алексей Максимович Пешков-Горький из своего отрочества, это — ненависть к мещанству. С начала девятисотых годов, с пьесы «Мещане», через «Городок Окуров» и окуровский цикл очерков и рассказов до «Егора Булычева» и «Достигаева» Горький не устает живописать мещанство и разоблачать его в художественных образах. С девятисотых годов, в статьях «Нижегородского листка» и «Самарской газеты», Горький начинает публицистическую борьбу с мещанством. В большевистской газете «Наша жизнь» в 1905 году он печатает «Заметки о мещанстве». О мещанстве он пишет и через четверть века, в 1929 году, в журнале «На литературном посту». О мещанстве он не устает писать и до сего дня, постепенно расширяя свой публицистический охват и нанося беспощадные удары не только мещанству доморощенному, окуровскому, российскому, но и мещанству европейскому, международному. В историю мировой литературы и культуры Горький входит как признанный, мощный борец против мещанства.

А если так, то мы несколько не увеличим, если скажем, что именно отроческие годы Горького предопределили его как такого борца. Тягчайшими лишениями своей жизни он выстрадал свое право на гневное обличение мещан-

ства, а его жизнь среди мещанства дала ему богатейшие познания и образы для изображения мещанской жизни и движущих ею сил. В огромной системе литературных произведений Горького, относящихся к мещанству, центральное место бесспорно занимает повесть «В людях» — вместе с другою повестью: «Детство». Отсюда ясно, как нам

важно всесторонне изучить и осознать эти повести.

Но изучить их важно и в других отношениях. Ведь Горький многогранен в своем творчестве и деятельности, и борьбу с мещанством далеко не исчерпывается его огромное историческое значение. Нам нужно знать всего Горького, Горького в целом.

2. ЖАН ЖИОНО

Н. Иванов

В издании ГИХЛ недавно вышел перевод двух романов — «Большое стадо» и «Холм» — Жана Жионо, вступившего в феврале этого года в Ассоциацию революционных писателей и художников Франции. Факт этот стал известен после того, как книга была напечатана: предисловие, характеризующее творчество этого, почти неизвестного у нас, замечательного писателя относится к пройденному им этапу и требует коренных поправок.

Оценить все значение поворота Жионо, вырастающего в политическое событие, можно, лишь ясно представляя себе лицо этого писателя.

Жионо выступил на литературном приеме очень недавно, в 1929 г., и сразу обратил на себя внимание необыкновенно сильным и свежим талантом, — яркостью образов, великолепными описаниями природы, чудесным языком, сжатым, точным и вместе с тем ритмичным, как музыка.

Но, кроме таланта, славе Жионо в значительной мере способствовала его реакционно-утопическая философия, на которую в эпоху кризиса капитализма такая мода в широких буржуазных кругах.

Лейтмотивом философии Жионо была проповедь возврата к природе, отрицание культуры, науки, техники, неверие в силу разума. Чем ближе человек к природе, растениям и животным, тем он выше, тем он чище, тем мудрее, тем счастливее.

В романе «Парень из Бомюнь» («Un de Baumugnes», 1929 г.), как лучезар-

ное видение, встает далекая Бомюнь — деревушка, расположенная немного ниже линии вечных снегов, «у щеки неба, на краю голубых пропастей». Люди там могучи и прекрасны, как окружающая их девственная природа; это «дикари с чистотой и простотой животных»; в них живет древняя правда горных высот и дремучего леса.

В романе «Отава» («Regain», 1930 г.) перед нами снова затерянная в горах деревня, вернее, остатки ее. «Лесная правда» воплощена тут в таком же дикаре — Пантюрье; он так же чист и прост, великодушен и добр.

«Отава» проповедует техническую отсталость и воспекает мелкое крестьянское хозяйство: Пантюрь хозяйничает по-старинке, дедовскими способами, и тем не менее собирает прекрасный урожай на бесплодной доселе, заброшенной земле; на ярмарке ни у кого нет лучшей пшеницы; а те, кто хозяйничает по-новому, по-ученому, разоряются и самую плодородную землю превращают в пустырь.

Роман заканчивается символическим образом:

«Пантюрь выходит на пашню и берет в руки горсть земли — тучной, полной воздуха и обсеменной.

Ему вспоминается прежняя одичавшая земля.

Он стоит перед своими полями. На нем широкие панталоны из коричневого пшаса. Он кажется одетым в кусок своих пашен. Вытянув руки вдоль туловища, он не двигается. Он победил — победил окончательно.

Он стоит незыблемо, как колонна, вросшая в землю».

Глухой деревне, идеализированному отсталому крестьянству Жионо противопоставлял город, изображая его в самых мрачных красках: гной и язвы, люди, опустившиеся на самое «дно»; безнадежное отчаяние, беспросветная тьма. Революционный пролетариат, его героической борьбы Жионо не понимал и не замечал.

Надо отметить, что классовая борьба в деревне также оставалась вне поля его зрения; классовые противоречия в крестьянстве нигде не были им освещены.

В романах «Парень из Бомюнь» и «Отава» Жионо ответил на вопрос: в чем счастье? что надо делать человеку, как ему построить жизнь, чтобы она стала прекрасной?

В романах «Холм» («Colline», 1929 г.) и «Большое стадо» («Le grand troupeau», 1931 г.) он, сам того не сознавая, показал всю ненадежность, непрочность, иллюзорность своего идеала. Этот идеал жидкнет на песке, рассыпается прахом; мираж, расцвеченный перлами поэзии, рассеивается. Символическая фигура Пантюря на пашне, казавшаяся такой незыблемой, шатается и падает.

В «Холме» полудикие, темные крестьяне, изолированные от мира, не вооруженные технически, беспомощные перед лицом стихийных сил природы, рабы земли, делаются жертвой призраков, созданных их собственным воображением, кошмаров и ужасов, которыми оно населяет окружающее.

С большой яркостью показано, как возникает религия, как рождаются и распространяются мифы; обнажены корни мистицизма — разоблачен мистицизм. Действие происходит во Франции в XX веке, но перед нами настоящее средневековье: «лесная правда» находит выражение в казни колдуна.

В романе «Большое стадо» крестьяне, политически безграмотные и неорганизованные, делаются жертвой империалистической войны. Они безоружны перед лицом капитализма, перед централизованным буржуазным государством. Его

рука протянулась к самым глухим деревням, разрушила тихую и мирную жизнь Пантюрей, камня на камне не оставила от их маленького счастья. Они смотрели не дальше деревенской околицы, ничего не знали и не хотели знать, отгородились от мира, замкнулись в своей скорлупе — и жестоко поплатились за это. Они ненавидели войну, которая несла им смерть и разорение, но не понимали связи между капитализмом и войной, о социализме имели самое смутное и извращенное представление, к промышленному пролетариату — гегемону социалистической революции — относились недоверчиво и враждебно, и потому не могли найти революционный выход из войны, не способными были революционным путем разорвать мертвый узел войны.

«Большое стадо»: крестьян погнали на войну, как баранов, они покорно пошли и воевали до тех пор, пока им приказывали воевать.

В первой главе бесчисленные отары овец движутся в тучах пыли в знойную летнюю пору непрерывным потоком, угнилая дорога выбившимися из сил, истекающими кровью, издыхающими животными, которых гонят с альпийских пастбищ на бойни после объявления войны.

В предпоследней главе, которая так и называется «Большое стадо», изображено такое же необозримое стадо в солдатских шинелях, — французов, англичан, бельгийцев, — также измученное бесконечными переходами, также оставляющее падающих от усталости на пути, и это людское стадо тоже идет на убой, в атаку, под ураганный огонь артиллерии и пулеметов, готовый пожрать его.

Жионо опровергает сказки империалистов о патриотическом подъеме крестьянских масс, поднявшихся на защиту «отечества» против вторгшихся в него «бошей».

Крестьяне в тылу и на фронте относились иронически к патриотической шумихе и хотели окончания войны во что бы то ни стало, какой угодно ценой. После разгрома французских войск у Кеммеля Оливье, один из главных персонажей романа, выражает надежду, что, может

быть, теперь все кончится и их отпускают домой. Меньше всего они думают о войне до победного конца.

Жионо показывает, что крестьяне на фронте и в тылу не питали никакой вражды к «бошам». Отношение солдат к пленным — братское. В деревне к пленным относятся, как к своим: это такие же крестьянские парни, и притом прекрасные работники, заменяющие тех, кто на фронте. Да и они чувствуют себя, как дома. Национальная вражда искусственно раздута.

Те же настроения повторяются и в автобиографии. («Jean le Bleu», 1932 г.).

Отношение крестьян к войне — отношение к войне самого Жионо — резюмирует один из крестьян, наблюдавших в первой главе отары овец, тоже очутившийся на фронте.

«Зря пропадает жизнь... (крестьянин повторяет фразу, произнесенную им, когда он смотрел на проходивших овец). Как будто кто-то ходит по гроздьям винограда ногами, облепленными навозом... Дороже всего, понимаешь ли, дороже всего жизнь человека с ее радостями... Сстроить жизнь — и ничего больше, чувствовать, как она растет, чувствовать в ней опору, — это, и только это...»

Крестьянин, устами которого говорит Жионо, протестует против войны во имя жизни, бессмысленно уничтожаемой войной. Жизнь — высший закон бытия. Нет ничего выше и прекраснее жизни. Страстная, можно сказать, зоологическая, стихийная любовь к жизни пронизывает все произведения Жионо. Он любит все, в чем трепещет, искрится, переливается через край жизнь, все, в чем бродят ее соки, будь это человек, баран, дерево, — все равно.

Война 1914 — 1918 гг. осуждается независимо от ее цели, не потому, что это империалистическая война, а потому, что это смерть и разрушение. Осуждается всякая война. Жионо не понимал тогда, что только революционная война может положить конец войнам, что знамя революционной борьбы необходимо поднять именно во имя жизни, во имя ее безграничного развития и расцвета.

«Строить жизнь — и ничего больше, чувствовать, как она растет, чув-

ствовать в ней опору — это и только это».

Но какую жизнь призывал строить Жионо? Жизнь Пантюрей, такой уклад, который является базой империализма. Он фактически призывал к сохранению существующего общественного строя.

Сущность империалистической войны осталась непонятой. Ее корни не были вскрыты. Революционные выводы из нее не были сделаны: в «Большом стаде» нет ни намека на критику капиталистической системы. Жионо не дал ответа на вопрос, поставленный заглавием романа: если крестьяне превращены существующим экономическим и политическим строем в «большое стадо», которое гонят на бойню, то не следует ли отсюда, что этот строй должен быть уничтожен и заменен другим?

Жионо остановился на полдороге. Дальнейшее развитие событий: угроза победы фашизма и новой войны, которую несет с собой фашизм, с одной стороны, подъем революционного движения, руководимого компартией, с другой, привели его к пересмотру взглядов.

В 5 — 6 номере (январь — февраль 1934 г.) «Коммуны» — органа АРПХ — Жионо поместил письмо, в котором решительно становится на путь революционной борьбы:

«Страстно борясь против войны, я до сего времени ошибался, веря, что эту борьбу можно вести, оставаясь вне партии, действуя в одиночку, полагаясь только на свой пыл, терпение и мужество».

«Теперь я знаю, что достичь цели можно только на политической почве...»

«Надо иметь программу, устав, партию, суровую дисциплину, знать, чего хочешь, и по-настоящему хотеть этого...» «Победа не дается сразу. Но как бы ни были малы достижения, они всегда завоевываются не иначе, как силой. Наши противники боятся силы. Они уважают ее. Надо заставить их уважать нас...»

«Борясь против войны, нельзя ограничиться одной борьбой против войны...» «Война — орудие политики. Не путем законов или соглашений достигнуто будет уничтожение ее. Надо остерегаться, чтобы мужественные элементы, борю-

щиеся против войны, не заблуждались относительно того, на борьбу с чем должно быть направлено их мужество. Война не отделима от буржуазного государства. Заблуждаются те, которые хотят уничтожить войну, сохраняя буржуазное государство. Они борются понапрасну. И истощают свои силы. Наши противники знают это».

«Придя к этому выводу, я захотел вступить в АРПХ. Чтобы перестать быть бесполезным. Чтобы иметь товарищей. Чтобы действовать сообща. Чтобы чувствовать, что эти действия направляются партией. Чтобы узнать больше того, что я знаю».

Письмо Жионо — гигантский шаг вперед. Товарищи, которых он нашел в АРПХ, а еще более железная логика революционной борьбы помогут ему выкорчевать корни своего прежнего мировоззрения, переделать его до конца, вооружиться революционной теорией пролетариата, которая является вместе с тем боевым знаменем трудящихся всего мира. Это — нелегкая задача. Жионо нередко придется перешагивать буквально с одного полюса на другой. Но его огромная искренность и мужество дают уверенность, что он справится с этой труднейшей задачей.

Жионо — человек дела. Одновременно с опубликованием письма он присту-

пил к организации комитета борьбы против войны и фашизма у себя на родине в Провансе, в глухой провинции, где происходит действие всех его романов. Крестьяне откликнулись на его призыв. Поворот Жионо к революции — праздник для нас не только потому, что молодой, полный творческих сил, талантливый писатель усилил ряды бойцов: поворот этот знаменует перелом в настроении широчайших масс французского крестьянства. Крестьяне не забыли кровавых уроков империалистической войны. И когда угроза новой войны надвинулась теперь вплотную, ужас охватил их, и в них заговорила великая ненависть к вдохновителям войны. Намечается единый фронт рабочих и крестьян. История Парижской Коммуны, когда буржуазии удалось бросить крестьян, одетых в солдатские шинели, против восставших рабочих, не повторится.

В своем предисловии, написанном год тому назад, я не дал прогноза будущего развития Жионо. Я недооценил всей силы его пламенной ненависти к войне и его органической связи с крестьянством; я недооценил могучего подема революционной волны, которая захватила самые отсталые слои французских крестьян и выпрямила Жионо, заставив его отбросить свой бесплодный пацифизм.

Книжное обозрение

1. И СОКОЛОВ-МИКИТОВ Ленкорань — Н. Замошкин. 2. ТАЛЕИРАН. Мемуары — Ю. Корхов. 3. ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ* — Ю. Добранов

И. Соколов-Микитов. Ленкорань. Изд. писателей в Ленинграде. 1934. Стр. 156. Ц. 2 р. Перепл. 70 коп.

Очерки путешествия по Каспию писателя И. Соколова-Микитова носят по преимуществу натуралистский характер. «Чтобы не разбрасываться напрасно, я решил описывать то, что мне созвучно и близко: живую природу» — предупреждает он читателя. Но по мере того, как были посещены западное, восточное и северное побережья Каспия, картина разнообразной промысловой жизни, раскрывшаяся перед путешественником, заставила его взяться за перо «временного корреспондента газеты» и сделаться автором оперативных очерков.

Отличительные качества «Ленкорани» — обстоятельность, отсутствие словесной трескотни, фактичность, образовательность и редко встречающаяся в очерковой литературе скромность. Читая книгу, веришь в правдивость, реальность описываемого. Слова свои писатель выговаривает очень заботливо, и он не считает нужным скрывать, что знакомился с материалом впервые. «Удивление приезжего» поэтому очень часто проглядывает в книге, что и обуславливает впрочем ее несколько пестрое содержание.

Читатели газет за последние годы не раз встречали такие названия, как сейнеры, дрейфтеры, глубьевой лов и шр., при чем не всегда «сухонутный» читатель точно представлял смысл этих названий. Соколов-Микитов ясно и доступно дал краткое описание новой техники и самой сущности круглогодичного активного лова. Читателю становится понятно, почему теперь «дедушке Каспию, привыкшему поворачиваться постаринке, пришлось основательно почесаться при виде новшества, которые с несокрушимым упорством заводили в его владениях большевики». То же самое можно сказать и об описаниях заосла рыбы, механизации тяги неводов, заготовки икры и т. д. Некоторая неясность, правда, остается от чрезмерного преувеличения автором выгоды круглогодичного лова в сравнении с путинной сезонностью — переход на активный глубьевой лов вовсе не влечет за собой

исчезновения путин, которые predeterminedены на Каспии как географией, так и биологией мигрирующей рыбы. Эти два вида ловли дополняют, а не исключают друг друга, как это можно подумать, читая соответствующие главы. Очень своевременно осторожное высказывание одного профессора, передаваемое писателем, об опасностях уменьшения рыбы в Каспии в связи с ближайшим осуществлением проекта Великой Волги. «Частичная гибель рыбы о избытком покроется прибылью, которую дадут орошенные волжской водой степи, однако ученым следует подумать и о сохранении рыбных запасов...» Жаль, что автор только коснулся этого вопроса.

Натуралистские, охотничьи интересы писателя наиболее отчетливо проявились в первом разделе книги, посвященном Ленкорани, этому малознакомому влажно-субтропическому уголку СССР. Причудливая фауна южного района Азербайджана способна увлечь читателя любого возраста. Современная литература напрасно иногда чуждается описаний зооэкологии. Соколов-Микитов, ничуть не романтизируя, наоборот — скуп и расчетлив, со сдержанным удивлением знакомит с необычайным богатством птичьего мира, зимующего в Ленкорани, с организацией и бытом заповедника, с людьми, строящими там социалистическое хозяйство. Постановление ЦК о преподавании географии в школе обязывает общественность произвести на первых порах отбор имеющихся книг для художественного чтения по географии. Многие страницы «Ленкорани» как нельзя более подойдут для этого.

Маленький рассказик о пеликанах и бакланах полон подлинного мастерства и лаконической поэтичности и просится в хрестоматию.

Нельзя того же самого сказать о втором разделе книги — о Баку и Кара-Бугазе. Ничего яркого и нового он не содержит, хотя и тут глаз художника иногда вырывает (см. главу о воробьях в скверике Баку).

В поле зрения советского натуралиста, естественно, входят и наблюдения над людьми, действующими в обстановке «стихийной» природы. Внимание Соколова-Микитова при-

ковывается главным образом большой работой ученых в заповедниках и промыслах. От молодого ученого тюрка до седовласого специалиста — вот разбег вдумчивых зрисовок писателя. Набросаны в книге, иногда очень ярко («Камышевский Робинзон», зверолов Вася, б. матрос большевик Василий Васильевич), и другие работники советского хозяйства. Скучоват только автор на изображении промысловых пролетариев и колхозников.

«Куперовск» следопытство удачно сочетается в книге с пристальной заинтересованностью в хозяйственных мелочах и критикой дореволюционных способов производства. При всем спокойствии описаний очерки далеко не лишены несколько приглушенной страстности, когда говорится в них о неурядках, ошибках, косности и одичании. Иные рассуждения писателя однако способны вызвать неправоильные толкования. Странно например так строить фразу: «Наверное, сокрушив до основания древнее, мы утратим чувство подлинной перспективы и остановимся в одной плоскости: не умея смотреть в прошлое, мы не научимся видеть будущее; так было всегда, и этому учит нас археология». Мрачная интонация и построение этой фразы, похожей на сентенцию, никак не выводятся из предшествующих строк, написанных тем же автором. Некоторым образом ее можно связать со следующим стыдливо-искренним признанием: «Положительно, чтобы понять течение удивительной нашей жизни, писатель должен не отказываться ни от чего: путешествие заряжает бодростью и вылечивает от недоумений». Слова об «археологии» будем поэтому считать остатком этих «недоумений».

Прекрасный стилист Соколов-Микитов и очерки свои написал хорошим языком. Два-три промаха не идут в счет.

Н. Замошкин.

Талейран. Мемуары (старый режим, великая революция, империя, реставрация). Перевод и примечания С. и Л. Фейгин. Редакция и статья Е. В. Тарле. «Академия», Москва — Ленинград, 1934 г. Стр. 270, тираж 5300, цена 10 руб., переплет 2 руб.

История знает мало деятелей, личность и общественная карьера которых в такой же мере приковывали бы к себе внимание своих современников и потомства, как это имело место по отношению к Талейрану.

Талейран относится к тем людям, жизнь и характер которых особенно очевидно и наглядно являются отображением общественных условий, в которых они родились и жили. Принадлежа к верхушке французской аристократии периода ее упадка, он необычайно полно воплотил в себе психологию отмирающего класса, — класса, который уже перестал выполнять реальные общественные функции. С детства окружающая среда и условия личной жизни научили его видеть во всем либо действительные следы и бессмысленных тра-

дий, либо же плохо прикрытую игру личного честолюбия и страстей. С юности он принесен в жертву семейной традиции; он хром и не может быть военным, и для него остается только одно, достойное его имени, призвание — духовное. Первые шаги на «духовном» поприще учат его, что под позолоченной поверхностью скрывается голый шкурный интерес. «Честолюбие облекается там в разные формы. Религия, человечность, патриотизм, философия — все служило для его прикрытия» — так отзывался он о сословии, членом которого его принудили стать.

К началу великой революции Талейран достиг высокого положения в духовной иерархии, — он епископ. Однако денежные дела и устанавливаемая за ним слава сомнительного дельца делают его положение не совсем прочным. Кроме того, его тяготит духовный сан. Начавшаяся революция интересует его только с одной стороны: он видит в ней возможность изменить к лучшему свое положение. Не обладая никакими общественными устоями, всегда ставя во главу угла свое «я», он решительно переходит на сторону революции, как только убеждается в неизбежности ее победы и в слабости королевской власти. Его не смущает высокий духовный сан епископа Оттенского, наоборот, это еще лучше, так как позволяет дороже продать революции свои услуги. И вот он совершает решительный шаг.

10 октября 1789 г. он, один из пастырей французской церкви, вносит в Учредительное собрание законопроект об отобрании в казну церковных земель. Напрасно за этим шагом искать какой-нибудь принципиальности. К Талейрану можно применить слова, сказанные им о герцоге Орлеанском: «он не олицетворял ни принципа, ни цели, ни причины революции». Талейран просто оценил положение и стал на сторону побеждающих. С этого момента начинается его бурная политическая карьера. Деклассированный аристократ, человек, в своих общественных убеждениях ограниченный только собственной выгодой, он, как средневековый наемник-кондотьер, смело и беззастенчиво продает свои блестящие политические таланты последовательно сменяющимся правительствам Франции. Революционный депутат, министр, сначала Директории, затем Наполеона, глава временного правительства при Бурбонах, руководитель внешней политики Луи-Филиппа, — он неизменно стоял в центре общественной жизни Франции. Его судьба неразрывными нитями связана с историей революционной и послереволюционной Франции, и хроника его жизни является политической хроникой этого времени.

Талейрана, по его историческому значению, нельзя сравнивать с Робеспьером или Наполеоном. Он не персонифицировал в себе, как они, волю целых классов, никогда не возглавлял какое-либо общественное движение, да и не мог этого сделать в силу своей глубочайшей беспринципности. Он был политиком-

профессионалом, которому никто до конца не доверял, но услугами которого пользовались, как услугами незаменимого специалиста.

Эта особенность общественного положения, в соединении с глубоким равнодушием к принципиальным вопросам общественной жизни, обусловила характер его мемуаров. В оценке событий он не стоит на каких-либо принципиальных позициях, он на все смотрит глазами профессионального политика, которого интересуют только сами факты, а не их общественный или этический смысл. Правда, он много извращает и еще больше замалчивает, но лишь там, где этого требуют его личные интересы; там же, где этого нет, он просто и конкретно описывает события и людей.

Эта точка зрения, вместе со знанием самых сокровенных пружиц политической жизни своего времени, делает его мемуары особенно ценными в отношении фактического материала и множества тонких оценок и характеристик. Это и составляет основную их ценность. Являясь жизнеописанием одного из самых интересных людей новой Европы, они одновременно — и важный исторический документ, и блестящий политический памфлет.

В издании «Академия» вышла первая часть мемуаров, охватывающая период с начала царствования Людовика XVI до «Ста дней» включительно. Это был период формирования буржуазной Франции, и Талейран, сам принимавший деятельное участие в этом формировании, может сказать много интересного об этой эпохе.

Первая часть воспоминаний написана после реставрации, чем и объясняется стремление Талейрана доказать, что на протяжении всей жизни он в душе был роялистом. Нечего говорить, что эта тенденция была лишь маскировкой, вызванной соображениями личной безопасности, но это особенно ярко подтверждается тем, что содержание всех даваемых им в мемуарах оценок резко противоречит его «роялизму». Если отвлечься от платонического восхищения древней Францией, то все, что он пишет о старом режиме, является его жесточайшей критикой. Истинные взгляды Талейрана можно сформулировать приблизительно так: он оценивает каждое правительство с точки зрения его способности создать сильное и прочное государство. Будь это Наполеон, Бурбон или Директория, — он неизменно рассматривает их действия с этой точки зрения. Не важны специфические цели каждого правительства, важно — сумело ли оно создать сильное и прочное государство, а будет ли это империя, абсолютная монархия или конституционное королевство — не важно. Его основное политическое требование заключается в том, чтобы политика всегда была реальна, опиралась на действительное соотношение сил и совпадала с интересами господствующих общественных групп, т. е. только такая политика прочна. В частности, даже защищая дело Бурбонов, он указывает

на необходимость считаться с завоеваниями революции.

Центр исторического интереса воспоминаний заключен в главах, посвященных Первой империи. Широкая публика, как правило, мало знает этот период, фигура Наполеона и перечень его побед заслонили от взглядов потомства неофициальные, интимные стороны его истории. В своих воспоминаниях Талейран останавливается как раз на этих закулисных сторонах наполеоновской Франции. Путем детального анализа он показывает, что гибель империи не была случайностью, но явилась неизбежным следствием разрушительных сил, развившихся в результате ее неестественного и внутренне не обоснованного роста. Он показывает всю непрочность нитей, связывающих Францию с завоеванными ее провинциями и вассальными государствами, отсутствие единства политического руководства, распри в семье Бонапартов, — и все это — на массе конкретных примеров из самых различных сторон общественной жизни.

Наиболее увлекателен следующий, мельчайший по объему, раздел книги, посвященный реставрации и изложению принципов легитимизма (буквально — законности). Венский конгресс — высшая точка политической карьеры Талейрана. Представляя на конгрессе победителей развитую и обезоруженную Францию, он сумел не только отстоять ее старые границы, но и обеспечить ей прочное место в концерте великих европейских держав. Не его вина, если временное возвращение Наполеона свело на нет все эти достижения.

Такой успех не был и не мог быть результатом только личной талантливости Талейрана, — он был обусловлен объективным соотношением сил в Европе, прежде всего расприми между победителями. Заслугой Талейрана является то, что он сумел оценить положение и выбрать единственно правильный путь, заключавшийся в том, чтобы заставить Европу смотреть на Францию, не как на революционную страну, но как на один из оплотов европейского равновесия.

В этом отделе увлекает умение Талейрана, с одной стороны, ставить все вопросы глубоко практически, с другой, — подчинять разрозненные политические действия единому принципу, единой политической линии.

Наконец остается рекомендовать вниманию читателя помещенную отдельно в конце главы о герцогине Орлеанском. Здесь Талейран скрупулезными штрихами рисует моральное состояние аристократии дореволюционного периода. Сам аристократ, он до конца понимает психологию своих бывших соотавричей по классу. Навряд ли можно найти где-либо столь интересные страницы, посвященные той же теме.

Остается отметить вводную статью Е. В. Тарле. Эта статья, содержа замалчиваемые Талейраном факты из его жизни, значительно облегчает критическое отношение к воспоминаниям.

Большим недостатком в оформлении книги является отнесение, согласно существующей у нас плохой литературной традиции, примечаний в особое приложение в конце книги. Это делает пользование ими чрезвычайно неудобным и неизбежно приводит к тому, что примечания вообще не читаются.

Ю. Корхов.

«Жизнь замечательных людей»: Ал. Дейч — «Г. Гейне», А. Дживилегов — «Данте», Ал. Дейч и Е. Зозуля — «Свифт». Изд-ство «Жургаобединение».

Вряд ли стоит говорить об общекультурном, а в отношении писательских биографий, и собственно литературном, значении серии «Жизнь замечательных людей».

Это значение ясно и бесспорно.

Издание серии — одно из тех многочисленных плодотворных литературных начинаний, которые, по инициативе М. Горького, обогащают культурную жизнь СССР.

Жанр художественной биографии требует от писателя большой культуры и многостороннего, синтетического мастерства: автор художественной биографии должен владеть одинаково хорошо несколькими смежными с художественной биографией жанрами.

В художественной биографии писателя должны быть использованы методы научной статьи литературного портрета, биографического романа. В ней необходимы историческая истина и историческая полнота, возможные только в свете марксистско-ленинского понимания истории и роли в ней замечательного человека.

Две главные опасности возникают перед автором биографии: опасность энциклопедической сухости, подменяющей раскрытие целостного образа великого человека «ученым справочником», и опасность излишней субъективизации материала.

Как же удалось авторам названных биографий пролаборировать между этими «Сциллой и Харибдой»? Сумели ли они дать целостные и истинные образы Гейне, Данте, Свифта?

На этот вопрос в такой общей формулировке нужно ответить, к сожалению, отрицательно: ни одна из биографий не дает целостного, яркого и неискаженного образа замечательных людей.

Но степень и характер «отклонения» каждой из биографий от формулированного нами идеала различны.

Явно неудовлетворительна книга о Свифте. Печать самой откровенной оценки лежит на книжке, и в отношении ее надо говорить не о целостности и художественности образа Свифта, а об элементарной биографической и исторической грамотности.

Полная «независимость» соавторов Ал. Дейча и Е. Зозули друг от друга еще больше усиливает и без того невыгодное впечатление.

Литературная характеристика, если только так можно назвать эмоциональный пересказ Еф. Зозулей «Сказки о бочке» и «Путешествия Лемюэля Гулливера», никак не связана с собственно биографическими главами книги, написанными Дейчем. Никакого взаимодействия между жизнью и творчеством Свифта нельзя усмотреть из изложения соавторов.

Ал. Дейч установил, правда, загинаясь и путаясь в социальной природе вивов и ториев и самого Свифта, что Свифт «в общем и целом» был идеологом либеральной буржуазии (кстати, как объяснить тогда его близость к ториям?), а у Е. Зозули Свифт вышел всецеловеком, анархистствующим интеллигентом.

Такая двойственность окончательно дезориентирует читателя.

Значительно достовернее, продуманнее и ярче выглядит биография Гейне, того же Дейча.

Следует отметить верное, в целом, объяснение двойственности Г. Гейне — «последнего романтика» и одновременно смелого борца против феодальной реакции, понимавшего также и ограниченность перспектив буржуазного либерализма.

В книге о Гейне есть то, чего нет в книге о Свифте, — литературная характеристика Гейне, показанная на широком фоне литературно-общественной мысли Европы первой половины прошлого столетия. Обилие конкретных деталей, а главное, признаний самого Гейне, этого великодушного комментатора собственной жизни, позволило Ал. Дейчу оживить книгу, сделать образ Гейне достаточно ярким.

И только последнее, самое трудное требование — воплощение художественно-целостного образа поэта и человека средствами искусства — оказалось автору не по силам.

Не исчезла в книге и небрежность, свойственная работам тов. Дейча.

Так, о самом личном и последовательном из великих утопистов, о социалистическом мыслителе, впервые повернувшем от рационализма XVIII в. к историзму, осознавшем историю как закономерный процесс, — о Сен-Симоне, Ал. Дейч пишет: «Глупо стали бы мы искать строгую логичность и последовательность в учении Сен-Симона. Он был своеобразным поэтом с вулканической (?) силой ума, извергавшим (?) мысли».

Или: Данте писал свою «Комедию» не как постоянный поставщик стихов, а как беглец в эльф» (?), тогда как известно, что в период, когда Данте писал «Комедию», он был уже либеллином.

Явная комплиментарность книги о Гейне, как и других работ серии, на наш взгляд, не может быть поставлена в вину авторам, так как биография из популярной серии и не претендует быть историко-литературным исследованием.

Из всех рецензируемых книг наиболее солидно оснащена знанием эпохи и добросове-

стной тщательностью изложения книга А. Дживилевова «Данте».

Но и она не свободна от недостатков. Массовым, мало знающим историю и литературу средних веков читателем жизнь и значение Данте могут быть восприняты только после соответствующей подготовки.

В книге отсутствует, к сожалению, глава с общей характеристикой средневековой культуры и Возрождения, а без такой главы для массового читателя непонятно значение Дан-

те, колоссальная фигура которого стала как бы мостом между средними веками и новым временем. В книге Дживилевова из-за деревьев не видно леса; из-за подробностей борьбы вельфов и гиббеллинов, из-за деталей истории Флоренции эпохи Данте не видна общая картина этой эпохи.

Отсутствие «житейского», бытового колорита делает фигуру Данте слишком абстрактной — какой-то тенью великого человека.

Ю. Добряков.



Редакция:

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
В. В. Григоренко.
И. М. Гронский.
Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Отв. редактор И. М. Гронский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК».